

Без догмата. Генрик Сенкевич

Рим, 9 января 1833 г.

Несколько месяцев назад я встретился с моим другом, Юзефом Снятынским, который в последнее время занял видное место среди польских писателей. Мы беседовали о литературе, и Снятынский сказал, что он придает величайшее значение всяким мемуарам. По его мнению, человек, оставивший после себя дневник, как бы он ни был написан, хорошо или плохо, лишь бы искренне, передает будущим психологам и писателям не только картину своей эпохи, но и правдивый человеческий документ, единственный, которому можно верить. Снятынский утверждает, что в будущем дневники и мемуары станут главной формой повествования, что вести дневник – заслуга перед обществом, и человек, который трудится таким образом для общества, имеет право на его признательность.

И вот, так как я дожил до тридцати пяти лет, но не помню, чтобы до сих пор сделал что-нибудь для нашего общества (хотя бы уже потому, что по окончании университета почти постоянно, с небольшими только перерывами, жил за границей), и так как – хотя говорю я об этом в тоне юмористическом и, как губка, весь пропитан скептицизмом – в сознании своей бесполезности есть немало горечи, я решил вести дневник. Если это и в самом деле труд для общества и заслуга перед ним, – пусть я хоть таким путем буду ему полезен.

Хочу, однако, быть до конца искренним: за дневник я принимаюсь не только из таких соображений, но и потому, что идея эта меня занимает. Снятынский уверяет, что, когда заведешь привычку записывать свои мысли и впечатления, это становится любимейшим делом в жизни. Если со мной произойдет обратное, то бог с ним, с дневником! Не буду обманывать себя – я уже предвижу, что тогда дело лопнет, как слишком туго натянутая струна. Для общества я готов на многое, но скучать ради него – ну, нет, на это я не способен.

Впрочем, я решил не пугаться первых трудностей. Постараюсь привыкнуть и войти во вкус этого занятия. Снятынский во время наших бесед беспрестанно твердил мне: «Только не гонись за стилем! не пиши литературно». Легко сказать! Я хорошо знаю, что чем писатель талантливее, тем меньше в его писаниях «литературности». Но я-то – дилетант и не владею формой. Знаю по собственному опыту: человеку, который много думает и сильно чувствует, часто кажется, что стоит только попросту записать свои мысли, и получится нечто незаурядное. А между тем, как только за ото примешься, невольно начинаешь подражать каким-либо стилистическим образцам, и хотя бы человек писал только для себя, он безотчетно принимает какую-то позу и ударяется в банальное фразерство. Мысли его не желают переходить на бумагу, и, можно сказать, не голова управляет пером, а перо – головой, и притом с пера текут такие плоские, пустые, фальшивые слова! Этого-то я и боюсь. Боюсь главным образом потому, что если мне не хватает навыков, красноречия, настоящей художественной простоты и так далее, то вкуса у меня, во всяком случае, достаточно, и стиль моего писания может опротиветь мне до такой степени, что писать станет просто невозможно. Ну, да там видно будет! А пока я хочу сделать краткое вступление к своему будущему дневнику – сообщить кое-что о себе.

Зовут меня Леон Илошовский, и мне, как я уже упоминал, тридцать пять лет. Я – из довольно богатого рода, сохранившего до последнего времени состояние далеко не среднее. Я же, несомненно, фамильного состояния не умножу, но зато и не промотаю его. Положение мое в обществе таково, что мне нет надобности карабкаться вверх или покупать себе какие-то привилегии. Ну, а разорительные и разрушительные наслаждения... Я ведь скептик и знаю всему истинную цену, вернее говоря, – знаю,

что все в жизни ни черта не стоит.

Мать моя умерла через неделю после моего рождения. Отец любил ее больше жизни, и после ее кончины у него часто бывали приступы тяжелой меланхолии. Излечившись от нее в Вене, он не захотел вернуться в свое родовое поместье, где воспоминания разрывали ему сердце. Он отдал Плошов своей сестре, моей тетушке, а сам в 1848 году поселился в Риме и безвыездно живет в этом городе больше тридцати лет, не желая расставаться с могилой моей матери. (Я забыл упомянуть, что он перевез гроб с ее телом из Польши в Рим и похоронил ее на Кампо Санто.)

В Риме у нас на Бабуино собственный дом, называется он «Каза Озориа» – по нашему фамильному гербу. Дом этот немного напоминает музей, у отца собраны здесь коллекции поистине замечательные, и особенно богато представлены первые века христианской эры. Теперь эти коллекции составляют главное содержание его жизни. В молодости отец был человек выдающийся по уму и внешности. И так как притом знатность и большое состояние открывали перед ним все дороги, ему предсказывали блестящее будущее. Я слышал это от его товарищей по Берлинскому университету. В те времена он усиленно изучал философию, и все утверждали, что имя его со временем станет по меньшей мере столь же знаменито, как имена Цешковского, Либельта и других.[1] Светская жизнь и неслыханный успех у женщин отвлекали его от серьезной научной работы. В светских гостиных его называли Leon l'Invincible[2]. Впрочем, успехи эти не мешали ему по-прежнему заниматься философией, и все ожидали, что не сегодня-завтра он выпустит в свет замечательную книгу, которая принесет ему всеевропейскую славу.

Ожидания эти не сбылись. А от блистательной внешности и в старости оставалось еще кое-что – я в жизни не встречал головы благороднее и прекраснее. Художники того же мнения, и еще недавно один из них говорил мне, что более совершенный тип патриция трудно себе представить. В науке же отец был, есть и останется только очень способным и высокообразованным шляхтичем-дилетантом. Я склонен думать, что дилетантизм – удел всех Плошовских, и подробнее скажу об этом в дневнике тогда, когда придется говорить о самом себе. Об отце же скажу еще, что он хранит до сих пор в ящике письменного стола свой пожелтевший от времени философский трактат «О тройственности». Я эту рукопись как-то перелистал – и она нагнала на меня скуку. Помню только, что в ней сопоставляется триоца реальная – кислород, водород и азот – с триоцей трансцендентальной, выдвинутой христианским учением в виде понятия о боге-отце, боге-сыне и духе святом. Кроме того, отец приводит множество примеров подобных же триоц – начиная с добра, красоты и правды и кончая логическим силлогизмом, слагающимся из посылки большей, посылки меньшей и вывода, – удивительная мешанина идей Гегеля с идеями Гене-Вронского[3], теория весьма сложная и абсолютно бесплодная. Я убежден, что отец никогда не станет этого печатать, хотя бы уже потому, что разочаровался в умозрительной философии еще раньше ее банкротства во всем мире.

Причиной этому была смерть моей матери. Отец, вопреки своему прозвищу «Непобедимый» и репутации покорителя сердец, был человеком в высшей степени чувствительным и мать мою просто боготворил. Потеряв ее, он, вероятно, искал в своей философии ответа на многие «проклятые» вопросы и, не найдя в ней ни ответа, ни утешения, понял, как она пуста, как бессильна перед горестями жизни. Да, он, должно быть, пережил ужасную трагедию, лишившись сразу двух жизненных опор; сердце его было растерзано, ум потрясен. Тогда-то он и впал в меланхолию, а когда излечился от нее, вернулся к религии. Мне рассказывали, что одно время он дни и ночи проводил в молитве, на улице становился на колени у каждой церкви и доходил до такого религиозного экстаза, что в Риме одни считали его

помешанным, другие – святым.

И, видно, он обрел в религии большее утешение, чем в своих философских «троицах», ибо постепенно успокоился и вернулся к действительности. Всю нежность своего сердца он изливал на меня, а его эстетические и умственные интересы сосредоточились на первых веках христианства. Ум его, живой и острый, требовал пищи. На второй год жизни в Риме он занялся археологией и другими науками, знакомящими с культурой древних времен. Мой первый гувернер, патер Кальви, очень хорошо знавший Рим, склонил отца к изучению Вечного Города. Лет пятнадцать назад отец познакомился и подружился с великим Росси, и оба они целые дни проводили в катакомбах. Благодаря своим незаурядным способностям отец скоро так изучил Рим, что удивлял своими познаниями самого Росси. Он не раз принимался писать о Риме, но почему-то никогда не доводил начатого до конца. Быть может, все время уходило у него на пополнение коллекций. И, вернее всего, он не оставит после себя ничего, кроме этих коллекций, потому что не ограничился изучением одной эпохи и не избрал себе одну какую-нибудь специальность. Постепенно средневековый Рим баронов заинтересовал его не меньше, чем первые века христианства. Одно время он был поглощен только историей родов Колонна и Орсипи, потом занялся эпохой Возрождения и увлекся ею до самозабвения. От изучения надписей, гробниц, первых памятников христианской архитектуры он перешел к позднейшим временам, от византийской живописи – к Фьезоле и Джотто, от них – к другим художникам XIV и XV веков; любовно собирал картины, скульптуру. Его коллекции, несомненно, выиграли от этого, но задуманное им великое произведение на польском языке – книга о трех Римях – так и осталось в числе неосуществленных замыслов.

Относительно своих коллекций у отца родилась прелюбопытная идея: он хочет завещать их Риму, но с тем условием, чтобы их поместили в отдельном зале с надписью над входом: «Музей Озориев-Плошовских». Разумеется, воля его будет исполнена. Странно только, что отец уверен, будто таким образом он окажет своим соотечественникам большую услугу, чем если бы перевез эти коллекции в Польшу.

Недавно он сказал мне:

– Понимаешь, там их никто не увидит и никому от них не будет пользы, а в Рим приезжают люди со всего света, и каждый из них, побывав в этом музее, припишет всему польскому народу заслугу одного поляка.

Нет ли тут доли фамильного тщеславия и не повлияла ли на решение отца мысль, что имя Плошовских будет высечено на мраморе в Вечном Городе? Мне, его сыну, неудобно в этом разбираться. Однако скажу прямо – по-моему, так оно и есть. Ну, а мне в конце концов довольно безразлично, где будут находиться отцовские коллекции.

Зато мою тетушку (к которой я, кстати сказать, на днях еду в Варшаву) глубоко возмущает намерение отца оставить навсегда свои коллекции в Риме. А тетушка – такая женщина, которой ничто на свете не может помешать высказать напрямик то, что она думает. Вот она и выражает свое негодование без всяких обиняков в каждом письме к отцу. Несколько лет назад она приезжала в Рим, и тогда они с отцом каждый день спорили по этому поводу и, быть может, поссорились бы окончательно, если бы безмерная привязанность тетушки ко мне не умеряла ее запальчивости.

Тетушка несколькими годами старше моего отца. Уезжая из Польши после постигшего его несчастья, отец при разделе имущества взял свою часть деньгами, а ей оставил родовое поместье Плошов. Тетушка хозяйничает там вот уже больше тридцати лет, и

хозяйничает превосходно. Она – женщина в своем роде замечательная, и потому я скажу о ней несколько слов. В двадцать лет она была помолвлена с одним молодым человеком, а он умер за границей как раз тогда, когда тетушка собралась ехать к нему. С тех пор она отказывала всем, кто к ней сватался, и осталась старой девой. После смерти моей матери она сопровождала отца в Вену, а потом в Рим, где прожила с нами несколько лет, окружая брата самыми нежными заботами. Любовь эту она потом перенесла на меня. Она – настоящая *grande dame*[4], немного деспотична и высокомерна, не стесняясь, рубит что хочет всем в глаза, полна той самоуверенности, которую дают богатство и высокое положение в свете, а при всем том эта женщина – воплощенное благородство и прямотушие. Под ее внешней суровостью скрывается всепрощающее золотое сердце, полное любви не только к своим – к моему отцу, ко мне, домочадцам, – но и ко всем людям вообще.

Тетушка так добродетельна, что я, право, не знаю, ставить ли ей это в заслугу, – ведь она попросту не способна быть иной. Благотворительность ее вошла в поговорку. Она гоняет деревенских баб и нищих не хуже полицейского, но опекает их, как святой Винцент а Пауло.

Тетушка очень набожна. Никогда и тень сомнения не закрадывалась ей в душу. Все, что она делает, делается в силу непреложных принципов, и она никогда не колеблется в выборе пути. Оттого она всегда покойна и очень счастлива. В Варшаве ее за резкость прозвали «*le bourreau bienfaisant*»[5].

Некоторые люди, особенно женщины, ее не любят. Но, в общем, тетушка пользуется большим уважением во всех слоях общества.

Плошов находится недалеко от Варшавы, а в Варшаве у тетушки есть собственный дом. Поэтому зиму она проводит в городе. И каждую зиму настойчиво приглашает меня к себе, надеясь меня женить. Вот и сейчас я получил от нее письмо, полное таинственных намеков, в котором она закликает меня приехать. Что ж, надо будет съездить: я давно не был на родине, и к тому же тетушка пишет, что стареет и хотела бы повидать меня, пока жива.

Признаюсь, не радует меня эта поездка. Знаю – тетушка жаждет женить меня, это ее заветная мечта. Но каждый раз, когда я гощу у нее, ее постигает горькое разочарование. При одной мысли о таком решительном шаге, как женитьба, мне становится страшно. Ведь это значило бы начать какую-то другую, новую жизнь, а меня и та, что прожита, порядком утомила. Наконец, ехать к тетушке мне неохота еще и потому, что меня несколько смущает ее отношение ко мне. Она видит во мне (как некогда все знакомые – в моем отце) человека исключительно одаренного, от которого следует ожидать великих дел. Оставляя ее в этом заблуждении, я как бы злоупотребляю ее доверчивостью. Объяснить же ей, что от меня не только великих дел, но и вообще ничего ждать не приходится, значило бы предопределять будущее, которое пока только весьма вероятно, и притом нанести старушке тяжелый удар.

На мою беду, быть может, многие близкие мне люди разделяют мнение тетушки. Раз уж к слову пришлось, следует высказать здесь и мою собственную точку зрения. Но это будет нелегко, поскольку я – существо в высшей степени сложное.

Я родился на свет с крайне впечатлительными нервами, утонченными культурой многих поколений. В первые годы детства воспитывала меня тетушка, а когда она уехала на родину, – ее, как принято в наших семьях, сменили бонны. Жили мы в Риме, на чужбине, а отец хотел, чтобы я хорошо знал родной язык, поэтому одна из моих бонн была полька. Она поныне живет у нас в доме на Бабуино – ведет

хозяйство. Отец и сам усердно занимался со мною; особенно много времени я проводил с ним начиная с пятилетнего возраста. Я приходил к нему в кабинет, и беседы наши чрезвычайно способствовали моему развитию, пожалуй, даже преждевременному. Позднее, когда научная работа, археологические изыскания и пополнение коллекций отнимали у отца все время, он пригласил ко мне учителя, патера Кальви, человека пожилого, глубоко верующего, с удивительно ясной душой. Больше всего на свете он любил искусство. Думается мне, он и религию воспринимал прежде всего с ее эстетической стороны. Созерцая в музеях шедевры искусства или слушая музыку в Сикстинской капелле, мой учитель приходил в настоящий экстаз. Однако в его страсти к искусству не было ничего языческого, в основе ее лежало не сибаритство, не чувственное наслаждение. Патер Кальви любил искусство той чистой и светлой любовью, какой, вероятно, любили его Фьезоле, Чимабуэ или Джотто; притом в этом чувстве было много смиренного преклонения, ибо сам он не обладал никакими решительно талантами. Чем более он сознавал свое бессилие, тем глубже чувствовал красоту, созданную другими. Трудно сказать, какое из искусств он предпочитал, – мне кажется, он во всем любил прежде всего гармонию, отвечающую гармонии его души.

Не знаю почему, всякий раз, когда я вспоминаю патера Кальви, передо мной встает тот старец на картине Рафаэля, который стоит подле святой Цецилии, словно заслушавшись музыки сфер.

Отец и патер Кальви скоро стали друзьями и оставались ими до самой смерти моего воспитателя. Именно он поддерживал интерес отца к археологии и к Вечному Городу. Кроме того, этих двух людей сблизила привязанность ко мне. Оба считали меня необычайно одаренным ребенком, подающим бог весть какие надежды в будущем. Мне теперь часто приходит в голову, что я был для них обоих тоже своего рода гармонией, дополняющей мир, в котором они жили, и любовь их ко мне имела нечто общее с тем чувством, которое вызывал в них Рим и его достопримечательности.

Такая атмосфера, такое окружение не могли не сказаться на мне. Воспитывали меня довольно своеобразно. Я с патером Кальви, а часто и с отцом посещал картинные галереи, музеи, бродил по загородным виллам, руинам, катакомбам. Красоты природы производили на патера Кальви впечатление столь же сильное, как и чудеса искусства. И под его влиянием я рано научился чувствовать меланхолическую поэзию римской Кампаньи, гармоничность рисующихся на фоне неба арок и линий разрушенных водопроводов, чистоту контуров пиний. Мне, мальчику, еще нетвердо знавшему четыре правила арифметики, случалось в картинных галереях поправлять англичан, которые путали Карраччи с Караваджо. Латыни я выучился рано, это было мне легко, ибо, как житель Рима, я свободно говорил по-итальянски. В одиннадцать лет я уже высказывал суждения о мастерах живописи Италии и других стран, и эти суждения, при всей своей наивности, заставляли патера Кальви и отца обмениваться изумленными взглядами. Так, например, я не любил Риберы – чересчур резкие контрасты черного и белого немного пугали меня – и любил Карло Дольчи. Словом, в нашем доме и домах всех наших друзей я считался чудо-ребенком. Я слышал не раз, как меня хвалили, и похвалы эти разжигали во мне тщеславие.

Обстановке, в которой я рос, я обязан и тем, что нервы у меня навсегда остались крайне впечатлительными. Однако вот что странно: воспитание повлияло на меня не так глубоко, как следовало ожидать. То, что я не посвятил себя искусству, объясняется, наверное, отсутствием талантов, хотя мои учителя музыки и рисования были на этот счет другого мнения. Но почему ни отец, ни патер Кальви не сумели хотя бы привить мне своей страсти к искусству, – вот над чем я часто задумываюсь. Понимаю я искусство? Да. Нужно оно мне? Тоже да. Но они его

действительно любили, а я отношусь к нему как дилетант, и оно мне нужно не более, чем всякие другие приятные впечатления и сладостные утехи в жизни. В общем, у меня к нему склонность, но не страсть. Я не мог бы, пожалуй, обойтись без искусства в жизни, но всю жизнь не посвятил бы ему.

Так как школы в Италии оставляют желать лучшего, отец послал меня учиться в Метц, и я окончил тамошнюю коллегию без особых усилий и со всеми отличиями и наградами, какие только возможно было получить. Правда, за год до окончания я бежал к карлистам и два месяца бродил в Пиренеях с отрядом Тристана. Меня разыскали при содействии французского консула в Бургосе и отправили в Метц искупать вину. Впрочем, должен сказать, что покаяние оказалось не особенно тяжелым, ибо в глубине души и отец и наставники были горды моим поступком. И наконец большими успехами на экзаменах я скоро заслужил полное прощение.

Конечно, в такой школе, как наша, все учащиеся были за Дон-Карлоса и потому видели во мне героя. А так как я притом еще был первым учеником, то и верховодил всеми в школе, и никому из мальчиков в голову не приходило оспаривать мое первенство. Я рос в безотчетном убеждении, что и в будущем, на более широком поприще, меня ждет то же самое. Эту уверенность разделяли мои учителя и товарищи. А между тем что получилось? Многие мои школьные товарищи, которые не думали, не гадали, что когда-нибудь смогут со мной соперничать, сейчас во Франции заняли видное место в литературе, науке, политике, а я до сих пор даже не избрал себе профессии и, право, был бы в сильном затруднении, если бы мне приказали это сделать. У меня прекрасное положение в обществе, я получил наследство после смерти матери, получу когда-нибудь и от отца, буду хозяйничать в Плошове и – худо ли, хорошо ли – распоряжаться большим состоянием, но уже самый круг этих занятий исключает возможность выдвинуться, сыграть какую-нибудь роль в мире.

Хорошего хозяина и администратора из меня тоже никогда не выйдет – это я отлично знаю. Ибо хотя я не собираюсь отказываться от этих занятий, но и посвятить им всю жизнь тоже не желаю по той простой причине, что мои духовные запросы гораздо шире.

Иногда я задаю себе вопрос: уж не обманываемся ли мы, Плошовские, не слишком ли мы высокого мнения о своих способностях? Но если бы это было так, то заблуждались бы только мы одни, а не люди чужие, беспристрастные. И наконец отец мой действительно был и есть человек незаурядный, исключительно одаренный. А о себе я не стану распространяться, ибо это могло бы показаться глупым тщеславием. Все же я искренне убежден, что мог бы стать чем-то неизмеримо большим, чем стал.

Взять хотя бы Снятынского, с которым мы вместе учились в Варшавском университете (отец и тетюшка пожелали, чтобы университет я окончил на родине). Оба мы считали литературу своим призванием и пробовали силы на этом поприще. Не говоря уже о том, что меня считали способнее Снятынского, – ей-богу, все, что я тогда писал, было гораздо лучше и больше обещало в будущем, чем то, что писал Снятынский. И что же? Снятынский достиг сравнительно многого, я же остался тем же «многообещающим» паном Плошовским, о котором люди, покачивая головами, твердят: «Эх, если бы только он за что-нибудь взялся!»

Люди не принимают во внимание того, что не всякий способен сильно хотеть. Я часто думаю: не будь у меня никакого состояния, я был бы вынужден чем-нибудь заняться ради куска хлеба. Тем не менее остаюсь при глубоком внутреннем убеждении, что даже тогда я не использовал бы и двадцатой доли своих

способностей. Но в чем же дело? Ведь вот Дарвин и Бокль были богатые люди, сэр Джон Леббок – банкир, большинство знаменитых людей Франции купаются в деньгах. Выходит, что богатство не только не мешает, но помогает человеку выдвинуться на любом поприще. Я даже склонен думать, что мне лично оно оказало большую услугу: уберегло характер от всяких вывихов, которыми грозила бы ему бедность. (Я этим вовсе не хочу сказать, что характер у меня слабый и, кроме того, борьба могла бы даже его закалить. Но, как бы то ни было, чем меньше встречаешь на дороге камней, тем меньше рискуешь споткнуться или упасть.)

И не лень виновата в том, что из меня ничего не вышло. Моя способность легко все усваивать равна моей любознательности. Я много читаю и много знаю. Быть может, я спасовал бы там, где нужны железная стойкость и терпение, длительная, кропотливая и серьезная работа, но ведь легкость, с какой мне все дается, могла бы возместить это. И, наконец, никто меня не обязывает составлять словари, как Литтре. Когда не можешь светить с постоянством солнца, так можешь по крайней мере блеснуть на миг, как метеор. А это бездействие в прошлом и, по всей вероятности, в будущем!.. Мысль о нем вызывает у меня душевную оскороину, начинает одолевает тоска, поэтому сегодня писать больше не буду.

Рим, 10 января

Вчера на вечеру у князя Малатеста я случайно услышал выражение «l'improductivite slave»[6] и вздохнул с облегчением, как те люди с большими нервами, которые, узнав от врача, что болезнь их известна и ею страдают многие, находят в этом утешение. Правда, правда, много у меня товарищей по несчастью! Не знаю, во всех ли славянских странах, я там не бывал, но сколько их у нас в Польше! Всю ночь я думал об этой «l'improductivite slave». Автор этой формулировки – человек неглупый. Да, есть в нас что-то такое, – неспособность проявить в жизни все то, что в нас заложено. Можно сказать, бог дал нам лук и стрелы, но лишил способности натягивать тетиву и пускать стрелы. Я охотно потолковал бы об этом с отцом – тем более что он любит такие беседы, но боюсь разбередить его раны. Зато уж дневник мой, конечно, будет полон рассуждений на эту тему. И, может, это хорошо, – может, в этом будет его главное достоинство. Разумеется, я хочу писать о том, что более всего меня волнует, это вполне естественно. Каждый человек таит в себе какую-то свою трагедию. И моя трагедия – в фамильной improductivite Плошовских. В наше время не принято выдавать такие тайны. Еще недавно, когда романтизм пышно цвел и в поэзии и в сердцах, человек драпировался в свою трагедию, как в эффектно накинутый плащ, а теперь он носит ее, как егерскую фуфайку, под рубашкой. Но дневник – дело другое: в дневнике и можно и должно быть откровенным.

Рим, 11 января

Я пробуду здесь еще несколько дней и хочу воспользоваться ими для того, чтобы на страницах дневника обозреть прошлое и покончить с этим раз навсегда, прежде чем перейду к записыванию событий изо дня в день. Я уже говорил, что вовсе не собираюсь писать подробную автобиографию. Будущее в достаточной степени покажет, что я за человек. А кропотливо разбираться в прошлом противно моей натуре. Это занятие столь же докучливое, как арифметическое сложение: пишешь цифры одну под другой, потом проводишь черту и складываешь их. Всю жизнь я воевал с четырьмя правилами арифметики, а больше всего терпеть не мог сложение.

Однако надо же иметь некоторое, хотя бы самое общее представление о сумме всех слагаемых, то есть стать самому себе более понятным. Поэтому я продолжаю.

После университета я окончил еще сельскохозяйственную школу во Франции;

агрономия давалась мне легко, но особого влечения к ней я не чувствовал. Я снизошел до нее, зная, что в будущем мне, несомненно, придется заниматься сельским хозяйством, но считал, что такие занятия никак не соответствуют моим способностям и духовным запросам. Однако ученье в институте принесло мне двойную пользу. Во-первых, сельское хозяйство больше не будет для меня китайской грамотой и никакой управляющий меня не проведет. Во-вторых, благодаря практике в поле, на открытом воздухе, я накопил немалый запас здоровья и сил, благодаря чему довольно успешно выдерживал впоследствии тот образ жизни, какой вел в Париже.

По окончании института я жил то в Риме, то в Париже, если не считать поездок ненадолго в Варшаву, куда меня время от времени вызывала тетушка, то ли стосковавшись по мне, то ли надеясь женить меня на какой-нибудь вертушке, которая пришлось ей по нраву. Париж и парижская жизнь нравились мне безмерно. В те годы я был о себе высокого мнения, верил в свой ум больше, чем теперь, и отличался той самонадеянностью, какую дает независимое положение. Однако некоторое время я вел себя на арене большого света как наивный новичок. Начал с того, что безумно влюбился в мадемуазель Ришемберг, актрису театра Comedie Francaise, и непременно хотел на ней жениться. Не буду описывать всех трагикомических перипетий – вспоминать эту историю мне теперь немного стыдно, а подчас и смешно. Позднее меня еще не раз оставляли в дураках, не раз мне случалось принимать фальшивую монету за настоящую. Француженки (да, впрочем, и польки тоже) – хотя бы принадлежали к самому лучшему обществу и при этом были добродетельны, – пока молоды, напоминают мне фехтовальщика на шпагах: ему необходимо ежедневно практиковаться, чтобы не утратить приобретенной ловкости, и они тоже фехтуют чувствами просто для тренировки. Так как я был человек молодой, из высшего круга и не урод, меня частенько приглашали для таких упражнений. А я по наивности принимал это фехтование всерьез, и потому мне не раз крепко доставалось. Правда, рапы были не смертельные, но довольно болезненные. Впрочем, я убежден, что в таком обществе и в такой жизни, как наша, каждый неизбежно отдает дань наивности. Мои испытания продолжались сравнительно недолго. Затем наступил период «реванша». Я отплачивал за себя, и если меня иногда еще обманывали, то лишь потому, что я хотел быть обманутым.

Так как передо мной были открыты все двери, я имел возможность ознакомиться с различными кругами общества, начиная с легитимистов (в их домах я всегда скучал) и кончая новоиспеченной и пышно титулованной аристократией, созданной Бонапартами и Орлеанской династией и составляющей «высший свет» если и не Парижа, то хотя бы Ниццы. Дюма-сын, Сарду и другие берут своих героев, графов, маркграфов и князей именно из этого круга, где люди, у которых нет великих исторических традиций, но титулов и денег хоть отбавляй, заняты только погоней за наслаждениями. К этому кругу принадлежат и крупные финансисты. В таком обществе я бывал главным образом ради женщин, которых там встречал. У женщин этого круга утонченные нервы, они жаждут впечатлений и наслаждений и, в сущности, не имеют никаких идеалов. Среди них часто встречаются развратницы, столь же безнравственные, как романы, которыми они зачитываются, ибо нравственность здесь не имеет опоры ни в религии, ни в обязывающих традициях. При все том это общество весьма блестящее. «Часы фехтования» в нем долги, продолжают целые дни и ночи и бывают опасны, ибо тут не в обычае надевать колпачки на острия рапир. Я и здесь получал весьма жестокие уроки, пока сам достаточно не натренировался. Распространяться о своих успехах было бы доказательством пустого тщеславия, а главное – дурного вкуса. Скажу только, что старался, как мог, поддержать традиции отцовской молодости.

Низшие слои этого общества соприкасаются в какой-то мере с наивысшими кругами полусвета. А полусвет опаснее, чем это кажется на первый взгляд, – ибо он ничуть не стандартен. Его цинизм скрыт под маской «артистичности». И если меня там не слишком ощипали, то только потому, что я пришел туда уже с довольно хорошо отточенными клювом и когтями.

Вообще о парижской жизни можно сказать, что каждый, кто вырвется из этой мельницы, чувствует себя несколько усталым, особенно если, как я, оставляет ее лишь на время и возвращается обратно. Только позднее начинаешь понимать, что твои успехи – это пирровы победы. Мой крепкий от природы организм довольно сносно выдерживал такую жизнь, но нервы истрепались.

Зато Париж, во всяком случае, имеет одно преимущество перед всеми другими центрами культурной жизни. Я не знаю другого города в мире, где зачатки науки, искусства, всяких общечеловеческих идей до такой степени носились бы в воздухе и впитывались в умы, как в Париже. Здесь не только усваиваешь безотчетно все, что есть нового в умственной жизни человечества, но и обретаешь многогранность, становишься интеллигентнее и культурнее. Да, повторяю – культурнее. Ибо в Италии, Германии и Польше я встречал людей большого ума, не желавших, однако, допускать, что может существовать что-либо за пределами их влияния; людей, столь варварски замкнувшихся в своей скорлупе, что для тех, кто не хочет отказываться от своего собственного мировоззрения, общение с ними попросту невозможно.

Во Франции же, точнее говоря – в Париже, ничего подобного не встретишь. Как быстрый поток обтачивает камни, заставляя их тереться друг о друга, так здесь течение жизни шлифует ум людей, делает их свободомыслящими. Естественно, что под таким влиянием и мой кругозор стал кругозором просвещенного человека. Я многое могу понять, не поднимаю крик, как самонадеянный павлин, когда слышу что-либо противоречащее моим взглядам или совершенно новое для меня. Быть может, такая широкая терпимость приводит к некоторому безразличию и лишает воли к действию, но мне себя уже не переделать.

Умственные течения моего времени увлекали меня. Светская жизнь, салоны, будуары, клубы отнимали много времени, но не поглощали меня целиком. Я завел многочисленные знакомства в мире науки и искусства и жил жизнью этого мира, живу ею до сих пор. Из врожденной любознательности я очень много читал, и так как я легко усваиваю прочитанное, то, смею сказать, значительно пополнил свое образование, иду более или менее в ногу с умственным прогрессом своего века.

Я – человек, досконально познавший самого себя. Иногда я мысленно посылаю к черту свое второе «я», которое вечно наблюдает, критикует меня, не дает отдаться целиком никакому впечатлению, никакому действию или чувству, никакому наслаждению, никакой страсти. Быть может, самопознание – признак высшего умственного развития, но оно вместе с тем сильно ослабляет восприимчивость. Заниматься всегда бдительной самокритикой – это значит выключить из внутренней жизни какую-то часть души и мозга, которая этим занята, – следовательно, жить не всем существом, а только другой его частью.

Это так же мучительно, как для птицы – летать на одном крыле. Кроме того, чересчур усиленное познание самого себя лишает человека способности действовать. Если бы не это, Гамлет сразу в первом же акте трагедии проткнул бы шпагой своего дядю и преспокойно унаследовал бы королевский престол.

Мое самопознание хотя порой и служит мне защитой, удерживая от какого-нибудь

необдуманного шага, но в гораздо большей степени докучает мне, не давая сосредоточиться и всецело отдаться одному делу. Во мне словно сидят два человека – один вечно все взвешивает и критикует, другой живет как бы только наполовину и теряет всякую решительность. Меня гнетет мысль, что я уже не освобожусь никогда от этого ярма, – ведь, несомненно, чем шире будет становиться мой кругозор, тем углубленнее самоизучение, и даже в свой смертный час я не перестану критиковать умирающего Леона Плошовского, если только горячка не помутит моего сознания.

Должно быть, я унаследовал от отца синтетический ум: я всегда стремлюсь обобщать явления, и ни одна наука не увлекала меня так, как философия. Однако во времена наших отцов философия была всеобъемлюща – сферой своей она считала не более не менее как всю вселенную и всеобщее бытие, а потому у нее имелся готовый ответ на любые вопросы. Ныне она образумилась. Признав, что философии всеобъемлющей не существует, она стала философией отдельных отраслей знания. Право, думая об этом, хочется сказать, что и человеческий разум пережил трагедию, и началась она именно с признания им своего бессилия. Поскольку дневник – дело личное, я буду говорить в нем о таких вещах только с моей личной точки зрения. Я не считаю философию своей специальностью, – как уже сказано, я человек без всякой специальности. Но, как все мыслящие люди, я интересуюсь новейшим течением в философии, я – под его влиянием и имею полное право говорить о том, что влияло на формирование моей души и ума.

Прежде всего должен отметить, что религиозные верования, вынесенные мною нетронутыми из коллегии в Метце, не устояли, когда я стал читать книги по философии естествознания. Но из этого вовсе не следует, что я стал атеистом. О нет! Это было хорошо в былые времена, – тогда, если кто не признавал «духа», он мог признавать власть материи и на этом успокаивался. А ныне только доморожденные философы занимают такую отсталую позицию. Ныне философия таких вопросов не предрешает, она отвечает на них «не знаю». И это свое «не знаю» усиленно внушает нам. Современная же психология занимается весьма точным анализом различных психологических явлений, а на вопрос о бессмертии души также отвечает «не знаю». И она действительно этого не знает, да и знать не может.

Теперь мне будет легче охарактеризовать состояние моего сознания. «Не знаю, не знаю, не знаю!» – вот чем оно исчерпывается. Это осознанное бессилие человеческого разума – подлинная трагедия. Не говоря уже о том, что человеческая душа всегда будет вопить, требуя ответа на волнующие ее вопросы, – ведь это же вопросы величайшей важности, реальнейшего значения для человека. Если на том свете есть что-то и нас ждет там вечность, то несчастья и утраты в земной жизни – ничто и о них можно было бы сказать словами Гамлета: «Черт с ним, с трауром, надену соболью мантию». «Я согласен умереть, – говорит Ренан, – если буду знать, на что нужна человеку смерть». А философия отвечает: «Н е з н а ю».

Человек мечется в этой страшной неизвестности, чувствуя, что, если бы мог уверовать во что-то одно, ему было бы легче и спокойнее. Но как же быть? Винить философию в том, что она не создает больше тех теорий, которые каждый день рассыпались подобно карточным домикам, а признала свое бессилие и занялась изучением и систематизацией явлений в границах, доступных человеческому уму? Нет! Но думается все-таки, что я и всякий другой человек вправе сказать ей: «Я восхищаюсь твоей трезвостью, преклоняюсь перед точностью твоих анализов, но при всем том ты сделала меня несчастным. Ты сама признаешь, что не в силах ответить на вопросы первостепенной для меня важности. Однако у тебя хватило силы подорвать мою веру, которая на эти вопросы давала мне ответ не только твердый, но и полный отрады и утешения. Не говори, что ты, ничего не утверждая, тем самым

позволяешь мне верить во что угодно. Неправда! Твои методы, твой дух, самая сущность твоя, все это – сомнения и критика. Твой научный метод – скептицизм и критику – ты так успешно привила моей душе, что они стали моей второй натурой. Словно каленым железом, выжгла ты во мне все те фибры души, которыми люди веруют просто и бесхитростно, так что сейчас, если бы я и хотел веровать, мне больше веровать нечем. Ты не запрещаешь мне ходить в церковь, если хочется, но отравила меня скептицизмом настолько, что теперь я скептически отношусь даже к тебе, даже к собственному неверию, и не знаю, не знаю, ничего не знаю, и мучаюсь, и бешусь в этой тьме!..»

Рим, 12 января

Вчера я писал с некоторой запальчивостью, но объясняется это, вероятно, тем, что пришлось коснуться язв и моей собственной и вообще человеческой души. Бывают в моей жизни периоды равнодушия к этим вопросам, но по временам они меня мучают немилосердно, тем более что их таишь в себе от всех. Лучше было бы, пожалуй, о них не думать, но это невозможно – слишком они важны. В конце концов человек хочет знать, что его ожидает и как ему прожить свою жизнь! Правда, я не раз пробовал убеждать себя: «Довольно! Из этого заколдованного круга не выйдешь, так нечего и входить в него!» У меня есть все для того, чтобы стать сытым и веселым животным, – но не всегда я могу этим удовлетворяться. Говорят, у славян природная склонность к мистицизму, интерес к потустороннему миру. Я заметил, например, что все наши великие писатели в конце концов впадали в мистицизм. Что же удивительного в том, что мучаются и обыкновенные люди? Я не мог не написать об этой внутренней тревоге: хочу дать ясную картину состояния своей души. К тому же человек по временам испытывает потребность оправдаться перед самим собой. Вот, например, я, нося в душе вечное «не знаю», соблюдаю, однако, предписания религии и все же не считаю себя человеком неискренним. Моя религиозность была бы лицемерием лишь в том случае, если бы я вместо «не знаю» мог сказать: «Знаю, что ничего этого нет». А наш современный скептицизм не есть прямое отрицание: нет, это скорее болезненно-мучительное подозрение, что, может быть, ничего нет. Это – густой туман, который царит у нас в мозгу, давит грудь, заслоняет нам свет. И я простираю руки к солнцу, которое, быть может, сияет за этой завесой тумана. И думаю, что в таком положении нахожусь не я один и что молитвы многих, очень многих из тех, кто ходит по воскресеньям к обедне, сводятся к трем словам: «Боже, рассея тьму!»

Я не могу хладнокровно писать о таких вещах. Предписания религии я соблюдаю еще и потому, что жажду веры. Ибо я воспитан в отрадном убеждении, что непереносимое следствие веры – благодать божья, и вот я жду этой благодати. Жду, чтобы мне было ниспослано свыше такое состояние души, при котором я мог бы веровать глубоко, без тени сомнений, как веровал ребенком. Таковы мои высшие стремления – в них нет ни капли своекорыстия, ибо гораздо выгоднее быть только сытым и веселым животным.

А захоти я объяснить свою внешнюю религиозность менее высокими и более практическими мотивами, их у меня найдется множество. Во-первых, выполнение некоторых обрядов с детства стало для меня почти неистребимой привычкой. Во-вторых, подобно Генриху Четвертому, который говорил, что «Париж стоит мессы», я говорю себе: «Спокойствие моих близких стоит мессы». Люди нашего круга соблюдают предписания религии, и моя совесть стала бы против этого восставать лишь в том случае, если бы я мог сказать себе нечто более положительное, чем «не знаю». Наконец я хожу в костел еще и потому, что я скептик в квадрате, то есть скептически отношусь даже к собственному неверию.

И оттого мне тяжело. Душа моя влачит одно крыло по земле. Но было бы еще хуже, если бы я эти вопросы всегда принимал так близко к сердцу, как сейчас, когда писал эти две странички дневника. К счастью, это не так. Как я уже говорил, у меня бывают периоды равнодушия к «проклятым вопросам». А порой жизнь заключает меня в объятия, и, хотя я знаю, чего стоят ее прелести, я отдаюсь ей весь, тогда гамлетовское «быть или не быть?» теряет для меня всякое значение. И вот удивительное явление, над которым люди еще мало задумываются: огромную роль играет при этом влияние окружающей атмосферы. В Париже, например, я гораздо спокойнее – не только потому, что меня оглушает шум этого водоворота, что я киплю в нем вместе с другими, что сердце мое и ум заняты «фехтованием», а потому, что там люди (быть может, безотчетно) живут так, как будто все они глубоко уверены, что в жизнь эту надо вложить все свои силы, ибо после нее не будет ничего, только химическое разложение. В Париже пульс мой начинает биться в унисон с общим пульсом, и я настраиваюсь соответственно окружающему меня настроению. Веселюсь я или скучаю, одерживаю победы или терплю поражения, – душа моя относительно покойна.

Рим, Бабуино, 13 января

До отъезда осталось только каких-нибудь четыре дня, а я хочу еще подытожить все то, что говорил о себе. Итак, я – человек несколько утомленный жизнью, крайне впечатлительный и нервный. Я довел до высокой степени свою способность самопознания, чему помогает сравнительно широкое образование, и, в общем, могу считать себя человеком умственно развитым.

Скептицизм мой, – так сказать, скептицизм в квадрате, – исключает наличие всяких непоколебимых убеждений. Я созерцаю, наблюдаю, критикую, и временами мне кажется, что улавливаю суть вещей; однако я всегда готов и в этом усомниться. Об отношении моем к религии я уже говорил. Что же касается политических убеждений, я – консерватор постольку, поскольку в моем положении быть им обязан, и к тому же консерватизм в известной степени отвечает моим вкусам и склонностям. Не приходится объяснять, как я далек от возведения консерватизма в непогрешимый догмат, не подлежащий критике. Я – человек слишком просвещенный, чтобы стать безоговорочно на сторону аристократии или демократии. Такие вещи занимают уже только нашу мелкопоместную шляхту или людей в тех далеких странах, куда идеи доходят, как и моды, с опозданием лет на двадцать. С тех пор как нет более привилегий, вопрос, по-моему, исчерпан; там же, где он еще существует вследствие отсталости общества, это уже вопрос не принципов, а пустого тщеславия и нервов. О себе скажу одно – я люблю людей развитых, с утонченной восприимчивостью, а ищу их там, где мне их легче найти.

Я люблю их так же, как люблю произведения искусства, красоты природы и прелестных женщин. Я, пожалуй, даже чересчур тонко чувствую красоту. Виною этому и врожденная впечатлительность, и полученное мною воспитание. Эта эстетическая восприимчивость приносит мне столько же радостей, сколько огорчений. Но она оказывала и оказывает мне одну большую услугу: спасает от цинизма, а значит – от окончательного развращения, и в известной мере заменяет мне нравственные устои. Многого я не мог бы делать не столько потому, что это дурно, сколько потому, что это некрасиво. Моя чувствительность к красоте – источник также и тонкости чувств. В общем, я, как мне кажется, человек, хотя и немного испорченный, но, во всяком случае, порядочный, однако, если говорить честно, вишу в воздухе, не опираясь ни на какие догматы, ни религиозные, ни общественно-политические. Нет у меня и цели, которой я мог бы посвятить жизнь.

В заключение еще несколько слов о моих способностях. Отец, тетушка, мои

товарищи, а подчас и люди посторонние считают их попросту выдающимися. Допускаю, что ум мой не лишен блеска. Но как же «l'improductivite slave»? Не развеет ли эта «славянская пассивность» возлагаемых на меня надежд? Учитывая то, что я до сих пор сделал, – вернее, то, что я до сих пор ничего не сделал не только для других, но даже для себя, – надо думать, что надежды эти не сбудутся.

Такое сознание стоило мне дороже, чем это может показаться. Ирония, с которой я отношусь к себе, имеет сильный привкус горечи. Видно, бесплодна та глина, из которой бог сотворил Плошовских: на ней все так легко и пышно всходит, но не дает зерна. Если бы при таком бесплодии и отсутствии действенной силы я обладал даже гениальными способностями, все равно из меня вышел бы лишь своеобразный тип «гения без портфеля», как бывают министры без портфеля.

Это определение «гений без портфеля», по-моему, довольно точно передает суть дела. Я мог бы взять патент на свое изобретение. Тут я утешаюсь все тем же: ведь не я один, ей-богу, не один я заслуживаю этого названия! Имя нам легион! «L'improductivite slave» существует сама по себе, а «гений без портфеля» – сам по себе, он – продукт исключительно наш, польский, с берегов Вислы. Я не знаю ни одного уголка земли, где пропадало бы напрасно столько блестящих дарований и где даже те, кто дает кое-что миру, дают так мало, такую ничтожную малость по сравнению с тем, чем наградил их господь!

Рим, Бабуино, 14 января

Второе письмо от тетушки. Настаивает, чтобы я поскорее приезжал. Еду, дорогая тетя, еду – и видит бог, только из любви к тебе, иначе предпочел бы остаться здесь. Отец нездоров, у него по временам немеет вся левая половина тела. Уступая моим просьбам, он вызвал врача, но я уверен, что прописанные ему лекарства он, по своему обыкновению, запрет в шкаф – и только. Так он поступает уже много лет. Как-то раз он открыл шкаф и, указывая на целую батарею склянок, бутылок, банок, баночек, коробочек, сказал мне: «Помилуй, если бы все это проглотить и выпить, то самый крепкий, здоровый человек не выдержал бы, а что уж говорить о больном». До сих пор такое отношение отца к медицине не имело особенно дурных последствий, но меня тревожит будущее.

Второе, из-за чего мне не хочется ехать в Польшу, – замыслы тетушки. Ясно, что она хочет меня женить. Не знаю, есть ли у нее уже кто на примете, – и дай бог, чтобы не было! – но намерений своих она вовсе не скрывает. «Легко предугадать, что из-за такого жениха, как ты, сразу же вспыхнет война Алой и Белой розы», – пишет она. Но я устал, не хочу быть причиной какой бы то ни было войны, а главное – не хотел бы, как некогда Генрих VII, женитьбой положить конец войне Роз. Есть еще кое-что, чего я тете, разумеется, сказать не могу, но от самого себя не скрываю: я не люблю полек. Мне тридцать пять лет, и у меня, как у всякого пожилого человека, были в прошлом разные любовные истории. Сходилась я и с польками и из всех этих встреч и связей вынес впечатление, что польки – настоящие мучительницы, самые несносные женщины на свете. Может, они и добродетельнее француженок или итальянок, не знаю; одно только знаю – что они гораздо охотнее пускают в ход патетику. Меня бросает в дрожь, как подумаю об этом. Я понимаю элегию над разбитым кувшином, когда в первый раз увидишь у ног своих его черепки. Но декламировать эту элегию с тем же пафосом над кувшином, который много раз уже разбивался и потом скреплялся проволокой, – это, право же, смахивает на оперетку. Хороша роль «растроганного слушателя», который, приличия ради, вынужден принимать это всерьез!

Странные, непостижимые женщины, женщины с пылким воображением и рыбьей кровью! В

любви их нет ни радости, ни простоты. Они увлекаются внешними формами чувства, мало интересуясь его внутренним содержанием. Поэтому никогда невозможно предвидеть, как полька поведет себя. Имея дело с француженкой или итальянкой, ты, если твои предпосылки логичны, можешь более или менее уверенно предсказать следствие. С полькой – никогда! Кто-то сказал: иногда мужчина, ошибаясь, утверждает, что дважды два – пять, и его можно поправить. Женщина же будет утверждать, что дважды два – лампа, и тогда хоть головой об стену бейся! Так вот по логике полек иногда выходит, что дважды два – не четыре, а лампа, любовь, ненависть, кот, слезы, долг, воробей, презрение... Словом, тут ничего невозможно предвидеть и рассчитать, и ты ни от чего не застрахован. Быть может, благодаря этим волчьим ямам добродетель полек в большей безопасности, чем добродетель других женщин, – уже хотя бы потому, что осаждающих скоро одолевает скука смертная. Но вот что я заметил и вот чего не могу простить нашим польским дамам: их капканы, западни, ограды, их отчаянная самозащита – все это пускается в ход не для решительного отпора противнику, а ради сильных ощущений, которые дает борьба.

Однажды я заговорил об этом (разумеется, усиленно стараясь позолотить пилюлю) с одной умной женщиной, полькой только наполовину, так как отец ее – итальянец. Выслушав меня, она сказала:

– У вас на этот счет такая же точка зрения, как у лисы на голубятник. Лисе не нравится, что голуби живут так высоко и летают выше кур. Вас сердит это самое. А ведь все, что вы говорили, – скорее похвала полькам.

– Как так?

– Очень просто: чем несноснее для вас полька, когда она – чужая жена, тем желательнее она в качестве вашей собственной.

Меня, как говорится, приперли к стене, и я ничего не мог возразить. Притом, может быть, я и вправду немного напоминаю лисицу у голубятни. И несомненно одно: если бы я вздумал жениться, а в частности – жениться на польке, я искал бы эту польку среди голубей, летающих высоко, и более того – среди белых голубей.

Впрочем, я вполне согласен с той рыбой, которая на вопрос, под каким соусом она хочет быть приготовлена, отвечает, что прежде всего она вообще не хочет быть съедена. И тут я снова возвращаюсь к упрекам вам, милые соотечественницы. Вам драма в любви милее, чем сама любовь. В каждой из вас сидит королева, и этим вы резко отличаетесь от других женщин; каждая из вас полагает, что, позволив себя любить, она уже этим одним оказывает великую милость и благодеяние, ни одна не согласится заполнить собой только часть жизни мужчины, а ведь перед ним стоят и другие цели. Вы хотите, чтобы мы существовали для вас, а не вы – для нас. Наконец, детей своих вы любите больше, чем мужа. Удел его – удел сателлита, я это замечал не раз. Да, все вы таковы. Только иногда попадаются исключения, как алмазы, сверкающие среди простого песка. Нет, мои королевы, позвольте мне поклоняться вам издали.

Раз навсегда отодвинуть на второй план все цели, все идеалы, чтобы изо дня в день кадить пред алтарем женщины – и притом собственной жены! Ну, нет, сударыни, это маловато для мужчины!

Правда, голос трезвой самокритики тут же меня вопрошает: «А, собственно, что ты можешь делать лучшего? Есть у тебя какие-нибудь планы, цели в жизни? Если кто

создан для того, чтобы стать жертвенным агнцем на чьем-нибудь алтаре, – так это ты».

Нет, черт возьми! Жениться – значит переменить образ жизни, отказаться от своих привычек, удобств, склонностей, вкусов, и вознаградить за это могла бы разве только любовь подлинно великая. А со мной так не будет. Для женитьбы нужны безграничная вера в женщину и сильная воля, а у меня ни того, ни другого. Повторяю: «Не хочу я, чтобы меня съели под каким бы то ни было соусом».

Варшава, 21 января

Я приехал только сегодня утром. По дороге сделал остановку в Вене, так что дорога меня не очень утомила. Уже поздно, но нервы расходились и не дают мне уснуть. Поэтому принимаюсь за дневник. А ведь занятие это действительно вошло у меня в привычку и доставляет мне некоторое удовольствие.

Как обрадовались мне дома! И какая славная женщина моя тетушка! От радости она за обедом ничего не ела, а теперь, наверное, не спит, как и я. В Плошове она постоянно ссорится со своим управляющим, паном Хвастовским, весьма строптивым шляхтичем, который ей спуска не дает и огрызается на каждое замечание. Но когда их спор обостряется настолько, что разрыв кажется неизбежным, тетушка умолкает и начинает есть с большим аппетитом, даже с каким-то ожесточением. Сегодня ей пришлось удовольствоваться только тем, что она бранила прислугу, а этого ей мало. Все-таки она весь день пребывала в чудесном настроении, и во взглядах, которые она все время бросала на меня из-под очков, было столько безграничной нежности, что просто описать невозможно. Все знакомые твердят, что я ее кумир, и тетушку это очень сердит.

Конечно, мои предположения и опасения были справедливы. Здесь не только замышляют меня женить, но уже кого-то для меня присмотрели. Тетя имеет привычку после обеда ходить большими шагами из угла в угол и думать вслух. Таким образом, как ни старалась она сохранить все в тайне, я услышал следующий монолог:

– Молод, красив, богат, гениален – дура она будет, если не влюбится в него с первого взгляда!

Завтра едем на праздник, который молодежь устраивает для дам. Уверяют, что будет очень весело.

Варшава, 25 января

Как homo sapiens, я часто на балах скучаю, а как всякий кандидат в мужья, их не выношу, но иногда наслаждаюсь ими, как художник, – разумеется, художник без портфеля. До чего же красива, например, широкая, ярко освещенная и убранная цветами лестница, по которой поднимаются дамы в бальных нарядах! Все они в это время кажутся очень высокими, а когда смотришь снизу, как они идут, волоча за собой по ступеням длинные шлейфы, приходят на память ангелы, которых видел во сне Иаков. Люблю оживление балов, залитые огнями залы, цветы, легкие ткани, светлой дымкой облегающие молодых девушек. А как хороши обнаженные шеи, груди и плечи, когда, освобожденные от накидок, они как будто застывают и кажутся мраморными. Здесь все тешит не только глаз, но и обоняние: я обожаю хорошие духи.

Праздник удался на славу. Надо отдать справедливость Сташевскому – он умеет устраивать такие развлечения. Я приехал с тетушкой, но в вестибюле нас тотчас разлучили – Сташевский сошел с лестницы специально для того, чтобы предложить ей

руку и повести наверх. Моя старушка во всех торжественных случаях неизменно появляется в длинной горностаевой накидке, которую все знакомые шутливо называют «заслуженная пелерина».

Войдя в зал, я остановился неподалеку от двери, чтобы осмотреться. А странное испытываешь чувство, когда после многолетнего отсутствия вдруг очутишься среди земляков! Я тогда остро сознаю, что они мне ближе всех, кого я встречал на чужбине, но в то же время пытливо в них всматриваюсь, наблюдаю их со стороны, как иностранец. В особенности интересно мне наблюдать женщин.

Что ни говори, общество у нас в Польше блестящее. Я видел вокруг лица красивые и некрасивые, но на всех лежал отпечаток утонченной, создававшейся веками культуры. Шеи и плечи женщин напоминали северский фарфор, и этому не мешала даже заметная у иных округлость форм. В них есть какое-то спокойное изящество и законченность очертаний. Какие ножки я видел, какие руки, какие линии головы! Право, здесь не подражают Европе, здесь – подлинная Европа.

Я простоял у дверей с четверть часа, размышляя так и пытаюсь угадать, какую из этих головок, какой из этих стройных станов тетушка предназначает для меня. Между тем приехали Снятынские. С ним я виделся в Риме несколько месяцев назад, с ней тоже знаком. Она мне очень нравится – у нее удивительно милое лицо, и она из тех редких в Польше женщин, которые не требуют, чтобы муж посвятил им всю жизнь, а отдают ему свою.

Через минуту к нам подошла какая-то молодая девица, поздоровалась со Снятынской, потом протянула мне ручку в белой перчатке и спросила:

– Не узнаешь меня, Леон?

Ее вопрос меня озадачил – в первую минуту я действительно не мог припомнить, кто она. Тем не менее я, не желая показаться неучтивым, потряс ей руку, закивал головой и с улыбкой пробормотал: «А как же! Как же! Конечно, узнаю». Должно быть, у меня при этом был довольно глупый вид, так как Снятынская рассмеялась и сказала:

– Да вы ее и впрямь не узнаете! Ведь это Анелька П.

Анелька! Моя двоюродная сестра! Не удивительно, что я ее не узнал! В последний раз я видел ее лет десять – одиннадцать назад, когда она еще ходила в платьицах до колен. Помню один день в плошовском саду. На Анельке были розовые носочки, комары жестоко кусали ей ноги, и она топала ими, как лошадка. Как же я мог сейчас догадаться, что эта грудь, украшенная фиалками, эти белые плечи и прелестное лицо с темными глазами, – словом, эта девушка в полном расцвете молодости – та самая птичка-невеличка на тонких ножках! Ах, какая же она стала красивая! Какая бабочка вышла из той личинки! Я поспешил поздороваться с Анелькой вторично, и теперь уже с величайшей сердечностью. Когда Снятынские отошли, она сказала мне, что ее послали за мной ее мать и тетя. Я взял ее под руку, и мы пошли в глубь зала.

Вдруг меня словно осенило: да ведь это, наверное, Анельку тетушка прочит мне в жены! Вот и весь секрет, вот какой мне приготовлен сюрприз! Тетушка всегда очень любила эту девочку и принимала близко к сердцу материальные затруднения ее матери, пани П. Одно меня удивляло: почему мать и дочь, приехав в Варшаву, не остановились в доме тетушки? Но я не стал над этим раздумывать – мне хотелось

присмотреться к Анельке. Естественно, сейчас она меня уже интересовала больше, чем всякая другая. У меня было достаточно времени и для разговора, и для этого «экзамена», пока мы шли в другой конец зала, так как толчея вокруг мешала идти быстро. Теперь в моде перчатки средней длины, не доходящие до локтя, и я прежде всего заметил, что обнаженная рука Анельки, опирающаяся на мою, покрыта пушком, довольно густым, который придает коже темноватый тон. А между тем Анелька не брюнетка, хотя на первый взгляд может показаться брюнеткой. Волосы у нее отливают бронзой, глаза светлые и только кажутся черными из-за очень длинных ресниц, а брови действительно черные и очень красивые. Характерная особенность ее головки с невысоким лбом – именно эта пышность волос, густота бровей, ресниц и пушка на щеках, нежного, как шелк, и совсем светлого. Все это вместе может с годами несколько испортить ее красоту, но сейчас, когда Анелька так молода, это только признак щедрого избытка жизненных сил и делает ее не холодной куклой, а живой, пылкой и очаровательной девушкой.

Я разборчив, избалован, и нервы мои отзываются далеко не на всякие впечатления, а тут, не скрою, красота Анельки сразу сильно на меня подействовала. Это – мой любимый тип. Тетушка если и слышала о Дарвине, то, наверное, считает его «еретиком» и «путаником», – а между тем она безотчетно руководится его теорией естественного отбора. Да, Анелька в моем вкусе! На этот раз на крючок насажена нешуточная приманка.

Словцо электрический ток перебежал из ее руки в мою. Я видел к тому же, что и я произвел на нее выгодное впечатление, а это всегда ободряет человека. Экзамен, которому я ее подверг, как художник, тоже меня удовлетворил. Есть лица, в которых словно запечатлена музыка или поэзия. Такое именно лицо у Анельки. В ней нет ничего шаблонного.

Девушкам из дворянских семей у нас воспитанием прививают скромность, как детям прививают оспу. И в Анельке заметна такая скромность, невинность, но за этой невинностью чувствуется пылкий темперамент. Что за сочетание! Это все равно что сказать «невинный бесенок».

Возможно, впрочем, что при всей своей чистоте Анелька немного кокетка: я уже заметил, что она сознает силу своих чар. Так, например, зная, что у нее очень красивые ресницы, она то и дело без всякой надобности опускает и поднимает их. Еще у нее премилая манера откидывать голову, когда она смотрит на кого-нибудь. В начале нашего разговора она робела и потому держала себя немного натянуто, но через минуту-другую мы уже болтали так непринужденно, как будто и не расставались со времени наших встреч в Плошове.

Тетушкины размышления вслух великолепны, – но быть с нею в заговоре я бы не хотел. Едва мы с Анелькой подошли и я, поздоровавшись с пани П., обменялся с нею несколькими словами, как тетюшка, заметив, что я оживлен и весел, вся просияла и, обратясь к матери Анельки, сказала громко:

– Как к ней идут фиалки! Пожалуй, мы удачно придумали, чтобы он увидел ее в первый раз на балу.

Мать Анельки ужасно смутилась, Анелька тоже, а я тут только понял, почему они не остановились у тетушки. Наверно, так пожелала пани П. Должно быть, она и тетя уже давно обо всем договорились. Думаю, что Анельку в это не посвящали, но девушки в таких случаях бывают проницательны, и она могла сама обо всем догадаться.

Чтобы вывести всех из неловкого положения, я обратился к Анельке.

– Предупреждаю, – сказал я ей, – что танцую я плохо. Но все же обещаю мне один вальс. На большее я не рассчитываю – тебя, наверное, то и дело будут похищать другие кавалеры.

Анелька вместо ответа протянула мне свой carnet[7] и сказала решительно:

– Запиши что хочешь.

Признаюсь, мне претит роль марионетки, которую дергают за веревочку. Не люблю, когда на меня наседадут. И чтобы сразу активно вмешаться в политику двух старых дам, я взял книжечку Анельки и написал: «Ты поняла, что нас хотят поженить?»

Анелька прочла и переменилась в лице, чуточку побледнела. С минуту она молчала, словно боясь, как бы голос ей не изменил, или не зная, что ответить. Наконец взметнула красивые ресницы и, глянув мне прямо в глаза, промолвила:

– Да.

Теперь наступил ее черед спрашивать – правда, спрашивала она не словами, а взглядом. Я, видимо, ей понравился, и к тому же, если она догадывалась о планах матери и тетки, то мысли ее, наверно, были сильно заняты мною. И сейчас ее глаза ясно говорили:

«Знаю, что мама и тетя хотят, чтобы мы с тобой ближе узнали друг друга. А ты что об этом думаешь?..»

Но вместо ответа я обнял ее за талию, слегка привлек к себе и закружил в вальсе. Мне вспомнились «уроки фехтования».

Такого рода немой ответ мог внушить надежду девушке, особенно после того, что я написал ей в книжечку. Но я подумал: «А почему бы ей и не помечтать? Я, во всяком случае, не пойду дальше, чем захочу, а как далеко зайдет она – это меня еще мало интересует».

Танцует Анелька превосходно, и этот вальс она танцевала именно так, как женщина должна танцевать вальс, – самозабвенно покоряясь своему кавалеру. Я заметил, как дрожат фиалки на ее груди, – этого нельзя было объяснить темпом вальса, довольно-таки медленным. Мне стало ясно, что в ней что-то просыпается. Любовь – попросту физиологическая потребность. Хотя в девушках, принадлежащих к высшим слоям общества, эту потребность старательно подавляют, она непреодолима. И когда девушке говорят: «Этого тебе можно любить», – часто бывает, что она спешит воспользоваться разрешением.

Анелька, видно, надеялась, что если я решился написать в ее записной книжке то, что написал, то после вальса, несомненно, заведу разговор на ту же тему. Но я нарочно отошел в сторону, оставив ее в ожидании.

К тому же мне хотелось присмотреться к ней издали. Да, положительно, это – мой тип. Такие женщины притягивают меня, как магнит. Ах, если бы ей было лет тридцать и если бы она не была барышней, которую мне сватают!

Варшава, 30 января

Пани П. с дочерью перебрались к нам. Вчера я весь день провел с Анелькой. В душе ее больше страниц, чем обычно бывает у девушек ее возраста. Многие из этих страниц заполнит только будущее, но и сейчас уже заметно, что на них есть место для самых прекрасных вещей. Анеля чувствует и понимает все, и притом слушательница она несравненная, слушает сосредоточенно, не сводя с собеседника широко раскрытых умных глаз. Уметь слушать – это еще лишний шанс понравиться мужчине, ибо такое внимание льстит его самолюбию. Не знаю, понимает ли это Анелька, или ей это подсказывает лишь драгоценный женский инстинкт. А может быть, она столько наслышалась обо мне от тети, что каждое мое слово воспринимает, как изречение оракула. Впрочем, она не лишена кокетства. Сегодня на мой вопрос, чего ей хочется более всего в жизни, она ответила: «Увидеть Рим», – и опустила свои бахромчатые ресницы. В эту минуту она была удивительно хороша. Она отлично понимает, что нравится мне, и радуется этому. А кокетство ее прелестно, потому что оно от переполненного счастьем сердца, которое жаждет полюбить другого, избранному им сердцу. Нет ни малейшего сомнения, что эта душа летит ко мне, как мотылек на огонь. Бедная девочка, угадав согласие старших, воспользовалась им даже чересчур поспешно. Это с каждым часом становится заметнее.

Пожалуй, мне следовало бы спросить себя: если ты не намерен жениться, зачем же ты делаешь все, чтобы влюбить в себя девушку? Но мне не хочется отвечать на этот вопрос. У меня сейчас так хорошо на душе, так покойно! И собственно говоря, что я такого делаю! Не стараюсь казаться глупее, неприятнее и грубее, чем в действительности, – вот и все.

Анелька вышла сегодня к утреннему кофе в какой-то широкой полосатой блузке, под которой ее формы только угадывались, но от одной этой догадки можно было потерять голову. Глаза у нее были немного заспанные, и чувствовалось еще в ней тепло постели... До чего же она мне нравится и волнует меня!

31 января

Тетя устраивает званый вечер для Анельки. Я делаю визиты. Навестил Снятынских и сидел у них долго – хорошо мне с ними. Снятынские постоянно ссорятся, но совсем не так, как другие супруги. Обычно ссоры у людей бывают из-за того, что на двоих есть только одно пальто, и каждый тянет его к себе. А Снятынские спорят из-за того, что он хочет отдать все ей, а она – ему. Я их очень люблю, и только, глядя на них, я убеждаюсь, что счастье не выдумка романистов, что оно возможно и в жизни. Кроме того, Снятынский – человек острого ума, чуткий, как скрипка Страдивариуса, и умеет ценить свое счастье. Он его хотел – и добился. В этом я ему завидую. Беседовать с ним – одно удовольствие. Меня угостили превосходным черным кофе, – пожалуй, только у литераторов бывает такой, – и стали расспрашивать, какой я нашел Варшаву после столь долгого отсутствия и как поживают мои близкие. Зашел разговор и о недавнем бале. Его поддерживала главным образом Снятынская, – она, кажется, догадывается о тетюшкиных планах, а так как она родом с Волыни, как и Анелька, и хорошо с нею знакома, то не прочь сунуть свой розовый носик в это дело.

Я, разумеется, уклонился от разговора о делах личных, и мы много говорили только о нашем обществе. Я похвалил его за изысканность, и Снятынский (хотя сам он подчас резко критикует это общество, но так жадно подхватывает каждое доброе слово о нем, что это граничит с шовинизмом) тотчас пришел в прекрасное настроение и начал мне поддакивать.

– Я особенно рад слышать такие речи именно от тебя, – сказал он в заключение. – Во-первых, ты более других видел и имел возможность сравнивать, а во-вторых, ты изрядный пессимист.

– Ах, милый мой, я не уверен, что и это мое суждение не пессимистично, – ответил я ему.

– Как так? Не понимаю.

– Видишь ли, на столь рафинированной культуре можно бы написать, как на ящиках со стеклом или фарфором: «Fragile»[8]. Тебе, духовному сыну Афин, мне, другому, третьему, десятому приятно жить среди людей с такой тонкой духовной организацией. Но если вздумаешь что-нибудь строить на таком фундаменте, то предупреждаю: балки полетят тебе на голову. Ты как же полагаешь – эти дилетанты не окажутся побежденными в борьбе за существование, борьбе с людьми, у которых крепкие нервы, мощные мускулы и толстая кожа?

Снятынский со свойственной ему стремительностью вскочил с места, забегал по комнате, потом яростно накинулся на меня.

– Утонченность – только одна из черт наших людей, и черта положительная, как ты сам признаешь. Не воображай, что у нас ничего больше нет за душой. Приехал из-за моря, а судишь так смело, как будто всю жизнь здесь прожил!

– Не знаю, что у вас «за душой», но знаю, что нигде во всем мире не замечается такого отсутствия равновесия между культурами различных классов, как здесь, в Польше. С одной стороны – расцвет или, может, уже отцветание культуры, с другой – полнейшее варварство и темнота.

Мы заспорили, и я до самых сумерек просидел у Снятыньских. Он сказал, что, если я буду навещать их чаще, он берется познакомить меня с представителями средних слоев нашего общества – эти люди не чересчур изысканны и не страдают дилетантизмом, а в то же время они далеко не такие темные, как я воображаю. Словом, он мне покажет людей здоровых духом, которые что-то делают в жизни и знают, чего хотят. Мы спорили запальчиво, перебивая друг друга, тем более что после кофе выпили по несколько рюмок коньяку. Когда я был уже на улице, Снятынский, стоя на лестнице, еще кричал мне вслед:

– Из таких, как ты, ничего уже не выйдет, но твои дети еще могут стать настоящими людьми. Для этого ты и тебе подобные должны сначала обанкротиться, иначе и внуки ваши не примутся ни за какую работу!

Мне все-таки думается, что, в общем, прав я, а не Снятынский. Записал же я наш разговор именно потому, что с самого приезда сюда все время думаю об этом «отсутствии равновесия». Ведь неоспоримый факт, что у нас в Польше классы разделяет пропасть, которая делает абсолютно невозможным всякое взаимное понимание и сотрудничество.

Снятыньскому придется согласиться со мной, что общество наше состоит из людей в известном смысле чересчур культурных и людей совершенно некультурных. Так мне по крайней мере кажется. Изделия из северского фарфора – и простая, грубая глина, а между ними – ничего. Одни – «tres fragile», другие – Овидиевы «rudis indigestaque moles»[9]. Разумеется, северский фарфор рано или поздно разобьется, а из глины будущее вылепит то, что ему угодно.

2 февраля

Вчера у нас был танцевальный вечер. Анелька обращала на себя всеобщее внимание.

Ее белые плечи выступали из волн тюля (или газа, или кто его знает, из какого там материала), как плечи Венеры, встающей из пены морской. В Варшаве уже разнесся слух, будто я женюсь на ней. Я заметил, что вчера Анелька, танцуя, на каждом повороте искала меня глазами и то, что говорили ей кавалеры, слушала рассеянно. Бедная девочка ничего не умеет скрыть, и разве слепой не заметит, что у нее на душе. А со мной так кротка, тиха и так счастлива, когда я подхожу к ней! Она все больше мне нравится, и я начинаю сдаваться. Ведь вот Снятынские так счастливы вместе! Не впервые я задаю себе вопрос: глупее ли меня Снятынский или мудрее? Я из всех поставленных жизнью задач не решил ни единой, я – ничто. Скептицизм меня заел, я до сих пор не знал счастья и уже устал. А Снятынский – человек с интеллектом, развитым не менее, чем у меня, и притом он трудится. У него красивая жена, его жизненная философия – основа его счастья. Нет, право, я глупее! Ключ к философии Снятынского – его жизненные догматы. Еще до своей женитьбы он говорил мне: «Есть вещи, перед которыми отступает мой скептицизм, их я не критикую и никогда не стану критиковать. Таким догматом для меня как писателя является общество, а для меня как человека – любимая женщина». И я, слушая его, думал тогда: «Нет, видно, у меня ум смелее, я не отступаю перед анализом даже и таких чувств». Сейчас же я вижу, что эта смелость ни к чему меня не привела. И к тому же он так очарователен, этот мой догмат с длинными ресницами! Твердость моя явно слабеет. То, что меня так сильно влечет к Анельке, нельзя объяснить одним лишь законом естественного отбора. Нет, есть в этом нечто большее, и я даже знаю, что именно. Анелька полюбила меня такой чистой и честной любовью, какой меня еще никто не любил. Ох, как же это не похоже на «часы фехтования», когда я наносил и парировал удары. Женщина, которая очень нравится мужчине и сама его любит крепко, непременно им завладеет, если будет стойкой и терпеливой. «Заблудшая птица», как выражается Словацкий[10], вернется к ней, как возвращаются к тишине и покою, вернется тем скорее, чем тяжелее будет ей одиночество и блуждания. Ничто так не покоряет, не трогает, не привлекает сердца мужчины, как сознание, что он любим. Выше я писал бог знает что о польках, но сильно ошибается тот, кто думает, будто из-за одной какой-то глупой странички или со страху быть уличенным в непоследовательности я не сделаю того, что в данном случае сочту за благо.

Просто поразительно, до чего эта девушка радует мой глаз художника! После бала, когда гости разъехались и в доме наступила блаженная тишина, мы вчетвером уселись пить чай в гостиной. Желая взглянуть, что делается на дворе, я подошел к окну и раздвинул портьеры. Было уже восемь часов утра, в комнату проник дневной свет. В мерцании еще горевших ламп он казался таким синим, что я даже удивился. Еще больше я был поражен, когда увидел Анельку в этом освещении. Казалось, она стоит в Лазурном гроте на Капри. Какие тона были на ее обнаженных руках и плечах! И (что поделаешь, такая уж у меня впечатлительная натура!) в эту минуту я был окончательно покорен, Анелька так завладела моим сердцем, как будто ее красота была ее заслугой. Желая ей доброй ночи, я долго и как-то совсем по-новому жал ей руку, а она, не отнимая ее, сказала:

– Не доброй ночи, а доброго утра, доброго утра!

И если я не слеп, глаза ее говорили то же, что музыка ее голоса:

– Люблю, люблю!

– Да и я влюблен... почти.

Тетя, глядя на нас, что-то радостно пробормотала про себя. Я видел у нее на глазах слезы.

Мы едем в Плошов.

Плошов, 5 февраля

Уже второй день мы в деревне. Дорога была чудесная. Солнце, мороз. Снег скрипел под полозьями, искрился на полях. При закате бескрайняя белая равнина отливала фиолетовым блеском. На липах у въезда в Плошов оглушительно каркали и суетились целые стаи ворон.

Зима у нас суровая, но до чего же хороша! Есть в ней какая-то сила и величие, а главное – смелая откровенность. Как откровенный друг режет тебе правду в глаза без обиняков, так и она беспощадно хватается за уши. Зато ее бодрящая свежесть передается людям. Все мы были довольны тем, что едем в деревню. Кроме того, обе старушки радовались еще и тому, что их заветная мечта близка к осуществлению, а я – тому, что плеча моего касалось плечо сидевшей рядом Анельки. И, быть может, потому и она казалась такой счастливой. Раза два она ни с того ни с сего, просто от избытка чувств, поцеловала, наклонясь, руки у тетушки. К ней удивительно шло пушистое боа и меховая шапочка, из-под которой едва видны были темные глаза, почти еще детские, и разрумяненные морозом щеки. От нее так и веет молодостью.

В Плошове хорошо, тихо. Особенно люблю я в здешнем доме большие старинные камины. Тетя лес бережет как зеницу ока, но все же дров не жалеет, и камины топят с утра до вечера, огонь в них гудит, трещит, веселит душу. Вчера после обеда мы долго сидели у камина, я много рассказывал о Риме и его достопримечательностях, и меня слушали с таким благоговейным вниманием, что я даже в душе посмеялся над собой. Когда я говорю, тетя не сводит глаз с лица Анельки, ревниво проверяя, выражает ли оно надлежащий восторг. А восторга более чем достаточно. Вчера Анелька сказала мне:

– Другой человек мог бы всю жизнь там прожить, но не увидит и половины тех красот, которые видишь ты.

А тетя немедленно вставила тоном, не допускающим возражений:

– Я всегда это говорила.

Хорошо, что здесь нет ни одного скептика вроде меня, иначе я оказался бы в крайне неловком положении.

Некоторый диссонанс в общее настроение вносит только мать Анельки. Эта женщина столько перенесла в жизни, столько у нее было забот, что веселость покинула ее навсегда, ее словно побил морозом. Она просто боится будущего, боится всякой перемены и безотчетно подозревает даже в явном благополучии какую-то скрытую западню. Она была очень несчастлива с мужем, а после его смерти переживала тысячи треволнений, пытаясь сохранить свое поместье, большое, но сильно обремененное долгами. Вдобавок ко всему она страдает мигренями.

Анелька же, как мне кажется, принадлежит к категории женщин (более многочисленной у нас, чем это думают), которых никогда не волнуют дела

материальные. Это мне нравится, ибо как-никак доказывает, что у нее есть высшие запросы. Впрочем, меня сейчас в ней все восхищает. Нежность растет на почве чувственного влечения так же быстро, как трава после теплого дождя. Сегодня утром я встретил в коридоре горничную, которая несла Анельке платье и туфли. И меня почему-то особенно растрогали эти туфельки, как будто обладание ими было венцом всех добродетелей Анельки.

Мы, мужчины, вообще ужасно податливы. Я держу палец на своем пульсе и слежу за ходом любовной горячки. Пульс уже очень частый.

Плошов, 8 или 9 февраля

Тетя снова воюет с паном Хвастовским. Эта война настолько своеобразна, что, право, стоит привести здесь какой-нибудь из их споров. Тете они определенно нужны для возбуждения аппетита, Хвастовский же (к слову сказать, он управляет Плошовом превосходно) – шляхтич вспыльчивый, настоящий порох, и никому себя в обиду не даст, так что сражения между ними бывают ожесточенные. Не успевают оба войти в столовую, как начинают зловеще поглядывать друг на друга. За супом первый выпад делает обычно тетушка, начиная, к примеру, так:

– Я невесть с каких пор допытываюсь у вас, пан Хвастовский, в каком состоянии наша озимь, а вы как назло говорите о чем угодно, только не об этом.

– Пани графиня, осенью она всходила хорошо. А теперь на ней лежит снег толщиной в добрый метр – так что же я могу увидеть? Я же не господь бог.

– Пан Хвастовский, не поминайте имя божие всуе!

– Я к нему под снег не заглядываю, значит, ничем его не оскорбляю.

– Так, по-вашему, это я его оскорбляю?

– Выходит, что так.

– Пан Хвастовский, вы несносный человек!

– Ох, сносный, сносный, потому что многое сношу.

Вот в таком духе, все разгораясь, идет перепалка. Редкий обед проходит без колкостей с обеих сторон. Наконец тетушка умолкает и начинает с ожесточением есть, словно вымещая свой гнев на кушаньях. У нее действительно после этих ссор появляется замечательный аппетит. С каждым блюдом настроение у нее улучшается и становится в конце концов совершенно безоблачным. После обеда мы идем в гостиную пить черный кофе. Я веду под руку мать Анели, а Хвастовский – тетушку, и оба беседуют самым мирным образом. Тетя спрашивает его об его сыновьях, он целует у нее руки. Они ведь, в сущности, любят и уважают друг друга. Сыновей Хвастовского я видывал еще в те времена, когда учился в университете. Они, кажется, славные ребята, но отчаянные радикалы.

Анельку вначале немного пугали эти стычки за обедом. Но я ей объяснил, что они не опасны, и теперь она, когда начинается спор между тетушкой и управляющим, украдкой поглядывает на меня из-под длинных ресниц и улыбается уголками губ. При этом она до того мила, что так бы и съел ее, кажется! Ни у одной женщины не видел я таких почти алебастровых висков с голубыми жилками на них.

12 февраля

И в природе и во мне происходят сущие Овидиевы метаморфозы. Мороз сдал, солнце скрылось, и царит тьма египетская. Не могу подыскать более подходящего слова для описания того, что делается вокруг, чем слово «гниль». Нет, все-таки у нас ужасный климат! В Риме при самой плохой погоде десять раз в день проглядывает солнце, а здесь вот уже два дня так темно, что в комнатах с утра до ночи не тушат ламп. Эта черная противная слякоть словно просачивается в мозг, окрашивает мысли в черное и душит их. Она действует на меня убийственно. Да и не только на меня. Тетя и Хвастовский ссорились сегодня яростнее обычного. Хвастовский утверждал, что тетя, не позволяя рубить лес, портит его, так как старые деревья погибают. А тетя на это отвечала, что и так у нас в Польше достаточно вырубает лесов, и она не желает в этом участвовать. «Я старею, так пусть себе и лес мой стареет». Эта логика напоминает мне анекдот про одного шляхтича: владея обширными и превосходными землями, он в своем имении обрабатывал лишь ровно столько, сколько «собака может обежать и обляять». Ну, да что об этом толковать! Сегодня мать Анели, сама того не желая, сильно испортила мне настроение. Встретившись со мной в оранжерее, она с материнской гордостью, неприятно смахивавшей на хвастовство, стала мне рассказывать, как один наш общий знакомый, Кромицкий, добивался руки Анельки. Я слушал ее с таким ощущением, как будто мне кто вилок выковыривает занозу. Новость эта сразу охладила мое чувство к Анельке, хотя она-то тут ничем не виновата. Вот точно так же, недавно лазурный свет утра, очень красивший ее, вызвал во мне прилив нежности к ней, хотя в том не было никакой ее заслуги. Эту обезьяну Кромицкого я знаю уже не один год и терпеть его не могу. Он родом из австрийской Силезии, где, по его словам, Кромицкие когда-то владели пожалованными им огромными имениями. В Риме он всем рассказывал, что его предкам еще в XV веке дарован был графский титул, и в отелях записывался «граф фон Кромицкий». Если бы не черные глазки, похожие на жареные кофейные зерна, и черные же волосы, он напоминал бы человечка, вырезанного для забавы из сырной корки – кожа у него как раз такого цвета. Вообще у него лицо трупа, он всегда вызывал во мне физическое отвращение. Фи, как ухаживание такого субъекта уронило в моих глазах Анельку! Я прекрасно понимаю, что она не может отвечать за Кромицкого и его намерения, но все-таки она мне стала неприятна.

Не знаю, с какой целью ее мать так распространялась об этом. Если она хотела «пришпорить» меня, то сильно ошиблась. Пани П., конечно, женщина с большими достоинствами, раз она сумела справиться с таким множеством затруднений в жизни и воспитать такую дочь. Но она бестактна и может порядком надоесть своими мигренями и макаронизмами.

– Признаюсь, я была за этот брак, – говорила она мне. – Порой я просто изнемогаю под бременем забот. Я – женщина, в делах ничего не смыслю, и если немного и научилась в них разбираться, потеряв на этом все свое здоровье, то только потому, что это нужно было ради моего ребенка. А Кромицкий – человек умный, оборотистый. У него крупнейшие дела в Одессе, какие-то поставки, сделки с нефтью в Баку... *que sais-je?*[11] Но он не польский подданный, и это, видимо, мешает его карьере. Вот я и думала, что если он женится на Анеле, то очистит от долгов ее имение и, вступив во владение им, сможет хлопотать о перемене подданства.

– А что же Анелька? – перебил я ее, потеряв терпение.

– Я видела, что Анельке он не особенно нравится, но она такая преданная дочь... К тому же, когда я умру, некому будет о ней заботиться. Так что...

Я больше ни о чем не спрашивал, потому что был раздражен до крайности. Теперь мне ясно: брак этот не состоялся только потому, что не захотела Анелька. А все-таки меня возмущает то, что она позволяла ухаживать за собой такому противному субъекту, а главное – что могла хоть секунду колебаться.

Будь я на ее месте, у меня бы просто нервы не выдержали. Но я забываю об одном: не у всех такие нервы, как у меня, а Кромицкого, несмотря на его землистый цвет лица и сходство с мертвой головой, женщины считают «видным мужчиной».

Интересно, какие такие дела у него? Я забыл спросить, в Варшаве ли он сейчас. Очень может быть, что здесь, – он, кажется, сюда наезжает каждую зиму. А насчет его дел думаю только одно: может, они и блестящи, но вряд ли имеют под собой солидную и прочную основу. Я отнюдь не делец и не сумел бы повернуть ни одной биржевой сделки, но у меня хватает ума сознать это. Притом я наблюдателен и умею делать выводы. Поэтому я не верю в якобы гениальные деловые способности нашей шляхты. Боюсь, что «оборотистость» Кромицкого – отнюдь не наследственная или врожденная черта, а просто особая форма невроза. Видал я подобные примеры. Появится вдруг на сцену шляхтич-коммерсант; бывает даже, что поначалу ему везет, и он быстро наживает состояние. Но я не встречал ни одного, который в конце концов не стал бы банкротом.

Нет, такого рода способности либо наследуешь, либо приобретаешь выучкой, начиная с азов. Сыновья Хвастовского, быть может, и пробьют себе дорогу, потому что отец их по несчастной случайности потерял все, и они начинают с азбуки. Но кто, имея состояние, берется за коммерческие дела без специальных знаний и навыков, тот неизбежно ломает себе шею. Повторяю, у наших шляхтичей это попросту невроз, лихорадка наживы. Спекуляции не могут держаться на иллюзиях, а один бог знает, сколько в этих шляхетских спекуляциях пустой игры фантазии.

Впрочем, желаю удачи господину «фон Кромицкому».

14 февраля

Рах! Рах! Рах![12] Неприятного осадка как не бывало. До чего же чутка Анелька! Я притворялся спокойным и веселым, и в моем обращении с нею была разве только едва ощутимая тень нового, но она и эту тень уловила и приняла к сердцу. Сегодня, когда мы, оставшись вдвоем (это бывает часто, ибо нам умышленно стараются не мешать), просматривали альбомы, она вдруг смутилась, переменялась в лице. Я тотчас понял, что она хочет мне что-то сказать, но не решается. Через минуту мне пришла в голову шальная мысль, что я сейчас услышу признание в любви. Но я тут же вспомнил, что имею дело с полькой. Такая вот польская сопливая девчонка (или, если хотите, такая королевна) скорее умрет, чем первая скажет «люблю». Если она на твой вопрос пролепечет «да», и это уже с ее стороны великая милость.

Анелька быстро вывела меня из заблуждения. Она вдруг захлопнула альбом и, немного запинаясь от смущения, спросила:

– Что с тобой, Леон? Ведь с тобой что-то случилось, правда?

Я стал ее уверять, что все в порядке, смеялся, успокаивал ее, но она, качая головой, твердила свое:

– Вот уже два дня я вижу, что у тебя что-то на душе. Я понимаю, такого человека, как ты, каждый пустяк может расстроить... и все себя проверяю, не я ли в этом виновата, не сказала ли чего такого, или...

Голос ее дрогнул, но она храбро посмотрела мне в глаза:

– Я тебя ничем не обидела? Скажи.

Была минута, когда у меня чуть не сорвалось с языка: «Если мне чего не хватает, так только тебя, моя драгоценная!» Но какой-то страх, выражаясь языком Гомера, ухватил меня за волосы. Анелька тут была ни при чем, я просто испугался, что сейчас щелкнет запор – и прощай моя свобода! Я поцеловал у Анельки руку и сказал как можно веселее:

– Не беспокойся, моя дорогая, ничего со мной не случилось. Не тебе обо мне, а мне следует заботиться, чтобы тебе было здесь хорошо. Ведь ты – наша гостья.

И я вторично поцеловал ее ручку, на этот раз даже обе. Все это можно было, на худой конец, отнести за счет родственных чувств, и – так жалка натура человеческая! – это сознание придавало мне смелости, подобно калитке, за которой можно укрыться. Я называю это жалкой трусостью, ибо мне ведь придется отвечать только перед самим собой, а себя-то я уж, во всяком случае, не обману. Да и страх ответственности, кажется, не остановит меня, – чувства всегда вели меня, куда им было угодно, а чувства мои к Анельке всецело властвуют надо мной. Вот еще и сейчас я ощущаю на губах прикосновение ее руки – и блаженству моему, страстным желаниям нет границ. Рано или поздно я сам захлопну ту калитку, через которую сегодня мог бы еще бежать на свободу... А мог бы я и вправду бежать? Да, если бы что-нибудь со стороны мне помогло.

А между тем мне уже совершенно ясно, что Анелька любит меня. Все толкает меня к ней.

Сегодня я задал себе вопрос: если это неизбежно, зачем я медлю?

И ответ был таков: не хочу упустить ничего, хочу изведать полностью все волнения, трепетные минуты, волшебство недосказанных слов, вопрошающих взглядов, ожидания. Хочу своим романом насладиться полностью. Я упрекал женщин в том, что для них внешние проявления чувства значат больше, чем само чувство, а теперь и я стремлюсь не упустить ни единого из этих проявлений. Когда человек уже не молод, они так ему нужны! Кроме того, я часто замечал, что у мужчин с обостренной впечатлительностью появляется в характере что-то женское. Я же, помимо всего, в любви немного эпикуреец.

После того разговора с Анелькой оба мы пришли в чудесное настроение. Вечером я помогал ей вырезать из бумаги абажуры, чтобы можно было при этом касаться ее рук и платья. Я нарочно мешал ей работать, а она расшалилась, как ребенок, и по временам дурашливо взывала к тете, твердя однотонной скороговоркой, как жалуются всегда маленькие девочки:

– Тетя, Леон меня дразнит!

21 февраля

Дернуло же меня поехать в Варшаву на прием к советнику С! Здесь были одни мужчины. Советник усиленно старается собирать у себя представителей различных лагерей, полагая, что за чаем с тартинками им легче будет прийти к соглашению, хотя он сам вряд ли ясно себе представляет, в чем, собственно, должно заключаться это соглашение. Я, как человек, живущий почти постоянно за границей,

приехал на это собрание для того, чтобы узнать, что творится в умах моих соотечественников, и послушать их рассуждения. Но шумная толчея вызывала скуку, все было так, как обычно бывает на слишком многолюдных собраниях. Люди одинаковых взглядов собирались отдельными группами и беседовали на интересующие их темы, поддакивая друг другу, обмениваясь любезностями и так далее.

Я познакомился со многими здешними советниками, с представителями прессы. За границей между писателем и журналистом – большая дистанция. Там писатель в глазах общества – художник и мыслитель, журналист – ремесленник (другого слова подобрать не могу). Здесь же, в Польше, такой разницы не существует, и представителей обеих категорий окрестили одним общим именем: литератор. Большинство из них одновременно и писатели и журналисты. И, как правило, они – люди гораздо более порядочные, чем иностранные журналисты. Не люблю газет и считаю, что они – бич человечества. Быстрота, с какой они осведомляют публику о событиях, не искупает поверхностности этих сообщений и того, что, вводя в заблуждение общественное мнение, они создают неслыханную путаницу в умах. Этого не может не заметить всякий непредубежденный человек. Газеты виноваты в том, что люди разучились отличать правду от лжи, исчезло чувство справедливости, понятие о законности и беззаконии, зло обнаглело, кривда заговорила языком правды, – словом, душа человечества стала слепой и безнравственной.

На этом собрании был, между прочим, и Ставовский – по общему мнению, самая умная голова во всем лагере крайних прогрессистов. Судя по его выступлениям, он – человек способный, но страдает двумя болезнями: болезнью печени и «ячеством». Он носит со своим «я», как с полным стаканом воды, и всегда как будто хочет сказать: «Осторожнее, не то пролью». Этот страх в силу внушения передается всем окружающим до такой степени, что при Ставовском никто не смеет оспаривать его точку зрения. Авторитет его держится еще и на другом: он верит в то, что говорит. Этого человека напрасно считают скептиком. Напротив, у него темперамент фанатика. Родись Ставовский несколько сот лет назад, он заседал бы в трибунале и приговаривал бы людей к вырыванию языка за богохульство. В наши дни его фанатизм обращен на другое, теперь Ставовский полон ненависти к тому, что страстно защищал бы в те времена, но, в сущности, это – тот же самый фанатизм.

Я заметил, что наши консерваторы вертятся вокруг Ставовского не только из любопытства – это бы еще куда ни шло, – нет, они, кажется, осторожно заигрывают с ним. У нас в Польше – а может, и везде? – эта партия особой смелостью не отличается. Каждый консерватор, подходя к Ставовскому, смотрел на него умильно, и на лбу у него как будто было написано: «Хоть я и консерватор, однако...» Это «однако» было как бы преддверием раскаяния и всякого рода уступок. Это было совершенно ясно, и когда я, скептически относящийся ко всем партиям, заспорил со Ставовским не как представитель определенного лагеря, а просто как человек, не согласный с каким-то его мнением, подобная дерзость вызвала всеобщее удивление. Речь шла о так называемых эксплуатируемых классах. Ставовский начал разглагольствовать об их безвыходном положении, слабости, неспособности обороняться, и вокруг него уже толпилось много народу, когда я перебил его:

– Скажите, пожалуйста, вы признаете теорию Дарвина о борьбе за существование?

Ставовский, естествовед по специальности, охотно перевел дискуссию на эти новые рельсы.

– Конечно, признаю, – отвечал он.

– Тогда разрешите вам сказать, что вы непоследовательны. Вот если бы я, как христианин, заступался за слабых, беззащитных, угнетенных, это было бы резонно: мне Христос так велел. Но вы, с позиции борьбы за существование, должны были бы сказать себе: «Они слабы и глупы, следовательно, их удел – стать чьей-нибудь добычей, таков основной закон природы. И, значит, черт с ними!» Почему же вы этого не говорите? Чем объяснить такое противоречие?

Огорошила ли Ставовского непривычная для него оппозиция, или он в самом деле до сих пор не задумывался над этим вопросом, – как бы то ни было, он смутился, не знал, что ответить, и не догадался даже пустить в ход слово «альтруизм», – слово, впрочем, довольно бессодержательное.

После такого конфуза наши консерваторы дружно переключались на мою сторону, и я легко мог бы стать героем вечера. Но было уже поздно, меня одолевала скука и хотелось вернуться еще до ночи в Плошов. Да и другие гости понемногу стали расходиться.

Я был уже в шубе и в нетерпении искал свое пенсне, затесавшееся куда-то между шубой и сюртуком, когда ко мне подошел Ставовский, только сейчас, видно, придумав ответ, и начал:

– Вы у меня спрашивали, почему я...

Но я не дал ему договорить, потому что все еще искал пенсне и злился, не находя его.

– По правде сказать, этот вопрос меня мало интересует, – отрезал я. – Вы видите, уже поздно, все уходит. Кроме того, я приблизительно догадываюсь, что вы можете мне сказать. Так что разрешите откланяться и пожелать вам доброй ночи.

Кажется, я этой последней отповедью нажил себе в нем смертельного врага.

В Плошов я приехал в первом часу ночи и вдруг – приятный сюрприз: Анелька дожидалась меня в столовой, чтобы напоить чаем. Она была совсем одета, только волосы уже причесаны на ночь. Радость, которую я почувствовал, увидев ее, показала мне, как глубоко эта девушка закралась ко мне в сердце. Что за милое существо и как она хороша в этой прическе, когда косы заколоты низко на затылке! А ведь стоит мне сказать одно слово – и через месяц-два я буду иметь право расплести эти косы, распустить их по плечам! Не могу а думать об этом спокойно. Не верится даже, что счастье так доступно человеку.

Я побранил ее за то, что она так поздно еще на ногах, но она ответила:

– Мне ни чуточки не хотелось спать, и я попросила у мамы и тети позволения дожидаться тебя. Мама сначала твердила, что это неприлично, но я ей объяснила, что мы с тобой родственники, значит, ничего тут такого нет. И знаешь, кто меня поддержал? Тетя.

– Тетушка у нас молодчина! Напьемся со мной чаю?

– С удовольствием.

Она захлопотала, стала разливать чай в чашки. Я смотрел на ее проворные красивые руки, и мне хотелось целовать их. Анелька время от времени поднимала глаза, но,

встречая мой взгляд, тотчас опускала их. За чаем она стала меня расспрашивать, как я провел вечер. Мы говорили вполголоса, хотя спальни тети и пани П. далеко от столовой и мы никак не могли разбудить старушек. Между нами в этот вечер установилась такая доверчивая и сердечная близость, какая бывает между любящими родственниками. Я рассказывал Анельке о том, что видел, как рассказываешь лучшему другу. Потом заговорил о том впечатлении, какое производит здешнее общество на человека, приехавшего из чужих стран. Анеля притихла и слушала меня, широко раскрыв глаза, счастливая тем, что я делюсь с ней своими мыслями.

Когда я замолчал, она сказала:

– А почему бы тебе, Леон, не написать обо всем этом? Что такие мысли не приходят в голову мне – это не удивительно, но они и никому здесь в голову не приходят.

– Почему не пишу? Да по многим, очень многим причинам, я тебе это объясню как-нибудь в другой раз. Между прочим, одна из причин та, что нет у меня никого, кто бы почаще спрашивал вот так, как ты: «Почему ты ничего не делаешь, Леон?»

Мы оба примолкли. Никогда еще ресницы Анельки не опускались так низко на щеки, и я, кажется, почти слышал, почти видел, как билось под платьем ее сердце. Ведь она действительно вправе была ожидать, что я сейчас добавлю: «Хочешь быть всегда со мной и спрашивать меня об этом?» Но мне так нравилась эта игра, когда словно скользишь вниз по скату и все висит на волоске, я так наслаждался волнением этого сердца, которое точно билось у меня на ладони, что мне не хотелось, чтобы это кончилось.

– Ну, покойной ночи, – сказал я через минуту.

Эта девушка – ангел. Она ничем не выдала своего разочарования. Встала и с легкой грустью в голосе, но без малейшей досады ответила мне:

– Покойной ночи.

И мы, пожав друг другу руки, разошлись в разные стороны. Но, уже открывая дверь, я вдруг остановился.

– Анелька!

Мы снова сошлись у стола.

– Скажи мне, но только совершенно откровенно – ты в душе не осуждаешь меня за то, что я фантазер, чудак?

– Нет, что ты! Чудак? О нет! Иногда мне кажется, что ты – человек со странностями, но я тут же говорю себе, что такие, как ты, всегда кажутся другим странными.

– Еще один вопрос: когда тебе в первый раз пришло в голову, что я странный человек?

Анелька вдруг покраснела. Как она была мила в этот миг, когда румянец разлился по ее щекам, лбу, шее! Она ответила не сразу:

– Н-нет... трудно сказать... Не помню...

– Ну, хорошо, но если я угадаю, ты мне скажи «да». Я тебе напомню это двумя словами.

– Какими? – спросила она с заметным беспокойством.

– Записная книжка. Верно?

– Да, – сказала Анелька, потупив голову.

– Ну, так я тебе объясню, для чего я тогда на балу написал в твоей книжке ту фразу: во-первых, для того, чтобы между нами сразу оказалось что-то общее, наша общая тайна, а во-вторых...

Я указал на букет, принесенный утром садовником из оранжереи.

– А во-вторых, видишь ли, все цветы лучше расцветают в ясные дни. Вот мне и хотелось, чтобы между нами все было ясно.

– Я не всегда тебя понимаю, – отозвалась Анелька, помолчав. – Но я так верю в тебя!.. Так верю!..

Снова минута молчания. Наконец я протянул ей руку на прощанье.

В дверях мы оба одновременно обернулись, и глаза наши встретились. Ах, поток чувств все разливается, разливается все шире! Он каждый миг может выйти из берегов.

23 февраля

Человек – как море: у него бывают свои приливы и отливы. Сегодня у меня отлив воли, энергии, охоты делать что-нибудь, охоты жить. Нашло это на меня без всякой причины – вот так, вдруг. Нервы! Но именно поэтому я предаюсь горькому раздумью. Вправе ли жениться такой человек, как я, утомленный жизнью, постаревший душой? Невольно приходят на ум слова Гамлета: «К чему тебе плодить грешников – ступай в монастырь!» Я, конечно, в монастырь не собираюсь. Потомство мое, эти грядущие «грешники», будут похожи на меня – нервные, болезненно впечатлительны, ни к чему не годны, – словом, гении без портфеля. Ну, и черт с ними! Не о них я сейчас думаю, а об Анельке. Вправе ли я на ней жениться? Можно ли связывать эту молодую, свежую жизнь, полную веры в людей и бога, с моими сомнениями, духовным бессилием, безнадежным скептицизмом, вечной критикой и с моими нервами? Что из этого выйдет? Для меня уже не наступит второе цветение, вторая душевная молодость, мне нечего ждать возрождения. Мозг мой не изменится, нервы не окрепнут. Так что же, – значит, Анеле суждено увянуть, живя со мной? Не чудовищно ли это? Могу ли я стать полипом, который высасывает свою жертву и питается ее кровью?

У меня просто голова идет кругом. Если это так, – зачем я дал увлечь себя до той границы, на которой стою теперь? Что я делал с того дня, как познакомился с Анелькой? Перебирая струны ее души, устраивал себе концерты. Но если для меня это соната *Quasi una fantasia*[13], то для нее, быть может, соната *Quasi un dolore*[14]. Да, да! Я играю на струнах этой души с утра до вечера, более того – несмотря на все упреки, которые я сейчас делаю себе, знаю, что и впредь не смогу от этого удержаться, так же буду играть и завтра и послезавтра, как играл вчера и третьего дня, потому что меня это влечет непреодолимо, как ничто другое на

свете. Я жажду обладать этой девушкой, я влюблен в нее. К чему себя обманывать? Я люблю.

Но как же быть? Отступить, бежать в Рим? Это значит – заставить ее пережить разочарование, сделать ее несчастной. Кто знает, насколько глубоко это чувство пустило корни в ее сердце? А если я женюсь на ней, она станет моей жертвой, будет так же несчастна, только на иной лад. Вот заколдованный круг! Только люди из породы Плошовских могут попасть в такое положение. И для меня, право, весьма слабое утешение, что таких Плошовских у нас много, что имя им легион. Как бесповоротно эта порода обречена на гибель и как нам, помимо всей нашей непригодности, еще и не везет в жизни! Ведь мог же я встретить такую Анельку десять лет назад, когда еще мои паруса не были так дырявы, как сейчас!

Если бы моя почтенная тетушка знала, какое зло она без всякого умысла, с самыми добрыми намерениями, причинила мне, она была бы глубоко огорчена. Мало мне было трагического сознания своего ничтожества и того мрака, в котором я блуждаю, – не хватало еще этих новых мучений. «Быть или не быть?» Нет, – где там! – дело обстоит еще гораздо хуже.

26 февраля

Вчера я опять ездил в Варшаву, надо было увидеться с Юлиушем Кв. – в его имение я вложил часть денег, оставленных мне матерью. Теперь пан Кв. получил ссуду в Кредитном товариществе и хочет вернуть мне мои деньги.

Черт бы побрал методы ведения дел в этой стране! Кв. сам вызвал меня, сам назначил время, а я прождал его напрасно целый день. Он меня вызовет, наверное, еще раз пять – и все пять раз не явится. Человек он состоятельный, сам пожелал вернуть мне деньги и может это сделать по первому требованию. Но такие уж здесь порядки.

На основании собственных наблюдений я давно пришел к выводу, что мы, поляки, в денежных делах – самые легкомысленные и неаккуратные люди. Так как я люблю во всем доискиваться причин, я не раз размышлял об этом. И вот что я думаю. По-моему, явление это объясняется тем, что главное занятие нашего народа – сельское хозяйство. Торговлей занимались у нас евреи, да и те не могли приучить нас к точности. Земледельцу часто приходится быть неаккуратным и не соблюдать сроков, ибо земля не признает никаких правил и сроков. Это ее свойство передается и тем, кто в ней копается, потом становится характерной чертой всего народа и мало-помалу – наследственным пороком. Но, право же, найденное мною объяснение ничуть меня не утешило, так как из-за неаккуратности Кв. мне на целый день пришлось расстаться с Анелькой, а главное – то же самое грозит повториться через несколько дней. Но ничего тут не поделаешь.

На варшавской квартире тети я нашел визитные карточки Кромицкого, одну для меня, две для наших дам. Опасаясь, как бы он не вздумал явиться с визитом в Плошов, я решил завезти ему свою визитную карточку, – благо мне все равно надо было как-нибудь убить время. Но, на беду, я застал Кромицкого дома, и пришлось посидеть у него с полчаса.

Он мне объявил, что собирается навестить нас в Плошове, на что я ответил, что мы уехали туда отдохнуть и не сегодня-завтра вернемся в Варшаву. Потом он осведомился о здоровье Анелькиной матери и – очень осторожно – о самой Анельке. Он явно хотел дать мне понять, что интересуется ею совершенно бескорыстно, только как знакомый. Но я настолько впечатлителен, что даже это меня кольнуло.

До чего же мне противен этот субъект! Должно быть, татары Батые после победы под Лигницей изрядно покурлесили и в нынешней австрийской Силезии: без сомнения, глазки Кромицкого, похожие на кофейные зерна, никак не силезского происхождения.

Он со мной необыкновенно любезен, так как я человек со средствами. Собственно, ему от меня ничего не надо, да я и не дам ему ничего, так что ему от моего богатства ни тепло ни холодно, но он уже проникся тем поклонением деньгам, какое отличает финансистов. Мы сначала потолковали о затруднениях, с которыми приходилось, да и сейчас еще приходится бороться матери Анели. По мнению Кромицкого, многое удалось бы сохранить, если бы пани П. согласилась продать свое поместье. Ее упорство он считает «чистейшим романтизмом» и говорит, что оно было бы еще понятно, если бы можно было избежать продажи Глухова, но ведь, если дела будут идти так же, поместье все равно в конце концов будет продано – разве что откуда-нибудь возьмутся деньги. «Если появятся денежки, тогда другое дело».

Кромицкий, человек словоохотливый, без конца сетовал на нашу польскую беспомощность. Деньги, мол, валяются у нас под ногами, стоит только нагнуться. Он приводил в пример себя: отец его жил так же, как всякий большой барин, и наделал столько долгов, что оставил сыну не более ста тысяч гульденов. А теперь что?

– Теперь, если мне удастся одно дело в Туркестане, я себя обеспечу и смогу сразу уйти на покой. Евреи и греки нажили миллионы на поставках. Так я вас спрашиваю – почему и мы не можем заняться тем же? Я себя в пример не ставлю, я только спрашиваю: почему? Зарботков там на всех хватит.

Мне кажется, этот Кромицкий – человек с некоторой деловой сметкой, но, в общем, глупый. Что мы, поляки, – люди непредприимчивые и беспомощные, это старая песня. Что какой-нибудь одиночка может нажить на поставках миллионы, – верю, но народ в целом должен трудиться у себя на родине, а не гоняться за миллионами в Туркестане.

Слава богу, что Анелька не связала свою жизнь с Кромицким. Может, у него есть достоинства, но это человек совсем иного морального облика. А если ее избранником действительно может оказаться кто-нибудь хуже меня, так следует ли мне колебаться?

28 февраля

Старушки наши уже начинают немного беспокоиться оттого, что дело подвигается вперед не так быстро, как им бы хотелось. Особенно угнетает это, вероятно, тетушку – она по натуре женщина нетерпеливая. Впрочем, обеих успокаивает и ободряет выражение безмятежного счастья на лице Анельки. Она-то верит мне так, как только можно верить, и в ее глазах, устремленных на меня, я читаю это безграничное доверие. Мысли мои всецело заняты ею, и я с утра до вечера не могу от них оторваться. Меня все сильнее влечет к Анельке. Не нужны мне больше концерты на струнах ее души, нужна она сама.

4 марта

Нынешний день закончился для меня так, что мне нужно призвать на помощь все хладнокровие, на какое я способен, чтобы описать этот день по порядку, а не начать с конца. Нет, не могу, должен все-таки сказать: жребий брошен или все равно что брошен. Я не мог бы писать далее, если бы прежде всего на сказал этого.

А теперь можно рассказывать все по порядку. Около полудня к нам на ранний обед приехали Снятынский с женой. Сегодня в театре идет его новая пьеса, и им нужно было к вечеру вернуться в город. Как ни хорошо нам в глуши, в деревне, мы очень обрадовались таким гостям. Анелька искренне любит Снятынскую, и к тому же она, быть может, испытывает потребность излить перед кем-нибудь душу. Снятынская сразу смекнула, как обстоят дела, и усердно старалась подставить и свои плечики под наш воз, чтобы поскорее сдвинуть его с места. Не успели они приехать, как она завела разговор о нашей уединенной деревенской жизни и сказала, обращаясь к тете:

– Ах, какая тут у вас благодать, какая тишина! Не удивительно, что и этой молодой паре здесь хорошо вдвоем и они не скучают по Варшаве.

И я и Анелька отлично поняли, что, называя нас «молодой парой», Снятынская имела в виду вовсе не наш возраст. Да и за обедом она раз десять нарочно повторяла то «молодая пара», то «молодые», как бы противопоставляя нас старым членам семьи.

Но в ее взглядах было столько сочувствия, она с таким чисто женским любопытством наостряла ушки, чтобы услышать, о чем мы с Анелей говорим между собой, и так мило все у нее получалось, что я охотно прощал ей эту дружескую навязчивость. Я уже дошел до того, что умышленное сочетание наших с Анелькой имен не раздражает, а напротив – приятно мне.

Анельке это, кажется, тоже доставляло удовольствие. В ее приветливости к Снятынским, в том, как она за обедом их потчевала, было как бы радушие молодой хозяйки, в первый раз принимающей дорогих гостей в своем доме.

Тетуська тоже это подметила, душа в ней взыграла, и она все время расточала Снятынским любезности. При этом я наблюдал удивительную вещь – ни за что бы этому не поверил, если бы не видел своими глазами: у Снятынской краснеют уши всякий раз, когда кто-нибудь похвалит ее мужа! Краснеть от гордости за мужа после восьми лет совместной жизни! Уж не было ли величайшей глупостью то, что я писал о польках?

Обед прошел очень весело. Одна такая супружеская чета может толкнуть на брак множество людей – каждый, глядя на них, невольно скажет себе: «Эге, если так, то женюсь и я». Я по крайней мере впервые увидел брак в таком радужном свете, а не в сером сумраке житейской прозы, будничности, более или менее скрываемого равнодушия.

Анельке, должно быть, наше будущее тоже представлялось таким светлым. Я угадывал это по ее сияющему лицу.

После обеда мы со Снятынским остались в столовой вдвоем – я знаю, что он любит после кофе выпить рюмочку-другую коньяку. Тетя и пани П. перешли в боковую гостиную, Анелька же и пани Снятынская убежали вверх за какими-то альбомами с видами Волыни. Я заговорил со Снятынским об его пьесе, за которую он был не совсем спокоен. Потом разговор зашел о былых временах, когда оба мы только пробовали взлететь на еще не окрепших крыльях. Снятынский рассказывал мне, как постепенно добился признания, как часто сомневался в себе и сейчас еще иногда сомневается, хотя он уже до известной степени выдвинулся.

– Скажи, что ты делаешь со своей славой? – спросил я.

– То есть как это – что делаю?

– Ну, носишь ее на голове, как митру, или на плечах, как золотое руно, или она стоит у тебя на письменном столе, или висит в гостиной? Я спрашиваю потому, что понятия не имею, что такое слава и что с нею делают те, кому она достается!

– Допустим, что мне она досталась. И вот что я тебе отвечу: только человек самого дешевого сорта рядится в так называемую славу, носит ее на голове, на шее, ставит на письменный стол или вешает в гостиной. Сознаюсь, вначале она льстит самолюбию, но только духовному парвеню она может заполнить жизнь и заменить все остальные виды счастья. Совершенно другое дело – сознавать, что ты творишь нечто, заслужившее у людей признание, вызывающее отклики, это может дать удовлетворение человеку, который хочет служить обществу. Ну, неужели же счастье в том, что кто-нибудь в светском салоне скажет мне с глупой миной: «Ах, вы доставили нам столько приятных минут!» – а когда я съем что-нибудь неудобоваримое, та или иная газета немедленно объявит: «Сообщаем читателям печальную новость: у нашего знаменитого Х. Х. болит живот». Неужели это может меня осчастливить? Фи, за кого ты меня принимаешь?

– Послушай, – возразил я. – Я тоже не заражен глупым тщеславием, но каждому хочется, чтобы люди его уважали. Это потребность органическая. Видит бог, я не пустой человек, но честно тебе сознаюсь: когда люди находят во мне какие-то способности, говорят о них, жалеют, что они пропадают даром, – мне это льстит, доставляет некоторую – пусть горькую – радость, хотя я тогда еще яснее сознаю собственное ничтожество.

– Похвалы тебя радуют потому, что ты себя жалеешь, – впрочем, с полным основанием. Но ты не затемняй вопроса! Я вовсе не стремлюсь тебе доказать, что кто-либо может испытывать удовлетворение от того, что его называют ослом.

– Но ведь уважение людей следует за славой. Как же не ценить ее?

Снятынский, человек очень живой, имеет привычку во время разговора бегать по комнате, присаживаясь где попало, на все стулья и столы. На этот раз он присел на подоконник и ответил:

– Уважение? Ошибаешься, мой милый. У нас общество своеобразное, в нем царит чисто республиканская зависть. Вот, скажем, я пишу комедии, работаю для театра – хорошо. Я приобрел некоторую известность – еще лучше. Но, думаешь, завидовать мне будут здесь только другие драматурги? Ничуть не бывало! Мне будет завидовать инженер, банковский чиновник, педагог, лекарь, железнодорожный агент, – словом, люди, которые все равно никогда не стали бы писать комедии. Все они, встречаясь со мною, стараются дать мне почувствовать, что я, по их мнению, ничего не стою, а за глаза нарочно будут отзываться обо мне пренебрежительно, умаляя мои достоинства для того, чтобы себе придать больше весу. Если кто-нибудь из них заказал сюртук у моего портного, то при первом удобном случае он, пожимая плечами, скажет: «Снятынский? Подумаешь, какое светило! Он шьет у того же Пацыкевича, что и я!» Вот такие у нас нравы, вот что влечет за собой твоя вожденная слава!

– Но, должно быть, она чего-нибудь да стоит, если люди ради нее готовы шею себе ломать.

Снятынский призадумался на минуту, потом сказал серьезно:

– В личной жизни слава кое-чего стоит, из нее можно сделать скамеечку под ноги любимой женщине.

– Ого, да ты этим изречением стяжаешь себе новую славу!

Снятынский подскочил ко мне и крикнул запальчиво:

– Да, да! Уложи лавры в футляр, ступай с ними к любимой и скажи ей: «Вот то, из-за чего люди ломают себе шею, то, что считают за счастье, ценят наравне с богатством, – и это я добыл, а теперь ставь на него свои ножки!» Если ты так поступишь, то будешь любим всю жизнь, понятно? Ты хотел знать, чего стоит слава, – так вот, теперь знаешь.

Приход его жены и Анельки помешал Снятынскому продолжать. Обе дамы собирались идти в оранжерею.

Что за бесенок сидит в Снятынской! Она пришла якобы затем, чтобы попросить у мужа разрешения идти в оранжерею, а когда он разрешил, наказав ей одеться потеплее, она повернулась ко мне и с кошачьим лукавством спросила:

– А вы отпустите со мной Анельку?

Что Анелька покраснела до ушей, это естественно. Но что я, старый хрыч, отточенный, как бритва, на всяких оселках, в первую минуту тоже смутился, – этого я не могу себе простить. Все-таки я с напускным апломбом подошел к Анельке, поднес к губам ее руку и сказал:

– Здесь в Плошове приказывает Анелька, а я первый готов подчиняться ее приказам.

Я хотел было сказать Снятынскому: «А не пойти ли и нам в оранжерею?» – но передумал. Я испытывал потребность поговорить об Анельке, о моей будущей женьтибе и понимал, что Снятынский в конце концов затронет эту тему. Я даже облегчил ему задачу, спросив, как только дамы вышли:

– Итак, ты нерушимо веруешь в свои жизненные догматы?

– Да, теперь более, чем когда-либо. Или, вернее – всегда одинаково. На свете нет более затрепанного слова, чем «любовь», так что неприятно даже повторять его. Но тебе, с глазу на глаз, я скажу: любовь в широком смысле слова, любовь в частном смысле – и к черту критику! Да, таковы мои жизненные каноны! А философия моя состоит в том, что на эту тему не следует философствовать, и, ей-богу, я вовсе не считаю себя глупее других. С любовью жизнь имеет цену, без нее – не стоит ломаного гроша.

– Ну, хорошо, поговорим об этой «любви в частном смысле», или, проще говоря, – о любви к женщине.

– Ладно, пусть будет «к женщине».

– Так вот, дорогой мой, разве ты не видишь, на каком хрупком фундаменте строишь свое личное счастье?

– На столь же хрупком, как и сама жизнь, – не более.

Но я, говоря о непрочности, имел в виду не разлуку и не ту пропасть, которую раскрывает перед нами смерть. И я сказал Снятынскому:

– Помилуй, зачем же обобщать? Тебе в браке повезло, а другому может не повезти.

Но Снятынский и слышать ничего не хотел. Он утверждал, что в девяноста случаях из ста браки бывают удачны, ибо женщины лучше, чище и благороднее нас, мужчин.

– Мы просто дрянь в сравнении с ними! – кричал он, размахивая руками и тряся своим русым чубом. – Да, дрянь, и больше ничего. Это я тебе говорю, а я умею наблюдать жизнь хотя бы потому, что я – писатель.

Он сел верхом на стул и, напирая им на меня, продолжал все с той же горячностью:

– Дюма говорит, что есть обезьяны из страны Нод, которых ничем не укротишь и не приручишь. Однако на то у тебя глаза, чтобы не выбрать такой обезьяны. А в общем, женщина никогда не обманет мужа, не изменит ему, если сам он не развратит ее или не растопчет ее сердца, не возмутит и не оттолкнет ее своим ничтожеством, эгоизмом, ограниченностью, дрянной и мелкой душонкой. Кроме того, ее любить надо! Пусть она чувствует, что она для тебя не только самка, а дорогой человек, твой ребенок, твой друг. Носи ее за пазухой, чтобы ей было тепло, – а тогда можешь быть спокоен, она будет с каждым годом крепче лнуть к тебе, и вы в конце концов срастетесь, как сиамские близнецы. А если не дашь ей этого, испортишь ее или оттолкнешь, – она от тебя уйдет. Уйдет, как только протянутся к ней чьи-нибудь более достойные руки, уйдет непременно, потому что нежность и уважение ей нужны, как воздух.

В своем увлечении Снятынский так напирал на меня стулом, что мне приходилось все время отодвигаться, и мы скоро оказались у самого окна. Тут он вскочил и продолжал:

– Какие вы, однако, глупцы! В наш век духовной засухи, век без общего счастья, без устоев и перспектив, как не создать себе по крайней мере личного счастья, этой опоры в жизни? Мерзнуть на форуме – да еще и дома не натопить жарко печки! Что может быть глупее? Говорю тебе – женись!

Увидев в окно свою жену и Анельку, возвращавшихся из оранжерей, он указал мне на Анельку.

– Вот где твое счастье. Вот оно бежит в меховых сапожках по снегу! Повторяю: женись! Цени ее на вес золота... нет, на караты, ясно? У тебя нет постоянного места жительства не только в физическом, но и в духовном и нравственном смысле слова. Нет опоры, нет покоя – и все это она даст тебе. Смотри же, не профилософствуй ее, как профилософствовал свои таланты и свои тридцать пять лет жизни.

Ничто не могло быть разумнее и благороднее этих слов, как нельзя более согласных с моими желаниями. Я пожал Снятынскому руку и ответил:

– Нет, ее я не профилософствую, потому что люблю ее.

И мы дружески обнялись. В эту минуту вошли наши дамы, Снятынская, увидев, что мы обнимаемся, сказала:

– Уходя, мы слышали какой-то спор, но он, по-видимому, окончился мирно. Можно узнать, о чем шла речь?

– О женщинах, – сказал я.

– И каков результат?

– Как видите – объятия. А дальнейшие результаты не замедлят последовать.

Но этих результатов Снятынские не дождались, скоро за ними приехали сани. Короткий зимний день сменился сумерками, и им пора было уезжать. А так как погода стояла прекрасная, тихая и снег в аллее был гладок, как паркет, мы с Анелькой решили проводить их до шоссе.

Простившись с этими милыми людьми, мы возвращались домой. Смеркалось, но вечерняя заря еще не угасала, и при свете ее я хорошо видел лицо Анельки. Она была чем-то взволнована. Я догадался, что у них с Снятынской произошел откровенный разговор. А может, она надеялась, что я сейчас произнесу желанное слово. Слово это было уже у меня на языке. Но удивительная вещь – я, до сих пор считавший себя великим мастером любовных дел, я, который проявлял в этих случаях редкое самообладание и во времена «фехтований» отражал самые ловкие удары, – если и не очень искусно, то, во всяком случае, совершенно хладнокровно, сейчас волновался, как мальчишка! До чего же ново было это чувство! Я боялся, что не смогу связать двух слов, – и молчал.

Так молча шли мы к дому. Я подал Анельке руку, чтобы она не поскользнулась на укатанном полозьями снегу, и, когда она оперлась на нее, снова почувствовал, как сильно меня влечет к этой девушке. Через минуту я уже весь трепетал внутренне, и словно искры пробегали по моим нервам.

Мы вошли в прихожую. Там не было никого, еще и ламп не зажгли, и только сквозь вырезы в печных дверцах мерцали отблески огня. Все так же молча я в темноте стал снимать с Анели шубку, и, когда из-под этой шубки на меня вдруг пахнуло теплом, я обнял Анельку и, притянув ее к себе, коснулся губами ее лба.

Сделал я это почти безотчетно. Анелька же, должно быть от неожиданности, обомлела и не пыталась сопротивляться. Правда, она тотчас выскользнула из моих объятий, так как в коридоре послышались шаги лакея, несшего сюда лампу, и убежала к себе наверх. А я, глубоко взволнованный, вошел в столовую.

У каждого мужчины, не лишеного предприимчивости, бывают в жизни такие минуты. Бывали они и у меня, – но прежде я в подобных случаях оставался довольно спокоен и вполне владел собой. А сейчас мысли и впечатления вихрем проносились у меня в мозгу. К счастью, столовая была пуста: тетя и пани П. сидели в маленькой гостиной.

Я пошел к ним, но голова моя настолько занята была другим, что я едва понимал обращенные ко мне слова. Меня мучило беспокойство. Я представлял себе, как Анелька сидит у себя в комнате, сжимая виски руками. Я пытался угадать и почувствовать все то, что творится сейчас в ее сердце.

Она скоро пришла, – и я вздохнул свободнее: не знаю почему, я до этой минуты был уверен, что она сегодня вечером не выйдет из своей комнаты. На щеках у нее пылал

лихорадочный румянец, глаза блестели, как со сна. Видно, она пыталась освежить разгоряченное лицо – на левом виске остались следы пудры. Все это меня глубоко тронуло. Я чувствовал, что крепко люблю ее.

Занявшись каким-то рукодельем, Анеля сидела, низко опустив голову, но я все же заметил, как неровно и часто она дышит, а раз-другой перехватил ее беглый взгляд, вопросительный и тревожный.

Чтобы рассеять ее тревогу, я вмешался в разговор наших почтенных дам, толковавших о Снятынских, и сказал:

– Сегодня Снятынский упрекал меня в том, что я истый Гамлет, слишком много философствую. Но я ему докажу, что это не так, докажу не далее как завтра.

Это «завтра» я произнес с ударением, и Анелька, видимо, прекрасно меня поняла – она внимательно посмотрела на меня. Тетя же, ни о чем не догадываясь, спросила:

– Так ты с ним завтра опять увидишься?

– Да, следует посмотреть премьеру его пьесы. Если Анелька не против, мы с ней, пожалуй, завтра поедem в театр.

Моя милая Анелька устремила на меня застенчивый, но полный доверия взгляд и сказала удивительно мягко:

– Я на все согласна.

Была минута, когда мне хотелось тут же сразу сказать решительное слово, – и, пожалуй, я должен был это сделать. Но я уже сказал «завтра», и это меня удержало.

Я подобен сейчас человеку, который, зажав пальцами уши и ноздри, закрыв глаза, собирается нырнуть в воду. Но зато я уверен, что на дне найду настоящую жемчужину.

6 марта, Рим, Каза Озориа

Со вчерашнего дня я в Риме. Отец болен не так тяжело, как я боялся. У него частично парализована вся левая половина тела, но врачи успокаивают меня, заверяя, что сердцу паралич не угрожает и в таком состоянии отец может прожить годы.

7 марта

Итак, Анелька осталась в неизвестности, в ожидании и душевной тревоге. Но я не мог поступить иначе. На другой день после визита Снятынских, то есть в тот самый день, когда я намеревался сделать предложение Анельке, из Рима пришло письмо от отца с известием о его болезни. «Поспеш, дорогой мой мальчик, – писал он, – я хотел бы еще раз обнять тебя перед смертью, ибо чувствую, что ладья, которая унесет меня, уже подходит к берегу». И, конечно, получив такое письмо, я уехал первым же поездом и ехал без остановок до самого Рима.

Уезжая из Плошова, я думал, что не застаю уже отца в живых. Тщетно тетушка меня успокаивала, говоря, что, если бы отцу угрожала непосредственная опасность, он вызвал бы меня – или поручил кому-нибудь вызвать – не письмом, а телеграммой. Я знал, что у отца есть свои причуды и среди них – отвращение к телеграммам. Да и

тетушка только притворялась спокойной, а на самом деле волновалась не меньше меня.

В такой спешке и переполохе, поглощенный страшной мыслью о возможной смерти отца, я не мог и не хотел просить руки Анельки. Было бы противоестественно и цинично с моей стороны шептать слова любви, когда, быть может, в эту самую минуту отец прощался с жизнью. Это понимали все, а главное – понимала Анелька. Прощаясь, я сказал ей: «Я тебе напишу из Рима», она же ответила: «Дай бог, чтобы ты успокоился, – это главное». Она верит мне безгранично. А ведь у меня, заслуженно или незаслуженно, репутация ветреного сердцееда, и это, конечно, дошло уже до ушей Анельки. Но, быть может, именно потому славная девушка старается выказать мне еще больше доверия. Я угадываю ее мысли и чувства и словно слышу, как эта чистая душа говорит мне: «Люди к тебе несправедливы. Обвинять тебя в легкомыслии могут только те, кто не любит тебя так искренне и глубоко, как я люблю». И Анелька права. Если есть у меня некоторая склонность к легкомыслию, – породила ее, несомненно, та распушенность, суетность и пустота душевная, на которые я наталкивался в своей среде: она могла бы совершенно исковеркать, иссушить мою душу, и тогда такому существу, как Анелька, пришлось бы расплачиваться за чужую вину. Но думаю, что спасение еще возможно и благословенный исцелитель никогда не приходит слишком поздно. Да и кто знает, бывает ли когда-либо «слишком поздно» и не дано ли чистому и благородному женскому сердцу всегда воскрешать мертвых.

А может быть, сердце мужчины больше, чем это думают, одарено способностью возрождаться. Существует легенда о розе Иерихона, которая, совершенно увянув, от одной капли дождя оживает и дает новые листья. Я замечал, что в мужском характере вообще гораздо больше упругости, чем в женском. Иной мужчина погрязнет в разврате столь мерзком, что половина этого яда навсегда разъела бы губительной проказой душу женщины, а между тем этот сын Адама способен не только побороть болезнь, но и легко обретает вновь нравственное здоровье и свежесть – ну, просто девственность сердца. То же самое можно сказать и о чувствах. Я знавал женщин с сердцем настолько опустошенным, что они совершенно утратили способность любить и даже уважать кого бы то ни было или что бы то ни было. А таких мужчин я не встречал. Решительно, нам, мужчинам, любовь возвращает целомудрие.

Подобные утверждения могут показаться странными в устах скептика. Но прежде всего я своим сомнениям верю не более, чем всякого рода утверждениям, аксиомам и выводам, на которые другие люди опираются в жизни. Я в любую минуту готов согласиться, что мои сомнения, быть может, так же далеки от сути вещей, как и те аксиомы. Это во-первых. Во-вторых, я сейчас в плену моего чувства к Анельке, которая и сама не знает, какой она выбрала мудрый путь, безгранично доверившись мне, как она этим тронула и покорила мое сердце, как привязала меня к себе!

И, наконец, третье: говорю ли я о любви или о другом явлении жизни, – я говорю и пишу всегда то, что мне в этот момент думается. Что я буду думать об этом завтра, не знаю. Ах, если бы я знал, что какое-либо мое убеждение, воззрение, принцип устоит и завтра и послезавтра против духа скептицизма, – я бы ухватился за это убеждение обеими руками, сделал бы его своим канонem – и поплыл бы, как Снятынский, на всех парусах, под солнцем, а не блуждал бы в пустоте и мраке.

Но не буду больше возвращаться к своей душевной драме. Глядя на жизнь и все ее явления глазами скептика, я мог бы и о любви вообще сказать Соломоново *vanitas vanitatum*[15]. Но я не так слеп, чтобы не видеть, что из всех жизненных факторов любовь – самый могучий, она так всеильна, что всякий раз, как я об этом подумую

и окину мысленным взором вечное море бытия, меня просто ошеломляет ее всемогущество. Да оно ведь и всеми признано, так же всем знакомо, как восход солнца, как приливы и отливы в океане, – и все же это могущество неизменно поражает нас. После Эмпедокла, который высказал догадку, что это Эрос извлек мир из недр хаоса, метафизика не сделала ни шага вперед. Одна лишь смерть – такая же беспощадная сила, как любовь, но в вековой борьбе этих двух сил любовь берет смерть за горло, становится коленом ей на грудь, побеждает ее днем и ночью, побеждает каждой весной, ходит за ней по пятам и в каждую вырытую смертью яму бросает семена новой жизни. Люди, занятые своими повседневными делами, забывают или не хотят помнить, что они служат только любви. Странно, как подумаешь, что воин, государственный муж, земледelec, купец, банкир трудами своими, как будто не имеющими ничего общего с любовью, в сущности служат только ей, выполняют тот закон природы, в силу которого руки мужчины тянутся к женщине. Если бы сказали Бисмарку, что конечная и единственная цель всех его усилий в том, чтобы уста Германа слились с устами Доротеи, каким диким парадоксом показалось бы ему это! Да и мне сейчас то, что я написал, кажется парадоксом, а все-таки... Все-таки Бисмарк ставил себе целью могущество немцев, а это могущество может быть достигнуто только через счастье Германа и Доротеи. Так что еще делать Бисмарку, как не добиваться политикой или штыком таких условий, при которых Герман и Доротея могли бы спокойно любить друг друга и в счастливом союзе растить новое поколение?

Я еще в университете читал одну арабскую газель, в которой сила любви сравнивается с силой адских клещей. Я забыл имя поэта, но мысль его осталась у меня в памяти. Действительно, голова кружится, как подумаешь о могуществе любви! В конце концов все явления жизни – лишь разнообразные формы одной и той же сущности, которую элейцы выражали словами «εχαί αυ»[16]. Она одна вечна, одна властвует, соединяет, поддерживает, творит.

10 марта

Сегодня я написал и разорвал три или четыре письма к Анеле. После обеда пошел в рабочий кабинет к отцу, чтобы поговорить с ним о планах тетушки. Он рассматривал сквозь увеличительное стекло присланные ему из Пелопоннеса эпилихниионы[17], еще не очищенные от земли. В своей комнате-музее с переменчивым освещением (так как в одних окнах белые, а в других цветные стекла), комнате, полной этрусских ваз, обломков статуй и всякого рода памятников старины, греческих и римских, отец выглядел очень эффектно. Эта обстановка как-то особенно подчеркивала его благородную внешность, и я подумал, что, наверное, такое лицо было у «божественного» Платона или другого греческого мудреца. Когда я вошел, отец оторвался от своего занятия. Он выслушал меня с интересом, а потом спросил:

– Значит, ты еще колеблешься?

– Не колеблюсь, а размышляю, пытаюсь понять, почему мне этого хочется.

– Ну, так я тебе вот что скажу: в молодости я не меньше, чем ты, любил анализировать себя и все явления жизни. Но когда встретил твою мать, сразу утратил эту способность. Я знал только одно: что хочу обладать ею. И ничего больше знать не хотел.

– И что же?

– Если ты любишь так же сильно – женись. Нет, я не то хотел сказать: если ты так сильно любишь, ты все равно женишься без чужих советов и содействия и будешь так

же счастлив, как был я, пока жива была твоя мать.

Некоторое время мы оба молчали. Слова отца меня не радовали – они не отвечали полностью тому, что я переживал. Я, несомненно, люблю Анельку, но не дошел еще до того, чтобы в душе моей не было места никакой рефлексии. Впрочем, в этом нет ничего плохого – просто мое поколение поднялось на более высокую ступень сознания. Во мне всегда сидят два человека: актер и зритель. Часто зритель бывает недоволен актером, но на этот раз между ними полное согласие.

Отец первый прервал молчание:

– Опиши мне ее.

Описание – самый беспомощный способ создавать чей-нибудь портрет, поэтому я принес отцу большую и очень удачную фотографию Анели.

Он с жадным любопытством стал ее рассматривать. Я же с не меньшим интересом наблюдал за ним. В нем сразу проснулся художник, а вместе с тем и былой тонкий знаток и поклонник женщин, прежний «Leon l'Invincible». Прислонив фотографию к рукаву своей бедной, уже полумертвой левой руки, он правой схватил лупу и, то приближая, то отдаляя ее, сказал:

– Если бы не кое-какие особенности, это было бы лицо в духе Ари Шеффера. Она была бы прелестна со слезами на глазах... Некоторые люди не любят женщин с ангельским выражением лица, а по-моему, научить ангела быть женщиной – это верх достижения... Да, очень хороша, и красота незаурядная. Enfin, tout ce qu'il y a de plus beau au monde – c'est la femme![18]

Он снова принялся орудовать лупой и наконец сказал:

– Когда судишь по лицу, в особенности по фотографии, легко ошибиться, но у меня есть некоторый опыт. И, по-моему, эта девушка – глубоко честная натура. Так мне кажется. Женщины этого типа дорожат чистотой своих перышек... Дай бог тебе счастья, мой мальчик, – очень мне нравится твоя Анелька... Я всегда боялся, что ты женишься на какой-нибудь иностранке... Хорошо, что ты выбрал Анельку!

Я подошел к нему, а он здоровой правой рукой обнял меня за шею и притянул к себе со словами:

– Эх, если бы дожить до того дня, когда вот так же смогу обнять свою сноху!

Я стал его уверять, что непременно так и будет. Потом мы обсудили мой план вызвать в Рим тетю и Анельку с матерью. После того как я в письме попрошу руки Анельки, я смогу настоять на их приезде, а они, без сомнения, согласятся, приняв во внимание болезнь отца. Тогда свадьба может состояться в Риме – и очень скоро.

Отцу чрезвычайно понравился этот план – люди пожилые и больные любят видеть вокруг себя жизнь и движение. Я знал, что Анелька будет счастлива, когда узнает о нашем плане, а потому и сам с каждой минутой все больше жаждал ее приезда. Все можно было устроить за одну неделю. Я сознавал, что такая энергия и решительность несколько не в моем характере, но меня тем более радовала мысль, что я сумею их проявить. Дав волю воображению, я уже представлял себе, как буду показывать Анеле Рим. Только те, кто живет в этом городе, понимают, какое это наслаждение – знакомить кого-нибудь с его памятниками старины, а в особенности –

осматривать их вместе с любимой женщиной.

Продолжать разговор нам с отцом помешал приход супругов Дэвис, которые каждый день его навещают. Он – английский еврей, она – знатная итальянка, вышедшая за него по расчету. Дэвис – настоящая развалина, он пользовался жизнью вдвое щедрее, чем это позволял его организм, слабый от природы. Теперь ему грозит размягчение мозга, он – больной, ко всему равнодушный человек, таких встречаешь в гидropатических лечебницах. А г-жа Дэвис – настоящая Юнона. У нее сросшиеся брови и формы греческой статуи. Не нравится мне эта женщина. Она, как Пизанская башня, вечно клонится, но не падает. В прошлом году я приударял за нею, да и она усердно со мной кокетничала, но оба мы тем и ограничились. Отец мой питает к ней непобедимую слабость. Я даже подозреваю, что он когда-то был в нее влюблен. Во всяком случае, он ею восхищается, как художник и мыслитель, ибо она действительно и красавица, и чрезвычайно интеллигентна. Они с отцом ведут нескончаемые диспуты, которые отец называет «*Causeries Romaines*»[19]. Они всегда доставляют ему удовольствие – быть может, потому, что такие беседы с красивой женщиной о всяких явлениях жизни кажутся ему чем-то подлинно итальянским, поэтичным и достойным времен Возрождения. Я же редко принимаю участие в этих диспутах, так как не верю в искренность г-жи Дэвис. Сдается мне, что ее незаурядная интеллигентность – только головная, а не душевная, и на самом деле ее ничто не интересует, кроме собственной красоты и собственного благополучия. Я не раз встречал здесь таких женщин – можно подумать, что у них высокие духовные запросы, а в сущности, религия, философия, искусство, литература – для них как бы принадлежности их туалета: они рядятся то в одно, то в другое, полагая, что это им к лицу. И я подозреваю, что именно из таких побуждений г-жа Дэвис щеголяет своим интересом то к житейским проблемам, то к Древней Греции и Риму, то к «Божественной комедии», то к эпохе Возрождения или церквам, галерее Боргезе или Колонна, и так далее. Когда какая-нибудь яркая личность воображает, что она – пуп земли, это еще можно понять. Но в женщинах, занятых всякими пустяками, такой эгоцентризм и смешон и противен. Я нередко задавал себе вопрос, чем объясняются дружеские чувства г-жи Дэвис к моему отцу – нет, более того, ее увлечение им. И, кажется, нашел ответ. Этот старец с прекрасной головой патриция и философа, с манерами, напоминающими о восемнадцатом веке, для нее своего рода *objet d'art*[20], а главное – дивное мыслящее зеркало, в котором г-жа Дэвис может досыта любоваться своим умом и красотой. К тому же она благодарна отцу за то, что он ее не критикует, что очень к ней расположен. Быть может, все это привязало ее к нему, – во всяком случае, он стал ей нужен. Кроме того, у г-жи Дэвис в свете репутация кокетки, и, бывая ежедневно у отца, она тем самым как бы опровергает общее мнение. «Это неправда, – как бы говорит она. – Вот ведь Плошовский – семидесятилетний старик, и никто не может заподозрить меня в желании покорить его сердце, а между тем он мне милее всех моих поклонников». И наконец, еще одно: она, правда, старого знатного рода, но муж ее, хотя и колоссально богат, – не более как «мистер Дэвис». Так что дружба с моим отцом укрепляет их положение в высшем свете.

Одно время я спрашивал себя, уж не ради меня ли – или отчасти ради меня – г-жа Дэвис ежедневно бывает у нас? Кто знает... Но, конечно, эту женщину привлекают не мои достоинства, и тем менее можно ее подозревать в нежных чувствах ко мне. Нет, она понимает, что я отношусь к ней скептически, и это не дает ей покоя. Быть может, она даже меня ненавидит, но была бы рада увидеть меня у своих ног. И я, пожалуй, готов стать на колени перед таким великолепным образцом человеческой породы, сделал бы это хотя бы ради ее сросшихся бровей и плеч, достойных Юноны, – но за цену, на которую она не согласится.

Как только пришли Дэвисы, отец сразу пустился в философские рассуждения. Перескакивая с одного вопроса на другой, разговор закончился анализом человеческих чувств. Г-жа Дэвис высказала несколько очень метких суждений. Из отцовского «музея» мы перешли на террасу, которая выходит в сад. Сегодня только десятое марта, а здесь уже все в цвету. В нынешнем году весна ранняя. Днем – жара; магнолии, как снегом, покрыты цветами; ночи теплые, точно в июле. Как все здесь не похоже на Плошов! Я словно в другой мир понал. И дышу полной грудью.

На нашей террасе, при свете полной луны, г-жа Дэвис была прекрасна, как греза древнего эллина. Я видел, что и ее волнует волшебная римская ночь. Голос ее звучал мелодичнее и тише обычного. Впрочем, она, быть может, и сейчас, как всегда, думала только о себе и все воспринимала в применении к себе: рядилась в лунный свет, тишину и аромат магнолий, как будто примеряла шляпку или шаль. И должен сказать – этот наряд удивительно оттенял ее красоту. Не будь мое сердце занято Анелькой, я не устоял бы перед нею. Притом она высказывала мысли, которые не каждому мужчине придут в голову.

Однако, присутствуя на этих *Causeries Romaines*, я всегда выношу впечатление, что отец, я, г-жа Дэвис – словом, все мы, люди определенного круга, в сущности, оторваны от реальной действительности. Под нами что-то творится, возникает, кипит борьба за существование, за кусок хлеба, идет жизнь реальная, полная муравьиного труда, животных потребностей, appetitов, страстей, ежедневных тяжких усилий, жизнь потрясающе ощутимая, полная сумятицы, шумная, бурлящая, как море, – а мы вечно сидим себе на каких-то террасах, рассуждаем об искусстве, литературе, любви, женщинах, чуждые жизни, далекие от нее. Мы вычеркиваем из семи дней недели шесть будничных и даже не сознаем того, что наши интересы, увлечения, нервы и души годны только для праздников. Погрузившись в блаженный дилетантизм, как в теплую ванну, мы живем словно в полусне. Неторопливо растрачивая унаследованное достояние и наследственный запас мышечных и нервных сил, мы постепенно теряем почву под ногами. Мы – как пух, носимый ветром. Едва за что-нибудь зацепимся, реальная жизнь сметает нас с места – и мы покоряемся, ибо не чувствуем себя в силах дать ей отпор.

Когда я думаю об этом, меня всегда поражает то, что в нас уживаются тысячи противоречий. Так, мы считаем себя цветом цивилизации, ее высшей ступенью, а между тем утратили всякую веру в себя. Лишь самые глупые из нас еще верят в смысл своего существования. Мы инстинктивно ищем в жизни ее праздничные стороны, наслаждение и счастье, но не верим и в счастье тоже. Пессимизм наш, правда, неглубок, он легок, как дым наших гаванских сигар, тем не менее заслоняет нам все горизонты. И за этим заслоном, в этом дыму, мы создаем себе отдельный мир, оторванный от огромной вселенной, замкнутый в себе, несколько суетный и сонный.

И если бы дело шло только о так называемой аристократии, родовой или денежной, было бы еще с полбеды. Но к нашему изолированному миру в той или иной степени принадлежат и все представители высшей культуры, да отчасти и наша наука, литература и искусство. Как-то так вышло, что все они существуют не в самой гуще жизни, а в отрыве от нее, в замкнутом кругу, вследствие чего и вянут, выдыхаются и не имеют влияния на миллионы людей, которые копошатся внизу, не смягчают их животных инстинктов.

Я говорю об этом не как реформатор, – какой уж я реформатор, на это у меня не хватает сил. И наконец, какое мне до этого дело? Будет так, как быть должно! Но порой у меня бывает смутное предчувствие какой-то страшной опасности, грозящей всей нашей культуре. Волна, которая смывает нас с поверхности земли, унесет

больше, чем та, что в свое время смыла мир пудренных париков и жабо. Впрочем, и в ту эпоху гибнущим поколениям казалось, что с ними гибнет цивилизация.

А все-таки приятно посидеть иногда в теплый лунный вечер на террасе и беседовать вполголоса об искусстве, литературе, любви и женщинах, поглядывая на освещенный серебряным светом божественный профиль такой женщины, как г-жа Дэвис.

10 марта

Горы, скалы и долины, по мере того как мы от них отдаляемся, заслоняет от наших глаз синяя дымка. И я замечаю, что такая же «психологическая» дымка заслоняет нам тех, кто от нас далеко. Смерть – то же отдаление, но столь безмерное, что люди, которых она от нас уносит, даже самые любимые и близкие, постепенно утрачивают в нашей памяти реальный облик, затуманиваются, становятся лишь дорогими тенями. Это понимал эллинский гений, населяя толпой теней поля Елисейские. Не буду, однако, злоупотреблять этими грустными сравнениями, так как хочу говорить о живой Анельке. Я совершенно уверен, что любовь моя к ней не ослабела, а между тем Анелька сейчас и в мыслях моих тоже словно окутана синей мглой, не так реальна, как была в Плошове. Исчезла непосредственность чувственного восприятия. Сейчас Анеля стала для меня скорее дорогой и близкой душой, а в Плошове была желанной женщиной. Хуже это или лучше? С одной стороны – лучше: ведь желанной могла бы быть для меня даже г-жа Дэвис. Но кто знает – быть может, именно из-за этой перемены в чувствах я до сих пор ни разу не написал отсюда Анеле? Я нимало не сомневаюсь, что профиль г-жи Дэвис, неотступно стоящий у меня перед глазами, – впечатление мимолетное и не имеющее никакого значения. Напротив, когда я сравниваю этих двух женщин, чувство мое к Анеле становится нежнее. И, несмотря на это, я оставляю ее в неизвестности и мучительном ожидании.

Сегодня отец написал тете, чтобы она не тревожилась, так как ему уже лучше, а я дописал к письму несколько строк, ограничившись только приветом Анельке и ее матери. Правда, в приписке много не скажешь, но ведь мог же я хотя бы обещать, что скоро напишу им отдельно и подробно. Такое обещание было бы бальзамом для Анельки и обеих старушек. Но я не сделал и этого – не мог. Сегодня у меня снова день «отлива». Любовь к жизни и вера в будущее отхлынула далеко, так далеко, что их и не видать, а видно только дно, сухое и песчаное. Я говорю себе: жениться на Анеле я вправе только в том случае, если буду искренне уверен, что этот брак принесет счастье нам обоим. Именно в этом я должен буду уверить Анельку, но тогда я солгу, обману ее раньше, чем ксендз соединит наши руки, ибо нет у меня веры в это, есть только сомнения во всем и отвращение к жизни.

Анеле тяжело ждать и оставаться в неизвестности, но мне еще хуже, чем ей, – и тем хуже, чем сильнее я ее люблю.

11 марта

Когда я во время нашей *causerie* при луне высказал г-же Дэвис приблизительно то же, что ранее писал здесь, в дневнике, о всемогуществе любви, она назвала меня Анакреоном и посоветовала украсить чело венком из виноградных листьев. Затем спросила уже серьезно:

– Если это так, почему же вы разыгрываете из себя пессимиста? Вера в такое божество должна делать человека счастливым.

В самом деле, почему?

Я не ответил ей, но в душе хорошо знаю почему. Любовь побеждает даже смерть, но бессмертие дано только р о д у. А что мне из того, что род сохранится, если я, человек, познавший любовь, обречен на неумолимую и неизбежную гибель? Разве не утонченно жесток закон, в силу которого чувство, доступное только индивиду, служит лишь сохранению рода? Чувствовать в себе трепет этой бессмертной силы и при этом знать, что ты должен умереть, – что может быть ужаснее? В действительности существуют только индивиды, а род – понятие отвлеченное и для отдельной личности – совершенно то же, что представление о нирване. Мне понятна любовь человека к своему сыну, внуку, правнуку, то есть к отдельным людям, смертным, как и он. Но патриотизм по отношению к своему роду – чувство надуманное, искренне его может питать только глупейший доктринер. Теперь становится понятно, почему после Эмпедокла через много веков появились в мире Шопенгауэр и Гартман.

Мозг мой наболел так, как может наболеть спина грузчика, таскающего непосильные тяжести. Но этот рабочий хоть зарабатывает себе таким трудом кусок хлеба и покой!

Мне все вспоминаются слова Снятынского: «Смотри же, не профилософствуй ее, как профилософствовал свои таланты и тридцать пять лет жизни». Знаю, что это ни к чему не ведет, что это вредно – но не могу не думать.

13 марта

Сегодня на рассвете умер отец. После второго удара он не прожил и суток.

.....

22 марта, Пельи, вилла «Лаура»

Смерть... Мы знаем, что всем придется сойти в эту бездну, но всякий раз, когда в ней исчезает кто-нибудь из близких и дорогих нам людей, у нас, оставшихся наверху, сердце разрывается от тоски, страха, отчаяния. Все логические рассуждения обрываются на краю этой бездны, и хочется только взывать о спасении, которое ниоткуда прийти не может. Единственным спасением и утешением могла бы быть вера. А тот, у кого ее нет, кому этот свет не светит, может просто обезуметь при мысли об ожидающей нас вечной ночи. Десять раз в день я говорю себе, что этого не может быть, что было бы слишком страшно, если бы со смертью кончалось все. И десять раз в день я чувствую, что это именно так.

23 марта

Приехав из Плохова, я застал отца в таком хорошем состоянии, что мысль о близости конца мне и в голову не приходила. Какие странные выверты чувств таятся в душе человеческой! Бог свидетель, найдя отца почти здоровым, я искренне, от всей души этому обрадовался, а вместе с тем, – так как до этого я был уверен, что он умрет, и в своем воображении уже видел его лежащим среди погребальных свечей и себя – на коленях у его гроба, – во мне зашевелилось что-то вроде разочарования, как будто мне обидно было за напрасно пережитое горе. И сейчас воспоминание об этом преследует меня, как вечный горький укор.

Глубоко несчастлив человек, чья душа и чувства утратили простоту! Как угрызения совести мучают меня воспоминание о том, что, когда отец умирал у меня на глазах, во мне словно сидели два человека: искренне горевавший сын, который кусал пальцы, пытаясь заглушить рыдания, – и холодный умник, изучавший в эти минуты психологию умирающего. Я невыразимо несчастен потому, что мне дан судьбой такой несчастный характер.

Отец умирал в полном сознании. В субботу вечером он почувствовал себя плохо. Я послал за доктором и попросил на всякий случай остаться у нас. Доктор прописал какое-то лекарство, а отец тотчас начал с ним воевать, доказывая, что лекарство, это может ускорить приступ. Доктор успокаивал меня, говоря: «После первого удара никогда нельзя быть уверенным, что за ним не последует второй, но пока я не вижу непосредственной опасности и думаю, что ваш отец может прожить лет пятнадцать – двадцать».

Об этих пятнадцати – двадцати годах он сказал и отцу, но тот только рукой махнул и буркнул: «Увидим». Отец всю жизнь воевал с докторами и любил их поддразнивать, рассуждая о беспомощности медицины. Поэтому его замечание меня не встревожило. Но около десяти, когда мы пили чай, он вдруг приподнялся и крикнул:

– Леон! Скорее сюда!

Через четверть часа он уже лежал в постели, а через час началась агония.

24 марта

Я убедился, что человек до последней минуты сохраняет не только все черты своего характера, но и свои причуды. И мой отец даже в эти торжественно-серьезные минуты близости смерти был, кажется, очень доволен тем, что прав оказался он, а не врач, и что оправдалось его недоверие к медицине. Я слушал все, что он говорил в последние часы жизни, я читал его мысли по лицу. Было в них и сознание важности приближающейся минуты, был интерес к тому, каким окажется иной мир. Ни тени сомнения в том, что этот иной мир существует, только легкое беспокойство при мысли, хорошо ли его там примут, – и вместе с тем какая-то безотчетная, наивная уверенность, что его-то, во всяком случае, примут не как первого попавшегося. Я так умирать не буду – нет в моей жизни таких основ, которые поддержали бы меня даже в смертный час.

Отец, прощаясь с жизнью, был полон глубокой веры и раскаяния, как истинный христианин. Он принимал святое причастие со светлой умиротворенностью праведника. Таким он навсегда останется у меня в памяти.

Как же убог и жалок мой скептицизм по сравнению с этой огромной силой веры, которая еще властнее, чем любовь, торжествует над смертью. После причастия и последнего соборования отец, глубоко растроганный, схватил меня за руку, крепко, почти судорожно, и не выпускал ее, словно пытаясь уцепиться за жизнь. Но не из страха, не от отчаяния. Ему ничуть не было страшно. Через минуту я заметил, что его глаза, все время устремленные на меня, становятся неподвижны и мутнеют, а на лбу, словно капли росы, выступает пот. Лицо его все больше бледнело, он несколько раз открывал рот, словно ему воздуха не хватало. В последний раз глубоко вздохнул – и скончался.

При бальзамировании я не присутствовал, это было выше моих сил. Но после бальзамирования я ни на миг не отходил от тела, боясь, что те, кто обряжал его, будут обращаться с ним как с вещью. Как ужасен погребальный обряд: катафалки, свечи, монахи с опущенными на лицо капюшонами, эти песнопения! До сих пор у меня в ушах звучит. «Anima eius» и «Requiem aeternam»[21]. От всего этого веет страшным холодом смерти.

Гроб вынесли из церкви Санта Мария Маджоре, и тут я в последний раз бросил взгляд на родное прекрасное лицо. Кладбище Кампо Санта уже напоминает зеленый

островок. Весна в этом году удивительно ранняя. Деревья в цвету, белые мраморные памятники на могилах купаются в солнечном свете. Пробуждающаяся вокруг жизнь, зелень, солнце, птичий гомон – и похороны. Какой печальный контраст! Гроб до самого кладбища провожала толпа народу, – отец был в Риме известен своей благотворительностью так же, как тетушка – в Варшаве. Но меня раздражал этот наплыв чужих людей, на чьих оживленных лицах читалось весеннее настроение. Толпа, особенно в Италии, жаждет зрелищ, и привлекло ее сюда не столько сочувствие, сколько желание поглазеть на пышные похороны. Эгоизм человеческий не имеет границ, и я уверен, что даже люди нравственно и умственно развитые, идя за гробом, испытывают бессознательное удовлетворение оттого, что несчастье случилось не с ними, хоронят не их.

Приехала тетушка – я вызвал ее телеграммой. Постигший нас удар она приняла гораздо спокойнее, чем я, – как человек глубоко верующий она видит в смерти только счастливейшую из всех перемен. Правда, это не мешало ей плакать искренними слезами над гробом брата, но она сохранила душевное спокойствие. После похорон она завела со мной сердечный и откровенный разговор, но я тогда неверно истолковал ее слова, о чем теперь жалею. Она ни словом не обмолвилась об Анельке, говорила только о моем одиночестве и настойчиво звала меня в Плошов, уверяя, что там мне легче будет перенести утрату, ибо я найду там любящие сердца, а прежде всего – ее старое сердце, которому я дорожу всего на свете. Я же видел в ее словах только желание продолжать сватовство, и сейчас, когда еще так свежо было мое горе, это показалось мне неприличным и очень рассердило меня. Не до помолвок и свадеб мне сейчас, мне и жизнь постыла с того дня, как ее омрачила тень смерти. В сердцах я решительно, даже резко отказался ехать с тетушкой. Я сказал ей, что отправлюсь путешествовать, – вернее всего, на Корфу, а потом вернусь на несколько недель в Рим, чтобы заняться отцовским наследством, и только после этого поеду в Плошов.

Тетушка не настаивала. Понимая, как мне тяжело, она была ко мне нежнее, чем когда-либо. Через три дня после похорон она уехала. А я на Корфу так и не попал: Дэвисы сразу же увезли меня на свою виллу в Пельи, и вот уже несколько дней, как я здесь. Искренна ли г-жа Дэвис или нет, не знаю и не хочу над этим задумываться. Знаю только, что и от родной сестры нельзя было ожидать столько сочувствия и заботы. Отравленный скептицизмом, я склонен всем и всегда не доверять, но если бы оказалось, что на сей раз я ошибся, я чувствовал бы себя сильно виноватым перед этой женщиной, так как ее доброта ко мне поистине не знает границ.

26 марта

Из моих окон видна невысказанно прекрасная лазурь Средиземного моря, замкнутая на горизонте полосой темного сапфира. Близ нашей виллы рябь на воде сверкает огненной чешуей, а дальше поверхность моря гладка, недвижна, словно убаюканная тишиной. Там и сям белеют латинские паруса рыбацких лодок; раз в день проходит из Марселя в Геную пароход, оставляя за собой пушистую струю дыма, которая чернеет над морем, как туча, пока не растает в воздухе. Здесь чудесно отдыхаешь. Мысля рассеиваются, как этот пароходный дымок между лазурью неба и моря, и человек живет блаженной, растительной жизнью. Вчера я чувствовал себя крайне утомленным, а сегодня полной грудью вдыхаю свежий морской ветерок, оставляющий на губах влажные крупинки соли. Что ни говори, а Ривьера – настоящее чудо. Воображаю, какая теперь в Плошове слякоть, какая тьма и внезапные мартовские переходы от холода к теплу, от снежной крупы из проходящих туч – к минутным проблескам солнца. А здесь всегда сияет безоблачное небо и дует морской ветер, который сейчас холодит мне лоб, словно ласкает его. В открытые окна вливается

упоительный аромат резеды, гелиотропа и роз, поднимаясь от садовых цветников, как фимиам из каминов. Волшебный край, «где лимоны зреют»! Да и вилла Дэвисов – настоящий волшебный замок, ибо здесь есть все, что могли создать миллионы Дэвиса и прекрасный вкус его жены. Меня окружают шедевры искусства, картины, статуи, несравненная керамика, золотые изделия Бенвенуто. Глаза, упоенные красотой природы, наслаждаются здесь красотой искусства и разбегаются, не зная, на что раньше смотреть, пока не остановятся на владелице этих сокровищ, прекрасной язычнице, которая знает только одну религию – поклонение красоте.

Впрочем, не следовало бы мне называть ее язычницей: ведь она, искренне или неискренне, делит со мной мое горе и старается облегчить его. Мы с ней по целым часам беседуем о моем отце, и часто при этом я вижу у нее на глазах слезы. Приметив, что музыка успокаивает мои издерганные нервы, она до поздней ночи играет мне на рояле. Я часто сижу впотьмах у себя в комнате, бездумно смотрю в открытое окно на подернутое серебряной рябью море и слушаю эти мелодии, слитые с плеском волн. Слушаю, пока не приходит забытие, полусон, в котором не помнишь уже о действительности и всех ее невзгодах.

29 марта

Мне неохота даже писать каждый день. Мы с г-жой Дэвис читаем вместе «Божественную комедию», вернее – ее последнюю часть. Когда-то мне больше нравились жуткие картины «Ада». Теперь же я с наслаждением погружаюсь в светлый туман дантовского «Рая», населенный еще более светлыми духами. Иногда мне среди этого сияния чудятся черты знакомого, дорогого лица, и скорбь моя становится тогда почти сладостной. Только теперь я почувствовал по-настоящему все красоты дантовского «Рая». Нигде дух человеческий не раскидывает свои крылья так широко, не объемлет так много, не заимствует столько у бесконечности, как в этой бессмертной поэме. Третьего дня, вчера и сегодня мы читали ее в лодке. Обычно мы отъезжаем очень далеко от берега, и если море совершенно спокойно, я спускаю парус, и мы читаем, покачиваясь на волнах, – вернее, читает г-жа Дэвис, а я слушаю. Вчера после заката все небо было в огне. Она сидела против меня и вдохновенно читала. По временам она поднимала глаза, и в них отражался свет вечерней зари. В этом зареве заката, сидя в лодке среди моря рядом с этой красавицей и слушая Данте, я забыл о действительности.

30 марта

По временам боль, казалось, уже утихавшая, просыпается с новой силой, и тогда мне хочется бежать отсюда.

31 марта, вилла «Лаура»

Сегодня я много думал об Анельке. Странное у меня чувство – словно нас разделяют огромные пространства суши и морей. Как будто Плошов лежит где-то на краю света, в гиперборейских странах. Это одна из тех иллюзий, когда свои личные ощущения принимаешь за объективную действительность. Нет, не Анелька далеко от меня, а я все дальше отхожу от того Леона, чьи мысли и сердце были всецело заняты ею. Из этого вовсе не следует, что моя любовь к ней совсем остыла. Но, анализируя это чувство я убеждаюсь, что оно утратило свою действенность. Еще несколько недель назад я, полюбив, к чему-то стремился. Сейчас я ее еще люблю, но ни к чему не стремлюсь. Смерть отца как бы разрядила напряжение моего чувства. Так было бы, например, если бы я писал литературное произведение, а какие-нибудь злополучные обстоятельства оторвали меня от него. И не только в этом дело. Все струны души моей до недавнего времени были натянуты, как тетива лука, а сейчас их расслабило горе, сильная усталость, влияние этого дивного климата и лазурного моря, которое баюкает меня, как ребенка. Шиву растительной жизнью, отдыхаю, как человек,

изнемогший от трудов, и меня сковывает какая-то истома, словно я сижу в теплой ванне. Никогда я еще не чувствовал себя менее способным к каким бы то ни было действиям, и самая мысль о них мне неприятна. Если бы я захотел придумать себе девиз, я выбрал бы слова: «Не будите меня!»

Что будет, когда я проснусь, – не знаю. Пока же мне хоть и грустно, но хорошо. И потому я не хочу просыпаться и не считаю это нужным. Трудно себе представить, как далек я от прежнего Леона Плошовского, который чувствовал себя связанным с Анелькой. Связан? Чем? Почему? Что было между нами? Одно беглое, почти неуловимое прикосновение губ к ее лбу, которое вполне можно объяснить родственными чувствами... Нет, что за нелепая щепетильность! Насколько же крепче были мои связи с другими женщинами, – да и те я рвал без малейших угрызений совести. Не будь мы с ней в блинком родстве – ну, тогда другое дело. Правда, Анелька иначе поняла то, что произошло между нами. И сознаюсь (я ведь себе никогда не лгу), тогда я тоже понимал это иначе, но... Ну, что ж, пусть так, пусть у меня грех на совести. Мало ли каждый час в мире совершается преступлений, по сравнению с коими огорчение, причиненное мною Анеле, – просто чепуха. Упрекать меня за это совесть может разве только тогда, когда ей больше делать нечего и она позволяет себе эту роскошь. Такого рода «грешкам» так же далеко до подлинных преступлений, как нашей праздной болтовне на террасах – до трудной и тяжелой действительности.

В общем, я вперед не загадываю, но сейчас хочу прежде всего покоя и предпочитаю ни о чем не думать. «Не будите меня». Сегодня за обедом говорилось о том, что в середине апреля, когда начнется жара, мы уедем из Пельи в Швейцарию. Меня даже эта перемена пугает. Беднягу Дэвиса, кажется, придется поместить в лечебницу. Он проявляет признаки помешательства. Целые дни молчит, уставившись в землю, и только по временам принимается разглядывать свои ногти, – его преследует страх, что они отвалятся. Все это – последствия бурной жизни и пристрастия к морфию.

Кончаю писать, так как подошел час нашей прогулки по морю.

2 апреля

Вчера была гроза. Южный ветер пригнал тучи, как табун лошадей. Он то рвал их в клочья, то, разметав по небу, снова сгонял вместе, потом подмял их под себя и изо всех сил обрушил на море, а оно вмиг потемнело, как темнеет лицо человека в гневе, забурлило и стало в отместку швырять вверх пену. То была настоящая схватка двух бешеных стихий, которые наступали друг на друга под гром и блеск молний. Это длилось недолго, но нам все-таки пришлось отказаться от обычной прогулки по морю – слишком оно разбушевалось. Мы с г-жой Дэвис наблюдали грозу с застекленного балкона. По временам глаза наши встречались... Теперь уже трудно себя обманывать: между нами что-то начинается, возникает нечто новое. Ни она, ни я ни разу не произнесли ни единого слова, выходящего за рамки обыкновенной дружбы. Не делали никаких признаний друг другу. Но, беседуя, мы оба чувствуем, что слова наши – только ширма, скрывающая что-то. То же самое бывает, когда мы катаемся в лодке, или читаем вместе, или я слушаю ее игру на рояле. Все, что мы делаем, делается как будто только для виду, и под этой обманчивой видимостью скрывается какая-то тайная правда, пока еще немая и с закрытым лицом, но всегда следующая за нами, как тень. Никто из нас не хочет ее назвать, но мы постоянно ощущаем ее присутствие. Вероятно, так бывает всегда, когда мужчина и женщина почувствуют влечение друг к другу. Когда это началось у нас с Лаурой, не могу сказать. Скажу только, что пришло это не совсем неожиданно.

Я принял приглашение Дэвисов, так как Лаура была дружна с моим отцом и после его

смерти проявила такое участие ко мне, как никто в Риме. Но я привык все анализировать, как бы раздваиваться внутренне, и сразу по приезде в Пельи, несмотря на свежее еще горе, почувствовал, что между мной и этой женщиной зарождается что-то новое и в отношениях наших должна наступить перемена. Я негодовал на себя за то, что чуть не на другой день после кончины отца способен думать о таких вещах, но предчувствие это меня не покидало. И вот сейчас оно сбывается. Я сказал, что правда о наших отношениях еще скрывается под маской, ибо не знаю, когда наступит перелом и в какой форме. Но суть этой перемены мне ясна и волнует меня. Конечно, наивно было бы думать, что Лаура Дэвис менее прозорлива, чем я. Вероятно, она еще яснее отдает себе во всем отчет. И, наверное, подготавливает эту перемену она, и все, что происходит, происходит по ее воле и холодному расчету. Диана-охотница расставляет сети на зверя! Ну, да мне-то чего бояться? Что мне терять? Как почти всякий мужчина, я из тех опасных зверей, которые подпускают к себе охотника только затем, чтобы в подходящую минуту самому на него напасть. В таких случаях все мы проявляем достаточную энергию. В этом состязании, по самой природе вещей, победа должна остаться за нами. Я отлично знаю, что жена Дэвиса в меня не влюблена, но ведь и я ее не люблю. Тяготение наше друг к другу в лучшем случае – взаимное влечение двух языческих натур, высокоартистичных и чувственных. В Лауре говорит также и самолюбие, но тем хуже для нее, – в такой игре легко потерять голову и дойти до того, к чему ведет настоящая любовь.

Я-то так далеко не зайду. Я не чувствую к Лауре Дэвис ни капли привязанности и нежности, только восхищение шедевром красоты и физическое влечение, естественное в мужчине, когда этот шедевр – женщина из плоти и крови. Отец говаривал, что высшая победа мужчины в том, чтобы ангела превратить в женщину. Я же думаю, что не меньший триумф для мужчины – ощутить вокруг своей шеи теплые руки флорентийской Венеры.

А женщина эта – воплощение того, чего может пожелать самое пылкое и утонченное воображение. Это – Фрина. Поистине можно голову потерять, когда видишь ее, например, в амазонке, так плотно облегающей тело, что все формы его можно созерцать, как формы статуи. Когда она читает Данте в лодке, она похожа на Сивиллу, и мне становится понятна святотатственная страсть Нерона. Она так красива, что красота ее почти пугает. Только сросшиеся черные брови напоминают о том, что она живая и современная женщина, – и это еще больше возбуждает чувственность. Поправляя волосы, Лаура имеет привычку закидывать руки за голову, и при этом плечи ее поднимаются, она вся изгибается, грудь обрисовывается, и нужно большое усилие воли, чтобы не схватить ее и не унести на руках далеко от людских глаз.

В каждом из нас сидит сатир. А я притом человек необычайно впечатлительный, и как подумаю, что между мной и этой живой статуей Юноны что-то начинается, что какая-то сила неумолимо толкает нас друг к другу, у меня даже голова кружится, и я спрашиваю себя: может ли жизнь дать мне что-либо упоительнее этого?

3 апреля

Ни одна женщина не может уделить другу, которого постигла тяжелая утрата, больше внимания и сочувствия, чем Лаура уделяет мне. Однако – странная вещь! – ее доброта напоминает мне лунный свет: она светит, но не греет. Она выражается в самых совершенных формах, но души в ней нет; она – обдуманная, головная, а не сердечная. Снова во мне заговорил скептик, но что поделаешь – никогда я не влюбляюсь настолько, чтобы в опьянении утратить наблюдательность. Если бы моя богиня была добра по натуре, она была бы добра ко всем. Но ее отношение к мужу,

например, доказывает обратное. У несчастного Дэвиса, правда, кровь настолько остыла, что ему холодно даже на солнцепеке, – но как же леденит его равнодушие жены! Я не замечал в ней никогда даже искры сострадания к нему. Она его попросту не замечает и знать не хочет. Миллионер этот среди окружающей его роскоши ходит, как нищий, – даже жалость берет. Ему как будто все стало безразлично, но человек, сохранивший хоть искру сознания, всегда чувствует доброе отношение к себе. Лучшее доказательство тому – благодарность, которую чувствует ко мне Дэвис только за то, что я иногда беседую с ним о его здоровье.

А быть может, в нем говорит то бессознательное чувство, которое заставляет существо слабое и беспомощное льнуть к более сильному. Мне действительно искренне жаль его, когда я смотрю на его белое, как мел, лицо с кулачок, на эти ноги, сухие, как палки, и все его щедушное тело, даже в зной укутанное теплым пледом. Но не хочу и самому себе казаться лучше, чем я есть: сострадание к Дэвису ни от чего меня не удержит. Как говорит Шекспир, улейка для того и существует, чтобы жуке было что есть. Я не раз замечал – когда дело идет о женщине, мужчины бывают безжалостны друг к другу. Этот остаточный животный инстинкт толкает нас на борьбу за самку, борьбу не на жизнь, а на смерть. В такой борьбе, какие бы формы она ни принимала, – горе слабым! Даже чувство чести не обуздает сильного. И безусловно осуждает эту борьбу только религия.

12 апреля

Дней десять не записывал ничего в дневник. Перелом наступил неделю назад. Я заранее был уверен, что это произойдет на море: такие женщины, как Лаура, и в минуты опьянения не забывают о подходящей обстановке. Если они даже добрые дела творят лишь потому, что это их красит, – тем более им нужна красота при падении. Тут играет роль и страсть ко всему необычному, порожденная не романтикой, а желанием драпироваться во все, что только может украсить. Я еще не окончательно потерял голову и смотрю на Лауру по-прежнему трезвыми глазами, но порой думаю: а может, она вправе быть такой, как она есть, и считать, что даже солнце и звезды существуют лишь для того, чтобы служить ей украшением? Абсолютная красота по самой природе вещей должна быть безмерно эгоистична и все подчинять себе. А Лаура – воплощение такой красоты, и никто не имеет права требовать от нее большего. Я, во всяком случае, требую от нее лишь одного – чтобы она всегда и везде была прекрасна...

Слава богу, я – хороший гребец, и благодаря этому мы можем выходить на лодке в море только вдвоем. На прошлой неделе Лаура в самую жаркую пору дня вдруг объявила, что хочет покататься по морю. Она, как Геката, обожает зной и солнце. Легкий ветер вскоре отнес лодку довольно далеко от берега и затем неожиданно улегся. Парус наш повис вдоль мачты. Яркие лучи солнца, отражаясь от зеркальной поверхности моря, еще усиливали жару, хотя было уже далеко за полдень. Лаура растянулась на индийской циновке, посланной на дне нашего суденышка, и, опустив голову на подушки, лежала неподвижно, залитая красноватым светом солнца, просачивавшимся сквозь навес. Странная истома овладела мною, и, глядя на эту женщину, чьи классические формы обрисовывались под легкой одеждой, я испытывал трепет восторга. Лауру тоже разморило, глаза ее затуманились, губы были полуоткрыты, и во всей фигуре чувствовалась лень и расслабленность. Когда я на нее смотрел, она опускала веки, словно жалуясь на бессилие...

И я скоро предоставил лодке плыть по воле волн.

На виллу мы вернулись очень поздно. Это возвращение надолго останется у меня в памяти. После заката солнца, сплавившего небо и море в одно ослепительное сияние

без конца и границ, наступил вечер, такой дивный, какого я никогда не видывал даже на Ривьере. Из-за моря встал огромный красный месяц, пронизал мрак своим мягким светом, а на море проложил широкую сверкающую дорогу, по которой мы плыли до самого берега. Море слегка колыхалось, как всегда в ночные часы. Казалось, грудь его поднимали глубокие вздохи. Из маленькой бухты долетали голоса лигурийских рыбаков – они пели хором. Снова поднялся ветерок, но теперь он дул с берега и приносил запах цветущих апельсиновых деревьев. При всей своей неспособности отдаваться целиком одному впечатлению, я был весь во власти волшебной тишины, царившей над сушей и морем и словно оседавшей, как роса, на предметах и душах. По временам я смотрел на Лауру, сидевшую передо мной в свете месяца, как Елена Троянская, и мне чудилось, что мы живем во времена древней Эллады и плывем сейчас куда-то к священным оливковым рощам, где свершаются элевсинские таинства. И пережитые восторги страсти казались мне не порывом чувственности, а каким-то культом, мистически связывавшим нас с этой ночью, весной, со всей природой.

15 апреля

Пришло время уезжать, а мы всё не едем. Моя Геката не боится солнца. Дэвису оно полезно, а мне все равно, где быть, – здесь или в Швейцарии. Мне приходит в голову одна неожиданная мысль. Она меня немного пугает, но выскажу ее откровенно: иногда мне думается, что душа христианина, даже если в ней иссяк совершенно источник веры, не может жить одной красотой формы. Печальное для меня открытие! Ведь, если это верно, я теряю почву под ногами. А мысль эта упорно возвращается и не дает мне покоя. Мы – не древние эллины, мы – люди иной культуры. Наши души отличаются готическими извилинами и стремлением ввысь, чуждым душе эллина. Никогда нам от этого не избавиться. Наши души неудержимо стремятся вверх, а души греков с безмятежной простотой стлались над землей. Те из нас, в ком еще силен дух Эллады, испытывают, правда, большую потребность в красоте и ревниво ищут ее повсюду, по и они безотчетно жаждут, чтобы у Аспасии были глаза Дантовой Беатриче. Такие желания таятся и во мне. Как подумаю, что это великолепное животное, Лаура, теперь – моя и будет моей, пока я этого хочу, я радуюсь вдвойне – и как мужчина, и как поклонник красоты. А все-таки чего-то мне не хватает, и нечем дышать. На алтаре моего греческого храма стоит мраморная богиня, – но мой готический храм пуст. Я признаю, что встретил сейчас нечто близкое к совершенству, но не могу отделаться от мысли, что за этим совершенством – мрак. Я прежде думал, что в словах Гете: «Будьте подобны богам и животным», – вся мудрость жизни. А теперь, когда я выполняю завет Гете, я чувствую, что он сказал не все. Ему следовало еще добавить: «Будьте подобны ангелам».

17 апреля

Сегодня Дэвис вошел в комнату, когда я сидел на скамеечке у ног Лауры, положив голову к ней на колени. Его бескровное лицо и тусклые глаза ни на секунду не утратили своего угнетенного и равнодушного выражения. Неслышно ступая в мягких туфлях, расшитых индийским рисунком – солнцами, – он, как призрак, прошел мимо нас в соседнюю комнату, где помещалась библиотека. Лаура была великолепна в эту минуту, ее глаза сверкали неудержимым гневом. Я встал, ожидая, что будет дальше. В первый момент я вообразил, что Дэвис сейчас выйдет из библиотеки с револьвером в руке, и решил, что тогда выброшу его через окно вместе с пледом, револьвером и индийскими туфлями. Но Дэвис не вышел. Я ждал долго и напрасно. Не знаю, что он там делал: размышлял о своей горькой судьбе или плакал? А может, остался совершенно равнодушен? Мы встретились все трое только за завтраком. Сидели за столом как ни в чем не бывали. Быть может, это моя фантазия, – но мне качалось, что Лаура бросает на мужа грозные взгляды, а сквозь его обычную апатию

проглядывает сегодня тайная мука. Признаюсь, такая развязка была мне неприятнее всякой другой. Передо мной потом весь день стояло лицо Дэвиса, стоит и сейчас немым укором. Я не забияка, но готов отвечать за свои поступки. И наконец, я шляхтич и предпочел бы, чтобы моим соперником был не этот тщедушный, больной, беззащитный и несчастный человечиска. На душе у меня такой противный осадок, как будто я надавал пощечин паралитику, – и редко я чувствовал такое отвращение к самому себе.

Все же мы, как обычно, отправились на прогулку по морю – я не хотел от нее отказываться, чтобы Лаура не подумала, будто я боюсь Дэвиса. Но в лодке мы в первый раз повздорили. Я признался, что меня мучает совесть, а когда она меня высмеяла, сказал ей напрямик:

– Не к лицу тебе этот смех, а ты помни, что тебе все можно, кроме того, что тебе не к лицу.

Лаура нахмурила сросшиеся брови и ответила с горечью:

– Ну конечно, после того, что между нами было, ты можешь оскорблять меня еще более безнаказанно, чем Дэвиса.

Выслушав такой упрек, я принужден был извиниться. Мы быстро помирились, и Лаура стала рассказывать о себе. При этом я лишний раз смог убедиться в остроте ее ума. У всех женщин, которых я знал, при подобных обстоятельствах появлялось непобедимое желание рассказать свою историю. Я их за это и не виню, понимая, что им хотелось оправдаться и перед собой и передо мной, – потребность, которой мы, мужчины, вовсе не испытываем. Однако я ни разу не встречал женщины, достаточно разумной, чтобы соблюдать в этих признаниях должную эстетическую меру, и достаточно правдивой, чтобы не разрешать себе «лжи во спасение». То же самое утверждают все мужчины, и они же могут засвидетельствовать, что все эти истории падения удивительно похожи одна на другую и поэтому нестерпимо скучны. Лаура начала говорить о себе тоже с излишней готовностью и некоторым самодовольством, по тем и ограничилось ее сходство с другими падшими ангелами. В том, что она говорила, сквозило, пожалуй, желание порисоваться оригинальностью, но никак не изобразить себя жертвой. Зная, что я скептик, она не хотела нарваться на снисходительную усмешку недоверия. Искренность ее граничила с дерзостью и была бы цинична, если бы не то, что речь шла о своего рода системе, где эстетика полностью заменяла этику. Лаура хочет, чтобы у ее жизни были черты Аполлона, а не горб Полишинеля, – вот ее философия. За Дэвиса она вышла не просто ради его миллионов, а для того, чтобы с помощью этих миллионов, насколько это в силах человеческих, создать себе жизнь красивую не в обывательском, а в самом высшем эстетическом смысле слова. Она, по ее словам, не чувствует себя ничем обязанной мужу, – она его заранее обо всем предупредила. Он ей и жалок и противен. А так как ему теперь все на свете безразлично, то и нет нужды с ним считаться – он для нее все равно что умер. Да и вообще, добавила Лаура, она не считается ни с чем, что нарушает красоту жизни и мешает ей наслаждаться. Общественное мнение ее мало интересует, и я очень ошибаюсь, если думаю иначе. С отцом моим она подружилась не потому, что он был человек с большими связями, а потому, что он был чудесным образцом человеческой породы. Меня же она любит давно. Она понимает, что я больше дорожил бы ею, если бы победа досталась мне не так легко, но она не хотела торговаться со своим счастьем.

Удивительное впечатление производили на меня эти декларации, произнесенные ее прелестными устами, голосом мягким, тихим, но полным металлических нот. Говоря

все это, Лаура то и дело подбирала платье, как бы желая освободить мне место рядом с собой. Порой провожала глазами пролетающих чаек, потом снова внимательно вглядывалась в мое лицо, словно пытаясь прочесть мои мысли. А я слушал ее с чувством удовлетворения, находя в ее словах доказательство, что я разгадал эту женщину. Впрочем, было в них и нечто совершенно для меня новое. Так, преклоняясь перед умом Лауры, я все же думал, что в жизни она руководится скорее инстинктами и свойствами своей натуры. Я не предполагал, что она способна создать целую теорию для философского обоснования и оправдания своих склонностей и стремлений. Это в известной мере возвысило ее в моих глазах: оказывается, в тех случаях, когда я подозревал ее в разных низменных и мелочных расчетах, она действовала согласно своим принципам, – быть может, дурным и даже страшным, но как-никак принципам. Например, мне казалось, что она втайне рассчитывает выйти за меня после смерти Дэвиса, – а сейчас она мне доказала, что я заблуждался. Она первая заговорила об этом. Призналась, что, если бы я просил ее руки, она, вероятно, была бы не в силах отказать мне, потому что любит меня сильнее, чем я думаю (в эту минуту, клянусь, я видел, как жаркий румянец облил ей лицо и шею). Но она знает, что этого никогда не будет, что рано или поздно я с легким сердцем ее брошу. Так что же из этого? «Вот я погрузила руки в воду и ощущаю чудесную прохладу, – так неужели же отказать себе в этом наслаждении только потому, что через минуту-другую солнце высушит холодную влагу на моих руках?»

Говоря это, она перегнулась через борт лодки (при этом грудь ее обрисовалась под платьем во всей своей безупречной красоте) и, обмакнув руки в воду, протянула их затем ко мне, влажные, порозовевшие, словно пронизанные солнцем.

Я сжал эти мокрые руки в своих, а она, словно вторя тому, что я чувствовал, шепнула нежно, с томной лаской в голосе:

– Иди ко мне!..

20 апреля

Вчера я весь день не видел Лауры. Она простудилась, сидя допоздна на балконе, и теперь у нее болят зубы. Как мне скучно! К счастью, позавчера вечером сюда приехал врач, который отныне постоянно будет при Дэвисе. Если бы не он, не с кем было бы и словом перемолвиться. Врач этот – молодой итальянец, черный, как жук, малорослый, с большой головой и умными глазами. Он производит впечатление человека очень интеллигентного. Видимо, ему с первого же вечера стало ясно положение вещей в этом доме, он нашел все это вполне естественным и без колебаний признал меня настоящим хозяином дома. Я не мог удержаться от улыбки, когда он сегодня утром спросил меня, можно ли ему повидать больную «госпожу графиню» и прописать ей лекарство. Своеобразные нравы и обычаи в этой стране! Везде в других странах, когда на замужнюю женщину падает подозрение в измене мужу, все общество дружно ополчается против нее и травит ее часто с бессмысленной жестокостью. Здесь же так почитают любовь, что все тотчас становятся на сторону грешницы и готовы тайно помогать влюбленным. Я сказал итальянцу, что спрошу у «госпожи графини», угодно ли ей его принять. И вот сегодня после завтрака я вторгся в будуар Лауры. Она впустила меня неохотно: у нее немного опухла щека, и ей не хотелось показываться мне в таком виде. Действительно, увидев ее, я вспомнил то время, когда брал уроки живописи. Я еще тогда заметил, что когда пишешь портрет современника, то при всех недочетах и даже изменениях, внесенных портретистом, сходство ничуть не пострадает, если передано выражение, «идея» лица. Другое дело – копировать классиков: здесь каждый неточный штрих, каждое отклонение нарушает гармонию лица и меняет его. Сейчас я проверил это на Лауре. Припухлость щеки была весьма незначительна, да я

ее почти и не разглядел, так как Лаура упорно повертывалась ко мне здоровой щекой. Но глаза у нее были немного красны, а веки набрякли – и вот лицо стало уже какое-то другое, утратило строгую гармонию линий и далеко не так красиво, как всегда. Разумеется, я и виду не показал, что это замечаю, но Лаура принимала мои ласки с каким-то беспокойством, словно ее мучили угрызения совести. Видно, с ее точки зрения, флюс – смертный грех.

Да, что ни говори, – своеобразное мировоззрение! Во мне тоже, несомненно, живет языческая душа древнего грека, но есть и кое-что другое. Лауру ее философия может когда-нибудь сделать очень несчастной. Сделать своей религией поклонение красоте – это еще можно понять. Но сотворить себе кумир из собственной красоты – значит готовить себе несчастье. Что уж это за религия, которую может пошатнуть первый флюс, а прыщик на носу способен и совсем уничтожить!

25 апреля

Пора, однако, ехать в Швейцарию, – жара здесь становится невыносима. К тому же еще по временам налетает сирокко, словно жаркое дыхание Африки. Правда, море охлаждает это дыхание пустыни, но все же оно очень неприятно.

На Дэвиса сирокко действует убийственно. Теперь доктор следит за тем, чтобы его пациент не злоупотреблял морфием, и потому Дэвис бывает то раздражителен до крайности, то впадает в полнейшую апатию. Однако я заметил, что даже в состоянии дикого раздражения он боится и Лауры и меня. Кто знает, не начинается ли у этого полупомешанного мания преследования и не грызет ли его подозрение, что мы задумали его убить или утопить? Вообще для меня отношения с Дэвисом – одна из темных сторон моей здешней жизни. Я сказал «одна из ее темных сторон», так как ясно вижу и ряд других. Я не был бы самим собой, если бы не сознавал, что не только коснею, но быстро и явно развращаюсь в объятиях этой женщины. Никакими словами не опишешь, сколько омерзения к себе, и горечи, и раскаяния вызывала во мне вначале мысль, что я так быстро после смерти отца очертя голову ринулся в этот омут чувственных наслаждений! Восставала против этого и моя совесть, и та чуткость душевная, которая мне бесспорно присуща. И мне было так тяжело, что писать об этом я не мог. Сейчас все это во мне притупилось. Порой делаю себе те же упреки, мысли мои остались прежними, но совесть меня больше не мучает.

Об Анеле стараюсь забыть, потому что думать о ней мучительно, а вернее – потому, что без душевного разлада не могу вспомнить этот плошовский эпизод моей жизни! То думается, что я ее не стою, то – что я вел себя как осел и попросту сыграл смешную роль в истории с девушкой, которая ничем не отличается от дюжины других. Это ранит мое самолюбие, и я даже досажую на Анельку. Бывает, что меня коробит сознание вины перед ней, а через какой-нибудь час это мне уже кажется глупым ребячеством. В общем, я не нравлюсь себе таким, каким я был в Плошове, не мирюсь и с тем, каким стал сейчас. Я перестаю четко различать добро и зло, а главное – и к тому и другому становлюсь равнодушен. Это – следствие какого-то душевного застоя. С другой стороны, эта апатия меня спасает: измученный внутренним разладом, я слышу ее голос: «Ну, допустим, что ты хуже, чем был, – так что же? Стоит ли из-за чего бы то ни было терзаться?»

Я замечаю в себе и еще одну перемену. Постепенно я привык даже к тому, что вначале так возмущало мое чувство чести, – и теперь уже довольно хладнокровно бью лежачего. Вот уже с некоторого времени я ловлю себя на том, что делаю тысячи вещей, на которые никогда бы не отважился, если бы Дэвис физически и умственно был не таким немощным Лазарем, а человеком сильным, способным защищать свою честь и собственность. Мы с Лаурой больше не стесняемся и не утруждаем себя

поездками в лодке... Никак я не думал, что моя нравственная щепетильность может так притупиться. Правда, я легко мог бы сказать себе: «Что мне за дело до этого жалкого левантинца?», но, ей-богу, я часто не могу отделаться от мысли, что моя черноволосая богиня с бровями Юноны вовсе не Юнона, а Цирцея, прикосновением своим превращающая людей в... (как бы это выразиться в духе греческой мифологии?) ...в питомцев Эвмея.

А когда я задаю себе вопрос: «В чем же тут дело?» – ответ равносителен банкротству многих моих прежних воззрений. Да, любовь наша – влечение плоти, а не душ. Но меня не покидает мысль, что современный человек не может этим удовлетворяться. Мы с Лаурой подобны лишь богам и животным, но никогда – людям. В сущности, наше чувство нельзя даже назвать любовью, ибо мы друг другу только желанны, но ничуть не дороги. Будь Лаура другой и я – другим, мы могли бы быть во сто раз счастливее, и не казалось бы мне сейчас, что мне место среди свиней Эвмея. Я понимаю, что любовь, желающая быть только духовной, останется лишь тенью. Но, когда она совершенно без души, она обращается в мерзость. Впрочем, люди, которых коснулся волшебный жезл Цирцеи, наслаждаются этой мерзостью.

Как странно и грустно мне, человеку с душой элина, писать такие вещи! Но я начинаю скептически относиться и к созданной мною для себя Элладе. Начинаю сомневаться, возможно ли жить давно отжившими формами жизни. И так как я остался правдивым, то и пишу, что думаю.

30 апреля

Вчера на меня, как снег на голову, свалилось письмо тетушки. Мне переслали его из Рима. Писано оно две недели назад, и непонятно, почему так долго пролежало в Каза Озориа. Тетя уверена, что я ездил на Корфу. Решив, что я уже, наверное, оттуда возвратился, она пишет мне в Рим следующее:

«С большим беспокойством и нетерпением ждем вестей от тебя. Я, старуха, крепко уже вросла в землю, и меня никакой ветер не расхатает, но на Анельку жалко смотреть. Она, должно быть, ожидала от тебя письма еще из Вены или из Рима, а не получив его, затревожилась. Потом умер твой отец. Я нарочно говорила при Анельке, что, мол, теперь ты не можешь думать ни о чем, кроме своего горя, но пройдет несколько недель, ты встряхнешься и вернешься к деятельной жизни. Мы с Анелькой не говорим о тебе откровенно, но отлично друг друга понимаем. И я видела, что она успокоилась. Но когда прошел целый месяц, а ты ни разу не дал знать о себе, она снова стала беспокоиться – главным образом о твоём здоровье, но ее мучило, верно, и то, что ты нас совсем забыл. Я тоже тревожусь, писала несколько раз на Корфу до востребования, как мы с тобой условились, но не получила никакого ответа. Сейчас на всякий случай пишу тебе в Рим, потому что страх, что ты, быть может, болен, отравляет нам жизнь. Напиши хоть несколько слов, а главное, дорогой мой, встряхнись и приди в себя. Буду с тобой откровенна: страдает Анелька еще и оттого, что кто-то наговорил ее матери, будто ты – всем известный волокита и оболъститель. Представь себе мое возмущение! Целина пришла в отчаяние и рассказала это дочери, и теперь у одной постоянно мигрени, другая похудела, побледнела, бедняжка, изменилась так, что жалость берет. А какая она славная девочка, что за ангельская доброта! Чтобы не огорчать мать, она притворяется веселой, но я отлично вижу, что с ней творится, и у меня сердце разрывается на части. Дорогой мой Леон, я не говорила об этом с тобой в Риме из уважения к твоему горю, но такое горе, как смерть близких, воля божья, с ним приходится мириться и не падать духом. Написал бы ты хоть словечко, – такое, какое бы нас успокоило! Сжался над девочкой. Не скрою, мое самое горячее желание – чтобы по окончании траура, хотя бы через год или два, вы с Анелей

поженились, потому что эта девушка, по-моему, настоящее сокровище. Однако если ты решил иначе, лучше все-таки как-нибудь дать нам это понять. Ты меня знаешь, я к преувеличениям не склонна и пишу тебе об этом потому, что серьезно опасаясь за здоровье Анельки. Притом сейчас дело идет об ее будущем. Кромицкий зачастил к нам и, очевидно, имеет серьезные намерения. Я было хотела по-своему, без церемоний, выпроводить его (тем более что это, наверное, он наболтал Целине о твоей ветрености), но Целина умолила меня не делать этого. Она в полном отчаянии и ни чуточки не верит в твою любовь к Анельке. Что мне было делать? А вдруг материнское чутье ее не обманывает? Напиши же, милый Леон, как можно скорее. Обнимаю тебя крепко. Прими благословение старухи, у которой нет никого на свете ближе тебя. Анелька после смерти твоего отца хотела тебе написать – выразить соболезнование, но Целина ей не позволила. У меня с ней из-за этого даже вышла ссора. Целина – превосходная женщина, но часто меня раздражает. Все тебе сердечно кланяются. Молодой Хвастовский открывает у нас здесь пивоварню: немного денег у него есть, остальные я ему дала взаймы».

Сначала это письмо на меня как будто не произвело никакого впечатления. Но затем я почувствовал, что это не так, и в волнении стал ходить из угла в угол. Волнение мое возрастало с каждой минутой и наконец стало невыносимо. Через час я уже озадаченно сказал себе: «Что за черт? Да я же ни о чем другом думать не могу!» Просто удивительно, с какой силой нахлынули на меня самые разнообразные чувства, пробегая стремительно в душе одно за другим, как гонимые ветром облака. Какой же я нервный! Прежде всего мне стало жаль Анелю. Все то, что я еще недавно чувствовал к ней и что еще до сих пор таилось где-то в закоулках души, вдруг вырвалось наружу, как пар из котла. Ехать к ней, успокоить ее, обнять, подарить счастье – таково было первое мое побуждение, первый порыв сердца, далекий от ясно сформулированного решения, но очень властный. А когда я представил себе ее полные слез глаза и ручки в моих руках, влечение к ней воскресло с прежней силой. Потом я мысленно сравнил Анельку с Лаурой, – и это сравнение было роковым для Лауры. Та жизнь, которую я вел здесь, сразу стала мне поперек горла. Я жаждал дышать чистым воздухом, не тем, каким я дышу здесь, жаждал покоя и душевной отрады, а более всего – любви чистой и честной. Я радовался при мысли, что ничто еще не потеряно, все можно исправить и зависит это только от моего желания. Но вдруг вспомнил о Кромицком, об Анелькиной матери, которая, не веря мне, видимо, стала на его сторону. И тут вспыхнул во мне гнев. Он рос и рос, заглушая все другие чувства. Чем настойчивее рассудок твердил мне, что пани Целина имеет полное право сомневаться в моем постоянстве, тем острее было чувство обиды на нее за то, что она смеет не доверять мне. В конце концов я дошел до какой-то отчаянной злости на себя и на всех. Все, что я думал и чувствовал, вылилось в нескольких словах: «Ну что же, пусть так!»

Письмо тетушки пришло вчера. Сегодня, уже спокойнее разбираясь в себе, я с удивлением замечаю, что обида глубоко проникла мне в душу и сейчас она, пожалуй, острее, чем была. Чувство это всецело овладело мною. Я говорю себе все, что может сказать человек трезво мыслящий, – и все же не могу простить этого Кромицкого не только панн Целине, но и ее дочери. Ведь в конце концов Анелька могла бы одним словом прекратить его визиты в Плошов, а если не сделала этого, значит, идет на уступки матери, жертвует мной, чтобы избавить мать от мигрени. И наконец, ухаживание Кромицкого оскверняет в моих глазах Анельку, низводит ее до пошлого типа «девицы на выданье». Не могу и писать об этом спокойно!

Быть может, я сейчас рассуждаю и воспринимаю все, как человек до крайности раздраженный. Быть может, во мне говорит болезненное самолюбие. Я умею смотреть на себя глазами постороннего наблюдателя, но и это сейчас не помогает: я все

больше злюсь, горечь и обида все сильнее. Даже писать об этом – пытка для нервов, и потому я откладываю дневник в сторону.

1 мая

Ночью я думал: «Авось завтра буду спокойнее». Где там! Растет во мне ожесточение какое-то против Анелькиной матери, самой Анели, тетушки и против себя самого. Разная бывает кожа у людей – моя дьявольски тонка, и этого тетушка не учла.

Да и чем мне плохо здесь, в Пельи? Лаура подобна цельной глыбе мрамора, но, оставаясь с ней, я по крайней мере не страдаю, ибо, кроме красоты, в ней нет ничего. Довольно с меня этих утонченных и чувствительных душ!.. Пусть их утешает Кромицкий.

2 мая

Я сам отнес сегодня на почту письмо к тетушке. Написал, что желаю счастья пану Кромицкому с панной Анелей, а панне Анеле – с паном Кромицким. Тетушка требовала решительного ответа, так вот она его и получила.

3 мая

Мне вдруг пришла в голову новая мысль: а вдруг то, что тетя написала о Кромицком, – просто женская дипломатия, попытка меня «пришпорить»? В таком случае остается поздравить тетушку с ее изобретательностью и знанием людей!

10 мая

Прошла неделя. Всю эту неделю я не писал, потому что был как в чаду. Меня неотвязно гложут страшная тоска и сожаления. Анелька мне была близка, да я и сейчас не могу думать о ней равнодушно. Приходят на память слова Гамлета: «Я любил Офелию, как сорок тысяч братьев любить не могут». Только я сказан бы иначе: «Я Анельку любил больше, чем сорок тысяч Лаур». И надо же было, чтобы именно я своими руками причинил ей зло! Иногда я утешаюсь мыслью, что несчастьем для нее, напротив, был бы брак с таким человеком, как я. Но это неверно! Если бы она стала моей, я был бы добр к ней. Мучает меня только подозрение, что ей, быть может, достаточно и Кромицкого.

Стоит только об этом подумать – и снова во мне все кипит и я готов написать второе такое же письмо.

Свершилось! Это сознание – единственное утешение для таких, как я, потому что оно дает возможность сложить руки и прозябать по-прежнему. Быть может, это признак исключительной слабости, но в этом «свершилось!» я нахожу некоторое облегчение.

Теперь я уже способен рассуждать спокойнее. И вот, ударяя себя по лбу, я пытаюсь понять, как же человек, который не только хвастает своей необычно развитой способностью самоанализа, но и действительно обладает ею, столько дней поступал исключительно под влиянием рефлексов. К чему тогда сознание, если оно при первом же раздражении нервов уходит в какие-то закоулки мозга и остается пассивным свидетелем рефлекторных действий? Значит, оно служит только для анализа *post factum*? Не знаю, что мне толку в этом, по, раз уж не остается ничего другого, надо использовать его хотя бы для этого. Итак: почему я поступил так с Анелей? Потому разве, что я человек интеллигентный, пожалуй даже очень интеллигентный (будь я проклят, если говорю это, чтобы польстить себе или похвастаться), но неразумный? Главное – не дано мне спокойной мужской рассудительности. Нервов своих я не умею держать в узде, я болезненно впечатлителен, меня, по выражению

поэта, можно ранить даже сложенным вдвое лепестком розы. В моей интеллигентности есть что-то женское. Быть может, я не исключение, и много есть среди мужчин (особенно у нас в Польше) людей такого сорта. Но это для меня слабое утешение. Такого рода ум, как мой, может многое понять, но руководиться им в жизни трудно: он всегда беспокойно мечется, колеблется, слишком долго взвешивает каждое решение и в конце концов застревает на перепутье. Оттого у человека парализуется дееспособность, развивается слабость характера, этот весьма распространенный у нас органический недостаток. Вот, например, я ставлю себе второй вопрос: не будь в письме тетки упоминания о Кромицком, развязка была бы иная? Ей-ей, я не решаюсь ответить «да». Развязка наступила бы не так скоро – это несомненно. Но кто знает, была ли бы она благополучной. Слабые характеры нуждаются в бесконечных побрякушках, только для сильных людей препятствия служат стимулом к действию. Лаура, вероятно, это понимает, – она в некоторых отношениях весьма проникательна, – и, быть может, потому была ко мне так... милостива.

Но что же в конце концов из этого следует? Что я тряпка, размазня? Вовсе нет! Я никогда себя не щажу, не скрываю от себя горькой правды, не скрыл бы и этого, – но это неправда, я чувствую, что мог бы, не раздумывая долго, отправиться на Северный полюс или стать миссионером и поехать в глубь Африки. Во мне есть некоторая неугомонность, наследственная отвага, я способен на всякие смелые замыслы, рискованные предприятия. Темперамент у меня живой, я подвижен и легок на подъем чрезвычайно, хотя и не в такой степени, как, например, Снятынский.

И только когда требуется решить какой-нибудь жизненно важный вопрос, мой скептицизм делает меня бессильным, ум теряется в лабиринте предположений и выводов, воле не на что опереться, и мои поступки тогда зависят частично от внешних случайных обстоятельств.

12 мая

Я никогда не любил Лауру, только был и до сих пор еще остаюсь во власти ее физического очарования. Может, это на первый взгляд и кажется странным, но это довольно обычное явление: можно даже быть страстно влюбленным – и не любить. Сколько раз мне доводилось видеть страсть, горькую, мучительную, ранящую именно тем, что в ней не было любви. Я уже, кажется, говорил, что Снятыньских связывает не только любовь, но и безмерная дружба и нежность. Поэтому им хорошо вместе... Ах, я чувствую, что и я вот так же нежно любил бы Анельку, и мы с ней жили бы очень дружно... Лучше об этом не думать!.. А Лаура – та, может быть, встречала в жизни много людей, которые безумно влюблялись в ее черные волосы, классически-прекрасную фигуру, ее брови, голос, взгляд, посадку головы, – но я уверен, что ее никто никогда не любил. Эта удивительная женщина влечет к себе непреодолимо, но в то же время отталкивает, ничего в ней нет, кроме красоты, потому что даже ее необычная интеллигентность – только раба, которая ползает у ног ее красоты и завязывает ей котурны. Не далее как неделю назад я видел, как Лаура подавала милостыню ребенку недавно утонувшего рыбака, и при этом мне подумалось: она с такой же грацией совершенно спокойно выколола бы глаза этому ребенку, если бы думала, что это ей больше к лицу. Это всегда чувствуется, и потому-то, встретив такую женщину, можно потерять голову, но нежно любить ее невозможно. А Лаура понимает все, – кроме этого. Но до чего же она хороша! Когда она на днях сходила со ступеней террасы в сад, покачивая дивными бедрами, мне, как говорит Словацкий, «казалось, что я умру». Решительно – я во власти двух сил, одна меня притягивает, другая отталкивает. Хочу ехать в Швейцарию – и в то же время хочу вернуться в Рим. Чем это кончится, не знаю. Правильно говорит Рибо, что «хочу» – это только состояние сознания, а не акт воли; а уж двойственное «хочу» – тем более не акт воли. Я получил письмо от своего

нотариуса, он вызывает меня в Рим по делам наследства. Нужно выполнить какие-то формальности. Вероятно, все можно было бы сделать и без меня, если бы я сильно захотел остаться здесь. Но ведь это – благовидный предлог для отъезда... С некоторых пор я люблю Лауру еще меньше, чем прежде. Она ничуть не виновата, она всегда одинакова, но дело в том, что я недовольство собой перенес и на нее. В минуты внутреннего разлада я искал в ее объятиях не только успокоения – нет, я как бы стремился сознательно унизиться и теперь злюсь на нее за это. Она же ничего не знает о моих душевных тревожностях. Какое ей дело до всего того, что не может служить ей украшением? Она заметила только, что я стал нервнее и раздражительнее, спросила раз-другой, отчего, но ответа не добивалась.

Быть может, мое влечение к ней все-таки одержит верх, и я не уеду, но, во всяком случае, скажу ей завтра или еще сегодня, что должен ехать. Интересно, как она примет эту новость, тем более интересно, что я это неясно себе представляю. Подозреваю, что при всей ее страсти ко мне, такой же, как у меня к ней, она тоже меня не любит (разумеется, если она вообще снисходит до того, чтобы любить или не любить кого-либо). В душах наших много сходного, но в тысячу раз больше противоположного.

Устал я страшно. Не могу не думать о том, какое впечатление мое письмо произвело в Плошове. Думаю об этом постоянно, даже тогда, когда со мной Лаура, и вижу перед собой Анельку и тетю. Какая же Лаура счастливица, завидую ее неизменному спокойствию. А мне так трудно справиться с собой.

Я рад предстоящей перемене места. В Пельи, хоть это и морской курорт, сейчас совсем пусто. Жара стоит невозможная. Море не шелохнется в своем ленивом покое, и ни на миг не плеснет волной у берега, словно обессилев от зноя. Порой подует жаркий ветер, поднимет облака белой пыли, и она оседает толстым слоем на листьях пальм, букса, смоковниц и миртов, проникает даже в дом сквозь опущенные жалюзи. У меня болят глаза – здесь все стены отражают блеск солнца так ослепительно, что днем невозможно на них смотреть.

В Швейцарию или в Рим – лишь бы уехать отсюда! Мне кажется, везде будет лучше, чем здесь. В общем, мы все собираемся в путь. Дэвиса я не видел уже четыре, а то и пять дней. Боюсь, что он не сегодня-завтра окончательно свихнется. Доктор говорил мне, что бедняга то и дело предлагает ему померяться силами. Это, по мнению врачей, очень скверный симптом.

Рим, Каза Озориа, 18 мая

Видно, мне было необходимо уединение. Сейчас я чувствую себя так, как в первое время в Пельи, – мне и грустно и хорошо. Даже лучше, чем было в Пельи, – здесь я не чувствую того беспокойства, какое вызывала во мне с самого начала близость Лауры. Брожу по темному, пустому дому, нахожу тысячи мелочей, напоминающих об отце, и память о нем опять свежа в душе моей. Образ его уже окутала было синяя дымка дали, а теперь я на каждом шагу встречаюсь с его прежней реальной жизнью. На столе в рабочем кабинете лежат лупы, через которые он рассматривал всякие образцы, бронзовые иглы для выковыривания сухой земли из отрытых при раскопках сосудов, краски, кисточки, начатые рукописи, записи, касающиеся его коллекций, – словом, тысяча мелочей. По временам мне чудится, будто отец только вышел ненадолго и вернется к своим обычным занятиям, а когда эта иллюзия рассеивается, во мне просыпается тоска по нем, искренняя и глубокая, и я чувствую, что люблю отца не как воспоминание, люблю его самого, спящего вечным сном на Кампо Санто.

Но эта печаль настолько чище всех тех чувств, которые в последнее время владели

мною, что мне с нею хорошо, я чувствую себя как бы облагороженным ею, уже не таким развратным, каким я себе казался... И еще я убедился, что как бы отчаянно человек ни мудрил над собой, это не может помешать ему радоваться, когда он замечает в себе какие-нибудь добрые задатки. Откуда это неудержимое стремление людей к добру? Начав разматывать этот клубок, я захожу иногда очень далеко. Как разум наш есть отражение логической закономерности всеобщего бытия, так, быть может, и наше понятие добра – это отблеск какого-то абсолютного добра? Если бы это было так, человек мог бы разом покончить со всеми своими сомнениями и воскликнуть не только «Эврика!», но и «Аллилуйя!». Боюсь, однако, как бы эта моя теория не рассыпалась, подобно множеству других, – и потому не решаюсь ее строить. В общем, все это подсказывают мне скорее чувства, чем логические рассуждения. Я еще непременно вернусь к этому вопросу, ибо тут дело идет об извлечении занозы не из ноги, а из души. Но сейчас я слишком измучен, слишком мне грустно, хотя вместе с тем на душе хорошо и покойно.

Кажется, человек – единственное из всех живых существ, которое способно поступать часто против своей воли. Оказывается, мне давно хотелось покинуть Пельи, между тем дни шли за днями, а я не двигался с места. Даже накануне отъезда я был почти уверен, что останусь. Неожиданно мне пришла на помощь сама Лаура.

Я сообщил ей о письме нотариуса и о моем предстоящем отъезде только для того, чтобы увидеть, какое это произведет впечатление. Мы были одни в комнате. Я ждал какого-нибудь восклицания, признаков волнения, протестов... Ничего подобного!

Услышав новость, Лаура повернулась ко мне и, прислонясь щекой к моей щеке, перебирая пальцами мои волосы, спросила:

– Но ты вернешься, не правда ли?

Право, для меня до сих пор остается загадкой, что это означало. Думала ли она, что я обязательно должен ехать? Или, уверенная в силе своей красоты, ни минуты не сомневалась, что я вернусь? А может быть, ухватилась за первую представившуюся возможность избавиться от меня – ибо после такого вопроса мне не оставалось ничего другого, как уехать. Ласка, которой сопровождался ее вопрос, как будто опровергает такое предположение, но все же оно мне кажется наиболее правдоподобным. Бывают минуты, когда я почти уверен, что Лаура хотела мне сказать: «Не ты мне, а я тебе даю отставку». Признаюсь, если то была отставка, то ловкость Лауры необычайна, она тем более поразительна, что проделано было это самым ласковым и милым образом, и я так и остался в неведении, посмеялась ли она надо мной или нет. Но к чему обманывать себя? Своим вопросом Лаура выиграла игру. Возможно, в любом другом случае мое самолюбие было бы этим уязвлено, но теперь это мне безразлично.

В тот последний вечер мы не только не стали холоднее, напротив, – были друг к другу нежнее, чем всегда. Расстались очень поздно. И сейчас еще вижу, как Лаура, заслоняя рукой свечу, с опущенными глазами провожала меня до двери. Она была так хороша, что мне просто жаль было покидать ее. На другой день она простилась со мной на вокзале. Букет чайных роз я довез до Генуи и там где-то обронил. Да, удивительная женщина! Чем дальше я отъезжал, тем большее испытывал облегчение наряду с физической тоской по ней. Я ехал без остановок до самого Рима и теперь чувствую себя, как птица, вылетевшая из клетки на волю.

22 мая

Я не застал в городе почти никого из знакомых. Жара выгнала всех на виллы или в горы. Днем на улицах мало прохожих, встречаются только иностранцы, большей частью – англичане в пробковых шлемах, обмотанных кисеей, с красным «Бедкером» в руках и вечным «Very interesting»[22] на устах. В середине дня на нашей Бабуино бывает так пусто, что шаги немногих прохожих гулким эхом раскатываются по тротуарам. Зато по вечерам улицы кишат народом. Меня всегда в эти часы мучает одышка и какое-то нервное беспокойство, и я выхожу на свежий воздух, брожу до изнеможения, – после этого мне бывает гораздо легче. Прогулка моя обычно кончается на Пинчио. Я часто три-четыре раза прохожу по этой великолепной террасе. В эти часы по ней кружит множество влюбленных пар. Одни гуляют под руку, сблизив головы висок к виску и подняв глаза к небу, словно от избытка блаженства. Другие сидят на скамейках под деревьями, где царит полный мрак. По временам мерцающий свет фонаря выхватывает из глубины этого мрака то профиль берсальера, полускрытый перьями шляпы, то светлое платье девушки, то лицо рабочего или студента. До моих ушей все время долетают шепот, клятвы и мольбы, тихое пение. Кажется, будто ты на весеннем карнавале, и удивительно приятно бывает затеряться в толпе и отдохнуть душой в атмосфере здорового веселья. Как простоудушно счастливы эти люди! Я словно вбираю в себя их простоту, и она лучше всякого хлорала успокаивает мне нервы. Вечера стоят теплые и светлые, только иногда поднимается свежий ветер. Из-за Тринита-дель-Монти встает луна и серебряной ладьей плывет над этим людским муравейником, освещая верхушки деревьев, крыши и башни. У подножия террасы шумит и сияет огнями город, а вдали в серебристой мгле темнеет силуэт собора св. Петра с куполом, светящимся, как вторая луна. Давно Рим не казался мне таким прекрасным! Я нахожу в нем какое-то новое очарование. Каждый вечер возвращаюсь домой поздно и ложусь спать почти счастливый при мысли, что завтра проснусь снова в Риме. А как сплю! Не знаю, – может, это от усталости я засыпаю мертвым сном и даже утром еще хожу как одурманенный.

По утрам у меня совещания с нотариусом. Иногда я составляю для себя опись отцовских коллекций. Отец не завещал их городу, так что и коллекции перешли ко мне, как единственному наследнику. Выполняя волю отца, я без колебаний подарил бы их Риму, но боюсь, что отец, смущенный соображениями тетушки, не оставил никакого распоряжения умышленно, для того, чтобы его коллекции когда-нибудь можно было перевезти на нашу родину. Что он в последние часы жизни думал о ней, видно из многочисленных пунктов завещания. Много им завещано небольших сумм дальним родственникам, а одна запись тронула меня сильнее, чем могу выразить: «Голову Мадонны Сассоферрато завещаю моей будущей снохе».

25 мая

Скульптор Лукомский вот уже месяц как лепит фигуру отца во весь рост, по бюсту, который он же делал несколько лет назад. И я часто хожу к нему смотреть, как идет работа. Его мастерская словно переносит меня в другой мир. Это что-то вроде сарая с одним огромным окном наверху, выходящим на север, так что мастерская освещена холодным и матовым светом. Сидя здесь, забываешь, что ты в Риме. И это обманчивое впечатление довершает сам Лукомский: у него голова северянина, светлая бородка, синие, затуманенные глаза мистика. Оба его помощника – поляки. В саду бегают две собаки с польскими кличками – Крук и Курта; словом, это какой-то гиперборейский остров в южном море. Я люблю бывать здесь, в этой своеобразной обстановке. Люблю также наблюдать, как работает Лукомский. Чувствуется в нем тогда сила и простота. Особенно интересно на него смотреть, когда он отходит от скульптуры, чтобы лучше в нее взглядеться, потом быстро возвращается к ней, словно в атаку идет. Он очень даровитый скульптор. Фигура отца растет под его руками и поражает сходством. Это будет не только портрет, но

настоящее произведение искусства.

Лукомский – тип человека, влюбленного в красоту формы. Он, кажется, даже мыслит не идеями, а формами, и притом формами классическими – греческими носами, торсами, руками, головами. В Риме он живет уже лет пятнадцать, а до сих пор ходит по музеям и картинным галереям, как будто вчера приехал. Оказывается, такая страсть может заполнить жизнь целиком и стать для человека религией, – однако при том условии, если он станет ее жрецом. Лукомский смотрит на красиво сложенных людей, как набожный христианин – на иконы. Я как-то спросил у него, кто самая красивая женщина в Риме? Он, не задумываясь, ответил: «Жена Дэвиса», и тут же стал чертить в воздухе большими пальцами обеих рук контуры ее фигуры с той свободой и выразительностью жестов, которую наблюдаешь обычно у художников. Лукомский, человек замкнутый, меланхолик, в эту минуту оживился, и даже глаза его утратили свое мистическое выражение.

– Вот это, например... смотрите!.. – повторял он, чертя в воздухе все новые линии.
– Или вот это... Да, она самая красивая женщина не только в Риме, но и во всем мире!

Особенно восхищается он шеей Лауры. Говорит, что, когда Лаура поднимает голову, шея ее продолжает линии лица, ибо она ничуть не уже самого лица, что встречается очень редко. Только иногда на Трансвере можно увидеть у женщины из народа такую шею, но никогда она не бывает столь совершенной, как у Лауры. Это верно – тот, кто вздумает искать у Лауры какой-нибудь физический недостаток, только даром потратит время. Лукомский зашел даже так далеко, что стал утверждать, будто статуи таких женщин следует ставить на Форуме еще при их жизни. Я, конечно, не стал с ним спорить.

29 мая

Итальянская длительная процедура утверждения в правах наследства начинает мне надоедать. Как медленно итальянцы делают все, несмотря на их природную живость, и как много говорят! Заговорили меня совсем. Я достал несколько новейших французских романов и по целым дням читаю. Авторы их, на мой взгляд, отлично рисуют характеры. Как искусно и быстро набрасывают они каждый образ, сколько силы и выразительности в их обрисовке! Техника у них непревзойденная. Но о людях, которых они описывают, я должен повторить то, что сказал уже раньше: любят они в других только внешность и больше ничего. Это бывает в жизни как исключение. Но что во всей Франции, из конца в конец, никто не способен любить иначе – это пусть они скажут кому-нибудь другому, только не мне! Я хорошо знаю Францию и знаю, что французы в жизни лучше, чем в их литературе. Погоня за наглядной, реальной правдой делает роман фальшивым. Человек любит в другом личность, а личность составляют не только черты и выражение лица, взгляд, голос, фигура, а еще и склад ума, характер, образ мышления – словом, множество духовных и нравственных черт. Мое отношение к Лауре – наилучшее доказательство, что чувство, основанное только на увлечении внешностью, недостойно даже называться любовью. Впрочем, Лаура – исключение.

31 мая

Вчера завтракал с Лукомским, а вечером, как всегда, бродил на Пинчио. Моя фантазия порой уводит меня от действительности. Я ходил и воображал, что веду под руку Анельку. Мы с ней разговаривали, как двое людей, любящих друг друга больше всего на свете. И мне было так хорошо, как никогда не бывало с Лаурой. Но зато, когда воображение перестало работать, – каким одиноким я себя почувствовал! Домой идти не хотелось. Всю ночь я не мог уснуть. Все-таки жизнь

моя ужасно бессмысленна. Это вечное копание в себе приводит только к опустошенности. А между тем я чувствую, что могло быть иначе. Даже удивительно, что воспоминания мои об Анельке так живучи. Ну, почему, например, я никогда не воображаю, что иду под руку с Лаурой, и сейчас, упомянув ее имя, добавил мысленно: «Ну ее к черту!» Да, мне часто думается, что я уже держал счастье за оба крыла, но дал ему улететь.

2 июня

Давно меня никто так не удивлял, как удивил сегодня Лукомский. Мы с ним пошли вместе в музей на Капитолии. Уже у статуи Венеры мой скульптор меня озадачил: поворачивая статую на подвижной подставке во все стороны, он сказал, что предпочитает этой Венере неаполитанскую Психею Праксителя, потому что в ней больше одухотворенности. Это странно было слышать от такого поклонника пластики! Еще большая неожиданность ждала меня дальше, у статуи умирающего гладиатора (Галла). Лукомский чуть не полчаса молча смотрел на него, потом сказал сквозь зубы, – как всегда, когда его что-нибудь волнует:

– Уже сто раз говорилось, что у него лицо славянского типа... но ведь это и в самом деле что-то поразительное! Мой брат в Польше арендует около Серпца имение Козлувек. И там был конюх Михна... В прошлом году он утонул в реке, купая лошадей. Верите ли, у этого Галла то же самое лицо, точь-в-точь! Я здесь простаиваю иногда целый час, – душа требует...

Я не верил ушам своим, я недоумевал, как это потолок Капитолия не валится нам на головы. Серпец, Козлувек, Михна, – здесь, в этом мире античной культуры и классических форм! И от кого я слышу это? От Лукомского! Сразу из-за скульптора выглянул человек. «Такой-то ты поклонник античной пластики, братец? – подумал я. – Вот тебе и грек и римлянин по духу! Ты приходишь сюда смотреть на гладиатора не ради его форм, а потому, что он тебе напоминает какого-то Михну из Козлувека? Теперь мне понятна твоя меланхолия и молчаливость!»

Лукомский, должно быть, угадал мои мысли – он опустил свои «мистические» глаза и заговорил отрывисто и стремительно, словно оправдываясь:

– Тут, в Риме, только бы жить, не умирать. И мне везет... Грех жаловаться. Я торчу здесь, потому что так надо... Но, верите ли, заела тоска по родине!.. Когда мои псы зальются ночью в саду, я готов на стену лезть, и мне начинает чудиться, что я у нас в деревне. Я бы взбесился, если бы хоть раз в год не ездил туда. И вот опять поеду скоро, потому что мне уже вот...

Он провел пальцем по горлу и сжал губы, чтобы скрыть их дрожь. Это был настоящий взрыв чувств, такой неожиданный у человека его склада! И меня привела в волнение мысль о той огромной разнице, какая существует между мной и такими людьми, как Лукомский или Снятынский. Я еще и сейчас с какой-то тревогой думаю об этом. Да ведь перед ними открыты горизонты, мне попросту недоступные! Какую сокровищницу чувств носят в себе эти люди! Хорошо ли им от этого или плохо, по они же богачи в сравнении со мной. Им не грозит опустошенность, голод души. У каждого из них запас жизненных сил на десятерых. Я тоже чувствую себя как-то связанным с родиной, со своей средой, но чувство это не так непосредственно, не горит во мне огнем, не составляет часть моей души. Я могу жить без всякого Козлувека, Михны или Плошова. Там, где для таких, как Лукомский или Снятынский, бьют живые родники, из которых они черпают смысл жизни, я нахожу лишь сухие пески. И даже если бы у этих двоих не было такой опоры, у них остаются: у одного – его ваяние, у другого – его литературная работа. Может показаться попросту невероятным, что

человек, как я, у которого столько возможностей быть счастливым, не только не счастлив, но не знает, зачем живет. Несомненно, виноваты в этом условия, в которых я воспитывался, мое окружение – Рим, Мец, Париж и опять Рим. Я был как дерево, вырванное из своей земли и плохо пересаженное на чужую. Но тут есть и моя вина, я ставил вопросительный знак и философствовал там, где другие просто любят. И вот в результате ничего мне эта философия не дала, а только выпотрошила сердце.

8 июля

Записываю все, что произошло за неделю. Я получил несколько писем, одно из них – от Снятынского. Этот славный человек настолько расстроен тем, что история с Анелей приняла такой оборот, что даже уже меня не бранит. Он пишет только, что его жена на меня страшно сердита, слышать обо мне не хочет и называет меня чудовищем, для которого первейшее удовольствие – издеваться над своими жертвами. А я на этот раз, как истинный христианин, не только не обиделся на Снятынскую, но, даже еще больше стал ценить ее. Какое горячее и благородное сердце!

Снятынский, видимо, считает, что это дело пропавшее, вернее – окончательно решенное; он воздержался от советов и только соболезнует. «Дай бог, чтобы ты нашел другую такую», – пишет он. Но – странное дело! – мне, как подумаю, кажется, что не нужна мне никакая другая, похожая на Анельку, – мне нужна только сама Анелька. Говорю «мне кажется», ибо это чувство еще неясное, не выкристаллизовавшееся во мне. Я словно ношу в себе моток сильно спутанного шелка, мучаюсь, а не умею его распутать. Воображаю, что познал самого себя, а не знаю, отчего мне так больно – оттого ли, что люблю Анельку сильнее, чем думал, или оттого только, что чувствую: я мог бы горячо любить ее. Снятынский как будто дает мне на это ответ. Вот что он пишет:

«Я слышал или читал где-то, что золотые самородки бывают иногда покрыты кварцевой оболочкой, из которой их трудно извлечь. Видно, и сердце твое заключено в такую оболочку. Под ней – драгоценный металл, но проклятая скорлупа не вся расплавилась во время твоего пребывания в Плошове. Слишком недолго ты там пробыл и не успел достаточно полюбить эту девушку. Быть может, у тебя хватает энергии действовать, но нет ни капли решительности. Впрочем, ты обрел бы и ее, если бы тобой владело сильное чувство. Но ты уехал, стал, по своему обыкновению, раздумывать, проверять себя – и случилось то, что я предсказывал: профилософствовал ты и свое и чужое счастье».

Слова Снятынского меня поразили: они – словно повторение того, что когда-то говорил мне отец. Снятынский, однако, понимает меня лучше – он тут же добавляет:

«Старая история – кто чересчур в себе копается, тот кончает душевным разладом. А кто с собой не в ладу, тот не способен принимать решения. Эх, мы живем в больном веке, ныне только ослы еще не целиком утратили волю. А все, у кого есть хоть капля разума, непременно начинают во всем сомневаться и убеждать себя, что, в сущности, не стоит ничего хотеть». Такую мысль уже раньше высказал кто-то из французских писателей, и, прочтя это, я подумал, что он, ей-богу, прав.

Бывают минуты, когда я жалею, зачем Снятынский просто-напросто не выругал меня вместо того, чтобы начинать свое письмо такими, например, фразами: «При всех твоих достоинствах ты можешь в конце концов стать постоянным источником горя и тревог для самых близких и дорогих тебе людей». Эти слова тем ужаснее, что они истинная правда. Ведь я причинил много горя Анеле, тете, Анелиной матери и, наконец, себе самому. Зато мне даже смешно стало, когда я прочел дальше: «По

закону жизни, в человеке что-то должно расти. Так берегись же, чтобы в тебе не выросла какая-нибудь ядовитая трава, которая тебя первого отравит». Нет! Уж это-то, во всяком случае, мне не грозит. Вот выросла же во мне какая-то плесень, посеянная рукой Лауры, но выросла только на той кварцевой оболочке, о которой пишет Снятынский. Она не сумела пустить корни глубже и не отравила ни меня, ни Лауру. Такую плесень не требуется даже вырывать, достаточно ее стереть, как пыль. Снятынский более прав, когда, став самим собою и защищая свой догмат веры, который всегда носит в душе, говорит:

«Если ты себя считаешь человеком высшего типа, так я скажу тебе, что сумма таких „высших“ дает в общественном смысле минус». Какой я к черту высший тип – разве что по сравнению с Кромицким? Но вообще Снятынский верно говорит. Такие, как я, только в том случае не «дают в сумме минус», если они не принадлежат к категории «гениев без портфеля», то есть если это – великие ученые или великие художники. Часто они даже бывают реформаторами. Я же мог бы быть реформатором только самого себя. С этой идеей я носился целый день. И действительно, как это человек, так хорошо сознающий свои недостатки, не пытается от них избавиться? Ведь, если бы я сейчас полдня колебался, выйти мне на улицу или нет, я бы мог в конце концов взять себя за шиворот и заставить себя сойти вниз. Я скептик, да, – но разве я не могу приказать себе поступать так, как будто я им никогда и не был? Кому какое дело, будет ли в моих действиях меньше или больше убежденности? Ну, что я, например, мог бы сделать сейчас? Да хотя бы приказать, чтобы уложили мои вещи, и уехать в Плошов. Легко могу так поступить. Что из этого выйдет, видно будет потом, – а пока было бы что-то сделано. Правда, Снятынский пишет: «Обезьяна эта теперь все дни торчит в Плошове и донимает бедных женщин, которые и без того стали похожи на тени». Так, может, уже слишком поздно? Снятынский не сообщает, давно ли он был в Плошове. Быть может, с тех пор прошла неделя, а то и две, и за это время сватовство могло сильно подвинуться вперед. Да, но мне-то об этом неизвестно. И наконец, что может быть хуже моего нынешнего положения? Мне ясно, что человек, обладающий хоть каплей решительности на моем месте поехал бы в Плошов. И если я так сделаю, я стану за это себя уважать, тем более что даже Снятынский меня уже не уговаривает ехать, а он ведь человек очень предприимчивый и энергичный.

При одной мысли об этой поездке у меня светлеет в глазах, я вижу одно лицо, такое милое, что в эту минуту оно мне дороже всего на свете, и – per Vascho![23] – я, вероятно, сделаю-таки то, что замышляю.

9 июня

La nuit porte conseil![24] В Плошов я сейчас не поеду, это значило бы действовать вслепую. Вместо этого я написал тетушке длинное письмо в совершенно ином тоне, чем первое мое письмо из Пельи. Через восемь, самое большее – десять дней должен прийти от нее ответ, и, смотря по тому, каков он будет, я поеду в Плошов или... не поеду, и вообще не знаю, что сделаю! На благоприятный ответ я мог бы твердо рассчитывать, если бы написал примерно вот что: «Дорогая тетя, умоляю вас, гоните Кромицкого ко всем чертям. Люблю Анельку, прошу ее простить меня и быть моей женой». Конечно, в том случае, если они уже обвенчаны, моя просьба была бы напрасна, но я не думаю, чтобы дело подвинулось так быстро.

Однако я не написал тетушке ничего подобного. Мое письмо должно было сыграть роль разведчика, который движется впереди войска и обследует местность. Я написал его таким образом, чтобы из ответа тетушки мне стало ясно, что творится не только в Плошове, но и в сердце Анельки. Если говорить всю правду, я боялся писать решительнее, потому что привык не доверять себе, – этому научил меня

опыт. Ах, если бы Анелька, несмотря на довольно естественное чувство обиды на меня, отказала Кромницкому, – как я был бы ей благодарен, насколько она в моих глазах стала бы выше того несносного типа «девицы на выданье», у которой одна задача, одна цель – найти себе мужа! Жаль, что я узнал о сватовстве Кромницкого. Если бы не это, я, птицей отлетев от ног Лауры (это все равно рано или поздно должно было случиться), по всей вероятности, лег бы у ног Анельки. Славная моя тетушка показала, что у нее тяжелая рука, доложив мне о намерениях Кромницкого и поддержке, которую оказывает ему пани Целина. В наш нервный век не только женщины, но и мужчины чувствительны, как мимоза. Одно неосторожное прикосновение – и душа свертывается, замыкается часто навсегда. Знаю, что это глупо и нехорошо, но это так. Для того чтобы измениться, я должен был бы заказать себе у какого-нибудь анатома другие нервы, а свои приберечь для особых случаев. Никто, даже жена Снятынского, которая сейчас видит во мне чудовище, не относится ко мне так критически, как я сам. Но разве этот Кромницкий лучше меня? Разве его невроз, пошлая мания наживы, достойнее моего? Без всякого хвастовства могу сказать, что у меня и чувства в десять раз тоньше, и порывы благороднее, и душа добрее и впечатлительнее, – и даже родная мать Кромницкого не стала бы отрицать, что он меня глупее. Правда, я никогда в жизни не наживу не только миллиарда, но и десятой доли его, однако пока еще Кромницкий тоже не нажил и сотой доли. Ручаюсь, что моей жене будет и теплее и светлее в жизни, чем жене Кромницкого, что жизнь ее будет шире и возвышеннее.

Не первый раз я в мыслях невольно сравниваю себя с Кромницким, и это меня даже сердит – настолько я считаю себя выше этого человека. Я и он – жители разных планет. И, сравнивая наши души, я сказал бы, что к моей нужно подниматься вверх (при этом легко сломать себе шею). А к душе Кромницкого такая девушка, как Анелька, определенно должна была бы спуститься вниз.

А может, ей это было бы не так трудно? Гнусный вопрос! Но я видел в жизни такие невообразимые вещи (в особенности у нас в Польше, где женщины вообще стоят выше мужчин), что не могу не задать себе этот вопрос. Я встречал девушек с такими высокими стремлениями, что их можно назвать крылатыми, чутких ко всему прекрасному и не шаблонному, – и эти девушки не только выходили замуж за болванов самого низкого пошиба, но на другой день после свадьбы переходили, так сказать, в веру супруга, заражались от него пошлостью, суетностью, эгоизмом, узостью взглядов, мелочностью. Мало того – некоторые даже этим щеголяли, как будто считая, что прежние их идеалы следовало после свадьбы выбросить за окно вместе с миртовым венком. Они были уверены, что именно это значит быть доброй женой, и не отдавали себе отчета, что каждая из них жертвует взлетами души в угоду склонностям обезьяны. Правда, рано или поздно во многих случаях наступала реакция, но, в общем, шекспировская Титания у нас – тип распространенный, и каждый, наверное, встречал его в жизни.

Я – скептик до мозга костей, но скептицизм мой порожден болью сердца, ибо мне и в самом деле очень больно, как подумаю, что это самое может случиться с Анелькой. Быть может, скоро и она тоже, вспоминая свои девичьи мечты и порывы, будет пожимать плечами, убежденная, что поставки для Туркестана – вот это вещь, столь же важная, как и реальная, и такими вещами только и стоит заниматься в жизни. При этой мысли я прихожу в дикую ярость. А ведь если с Анелькой произойдет такая метаморфоза, то отчасти по моей вине.

Однако мои раздумья и колебания объясняются не только нерешительностью, о которой пишет Снятынский. Есть и другая причина. У меня очень высокие требования к браку, и это лишает меня отваги. Знаю, часто муж и жена сходятся характерами

не более, чем две кривые доски пристают друг к другу, – а между тем живут же как-то. Но меня такой брак удовлетворить не может. Именно потому, что, в общем, я в счастье не очень-то верю, я говорю себе: пусть хоть в браке мне повезет. А возможно ли это? Странное дело, причина моих колебаний и нерешительности – не те неудачные браки, какие я видел, а некоторые известные мне счастливые супружества. Вспоминая их, я говорю себе: «Да, вот это – настоящее! Не только в книжках бывают счастливые браки! Надо суметь найти!»

11 июня

За последнее время мы с Лукомским очень подружились. Он уже не так замкнут и молчалив в моем обществе, как прежде. Вчера он зашел ко мне вечером, и мы отправились бродить, дошли до самых терм Каракаллы. Потом я пригласил его к себе, и мы просидели почти до полуночи. Разговор наш я хочу записать, потому что он меня несколько взволновал. Лукомскому, видно, было немного стыдно за свой порыв откровенности у статуи умирающего гладиатора, но я нарочно заговорил о Польше, выпытал все, что лежало у него на душе, и в конце концов, когда разговор стал уже совсем дружеским, сказал:

– Вы меня извините, пан Юзеф, за нескромный вопрос, – но я, право, не пойму одного: почему, если вы нуждаетесь в родном окружении, вы не поищите себе подругу жизни среди наших соотечественниц? Того ощущения связи с родиной, которое она может вам дать, не даст ни ваша мастерская, ни ваши помощники – поляки, и уж, разумеется, ни Крук и Курта.

Лукомский усмехнулся и, показывая кольцо на своем пальце, ответил:

– А я как раз собираюсь жениться, как только моя невеста снимет траур по отцу. Через два месяца поеду к ней.

– В окрестности Серпца?

– Нет, они из-под Вилькомира.

– А что вы делали в Вилькомире?

– Я там и не был. Мы познакомились случайно в Риме, на Корсо.

– Счастливая случайность!

– Да, самая счастливая в моей жизни.

– Это было во время карнавала?

– Вовсе нет. Раз утром шел я по виа Кондотти, вижу – какие-то две дамы, блондинки, видимо мать и дочь, на ломаном итальянском языке расспрашивают прохожих, как пройти к Капитолию. Они твердили «Капитолио», «Капитоле», «Капитол», но их никто не понимал – по той простой причине, что, как вы знаете, надо говорить «Кампидольо». Я догадался, что они польки, – земляков я сразу узнаю. Дамы страшно обрадовались, когда я заговорил с ними по-польски. Я тоже был рад этой встрече и не только указал им дорогу, но сам проводил их до Капитолия.

– И что же дальше? Вы себе не представляете, как меня интересует эта история! Значит, вы пошли вместе?

– Да. По дороге я успел заметить, что девушка стройна, как тополь, прекрасно сложена и красива, головка небольшая, уши точеные, лицо очень выразительное, а ресницы совсем золотые. Такие лица только у полек бывают, здесь их не увидишь – разве только в Венеции, и то редко. Понравилось мне и то, что она так внимательна к матери, которая очень тосковала по недавно умершему мужу. Я решил, что у этой девушки, наверное, доброе сердце. С неделю я сопровождал их в качестве чичероне, а потом посватался.

– Как? Через неделю?

– Да. Потому что они собрались ехать обратно во Флоренцию.

– Ну, вы, я вижу, не из тех, кто долго раздумывает!

– Будь это в Польше, я бы, наверное, раздумывал дольше, но здесь, на чужбине, я готов был целовать у нее руки только за то, что она полька.

– Понятно. Но все же... Брак – это такой перелом в жизни...

– Это верно. Но что я мог бы придумать лучшего, если бы раздумывал не одну, а две или три недели? Признаюсь, были у меня причины колебаться. Не очень-то приятно говорить об этом, – ну, да... Видите ли, у нас в роду наследственная глухота. Дед под старость не слышал ничего, отец мой оглох в сорок лет... С этим можно жить, но, что ни говори, это тяжелый крест, особенно для окружающих, потому что глухие бывают раздражительны. И вот я задавал себе вопрос: вправе ли я связать свою жизнь с такой девушкой, раз мне грозит это несчастье, – ведь трудно будет ей со мной жить?

Слушая Лукомского, я только тут заметил, что у него в выражении глаз, в движениях головы, в манере слушать есть что-то такое, что всегда обличает глухоту. Слышит он пока отлично, но, видимо, постоянно проверяет, не ослабел ли уже у него слух.

Я стал его успокаивать, а он сказал:

– Я тоже так подумал. Не стоит из-за только предполагаемой опасности портить жизнь себе и другому человеку. Ведь вот в Италии бывает эпидемия холеры, но было бы глупо, если бы ни один итальянец не женился, боясь, что может умереть от холеры и оставить жену и детей без опеки. И я сделал то, что считал своим долгом. Сказал панне Ванде, что люблю ее и жизнь бы отдал за то, чтобы она стала моей, но есть вот такое препятствие. И знаете, что она мне ответила? «Если мне нельзя будет говорить вам, что я вас люблю, то я буду это писать». Не обошлось без слез, но через час мы уже смеялись над моими страхами, и я нарочно притворялся глухим, чтобы заставить ее написать «люблю».

Разговор с Лукомским не выходит у меня из головы. Снятынский ошибается, говоря, что у нас только ослы еще сохранили силу воли. У этого скульптора были серьезные причины раздумывать и колебаться, а ему достаточно было недели, чтобы принять такое серьезное решение. Может, у него способность к самоанализу не так развита, как у меня, но он умный человек. А какая мужественная девушка эта будущая пани Лукомская! Как мне нравится ее ответ!.. И чутье мне подсказывает, что Анелька – девушка такого же типа. Если бы я, скажем, ослеп, Лаура увидела бы в моей слепоте только возможность навязать мне роль какого-нибудь феокийца Демодока,

поющего песни на пирах. Но Анелька – та, конечно, не оставила бы меня, хотя бы я и не был еще ее мужем. Готов дать руку на отсечение, что это так.

Однако когда есть такая уверенность, то и на неделю незачем бы откладывать решение, а я раздумываю уже пять месяцев. Даже и последнее мое письмо к тете не говорит об окончательном решении.

Впрочем, я утешаю себя мыслью, что тетушка – женщина умная и любит меня, так что догадается, чего я хочу, и по-своему придет ко мне на помощь. Кроме того, в сердце мое стучится надежда, что Анелька будет ей союзницей. Все-таки жаль, что я в письме не высказался яснее. У меня руки чешутся написать второе, но я не даю себе воли. Надо подождать ответа на первое письмо. Счастливы такие люди, как Лукомский, они начинают прямо с дела.

15 июня

Как ни назови то чувство, которое я питаю к Анеле, – любовью или как-нибудь иначе – есть огромная разница между ним и всеми теми чувствами, которые до сих пор возникали в моем сердце. Я думаю об этом с утра до ночи. Чувство к этой девушке стало событием моей душевной жизни, и я чувствую себя ответственным за него перед самим собой. Прежде этого со мной никогда не бывало. Я сходил с женщинами, а через некоторое время расходился, и связи эти оставляли по себе грусть, недолгую или довольно длительную, иногда приятное воспоминание, иногда – неприятный осадок, но никогда они не поглощали до такой степени всего меня. В пустой светской жизни, которую ведем мы все, те, у кого нет высоких целей, кто не служит никакой идее и не вынужден работать для куска хлеба, женщина не сходит со сцены: она всегда в центре нашего внимания, за нею ухаживают, но в конце концов она становится в наших глазах чем-то повседневным, связь с нею – одним из обычных «грешков» в нашей жизни. Обманывая женщин, мы редко испытываем угрызения совести, еще реже испытывают их женщины, обманывающие нас. При всей чувствительности своей натуры я тоже один из таких мужчин с притупленной совестью. Бывали случаи, когда я думал: «Вот теперь следовало бы делать себе патетические упреки», но всегда только отмахивался и предпочитал размышлять о чем-нибудь более приятном. Сейчас не то. Порой голова у меня бывает занята совсем другим, – и вдруг я чувствую, что мне чего-то недостает, нападает на меня беспокойство, страх, как будто я упустил что-то крайне важное, чего-то не сделал, и, наконец, мне становится ясно, что это думы об Анельке снова прорываются сквозь все заслоны и овладевают мной. Точат они меня день и ночь, как тот жучок-древоточец, о котором писал Мицкевич. Когда я пожимаю плечами и силюсь подавить или даже осмеять это чувство, моя ирония и скептицизм не спасают меня, вернее – спасают ненадолго, а потом я снова оказываюсь в заколдованном круге. Собственно, это не тоска и даже не угрызения; скорее – мучительная прикованность мыслей к одному предмету и при этом такое лихорадочное, тревожное желание знать, что будет дальше, как будто от этого «дальше» зависит моя жизнь.

Если бы я не так усердно заглядывал в себя, я считал бы, что чувство мое – большая и необыкновенная любовь. Однако я замечаю, что мои тревоги и раздумья вызваны не только желанием, чтобы Анелька стала моей. Она, несомненно, оставила в душе моей глубокое и сильное впечатление. Но Снятынский прав: если бы я полюбил ее так сильно, как, например, он – свою жену, я прежде всего стремился бы обладать ею. А я (мне это совершенно ясно) не столько жажду ею обладать, сколько боюсь ее потерять. Не всякий, пожалуй, поймет, что между этими чувствами есть огромная и любопытная разница. Но я твердо убежден, что, если бы не Кромицкий и опасение навсегда потерять Анельку, я не испытывал бы ни такого страха, ни волнения. Это до некоторой степени распутывает клубок запутанных

переживаний и ясно доказывает, что я не столько люблю Анельку, сколько чувствую, что мог бы ее любить, и мне ужасно жаль утратить эту надежду на счастье, эту единственную возможность заполнить им жизнь. А еще больше боюсь я той пустоты, которая откроется передо мной, если, Анелька будет для меня потеряна. Я замечаю, что глубочайшие пессимисты, когда судьба или люди хотят отнять у них что-нибудь, так же отчаянно отбиваются руками и ногами и так же вопят, как самые жизнелюбивые оптимисты. И я сейчас именно в таком положении. Кричать, правда, не кричу, но полон страха при мысли, что, быть может, не сегодня-завтра не буду знать, что мне с собой делать и зачем жить на свете.

16 июня

Узнал кое-что о Лауре: сообщил мне это мой нотариус, который ведет и дела Дэвисов. Дэвис уже в психиатрической лечебнице, а она живет в Интерлакене, у подножия горы Юнгфрау. Наверное, собирается взойти на ее вершину. Воображаю, как она рядится в Альпы, их снега, туманы, солнечные восходы, как плавает по озерам и стоит над пропастями. В разговоре с нотариусом я пожалел Дэвиса, а также и его жену, которая такой молодой осталась одна и без всякой опеки. Но насчет ее старый юрист успокоил меня, сказав, что с неделю тому назад к ней в Швейцарию уехал ее родственник, граф Малески. Знаю, знаю этого неаполитанца! Красив, как Антиной, но картежник и, говорят, трус изрядный. Кажется, я напрасно в свое время сравнивал Лауру с Пизанской башней.

Впервые в жизни я вспоминаю с таким недобрым чувством женщину, которую, в сущности, не любил, но обманывал, говоря, что люблю. По отношению к Лауре я оказываюсь человеком неблагодарным и невеликодушным, – мне просто стыдно за себя. В самом деле, чем я могу оправдать свою антипатию к ней? Чего я ей не могу простить? Да, видимо, того, что с самого начала нашей связи я, – правда, не по ее вине, но из-за близости с нею, – совершил тысячу дурных и дрянных поступков, которых никогда не совершал в жизни. Я не уважил своего траура, не пощадил больного и беспомощного Дэвиса, опустил, разложился, написал тетушке то роковое письмо... Все это м о я вина! Но когда слепец, споткнувшись о камень, падает на дороге, он всегда клянет камень, хотя, в сущности, в его падении виновата только его слепота.

17 июня

Я отнес сегодня деньги Лукомскому, а нотариусу оставил доверенность. Вещи упакованы, и я на всякий случай приготовился к отъезду. Рим начинает мне сильно надоедать.

18 июня

По моему расчету, ответ тетушки должен бы уже прийти. Гоня от себя наихудшие предположения, я пытаюсь угадать, что она мне сообщит. И – в который уже раз! – жалею, что не написал ей яснее. Впрочем, писал же я ей, что приехал бы в Плошов, если бы был уверен, что присутствие мое не будет неприятно ее гостьям, и посылал этим гостьям сердечный привет. Упомянул я еще, что в последнее время в Пельи был нездоров, сильно расстроен и не сознавал, что делаю. Когда я писал это письмо, оно мне казалось весьма разумным, а теперь иногда кажется верхом глупости. Просто самолюбие не позволило мне ясно и решительно отказаться от того, что я прежде написал ей из Пельи. Я надеялся, что тетушка обрадуется возможности все уладить и я приеду в Плошов таким великодушным благодетелем. Как ничтожна натура человеческая! Теперь мне остается одно – цепляться за надежду, что тетя непременно догадается, чего я хочу.

Тревога моя растет с каждой минутой, чувствую, что мог бы сильно любить Анельку

и вообще мог бы быть несравненно лучшим человеком. Зачем же, собственно, я поступаю так, словно, кроме эгоизма и расстроенных нервов, ничего во мне нет? А если ничего больше нет, почему мой самоанализ не подсказал мне этого? У меня хватает смелости делать окончательные выводы, и я не таю от себя истины, а между тем т а к о й вывод всегда отвергаю. Почему же? Да потому, что во мне живет непоколебимая уверенность: я лучше, чем мои поступки. А объясняются эти поступки какой-то неприспособленностью к жизни, чертой отчасти родовой, отчасти же – порожденной болезнью нашего века, вечным самоанализом, который не дает нам никогда отдаться первому непосредственному порыву. Мы критикуем все, доходя до полного бессилия души. В детстве я забавлялся тем, что укладывал монеты одна на другую столбиком, пока столбик этот не наклонялся под влиянием собственной тяжести и, рассыпавшись, превращался в беспорядочную кучку. Теперь я делаю то же с моими мыслями и намерениями – нагромождаю их до тех пор, пока они не рассыпаются в полном беспорядке. Поэтому мне решиться на что-либо негативное гораздо легче, чем на положительное, легче разрушать, чем создавать. Мне кажется, многие интеллигентные люди страдают той же болезнью. Критика всего и самих себя выела у нас волю к добру. Нам недостает устоев, исходной точки, веры в жизнь. Вот оттого-то я, например, не столько хочу обладать Анелькой, сколько боюсь потерять ее.

Однако, коснувшись болезни века, я не хочу ограничиться разговором только о себе. Если кто-нибудь во время эпидемии сляжет в постель, это явление самое обыкновенное, а ныне критика всего существующего стала эпидемией, свирепствующей во всем мире. Отсюда прямой вывод: крыши всех видов, под которыми жили люди, валяются им на голову. Само слово «религия» означает «связь», а религия распадается. Вера стала неустойчива даже в душах верующих. Сквозь ту крышу, которую мы называем отчизной, начинают проникать социальные течения. Остался только один идеал, перед которым снимают шапки даже самые отчаянные скептики: народ. Но на цоколе этой святыни разные озорники уже начинают писать довольно циничные остроты, – и удивительнее всего то, что первые туманы сомнения выползают из тех голов, которые по природе вещей должны были бы ниже всех склоняться перед этой святыней. В конце концов придет какой-нибудь гениальный скептик, второй Гейне, будет оплевывать и заушать этого божка (как в свое время заушал его Аристофан), но теперь уже во имя свободы мысли и свободы сомнения, – и что тогда будет, не знаю. Вероятно, на этой огромной пустой странице дьявол станет писать сонеты своей возлюбленной.

Можно ли предотвратить это? Но прежде всего – мне-то что за дело? Стремиться к чему-нибудь – не мой удел. Я для этого чересчур хорошо воспитанный сын своего века. Но если все, что думается, делается и возникает, должно служить увеличению суммы счастья, то я позволю себе сделать одно замечание, оговорившись притом, что имею в виду не материальное благосостояние, а душевный мир, в котором я нуждаюсь так же, как всякий другой: дед мой был счастливее, чем мой отец, отец – счастливее меня, а мой сын, если он у меня родится, будет попросту достоин жалости.

Флоренция, 20 июня

Картонный домик рассыпался. Я получил письмо от тети. Анелька выходит замуж за Кромницкого. Свадьба через несколько недель. Анелька сама пожелала, чтобы она состоялась так скоро. Получив эту весть, я сел в поезд, чтобы ехать в Плошов, хотя и сознавал, что это – глупость и авантюра, которая ни к чему не приведет. Вот почему я оказался во Флоренции. Порыв чувств подхватил меня и понес, но, собрав остатки рассудка и воли, я остановился здесь.

Флоренция, 22 июня

Одновременно с письмом от тети я получил «faire part»[25], на котором адрес был написан женским почерком. Этого не могла сделать ни Анелька, ни ее мать – они на такое не способны. Вероятно, это – злая шутка Снятынской. Ну, да все равно. Меня ударили обухом по голове, и я оглушен. Я вижу, что потрясение сильнее боли. Не знаю, что будет потом: говорят, пулевой раны тоже сперва не чувствуешь. Все-таки я не застрелился, не сошел с ума. Смотрю на Люнг, Арно и даже раскладывал бы пасьянс, если б умел... Словом, я спокоен.

Что собаки загрызли зайца в присутствии его добрых друзей – это старая история... И так, тетушка сочла своим христианским долгом передать Анеле то, что я написал из Пельи.

Флоренция, 23 июня

С той минуты как я просыпаюсь по утрам, – вернее, открываю глаза, – я твержу себе, что мне это не снилось, что Анелька выходит за Кромицкого, та самая добрая и любящая Анелька, которая не ложилась спать, ожидая моего возвращения из Варшавы, которая смотрела мне в глаза, слушая меня, и каждым взглядом говорила, что она моя. И она не только станет госпожой Кромицкой, но через неделю после свадьбы уже сама будет удивляться, как она могла колебаться в выборе между таким, как я, и таким Юпитером, как Кромицкий. Странные, однако, творятся дела на свете, и как ужасно то, что ничему нет возврата... Окончательно пропадает всякая охота жить. Сейчас пани Целина и Снятынская, наверное, принимают a l'air[26] Кромицкого и превозносят его – умышленно, чтобы он выиграл в сравнении со мной. Лучше бы они оставили Анельку в покое. И как могла тетушка допустить все это? О себе уж не говорю, но ведь она знает и видит, что Анелька не может с ним быть счастлива. Сама же она пишет мне, что Анелька выходит за него с отчаяния.

Вот оно, это проклятое длинное послание.

«Спасибо тебе за письмо – ты хорошо сделал, что написал его, так как первое твое письмо из Пельи было не только решительным, но и жестоким. Трудно мне было поверить, что ты не чувствуешь к этой девушке не только привязанности, но и ни капли дружбы и жалости. Ведь я же не требовала и не уговаривала тебя, дорогой мой, чтобы ты немедленно сделал предложение Анельке. Я только просила, чтобы ты написал ей несколько ласковых слов если не отдельно, то хотя бы в письме ко мне. И верь мне, этого было бы достаточно, потому что она любила тебя так, как только может любить подобная девушка. Но войди же и в мое положение: что мне было делать после твоего письма? Совесть не позволяла дольше оставлять Анелю в заблуждении и в тревоге, которая заметно подрывала ее здоровье. За почтой Хвастовский всегда посылает нарочного в Варшаву и приносит нам письма к утреннему чаю. Анелька знала, что есть письмо от тебя, – бедняжка всегда подстерегала Хвастовского и брала у него из рук письма, якобы для того, чтобы положить их у моего прибора, а на самом деле – чтобы убедиться, нет ли вестей от тебя. Ну, вот она в то утро и увидела твое письмо. И когда разливала чай, то все ложечки звенели в чашках. А меня вдруг словно ужалило злое предчувствие. Я было решила отложить письмо и прочесть его потом у себя в комнате, но не выдержала – очень уж хотелось узнать, не болен ли ты. Бог знает, чего мне стоило не выдать своих чувств, – я видела, что Анелька не сводит с меня глаз. Я кое-как взяла себя в руки и даже сказала вслух: „Леон все еще грустит, но, слава богу, здоров и посылает вам поклон“. Анелька тотчас спросила, как бы между прочим: „А долго он еще пробудет в Италии?“ Я понимала, как много скрыто в этом вопросе, но у меня не хватило духу сказать ей правду, – тем более что тут был и Хвастовский и

слуги. И я ответила: „Нет, недолго. Думаю, что скоро выберется к нам“. Если б ты видел, как она вспыхнула, как обрадовалась и какие делала усилия не расплакаться! Бедная девочка! Вспомню это – и мне самой плакать хочется. Ты себе не представляешь, что я пережила, сидя потом у себя в комнате. Но ведь ты написал ясно: „Желаю ей счастья с Кромицким“, – и совесть мне велела открыть глаза Анельке. Звать ее не пришлось – сама прибежала. И вот что я сказала ей: „Анелька, я знаю, ты девушка хорошая и покоришься воле божьей. Нам надо поговорить откровенно. Знаю, дитя мое, что между тобою и Леоном начиналось что-то похожее на любовь, и, поверь, я от всей души этого желала. Но, видно, не судил бог. Если у тебя были какие-нибудь надежды, забудь их“. Она побледнела как смерть, и я обняла ее, боясь, что она упадет в обморок, но, к счастью, этого не случилось. Она только стала передо мной на колени и твердила одно и то же: „Тетя, что он велел мне передать? Тетя, что он велел мне передать?“ Я сначала отмалчивалась, не хотела повторять твоих слов, но потом подумала, что для нее будет лучше, если она узнает всю правду, – и сказала, что ты ей желаешь счастья с Кромицким. Тогда она поднялась и через минуту сказала уже совсем другим голосом: „Что ж, поблагодарите его от меня“. И сразу ушла. Боюсь, ты будешь недоволен тем, что я в точности передала твои слова, не позолотив пилюлю. Но раз ты решительно не хочешь жениться на Анельке, – надо же было, чтобы она это поняла раз навсегда. Если она будет убеждена, что ты поступил с ней дурно, она скорее тебя забудет. И наконец, если тебе это неприятно, ты подумай, как мы тут пострадали по твоей милости все трое, а пуще всего – Анелька. Правда, она замечательно владеет собой, я даже этого от нее не ожидала. За весь тот день и слезинки не пролила, виду не показала, что ей тяжело, – она очень боится за здоровье матери. Все только льнула к ней и ко мне и так меня этим растрогала, что мне плакать хотелось. В тот день приезжал к нам Снятынский, по лицу Анельки он ничего не заметил, но я сама ему все рассказала – ведь он твой друг. Он был ужас как огорчен и так тебя ругал, что я даже на него рассердилась. Невесть чего наговорил – ты же его знаешь.

Раз ты Анельку не любишь, ты не способен понять, как ты был бы с нею счастлив. Но с твоей стороны грешно было, Леон, оставлять ее в заблуждении, будто ты ее любишь. Мы все так думали, не только она. Из-за этого она так страдала, а теперь сразу решила принять предложение Кромицкого. Я отлично понимаю, что сделала она это с отчаяния. Должно быть, у нее с матерью был какой-то разговор о нем, и тогда она решилась. На другой день после твоего письма приехал Кромицкий. Она приняла его совсем иначе, чем прежде, так что через неделю он посватался и получил согласие. Снятынский узнал об этом только несколько дней назад и просто волосы на себе рвет. А что со мной было вначале, об этом и писать тебе не хочу.

Я на тебя гневалась сильно, как никогда в жизни, и только второе твое письмо меня немного смягчило, хотя из него я окончательно вижу, что мои воздушные замки разлетелись по ветру. Признаюсь, после первого твоего письма, пока Кромицкий не посватался, мне все еще думалось: «Авось бог будет к нам милостив, и Леон перерешит. Может, он это в сердцах написал». Однако, когда ты потом приписал несколько сердечных слов Анельке, но не отказался все-таки от того, что написал в первом письме, я поняла, что нечего себя обманывать.

Свадьба назначена на 25 июля. Объясню тебе, почему так скоро. Целина и в самом деле тяжело больна, предвидит свой близкий конец и боится, что потом, из-за траура по ней, свадьба надолго будет отложена. Она хочет перед смертью увидеть дочь под опекой мужа. Кромицкий спешит потому, что у него неотложные дела на Востоке, а Анелька – та хочет как можно скорее испить чашу. Ах, милый Леон, зачем все так вышло и зачем эта девочка так несчастна!

Я ни за что на свете не допустила бы, чтобы она вышла за Кромицкого. Но сейчас я и слова сказать не смею, потому что и без того виновата перед Анелькой. Очень уж мне хотелось женить тебя, и я не подозревала, чем это может кончиться для Анельки. Да, я виновата, но очень страдаю и молюсь денно и нощно за эту девочку.

После свадьбы молодые едут на Вошь, а Целина будет жить у меня в Варшаве. У нее были какие-то планы насчет Одессы, но я ее туда ни за что не пушу. Ты сам знаешь, родной мой, как я была бы счастлива тебя увидеть, но пока не приезжай в Плошов. Сделай это для Анельки. Если хочешь, я сразу после их отъезда приеду к тебе. Анельку теперь надо щадить».

К чему обманывать себя? Всякий раз, как я перечитываю это письмо, мне хочется биться головой о стену – и уже не от гнева, не из ревности, а от горя!

23 июня

Не могу, никак не могу сложить руки и считать, что все пропало. Ужасный это был бы брак! И я сегодня, в четверг, послал Снятынскому телеграмму, в которой заклинал его всем святым приехать в воскресенье в Краков. Выеду туда завтра. Еще я просил Снятынского никому ни слова не говорить о моей телеграмме. Посоветуюсь с ним, вернее – буду его умолять, чтобы он от моего имени переговорил с Анелькой. Я рассчитываю на его влияние. Анелька его уважает и очень любит. Я не обратился за этим к тете, рассудив, что мы, мужчины, лучше друг друга поймем. Снятынскому, знатоку человеческой души, легче будет понять весь тот проклятый психологический процесс, который я пережил в последнее время. Ему я могу рассказать и о Лауре, а заикнись я об этом тете, она только в ужасе перекрестится. Сначала я хотел писать прямо Анельке, но письмо к ней от меня привлекло бы общее внимание, вызвало бы переполох. Мне известна честность Анельки, знаю, она сразу показала бы письмо матери, а та, наверное, меня теперь ненавидит и не преминула бы истолковать письмо по-своему, в чем ей помог бы Кромицкий. Нет, нужно, чтобы Снятынский поговорил с Анелькой с глазу на глаз, это сумеет устроить его жена. Авось он согласится взять на себя эту миссию, хотя я хорошо понимаю, какая она щекотливая. Я уже несколько ночей не сплю. Как только закрою глаза, мне вспоминается Анелька, ее лицо, волосы, глаза, манера говорить, улыбка... Вижу ее так ясно, словно она стоит передо мной... Не могу я так жить!

Краков, 26 июня

Снятынский здесь. Он на все согласился. Какой славный малый, награди его бог! Сейчас четыре часа ночи, но мне все еще не спится. Сажусь за дневник, потому что не знаю, что с собой делать. Мы со Снятынским проговорили до трех часов, спорили, совещались. Сейчас он спит в соседней комнате и, наверно, уже поворачивается на другой бок. Не сразу удалось мне его уговорить. Он все твердил: милый мой, по какому праву я, посторонний человек, стану вмешиваться в ваши семейные дела, да еще такого щекотливого свойства? Панна Анеля может мне заткнуть рот одним только вопросом: «Вам-то что за дело?»

Я клялся, что Анелька так не скажет, клялся так горячо, как будто у меня в руках была ее расписка. Я соглашался с высказанными им соображениями, но говорил, что бывают положения, когда ни с чем не следует считаться. Наконец Снятынского убедил мой аргумент, что дело идет не обо мне, а об Анельке. Но, в общем, он только из жалости ко мне согласился поговорить с ней. За последние два дня я сильно осунулся. Снятынский сам мне это сказал, и я видел, что его это тронуло. Кроме того, он терпеть не может Кромицкого, они совершенно разные люди.

Снятынский считает, что заниматься биржевыми спекуляциями – это все равно что выгребать деньги из чужих карманов и перекладывать в свой. Он осуждает Кромницкого за многое и сказал о нем так: «Я бы еще простил ему, если бы он гнался за деньгами ради какой-нибудь высшей и благородной цели, но он наживает деньги только ради денег!»

Предстоящий брак Кромницкого с Анелькой возмущает Снятынского почти так же, как меня, – он думает, что Анелька готовит себе несчастье. Сдавшись на мои просьбы, он едет в Варшаву уже завтра, утренним поездом.

Послезавтра они с женой побывают в Плошове, и если там не удастся поговорить с Анелькой по душам, увезут ее на день-два к себе. Снятынский обещал рассказать Анельке, как я страдаю, и передать, что жизнь моя в ее руках. Он это сумеет. Будет говорить с нею серьезно, ласково и разумно, убедит ее, что женщина, как бы ни была глубока рана ее сердца, не вправе выйти замуж за человека, которого не любит, что, поступая так, она поступает нечестно. И точно так же она не должна отталкивать любимого человека и ломать ему жизнь только потому, что он в порыве ревности совершил поступок, в котором сейчас раскаивается от всей души.

– Я все сделаю, но под одним условием, – сказал мне на прощанье Снятынский. – Дай честное слово, что в случае неудачи ты не помчишься в Плошов и не наделаешь там глупостей, которые могут тяжело отразиться на твоей тетушке, пане Целине и Анеле. Можешь тогда написать Анеле, если хочешь, но на глаза ей не показывайся, – разве что она сама позовет тебя.

За кого он меня принимает? Я, конечно, дал требуемое обещание, хотя его слова меня сразу встревожили. Но я надеюсь на сердце Анельки и красноречие Снятынского. Ах, как он умеет говорить! Меня он не очень-то обнадеживает, но я хорошо вижу, что в душе он надеется на успех. Он намерен в крайнем случае добиться от Анельки, чтобы она отложила свадьбу на полгода. Тогда – победа, потому что Кромницкий наверняка сам отступится.

Долго я буду помнить сегодняшний день! Снятынский, когда видит искренние страдания, бывает деликатен и бережно-нежен, как женщина. Он всячески щадил мое самолюбие, но дорого стоит человеку сознаваться в своих сумасбродствах, грехах, слабостях, отдавать судьбу свою в чужие руки вместо того, чтобы самому с нею бороться. Впрочем, какое все это имеет значение, когда дело идет о том, чтобы не потерять Анельку?

27 июня

Снятынский уехал сегодня утром. Я проводил его на вокзал и дорогой все время давал ему разные наставления, как будто он – круглый идиот. А он, поддразнивая меня, уверял, что как только все кончится благополучно, я снова начну философствовать. Я готов был его отколотить.

Уезжал он полный радужных надежд, не было никакого сомнения, что он уверен в успехе. Проводив его, я пошел в костел Девы Марии, и тут я, скептик, философ, твердивший всегда «не знаю, не знаю, не знаю», заказал молебен за здоровье Леона и Анели. Я не только прослушал всю обедню, но сейчас пишу черным по белому: пропади пропадом всякий скептицизм, философия и с нею заодно мое «не знаю»!

28 июня

Час дня. В это время Снятынские должны были ехать в Плошов. Анелька не может не согласиться хотя бы на то, чтобы отложить свадьбу. Не имеет она права отказать

мне в этом... Целый день в голове моей гудят разные мысли. Кромицкий любит деньги – в этом нет никакого сомнения, – так почему же он не искал более выгодной партии? Имение у Анельки большое, но обременено долгами. Может быть, оно ему нужно для того, чтобы его не считали в Польше пришельцем без рода и племени и чтобы он мог скорее получить польское подданство? Да, но Кромицкий слывет богачом и мог бы жениться так, чтобы, кроме всего этого, получить и приданое. Видно, Анеля ему нравится, и давно нравится. Да и что в этом удивительного?

Подумать только, что она ждала, как счастья, как спасения, одного только моего слова! Ведь тетя пишет, что «бедняжка подстерегала Хвастовского, чтобы первой взять у него письма из рук». Мне страшно думать, что все это не будет мне даровано судьбой и что я, как все мне подобные, обречен на гибель.

Десять часов вечера

Днем меня страшно мучила невралгическая головная боль. Сейчас она прошла, но от этой боли, бессонницы и тревоги я словно под гипнозом. Мысли сосредоточены на одном, и я так ясно, как никогда в жизни, предвижу, что будет. Мне чудится, что я в Плошове, что слышу ответ Анельки Снятынскому, – и не понимаю, как я мог себя обманывать. Нет, она не сжалится надо мной. Это не предположение, а полнейшая уверенность... Право, со мной творится что-то необыкновенное. Я так проникнут сейчас сознанием страшной серьезности жизни, что мне кажется, будто до сих пор я был просто ребенком. И притом мне очень, очень грустно. Кажется, я не снесу всего этого и заболею. Я взял со Снятынского слово, что он мне сразу же телеграфирует. А телеграммы до сих пор нет и нет. Впрочем, я заранее знаю, что она не скажет мне ничего нового.

29 июня

Пришла телеграмма от Снятынского, и вот что я прочел в ней:

«Ничего не вышло. Соберись с силами и отправляйся путешествовать».

Так я и сделаю, моя Анелька!

Париж, 2 апреля

Я забросил свой дневник – не писал больше десяти месяцев. Хотя я так привык к этому занятию, что мне его недоставало, но я говорил себе: к чему это? Меня угнетало сознание, что хоть бы я заносил в свой дневник мысли достойные Паскаля, глубже океанских глубин и выше Альп, – они не изменят того простого факта, что Анеля вышла замуж. И у меня опускались руки. Иногда жизнь вся сосредоточивается на чем-нибудь одном. И хотя бы это единственное казалось относительно малым, – когда его нет, рутина жизни теряет для человека всякий смысл. Странно и даже смешно вспомнить – я долго был в таком состоянии, что, одеваясь, выходя на улицу, в театр или клуб, не мог отделаться от мысли: «К чему это?» И часто проходили долгие минуты раньше, чем я, опомнившись, мог убедить себя, что ведь обедал же я, стригся и делал все остальное и до того, как узнал Анельку. В первые месяцы я много путешествовал, занесло меня даже в Исландию. Но при виде озер Швеции, фиордов Норвегии, исландских гейзеров я не испытывал непосредственных впечатлений – я только пытался себе представить, что почувствовала бы Анелька, любуясь всем этим, что она сказала бы, – словом, я глядел на все ее глазами, думал ее мыслями, чувствовал ее сердцем. А потом, вспомнив, что она теперь пани Кромицкая, спешил сесть на пароход или в поезд и ехал дальше, потому что все, что я видел вокруг, теряло для меня всякий интерес.

Я знаю, эта история – лишь одна из житейских драм, столь обычных, что они служат

даже предметом шуток, их переживали тысячи глупцов до меня. Но какое мне до этого дело? Умирают все, но каждому умирающему кажется, что вместе с ним гибнет мир. И мир действительно гибнет!

Я не знаю, да и не пробовал разбираться, насколько то, что я чувствовал в первые месяцы, было близко к безысходному отчаянию. Все на свете относительно. Знаю одно – что весь я был поглощен этой женщиной и впервые понял, какую пустоту может создать в жизни смерть горячо любимого человека.

Однако мало-помалу привычная жизнь – но не ее соблазны! – брала верх. Это, я думаю, бывает довольно часто. Я знал людей с тяжким горем в душе, которые по инерции внешне оставались веселы. Неизбежно должен был наступить такой час и для меня. Я перестал, например, ощущать зубную боль только как боль, которую могла бы чувствовать Анелька. Словом, я был как бы парализован, но в конце концов нашел лекарство в отравившем меня яде. Читал я когда-то в книге путешествий Фарини: кафры лечатся от укуса скорпиона тем, что дают скорпиону ужалить себя вторично в то же место. И таким скорпионом, таким противоядием, заключенным в самом яде, стало для меня (как, в сущности, бывает и со всеми) слово «свершилось».

Свершилось – и я страдаю. Свершилось – и я перестаю страдать. В сознании, что ничего уже нельзя изменить, кроется некоторое смирительное. Я всегда вспоминаю того индейца, лодку которого унесло в Ниагару. Сперва он с силой, которую придает человеку только отчаяние, боролся с мощным течением, а когда понял, что спасения нет, бросил весла, растянулся на дне лодки и запел. Я сейчас именно в таком состоянии. Попавшему в Ниагару лучше, чем мне: она, если кого подхватит, то уже в муку сметет. А в других случаях волны выбрасывают человека на песчаную отмель, пустынную и безводную. Именно это случилось со мной.

Мой злой гений не предвидел только одного: что человек глубоко несчастный и сильно угнетенный жизнью гораздо меньше дорожит собой, чем человек счастливый, и тем самым до некоторой степени обезоруживает завистницу-судьбу. Я давно уже в таком настроении, что, если бы разгневанная фортуна, представ передо мной, сказала мне: «Черт тебя возьми!» – я ответил бы ей: «Ладно, пусть берет». И ответил бы так вовсе не из-за безнадежной тоски по Анельке, а потому, что я стал глубоко равнодушен ко всему вокруг меня и во мне.

Это своего рода броня превосходной закалки. Она не только охраняет человека, но и делает его небезопасным: ибо тот, кто не склонен щадить себя, не станет щадить и других. Даже заповедь божья не приказывает любить ближнего б о л ь ш е, чем самого себя.

Однако из этого вовсе не следует, что я намереваюсь в ближайшем времени перерезать кому-нибудь горло. Все, что я говорил, – главным образом теоретические рассуждения. В жизни никто от них особенно не пострадает: подобное безразличие ослабляет альтруизм, по оно в такой же мере уменьшает и эгоизм. Если бы мне пришлось спать с моим ближним под одним плащом, я не отдал бы ему всего плаща, но и не завладел бы этим плащом безраздельно. А опасным, – быть может, даже очень опасным, – такой человек бывает только тогда, когда люди нарушают его покой, основанный на ограничении своего «я», и принуждают к усиленным действиям. Тогда он обретает уверенность движений и вместе с тем безжалостную силу машины.

Эту механическую уверенность я уже обрел. С некоторого времени я замечаю, что теперь внушаю людям свой образ мыслей и свою волю гораздо успешнее, чем раньше,

хотя ничуть за этим не гонюсь. Самолюбие, суетность и стремление нравиться – неисчерпаемый источник внутренней неуверенности и слабости. Человек почти безотчетно хочет нравиться другим и вызывать к себе сочувствие, а ища путей к этому, тысячи раз отступает от своей внутренней правды. Во мне это кокетство теперь если и не совсем исчезло, то стало гораздо слабее, и равнодушие к тому, нравлюсь я людям или нет, дает холодное и спокойное чувство превосходства. Я это заметил во время своих путешествий, а еще острее чувствую сейчас в Париже. Здесь было когда-то много людей, превосходство коих я признавал; теперь превосходство на моей стороне именно потому, что я в этом меньше заинтересован, чем они.

В общем, я вижу в себе человека, который мог бы быть энергичным, но не стремится к этому, ибо воля прямо пропорциональна страстям, а мои страсти прежде всего негативны. У меня еще сохранилась привычка отдавать себе во всем отчет, и вот я объясняю это тем, что в известных условиях можно упорно жаждать жизни, а в других – так же упорно не хотеть ее. Вероятно, мое равнодушие ко всему – это сгущенное ожесточение против жизни. Потому оно так мало похоже на безразличие Дэвиса.

Я стал человеком несравненно более беспощадным, чем прежде, и могу повторить слова Гамлета, что есть во мне что-то опасное. К счастью, никто не становится мне поперек дороги. Все мне так глубоко безразлично, такие же чужие, как я им. Одна только тетушка где-то там, в Варшаве, любит меня по-прежнему, но возможно, что ее любовь тоже утратила свой деятельный характер, – хотя бы настолько, что в будущем мне уже не грозят никакие ее матримониальные проекты.

3 апреля

Увы, мое равнодушие, которое я сравнивал с чистой водой, безвкусной и бесцветной, только кажется таким. Всматриваясь в него пристальнее, я замечаю, что прозрачность его туманят какие-то облачка. Это всякие виды идиосинкразии. Ничего во мне не осталось, а они остались. Не люблю никого, но и ни к кому не питаю активной ненависти, – а вот некоторые люди внушают мне отвращение. В том числе и Кромицкий. Не потому, что он отнял у меня Анельку, а потому, что у него длинные ноги с огромными ступнями и коленями и что фигура его напоминает жердь, а голос – треск кофейной мельницы. Он всегда был мне противен, и говорю я сейчас об этом главным образом потому, что такие антипатии во мне удивительно живучи: я постоянно вспоминаю людей, которые приводят меня в нервное содрогание. Если бы это были только Кромицкий и пани Целина, можно бы еще понять мое чувство, счесть его замаскированной ненавистью. Но рядом с ними в памяти моей назойливо встают и всякие другие люди, внушавшие мне когда-то антипатию или омерзение. Этого я не могу объяснить состоянием здоровья – я совершенно здоров – и объясняю это вот чем: люди отняли у меня любовь, время усыпило ненависть. А так как человек, пока жив, должен что-то чувствовать, то я и чувствую, как умею, живу тем, что во мне еще сохранилось. Должен, однако, сказать, что тем, кто так живет и чувствует, немного выпадает счастья на долю...

Я почти совсем охладел к людям, прежде мне приятным. О Снятынском вспоминаю прямо-таки с неприязнью, и никакие доводы рассудка не могут заглушить это чувство. У Снятынского, бесспорно, много прекрасных качеств, но он не только другим, он и себе нравится и потому частенько «позирует», говоря языком художников. Знаю, очень редко бывает, чтобы человек, заметив, что его поступки, индивидуальные черты и особенности людям нравятся, и сам не влюбился в себя и не стал в конце концов себя переоценивать. Снятынский слишком старается быть всегда и везде Снятынским, а потому бывает неестественным и ради позы насилует свою врожденную деликатность. Не говорю уже о той сухой телеграмме, которую он послал

мне в Краков после своей неудачной миссии: «Отправляйся путешествовать!» – как будто я и без его совета не поехал бы. А в Христиании я получил от него письмо, писанное сразу после замужества Анельки, якобы сердечное, а на самом деле такое же сухое и напыщенное. Содержание его сводилось к следующему: «Анеля уже стала пани Кромицкой, свершилось – мне жаль тебя, – нежно тебя обнимаю. Но не воображай, что от этого перевернется мир, – черт побери, есть на свете вещи поважнее! А хороша, должно быть, Норвегия? Вернись и принимайся за какое-нибудь дело, будь здоров» и т. д. Не привожу всего письма дословно, но тон его был именно таков и неприятно поразил меня. Во-первых, я не просил у Снятынского аршина для измерения моего несчастья. Во-вторых, я считал его умнее: он мог бы понять, что его «более важные вещи» только тогда не остаются пустым звуком, когда речь идет о чувствах, живущих в душе человека. Я хотел было ему тут же написать, что прошу избавить меня от духовной опеки. Но, поразмыслив, не ответил вовсе на письмо – и думаю, что это самый удобный способ порвать отношения.

Однако, заглянув в себя поглубже, я понял, что мои дружеские чувства к Снятынскому охладели не только из-за его телеграммы или письма. Честно говоря, я не могу ему простить того, за что должен бы быть ему благодарен, – то есть его посредничества между мной и Анелькой. Я сам умолял его взять это на себя, но именно потому, что умолял, что вверил ему свою судьбу, и, признав свое бессилие, как бы взял его в опекуны, и, наконец, еще потому, что мое унижение и несчастье ему первому стали известны, – у меня в глубине души осталась какая-то досада на него. Я зол на себя, но одновременно и на Снятынского, который участвовал во всей этой истории. Знаю, я не прав, но дружба моя догорела, как свеча, и я ничего не могу с этим поделать.

Собственно, я не особенно легко схожусь с людьми. Со Снятынским мы были близки, быть может, именно потому, что жили в разных концах Европы. А других приятелей у меня не было. Я вообще из тех, кого зовут «нелюдимирами». Помню, я часто думал об этом с некоторым самодовольством, считая это доказательством силы. Действительно, в мире животных объединяются только слабые, те же, которых природа наделила мощными клыками и когтями, ходят в одиночку, ибо им достаточно собственной силы. Однако это наблюдение только в исключительных случаях применимо к людям. Чаще всего неспособность человека к дружбе – доказательство не силы, а холодности сердца. Я же, кроме того, всегда был крайне робок и впечатлителен. Сердце у меня, как мимоза, замыкалось при каждом к нему прикосновении. А то, что я никогда в жизни не дружил ни с одной женщиной, имеет и свою особую причину. Я искал дружбы лишь тех женщин, от которых ожидал и кое-чего большего, так что дружба между нами не могла быть бескорыстной. Я очень часто только прикидывался бескорыстным другом, подобно тому как лисица притворяется мертвой, чтобы усыпить подозрительность ворон и тем вернее сцапать одну из них. Я не хочу этим сказать, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Во-первых, я не глупец, который меряет все на свой аршин, и не подлец, который всех готов подозревать в нечестности. Во-вторых, я много раз в жизни убеждался, что такая дружба вполне возможна. Раз существует взаимная любовь брата и сестры, то почему мужчина и женщина, хотя бы чужие, не могут полюбить друг друга, как брат и сестра? Более того – любить так способны избранные натуры с врожденной склонностью к чувствам платоническим и души поэтов, художников, философов, – вообще людей, созданных не по обычной мерке. Раз я к таким отношениям не склонен, значит, нет во мне задатков поэта, художника или вообще одаренного человека. Что ж, тем хуже для меня. Да, очевидно, таких задатков во мне не было, если я в жизни стал лишь Леоном Плошовским и ничем больше.

В свое время мне казалось, что, став моей, Анелька была бы мне не только женой или возлюбленной, но и другом. Но к чему теперь об этом думать? И так уже призраки прошлого посещают меня слишком часто, и мне нечего ждать покоя душевного, если я не сумею навсегда от них избавиться.

4 апреля

Я довольно часто встречаю здесь Лауру Дэвис, даже бываю у нее. И ничего! Изрядная доля антипатии, немного презрения под толстым слоем пепла, а в общем – обычные светские отношения. Она все так же хороша, слишком хороша, чтобы вызывать во мне идиосинкразию, любить ее я не могу, а ненавидеть не стоит труда. Лаура сразу все поняла и, примирившись с этим, ведет себя соответственно. Ее немного задевает моя, новая для нее, уверенность в себе и независимость, но именно потому она со мной считается. Нельзя не удивляться той легкости, с какой женщина от самых близких отношений снова переходит к прежним, то есть обычному знакомству. Мы с Лаурой не только на людях, но даже когда случается нам остаться вдвоем, держим себя так, как будто между нами ничего не было. Ей это ничего не стоит, в ее поведении незаметно ни малейшей принужденности: она любезна, в меру холодна, в меру приветлива, а ее тон и настроение передаются мне настолько, что мне просто и в голову не приходит, например, назвать ее по имени.

Неаполитанский кузен Лауры, Малески, встречая меня у нее, вначале вращал глазами так грозно, что я даже счел долгом осведомиться, зачем он их так переутомляет. Наконец он успокоился, видя, что у нас с Лаурой отношения самые невинные, и мы с ним теперь приятели. Он уже тут дрался на дуэли из-за Лауры и, хотя в Италии у него репутация труса, вел себя на этой дуэли вполне пристойно. Бедняга Дэвис вот уже несколько месяцев как переселился в обитель блаженных, и я думаю, что по окончании траура Лаура выйдет за Малески. Это будет самая красивая пара на свете. У молодого итальянца торс и голова Антиноя и вдобавок золотистая кожа, волосы цвета воронова крыла, а глаза синие, как воды Средиземного моря. Лаура, может, его и любит, но по какой-то неведомой мне причине иногда явно его третировает. Она несколько раз при мне обошлась с ним так грубо, что я даже удивился: не думал я, что она, эстетка, способна на такие вспышки. Видно, в ней сидит не только Аспасия, но и Ксантипа. Я не раз замечал, что женщина, не обладающая никакими достоинствами, кроме красоты, и слышущая среди людей «звездой», на самом деле не звезда, а целое созвездие и даже два созвездия: она – Большая Медведица для своего окружения и Крест – для мужа. Лаура была Крестом для Дэвиса, а для Малески она – Большая Медведица. Может быть, она теперь была бы Большой Медведицей и в отношении меня, но она чувствует себя довольно чужой в парижском обществе и понимает, что ей выгоднее здесь иметь во мне союзника, а не врага. А кстати – странная вещь: в Париже Лаура не имеет такого успеха, как в Италии и вообще на берегах Средиземного моря. Видно, она чересчур красива, и красота ее чересчур классическая для Парижа: здесь вкусы несколько нездоровые, что заметно и в литературе и в искусстве, здесь пикантная некрасивость сильнее возбуждает притупленные нервы, чем строгая красота. Легко заметить, что самые знаменитые звезды парижского полусвета скорее некрасивы, чем хороши собой. Кроме того, сравнительно скромный успех Лауры на берегах Сены объясняется еще и другим. Ум у нее, правда, незаурядный, но тоже чересчур прямолинейный для здешнего общества, недостаточно живой и гибкий. Здесь есть множество людей мыслящих, серьезных, с широким кругозором, но в светском обществе рукоплещут прежде всего такому уму, который умеет уцепиться за любой предмет, как обезьяна зацепляется хвостом за ветку, и ловко кувыркаться. Чем замысловатее и неожиданнее эти выверты, тем успех вернее. Лаура это понимает, но вместе с тем чувствует, что для нее подобная гимнастика ума так же невозможна, как хождение по канату. Меня она считает более искусным и опытным в этом деле, и потому я ей

нужен.

Чтобы привлечь побольше людей в свою гостиную, Лаура превратила ее в храм музыки. Во-первых, сама она поет, как сирена, и действительно покоряет этим людей. Затем я часто встречаю у нее пианистку Клару Хильст, молодую красивую немку огромного роста, которую один из парижских художников охарактеризовал следующим образом: «C'est beau, mais c'est deux fois grandeur naturelle!»[27] Клара хоть и немка, но имеет в Париже в последнее время большой успех. Я же, видно, человек старой школы и не понимаю нынешней манеры исполнения: главным достоинством пианиста считается сила удара, пианист словно стремится выбить зубы роялю. В прошлый раз, слушая игру Клары в гостиной Лауры, я мысленно сказал себе: «Она так яростно колотит по клавишам, как будто фортепиано – человек, соблазвивший ее сестру». Клара Хильст играет и на фисгармонии. А сочинения ее пользуются великим успехом в здешнем музыкальном мире, о них говорят, что они полны глубокого смысла, – вероятно, потому, что, прослушав их в десятый раз, человек думает: «Авось в одиннадцатый я что-нибудь пойму». Признаю, что эти насмешки с моей стороны – нахальство, так как в музыке я профан. Но все же задаю себе вопрос: разве музыка, которую понять может только профессор консерватории, музыка, к которой нет ключа не только у профанов, но даже у людей культурных и получивших музыкальное образование, – это то, что нам нужно? Боюсь, как бы музыканты, идя по такому пути, не стали с течением времени кастой египетских жрецов, хранящих знания и красоту исключительно для себя.

Говорю я это потому, что, по моим наблюдениям, музыка со времен Вагнера идет прямо противоположными путями, чем, например, живопись. Новейшая живопись добровольно сужает границы своей компетенции, освобождаясь от идей литературных и философских, не соблазняясь передачей речей, проповедей, исторических событий, требующих комментариев, и даже аллегорий, которых нельзя было бы понять с первого взгляда. Словом, она совершенно сознательно ограничивается отображением форм и красочных мазков. Музыка же со времен Вагнера, как раз наоборот, стремится быть не только гармонией тонов, но и философией этой гармонии. Думаю, что скоро появится среди музыкантов какой-нибудь великий гений и, как некогда Гегель, скажет: «Только один меня понимал – да и тот не понял меня».

Клара Хильст принадлежит к категории философствующих в музыке, и это тем более странно, что человек она в высшей степени простодушный. У этой кариатиды глаза ясные и невинные, как у ребенка, и она, как ребенок, искренна и добра.

Здесь многие ухаживают за Klarой, – их привлекает как ее красота, так и ореол, окружающий всякую женщину, приобщившуюся к искусству. Но, хотя она и окружена мужчинами, ни малейшая тень не омрачает ее репутации. Даже женщины отзываются о ней хорошо, – она их обезоруживает своей поистине необыкновенной добротой, простотой и веселостью. Она жизнерадостна, как уличный мальчишка, и я не раз слышал, как она хохочет, – без удержу, до слез, как школьница. Это могло бы шокировать окружающих, но артистке все прощается. В общем, Клара – женщина с прекрасной душой, но не очень богато одаренная, если не считать ее музыкальности. Лаура, которая втайне ее недолюбливает, не раз давала мне понять, что «кариатида» в меня влюблена. Думаю, что это не так, но могло бы быть так, если бы я этого добивался. Верно только то, что Клара очень ко мне расположена, она с первой встречи почувствовала ко мне симпатию. Я отвечаю ей тем же, но не думаю покушаться на ее целомудрие. По старой привычке, я, встретив в первый раз женщину, смотрю на нее как на будущую добычу, – но это скорее мозговой рефлекс. Через минуту я уже думаю о другом. На женщин я теперь смотрю, как бывший ювелир на драгоценные камни: увидит он какой-нибудь редкий экземпляр и говорит себе: «А

стоило бы его приобрести», – но тут же вспоминает, что он уже бросил свою профессию, и проходит мимо.

Впрочем, скажу всю правду: помимо указанных выше причин, Клару спасает от моих покушений ее слишком высокий рост. Да, такие высокие женщины никогда мне не нравились.

Все-таки я как-то стал полусуто уговаривать Клару съездить на гастроли в Варшаву. Обещал даже сопровождать ее в качестве почетного импресарио. Не буду отрицать – такая поездка меня до некоторой степени прельщает.

А в Польшу я действительно собираюсь. Тетушка подарила мне свой дом в Варшаве и вызывает меня для формальной передачи его мне во владение. Она всегда приезжает в Варшаву на скачки. Кто бы подумал, что столь почтенная дама, занятая хозяйством, молитвами, благотворительностью, имеет такую слабость. Это даже не слабость, а настоящая страсть. Быть может, в ней находят выход наследственные рыцарские инстинкты, которые передаются женщинам так же, как и мужчинам. Наши лошади участвуют в скачках уже бог знает сколько лет – и никогда не получают призов. Но тетюшка в своем увлечении не пропускает ни одного состязания. Когда скачут наши лошади, она, опершись на палку, в съехавшей набок шляпе, стоит на заднем сиденье коляски и жадно следит за ними, а потом приходит в неопишную ярость и целыми месяцами отравляет жизнь Хвастовскому. Теперь она вырастила у себя в Плошове какую-то чудо-лошадь и зовет меня в Варшаву, чтобы я мог увидеть ее триумф. Что ж, поеду.

Ехать туда мне нужно и по многим другим причинам. Как я уже говорил, я сейчас относительно спокоен, ничего не хочу, ни на что не надеюсь и по мере сил укрощаю свое «я», – словом, примирился с духовным параличом, а там наступит и физический и унесет меня, как унес моего отца. Но не могу ничего забыть, и потому паралич у меня не полный и не окончательный. То единственное существо, которое я любил в своей жизни, теперь словно разделилось в моей душе на два отдельных. Одно из них – пани Кромицкая, другое – Анелька. Пани Кромицкая мне чужая и ничуть меня не трогает, Анелька же меня навещает, а с нею приходит сознание моей вины, глупости, душевного бессилия, боль утраты и горечь разочарования. О великодушный и благодетельный призрак! Как было бы хорошо, если бы мне вырезали ту мозговую извилину, в которой заключена память! Можно, правда, жить и с нею, но такая жизнь нестерпимо тяжела, потому что человек постоянно сознает себя какой-то телегой без колес. Я гоню от себя как можно дальше мысль о том, что могло бы быть, если бы все сложилось иначе. Но не всегда это удается. Мой добрый ангел возвращается и снова высыпает мне на голову целый рог изобилия. И в иные минуты мне кажется, что пани Кромицкая убивает в моей душе Анельку. Вот я и хочу съездить туда, поглядеть на ее счастье, на ее жизнь, присмотреться ко всем тем неизбежным переменам, которые, должно быть, произошли в ней и сделали ее совершенно непохожей на прежнюю Анельку. По всей вероятности, я застаю ее в Плошове. Не может быть, чтобы после десятилетней разлуки она не навестила больную мать, которая по-прежнему живет там.

Думаю, что я не ошибаюсь и *ceci tuera cetera*[28]. Я на это рассчитываю, зная свои нервы, – их все больно задевает. Помню, когда я познакомился с Анелькой и ее чары начали на меня действовать непреодолимо, одна только мысль о том, что какой-то Кромицкий приближается к ней, отталкивала меня от нее, и она становилась мне уже менее дорога. А что же теперь, когда она – жена этого Кромицкого, принадлежит ему душой и телом! Я почти наверняка могу предсказать, что все в ней на каждом шагу будет отталкивать меня, оскорблять – и *ceci tuera*

cela!

А, наконец, если и нет, если будет иначе – не все ли равно? Что мне терять? Выиграть я не стремлюсь, но если бы обстоятельства помогли мне убедиться, что виноват не я один и не на мне одном лежит ответственность за то, что произошло, так что бремя этой вины следовало бы разложить на двоих, – может быть, это дало бы мне некоторое удовлетворение. Говорю «может быть», потому что не могу за это поручиться. Мысль о какой-то мести от меня далека. За обманутые надежды мстят только на сцене. В жизни же уходят с тяжелым осадком на душе, – и все. Чтобы доказать нынешней пани Кромицкой, что она поступила дурно, отвергнув мое раскаяние, я прежде всего должен сам быть в этом непоколебимо уверен, а у меня бывают и такие минуты, когда я, ей-ей, ни в чем не уверен.

6 апреля

Я уже знаю наверное, что увижу пани Кромицкую: тетя пишет, что Кромицкий продал имение Анельки на Волини и уехал по делам на Дальний Восток, так что Анельке не остается ничего другого, как только вернуться к матери в Плошов. В первую минуту эта новость не нарушила моего равновесия. Но впечатление, которое она произвела, становится все сильнее – такова особенность моей душевной организации. Теперь я уже ни о чем другом думать не могу. Кромицкий через десять месяцев после женитьбы продал земли, расположенные в местах красоты несравненной, земли, которыми предки Анельки владели четыреста лет! Продажа поместья – событие огромного значения для пани Целины и Анельки. Пани Целина всю жизнь из сил выбивалась, стараясь сохранить это имение, а Кромицкий пришел – и с легким сердцем продал его только потому, что ему за него дали хорошую цену и эти деньги обеспечат ему барыши на востоке.

Допустим, что он наживет на них миллион, – но какой удар для матери и дочери и что они теперь могут думать об этом человеке! Тетя пишет, что она сидит сейчас у постели пани Целины, которая, узнав о продаже имения, еще сильнее расхворалась. Анелька, подписывая доверенность мужу на продажу, конечно, не понимала, что делает. Я в этом совершенно уверен. Но перед людьми она его защищает, тетя в своем письме приводит ее слова: «Случилось несчастье, но несчастье неизбежное, и Кароля в нем винить нельзя». Защищай его, защищай, верная и преданная супруга! Но это не мешает мне думать, что он ранил тебя вдвойне, и в душе ты глубоко презираешь его. Его объятья и ласки не сотрут в твоей памяти одного слова «продал!». И что думает сейчас пани Целина, которая покровительствовала его сватовству в надежде, что первым делом он после женитьбы очистит от долгов имение Анельки при помощи своих миллионов?.. А я, сударыня, человек без громких фраз, не продал бы имения из одной хотя бы чуткости, из любви к вам, из опасения, что это будет для вас ударом. Но для спекуляций нужны наличные деньги. Не могу утверждать ничего наверное, но иногда эти миллионы Кромицкого кажутся мне сомнительными. Может, он их еще и добудет и продажа имения этому будет способствовать, – но если бы они сейчас у него были, он не причинил бы жене такого горя и не лишил бы ее крова. Тетя пишет, что он сразу после продажи уехал в Баку, а оттуда поедет в Туркестан, Анелька же слишком молода, чтобы жить одной, и потому до его возвращения будет жить с матерью. А мать остается в Плошове, во-первых, потому, что больна и не может никуда ехать, во-вторых, – тетя ее не отпускает, а она не хочет сердить тетю. Я достаточно хорошо узнал Анельку и ни за что не поверю, что у нее есть какие-то расчеты. Она – воплощенное бескорыстие. Но ее мать, которая рада бы весь мир захватить для своей единственной дочери, рассчитывает, конечно, на то, что тетя не забудет Анельку в своем завещании. И она не ошибается. Тетя (она никогда всерьез не верила в миллионы Кромицкого) несколько раз намекала мне на это с тревогой и

некоторым смущением, так как считает, что все ее имущество должно остаться в нашем роду, и боится обидеть меня тем, что завещает кое-что Анельке. Как плохо она меня знает! Да если бы Анелька сегодня осталась без башмаков и за пару башмаков для нее нужно было бы отдать Плошов и все мое состояние, я, не задумываясь, сделал бы это. Может, к этому меня побудило бы и злорадное желание подчеркнуть разницу между мной и Кромицким, но я, несомненно, поступил бы так.

Однако довольно об этом. Меня не оставляет мысль, что Анеля с матерью уже в Плошове и проживут там до тех пор, пока не вернется из своего путешествия Кромицкий, а это еще когда будет! Значит, я каждый день буду видеться с пани Кромицкой. Меня охватывает беспокойство, в котором есть и доля любопытства: как же сложатся наши отношения? Я представляю себе разные случаи, которые могли бы произойти, если бы я относился к Анельке иначе. Я никогда себе не лгу: повторяю, я еду лечиться, пани Кромицкую не люблю и любить не буду, напротив – надеюсь, что встречи с нею вытеснят из моего сердца прежнюю Анельку гораздо успешнее, чем это сделали бы всякие фиорды и гейзеры. Но, будучи тем, что я есть, человеком, который долго жил и много думал, я не могу не предвидеть опасностей, какие могли бы возникнуть при других условиях.

Если бы я хотел мстить, если бы не отталкивало меня до такой степени даже самое имя «пани Кромицкая», – что могло бы меня остановить? Ведь в тихом уединении Плошова мы были бы только вдвоем, если не считать двух старушек, наивных, как дети, в своей безупречной добродетели. Знаю я с этой стороны и тетушку мою и пани Целину. В высших кругах нашего общества часто встречаются женщины изрядно развращенные, но есть и такие, – в особенности среди старшего поколения, – которые прожили жизнь, можно сказать, чистыми, как ангелы, ни разу не осквернив себя грешным помыслом, не имея понятия о зле мирском. Таким, как моя тетушка или пани Целина, и в голову не может прийти, что Анельке, замужней женщине, грозит какое-нибудь искушение. Анелька и сама принадлежит к этой категории женщин. Она не отвергла бы моей просьбы, если бы не то, что она уже дала слово Кромицкому. Польская женщина этого типа не нарушит данного слова, хотя бы у нее разбилось сердце. Меня зло берет, как подумаю об этом. Я подавляю в себе присущую каждому человеку потребность доказать свою правоту и ничего не хочу доказывать пани Кромицкой, но я был бы очень, очень счастлив, если бы нашелся кто-нибудь, кто объяснил бы ей, что нельзя безнаказанно попираť законы природы и права сердца, что эти права сильнее надуманных этических доктрин и нарушение их мстит за себя. Правда, я очень виноват перед Анелькой, но ведь я искренне хотел все исправить, и она это знала – и все-таки оттолкнула меня. Оттолкнула, вероятно, затем, чтобы можно было сказать себе: «Я не похожа на Леона Плошовского, – я дала слово Кромицкому и сдержу его». Это не добродетель, а холодность сердца, это не героизм, а глупость, не совесть, а тщеславие. Нет, не могу, не могу забыть!..

Впрочем, мне поможет сама пани Кромицкая. Когда я увижу ее, довольную своим героизмом, холодную, сытую супружескими ласками, искренне или притворно влюбленную в мужа, с любопытством наблюдающую, достаточно ли сильно мое горе, – то эта верная супруга, упоенная счастьем и собственной добродетелью, мне станет так противна, что я, быть может, опять умчусь куда-нибудь к северным оленям. Но тогда уже воспоминание об Анельке не полетит за мной, как чайка за кораблем.

Возможно также, что пани Кромицкая вздумает играть роль моей жертвы и всем своим поведением внушать мне, что я виноват. Ладно! Видал я в жизни и такое. Искусственные цветы плохи тем, что не пахнут, а искусственные терновые венцы хороши тем, что не колют, и дамы их охотно надевают на голову, как шляпу,

которая им к лицу. Всякий раз, как я встречал такую «жертву», вышедшую замуж якобы с отчаяния, мне хотелось ей сказать: «Лжешь! Ты, может, и была жертвой или по крайней мере искренне в это верила, но только до тех пор, пока он, твой избранник, в первый раз не подошел к тебе в ночных туфлях. А с той минуты ты перестала быть трогательной и стала пошлой и смешной, тем пошлее и смешнее, чем усерднее разыгрываешь из себя жертву».

6 апреля

Как прекрасно и разумно греческое слово «ананке»[29]. Да, было предназначено, что из-за этой женщины я потеряю покой и не обрету его даже тогда, когда она мне станет безразлична. Меня ужасно взволновала весть о продаже имения и приезде Анели в Плошов. Прошлой ночью мне не спалось, разные вопросы теснились в голове, и я искал на них ответа. Так я пытался решить, вправе ли я совратить пани Кромицкую с пути долга, или не вправе? Я этого не хочу и не сделаю, так как она меня не прельщает, – но имел бы я на это право? Вот такими «to be or not to be?»[30] я заполняю дни и ночи, потому что мне больше нечем жить. А подобные размышления – отнюдь не самое большое из земных наслаждений, ибо чаще всего напоминают попытки собаки поймать собственный хвост. Ничего я не поймаю, ничего не докажу и только устану смертельно. Утешаюсь лишь тем, что вот прошел еще один день или еще одна ночь. При всем своем скептицизме я способен предъявлять себе моральные требования, достойные сельского vicar. Душа современного человека сплетена из стольких нитей, что, желая распутать этот клубок, только, больше запутываешься. Тщетно я сегодня ночью твердил себе, что, хотя все это чистейшая теория, но совратить пани Кромицкую я имею право. Какой-то голос с церковной паперти упорно возражал мне: «Нет! Нет! Нет!» Но я должен победить в себе эту совесть, иначе не обрету душевного равновесия. Сегодня вечером у меня настроение для этого подходящее, Днем я был в гостях у одного знакомого художника и слышал там, как г-жа Дэвис объясняла двум французским литераторам, что женщина должна всю жизнь оставаться неприступной хотя бы только «pour la nettete du plumage»[31]. Малески ей поддакивал: «Oui, oui, du plumage!»[32] А я в эту минуту представил себе, как все крабы Средиземного моря, опрокинувшись на спину, протянули к небу свои клешни, моля Юпитера ударить громом. (Кстати фразу насчет «nettete du plumage» Лаура Дэвис заимствовала у меня, а я – у Фелье.) Слушая ее, я сохранял полную серьезность, не позволил себе даже улыбнуться, но пришел в веселое и циничное настроение, и оно еще до сих пор не оставило меня. Это – самое лучшее оружие против излишних угрызений совести.

Итак, продолжаю. Имею ли я моральное право влюбиться в себя пани Кромицкую и, в случае успеха, совратить ее с пути долга? Для меня это прежде всего вопрос чести, как был бы для всякого, кто считает себя джентльменом и кого все остальные считают таковым. И вот я не нахожу ни единого пункта, который запрещал бы мне поступить так. Правда, этот наш кодекс чести, на первый взгляд, – самый странный из всех кодексов на свете. Если я украду деньги, то, по светскому кодексу чести, я – вор и навсегда опозорил себя, а обокраденный остается чист. Если же я украду у кого-нибудь жену, то я, вор, остаюсь чист, а позор падает на обокраденного. Что же это такое? Попросту извращение моральных понятий, или между кражей кошелька и кражей жены такая большая разница, что этих двух поступков и сопоставлять нельзя? Я не раз об этом думал и пришел к убеждению, что это не одно и то же. Человек не может быть собственностью другого, как вещь, и роман с чужой женой есть акт обоюдной воли. Почему я должен признавать права мужа, если этих прав не признает его жена? Какое мне до него дело? Я встречаю женщину, которая хочет быть моей, – и беру ее. Ее муж для меня не существует, а клятва верности, которую она давала перед алтарем, меня ни к чему не обязывает.

Так что же должно меня удерживать – уважение к институту брака? Но если бы я любил, если бы я мог полюбить жену Кромицкого, все во мне отчаянно протестовало бы против ее брака, против какого-то ее долга по отношению к Кромицкому! Этот брак раздавил меня, как червяка, я корчусь от боли, – и мне, который при последнем издыхании жаждет укусить растоптавшую меня ногу, велят еще ее уважать! За что? С какой стати? Я должен считаться с таким общественным порядком, который выпил из меня всю кровь, всю любовь к жизни? Конечно, то, что люди питаются рыбой, – закон природы, но заставьте-ка рыбу уважать такой закон, в силу которого ее живьем потрошат раньше, чем положить в кастрюлю! Нет, я протестую и кусаюсь, – вот мой ответ. Спенсеровский идеал человека в совершенстве развитого, у которого личные стремления в полнейшей гармонии с общественным порядком, – это только постулат. Знаю, отлично знаю, – Снятынский побил бы меня одним вопросом: «Значит, ты за свободную любовь?» Нет, я только за самого себя. I am for myself.[33] И, наконец, я и знать не хочу ваших теорий! Если ты полюбишь другую женщину или твоя жена полюбит другого мужчину, – тогда посмотрим, помогут ли тебе все ваши моральные правила и обязательное уважение к традициям общества. В худшем случае меня можно обвинить в непоследовательности. Ту же непоследовательность я проявил, когда я, скептик, заказал в костеле обедню за здоровье Леона и Анели и молился, глотая слезы, как глупый ребенок. Впредь даю себе слово быть непоследовательным во всех тех случаях, когда мне это будет удобнее, легче, когда я от этого буду счастливее. В мире существует лишь одна логика – логика страсти. Рассудок предостерегает нас только до поры до времени, а потом, когда кони неудержимо рвутся вперед, он садится на козлы и уже только следит, чтобы они не разнесли экипаж. Сердце человеческое не может уберечься от любви, а любовь – это стихия, такая же сила, как морской прилив и отлив. Если женщина любит мужа, ее сам дьявол не оторвет от него. И клятва в верности, которую она дала перед алтарем, – лишь освящение любви. Но когда эта клятва – обязательство без любви, тогда первый прилив выбросит ее на песок, как дохлую рыбу. Я не могу дать обязательство в том, что у меня не вырастет борода или что я не состарюсь, – а если я дам его, то закон жизни раздавит меня со всеми моими обязательствами.

Удивительная вещь: ведь все, что я пишу, – только теоретические рассуждения, и нет у меня никаких таких замыслов, в которых я должен был бы оправдываться перед собой, а между тем эти размышления меня волнуют, и вот сейчас так взбудоражили, что придется отложить дневник.

Да, видно, спокойствие мое чертовски непрочное, оно только искусственное... Я добрый час ходил из угла в угол и в конце концов понял, что меня так растревожило...

Уже очень поздно. Из моих окон виден купол Дома Инвалидов, он сверкает в лунном свете, как сверкал купол собора св. Петра в те вечера, когда я, окрыленный надеждой, бродил по Пинчио с мыслями об Анельке. Я невольно отдался воспоминаниям. А все-таки бесспорно то, что я мог быть счастливее и она тоже могла бы быть в десять – нет, во сто раз счастливее. И если бы даже были у меня какие-нибудь тайные замыслы и она была бы для меня невесть каким соблазном, я и сейчас отказался бы от всего из страха сделать ее несчастной. Ни за что на свете я не пойду на это! Одна уже мысль об этом парализовала бы во мне всякую предприимчивость и решительность. Жизнь моя сложилась так, что отрицательные черты характера развились, а положительные заглохли, но сердце у меня не злое, и в нем таился огромный запас нежности к Анельке.

Ну, да это дело прошлое... Сидящий во мне скептик подсказывает мне вопрос иного

рода: а вправду ли она, изменив с тобой мужу, была бы так несчастна? По моим наблюдениям, женщины страдают, только пока борются с собой. Как только борьба окончена, наступает (независимо от результата) период покоя, блаженства, счастья... Когда-то я здесь, в Париже, встретил женщину, которая три года боролась с собой и терпела страшную муку, а потом, когда сердце победило, упрекала себя до конца жизни только в одном – в том, что так долго ему противилась.

Однако к чему задавать себе все эти вопросы и решать их? Знаю, каждое утверждение можно доказать, в каждом доказательстве усомниться. Миновали те добрые старые времена, когда люди сомневались в чем угодно, только не в способности нашего разума отличать истину от лжи, добро от зла. Ныне вокруг – бездорожье, одно бездорожье... Лучше уж буду думать о предстоящей мне вскоре поездке... Да, значит, Кромицкий продал-таки имение жены и глубоко ранил ее... Мне захотелось написать это здесь черным по белому, иначе не верится, что это правда.

10 апреля

Пришел вчера с прощальным визитом к Лауре и попал на настоящий концерт. Лаура, кажется, не на шутку стала увлекаться музыкой. Клара Хильст играла на фисгармонии. Я всегда рад ее видеть, но особенно она нравится мне, когда сидит за фисгармонией и берет первые аккорды, не поднимая глаз от клавиатуры. Есть в ней в такие минуты какая-то сосредоточенность, серьезность и удивительное спокойствие. Она напоминает мне тогда святую Цецилию, самую привлекательную из святых, в которую я непременно влюбился бы, если бы жил в ее время. У Клары тот же чистый, спокойный профиль, тот же благородный облик древней христианки. Жаль, что Клара такая рослая, – впрочем, когда она играет, об этом забываешь. Порой она поднимает к потолку опущенные глаза, словно пытается припомнить какую-то мелодию, услышанную в минуту вдохновения. Как идет к ней ее имя «Клара»: более светлой и прозрачной души я не встречал! Я люблю на нее смотреть, но не слушать ее: музыку ее, увы, не понимаю, во всяком случае с трудом улавливаю ее содержание. Все-таки, несмотря на все мои дерзкие и саркастические замечания, я полагаю, что у нее незаурядный талант.

Когда она перестала играть, я подошел к ней и полусуто объявил, что пришло время ехать в Варшаву и, памятуя наш уговор, я ее прошу подготовиться к отъезду. К моему удивлению, Клара приняла мои слова всерьез. Она ответила, что действительно давно надумала ехать в Варшаву, а готовиться ей незачем, – заберет с собой старушку родственницу, которая повсюду ее сопровождает, да немую клавиатуру, на которой играет гаммы даже в поезде, – и можно ехать.

Я был немного ошарашен: если Клара и в самом деле поедет, придется остаться в Варшаве и помогать ей в устройстве концерта, а мне хотелось сразу ехать в Плошов. Но я тут же решил, что в крайнем случае сдам ее с рук на руки Снятынскому, который будет ей полезнее, чем я. Кроме того, Клара – дочь богатого франкфуртского промышленника, и материальный успех концертов ее не интересует.

Однако меня озадачила поспешность, с какой она согласилась на эту поездку. В первую минуту я даже хотел ей сказать, что ее немое фортепиано мне не мешает, но вот мысль взять с собой старую родственницу я считаю менее удачной. Мы, мужчины, так привыкли всегда и везде охотиться на женщин, что к молодой и красивой никогда ни один не подходит без задней мысли. Кто утверждает противное, тот просто хочет обмануть женщину, чтобы легче заманить ее в ловушку. Вот я, например, сейчас всецело занят другим, и все же сперва был недоволен тем, что с Klarой едет старая родственница, которая будет нам мешать, – тем более что Клара

едет, вероятно, отчасти ради меня. Ведь в Париже музыканту открывается более широкое поле для триумфов, чем в Варшаве, а раз за деньгами Клара тоже не гонится, – зачем же она хочет ехать? Лаура давно мне намекала, что Клара питает ко мне чувства погорячее дружбы. Странная женщина эта Лаура! Чистоте Клара она завидует, но так, как завидовала бы, если бы у Клара было какое-нибудь оригинальное украшение – красивая диадема или редкие кружева... Для Лауры все лишь предмет украшения, не больше. Вероятно, поэтому она рада бы толкнуть этого большого ребенка в мои объятия. Меня Лаура не ревнует, я ведь для нее тоже только украшение, которое она уже носила на шее.

Эта женщина, вовсе того не желая, причинила мне столько зла, что я бы должен ее ненавидеть, – но не могу. Во-первых, совесть говорит мне, что если бы на моем жизненном пути не попала Лаура, я нашел бы какой-нибудь другой, столь же успешный способ погубить свое счастье. Во-вторых, так же, как сатана – это падший ангел, ненависть – это выродившаяся любовь, а я Лауры никогда не любил. Я ее немножко презираю, но это другое дело, да и она мне платит тем же. По-моему, она относится ко мне даже менее доброжелательно, чем я к ней.

А ведь относительно чувств, которые Клара питает ко мне, Лаура, пожалуй, сказала правду. Сегодня мне это показалось более очевидным, чем когда-либо. Если это так, я очень благодарен Кларе. Впервые в жизни мне хочется завести дружбу с женщиной и не обмануть ее доверия. Моя беспокойная душа может в такой дружбе найти утешение.

Мы сегодня разговорились с Кларой совсем по-приятельски. Кругозор ее не очень широк, но зато у нее ясный ум, четко различающий то, что она считает добром и красотой, от того, что, по ее мнению, дурно и безобразно. Оттого она не знает сомнений и безмятежно спокойна. В ней чувствуется то душевное здоровье, какое часто встречаешь у немцев. Общаясь с ними, я замечал, что людей такого типа, как, например, я, среди них очень мало. Немцы, как и англичане, люди положительные, они знают, чего хотят. Конечно, и они часто погружаются в безбрежное море сомнений, но делают это с методичностью ученых, а не как люди эмоциональные или такие вот «гении без портфеля», – и потому их новая трансцендентальная философия, их нынешний научный пессимизм и романтическая «мировая скорбь» представляют лишь чисто теоретический интерес. На практике же эти люди превосходно приспособляются к условиям жизни. Гартман утверждает, что человечество тем несчастнее, чем оно просвещеннее и могущественнее. И тот же Гартман на практике со всем апломбом немца-культуртрегера проповедует обогащение немецкого народа за счет населения Познани. Впрочем, пройдем мимо этого факта, который является одним из примеров человеческой подлости. В общем, немцы теориями особенно не увлекаются, поэтому они покойны и деятельны. Эта черта есть и у Клара. Конечно, многое такое, что способно перевернуть человеку душу, достигало и ее ушей, но оно как-то с нее соскальзывало, не проникая в кровь, и потому Клара никогда не сомневается в том, что считает истиной, а также в своей музыке. Если она действительно питает ко мне нечто большее, чем дружеское расположение, то это, наверное, чувство безотчетное и ничего не требующее. С той минуты, как оно станет другим, начнется душевная драма Клара, так как я не смогу отвечать ей взаимностью. Я мог бы только воспользоваться ее чувством и сделать ее несчастной. Я не настолько самоуверен, чтобы воображать, что ни одна женщина не устоит передо мной. Думаю только, что ни одна женщина не в силах устоять перед тем, кого она по-настоящему любит. Выражения «осаждать крепость», «взять крепость», правда, стали избитыми и нестерпимо банальными, но они отражают истину; и они еще во сто раз вернее, когда речь идет о женщине, которая за стенами своей добродетели носит в груди такого предателя, как влюбленное сердце.

Но Клара может быть спокойна. Мы благополучно доедем всей компанией – она, я, старая родственница и немая клавиатура.

16 апреля

Вот уже три дня я в Варшаве, а до сих пор еще не смог отправиться в Плошов, так как сразу по приезде у меня разболелись зубы и начался флюс. А в таком виде я не хочу показываться на глаза моим дамам.

Со. Снятынским я уже виделся, тетя тоже была у меня и приветствовала меня, как блудного сына. Анелька вернулась в Плошов на прошлой неделе. Мать ее тяжело больна; врачи, сначала посылавшие ее в Висбаден, теперь объявили, что она не перенесет никакой поездки. Так что она останется в Плошове, пока не выздоровеет или не умрет, – и Анелька будет жить с нею, потому что Кромицкий пока еще не управился со своими делами и не считает возможным окончательно осесть где-нибудь. Из слов тети я понял, что он будет в отъезде еще несколько месяцев. Я старался узнать как можно больше об Анеле, и это было нетрудно: тетушка говорила со мною совершенно не стесняясь, – старушке в голову не приходит, что замужняя женщина может интересоваться кого-нибудь не только как родственница, для нее и вопроса такого не существует. Она говорила со мной откровенно и о продаже имения – она тоже не может простить этого Кромицкому. Рассказывая мне все подробности, она так рассердилась, что, рванув цепочку на шее, разорвала ее, и часики упали на пол.

– Я ему прямо в глаза скажу, – кипятилась она, – что это двойная низость! Уж лучше бы занял у меня эти деньги. Впрочем, какой от них толк! Его спекуляции – настоящая бездонная бочка: он все в них ухлопывает, а что еще из них выйдет, неизвестно. Пусть только он явится, я ему тут же все выложу. Так и скажу: «Ты, пан, и Анельку погубишь и Целину, и в конце концов станешь банкротом. На что этим женщинам твои миллионы, если им каждый грош приходится слезами обливаться? Низость, и больше ничего! Я всегда видеть не могла этот сушеный гриб – вот и оказалась права».

Я спросил у тети, говорила ли она об этом откровенно с Анелькой.

– С Анелькой? Хорошо, что ты приехал, теперь у меня будет с кем душу отвести. А с Анелькой говорить об этом нет никакой возможности. Один раз я не вытерпела и начала, так она рассердилась на меня, а потом – в слезы. Твердит одно: «Он вынужден был продать!» – и все. Она слова не дает против него сказать, хочет скрыть от людей все его недостатки. Но меня, старуху, не проведешь: вижу, что в душе она так же, как я, осуждает его за продажу Глухова.

– Значит, вы думаете, тетя, что она его не любит?

Тетушка посмотрела на меня с удивлением.

– Что-о? А кого же ей любить? Потому и убивается, что любит. Можно любить человека и все-таки видеть его дурные стороны. Одно другому не мешает.

У меня на этот счет несколько иное мнение, но я предпочел не излагать его тетушке. Она продолжала:

– Больше всего я осуждаю его за то, что он врет. Уверил Целину и Анельку, что через год, самое большее – через два, он выкупит обратно их имение. Ну, скажи сам, как это возможно? А обе они внушают себе, что он это сделает.

- По-моему, это совершенно невозможно. Он никогда не перестанет спекулировать.
- И он это знает лучше их, - а значит, сознательно обманывает Анельку и Целину.
- Может, для того, чтобы они не очень горевали?

Тетушка еще больше рассердилась.

- То есть как это «не горевали»? Не продал бы, так они бы не горевали. Напрасно ты его защищаешь! Его все осуждают, все! Хвастовский - тот просто вне себя от возмущения. Он разобрался в этом деле и говорит, что если бы даже имение не давало ни гроша доходу, он взялся бы за несколько лет очистить его от долгов. А деньги я первая дала бы, да и ты бы дал. Ведь дал бы? Ну, вот видишь. А теперь все пропало.

Я осведомился о здоровье Анельки. Расспрашивал я об этом тетушку с тайной, необъяснимой тревогой, - кажется, я боялся услышать нечто такое, что было бы вполне естественно и в порядке вещей, но - не знаю отчего - вконец изранило бы мне нервы. Несчастный я человек! Но тетушка, слава богу, отлично поняла меня и ответила так же сердито:

- Ничего не ожидается. Имение продать сумел, а больше ни на что не способен!

Я поспешил переменить тему и рассказал, что со мной одновременно, тем же поездом приехала в Варшаву известнейшая современная пианистка. Она - женщина очень состоятельная и ничего так не жаждет, как дать несколько концертов в пользу бедных. Тетушка прежде всего разворчалась, негодуя на Клару за то, что та не приехала зимой, в сезон концертов. Затем она решила, что все-таки время еще не окончательно упущено, и сразу хотела со всех ног мчаться к Кларе. С трудом растолковал я ей, что лучше будет предупредить Клару об ее визите. Тетушка возглавляет несколько благотворительных обществ и считает долгом чести загребать для них все, что только можно, в ущерб другим таким же обществам. Вот она и боится, как бы ее кто не опередил.

Уходя, она спросила:

- Когда же ты переберешься в Плошов?

Я ответил, что не переберусь совсем. Еще по дороге сюда я решил жить в Варшаве. До Плошова отсюда всего какая-нибудь миля, буду ездить туда каждое утро и оставаться там до вечера. Для меня это безразлично, а люди не будут иметь повода для пересудов. Да и не хочу я, чтобы пани Кромницкая думала, что меня соблазняет возможность жить с нею под одной крышей. В разговоре со Снятынским я как-то между прочим упомянул, как о незначительной подробности, что не собираюсь поселиться в Плошове. Видно было, что Снятынский это одобряет. Он даже пробовал завести пространный разговор об Анельке. Снятынский - человек безусловно интеллигентный, но не понимает, что перемена обстоятельств может вызвать и перемену в отношениях между самыми близкими друзьями. Он пришел ко мне, как к тому Леону Плошовскому, который в Кракове, дрожа, как лист, молил его о помощи. Подошел с той же самой суровой откровенностью и сразу хотел погрузить руку по локоть в мою душу. Но я немедленно его осадил. Сначала он был удивлен и несколько рассержен, но потом стал отвечать мне в тон, и мы беседовали так, как будто свидания нашего в Кракове никогда и не было. Однако я видел, что

Снятынскому хочется понять мое теперешнее настроение: не имея возможности спрашивать напрямик, он стал косвенным образом выпытывать у меня то, что хотел узнать, со всей неловкостью писателя-художника, который является глубоким психологом и тонким аналитиком, когда сидит за письменным столом, а в практической жизни наивен, как мальчик.

Жаль, не было у меня под рукой флейты, а то я мог бы, как некогда Гамлет, протянуть ее Снятынскому со словами: «Сыграй, пожалуйста! Ах, не умеешь? Так если не умеешь извлекать звуки из этого куска дерева, как же ты берешься разыгрывать, что вздумается, на струнах моей души?»

Я как раз вчера ночью перечитывал «Гамлета» – уж не знаю в который раз. Отсюда это сравнение. Просто непостижимо, что в наше время человек в любом положении, любом душевном состоянии, вполне современном и сложном, находит более всего сходства со своими переживаниями в этой трагедии, в основу которой положена примитивная и кровавая легенда Голиншеда. Гамлет – ото душа человеческая в прошлом, настоящем и будущем. По-моему, в этой трагедии Шекспир перешел все границы, существующие даже для гения. Гомер или Данте мне понятны на фоне их эпохи. Я понимаю, как они могли создать то, что ими создано. Но каким образом англичанин Шекспир мог в семнадцатом веке предвидеть все психозы, порожденные веком девятнадцатым, – это навсегда останется для меня загадкой, сколько бы я ни прочел исследований о Гамлете.

Итак, я протянул Снятынскому воображаемую флейту Гамлета и затем, поручив Клару его опеке, завел с ним разговор о его догматах. Я сказал, что приехать в Варшаву побудила меня тоска по родине и чувство долга. Но сказал я это таким легким тоном, что Снятынский не знал, шучу ли я или говорю серьезно. И снова повторилось то, о чем я писал еще в Париже. Чувство своего морального превосходства, которое Снятынскому внушило мое поведение за последнее время, таяло с каждой минутой. Он не знал, что думать, и понимал только одно: что прежним ключом меня не отопрешь. Когда я на прощанье снова попросил его помочь Кларе, он хитро посмотрел на меня и спросил:

– А тебе это так важно?

– Очень. Я с этой девушкой в большой дружбе и глубоко ее уважаю.

Таким образом, я все его внимание отвлек на Клару: теперь он, конечно, будет думать, что она – моя новая любовь. Он ушел злой – это было заметно, он ведь ничего не умеет скрыть. Захлопнул за собой дверь энергичнее, чем следовало, а когда я, проводив его на лестницу, входил в прихожую, я слышал, как он сбегал вниз, перескакивая через четыре ступеньки разом, и громко свистел, что всегда служит у него признаком неудовольствия.

Ну что же, ведь я сказал ему только правду о своем отношении к Кларе. Я сегодня ей написал, объяснил, почему до сих пор не мог побывать у нее, – и только что получил ответ. Клара в восторге от Варшавы, а более всего – от варшавян. За эти три дня ее успели посетить все здешние знаменитые музыканты, наперерыв предлагали ей свои услуги и рассыпались в любезностях. Она пишет, что таких доброжелательных людей не встречала нигде. Боюсь, что если бы она вздумала поселиться здесь навсегда, они не были бы с ней так любезны. Впрочем, у Клары настоящий дар везде находить друзей. Она уже немного ознакомилась с городом, и больше всего ей понравились Лазенки. Меня радуют восторги Клары, тем более что, когда мы переехали границу, польский ландшафт произвел на нее гнетущее

впечатление. Действительно, в пустынной и плоской местности глазу отдохнуть не на чем, и нужно родиться в этом краю, чтобы находить в нем какую-то прелесть. Клара, глядя в окно вагона, все время повторяла: «Ах, теперь я понимаю Шопена!» Но в этом она, конечно, ошибается: Шопена она ни понимать, ни чувствовать не может, так же как не могла почувствовать нашей природы.

Мне же, хоть я и духовный сын чужой страны, в силу какого-то атавизма эта природа – родная, и не раз, возвращаясь весной в Польшу, я с удивлением замечал, что просто наглядеться не могу на здешние места. А, собственно говоря, какие тут красоты? Я порой нарочно старался вообразить себя на месте художника-чужестранца, который объективно, без всякого пристрастия, созерцает наши пейзажи. И в такие минуты они напоминали мне рисунки ребенка, умеющего выводить только палочки, или рисунки дикаря. Плоские перелogi, мокрые луга, хаты с прямоугольными очертаниями, усадебные тополя на горизонте, а дальше – поля, окаймленные лесами, «десять миль ничего», как говорят немцы, – все это представляется мне всегда каким-то примитивным, поражающим убожеством замысла и линий. Строго говоря, это еще только фон. Но с той минуты, как я перестаю смотреть глазами чужака, я начинаю чувствовать простоту открывающейся передо мной картины, погружаюсь душой в ее безмерность, в которой всякая резкая черта тонет, как душа в нирване. И картина эта не только обретает очарование примитива, но и умиротворяет душу. Я могу восторгаться Апеннинскими, но душа не способна проникнуться ими, остается где-то вне их и противится их очарованию, отбивается от него локтями. Из-за этого рано или поздно на смену восторгам приходит усталость. Человек по-настоящему отдыхает душой только тогда, когда сливается с окружающим, а слиться с природой можно лишь в том случае, если душе сродни окружающая природа. Ностальгия рождается именно оттого, что душа выключается из родного ей окружения. Пожалуй, эту идею психического сродства можно было бы развить еще шире. Быть может, странно, что я, выросший за границей и насквозь пропитанный чужой культурой, высказываю подобные взгляды, но скажу больше: вот, например, в иностранке, хотя бы красавице из красавиц, я всегда буду видеть прежде всего лишь представительницу женского пола, а не женскую душу.

Помню, что я в свое время писал о польках. Но одно другому не мешает. Я вижу их недостатки, однако они мне ближе, чем иностранки. К тому же мои прежние взгляды большей частью уже истрепались, как старая одежда.

Но довольно об этом. Со стыдом и удивлением замечаю, что писал все это только затем, чтобы отвлечься, заглушить неотвязные мысли все о том же. Да, да! Я рассуждаю о ландшафте, ностальгии, а мысли мои в Плошове. Не хотелось бы в этом сознаваться, да приходится. У меня все время сердце щемит, словно от беспокойства. Очень может быть, что в Плошове мне будет несравненно легче, чем я себе представляю. Всякие ожидания, всякий канун невыносимы. В молодости я раз дрался на дуэли и помню, что волновался только накануне. Тогда, как и теперь, я пытался думать о другом, но попытки эти были так же тщетны. Мысли мои о пани Кромицкой лишены всякой нежности и даже приязни, но так и снуют в голове и не дают мне покоя; они налетают на меня, как потревоженные пчелы, и я не могу от них отбиться.

17 апреля

Сегодня был там. Все оказалось совсем не так, как я воображал. Из Варшавы я, наняв извозчика, выехал в семь часов утра, рассчитывая к восьми быть в Плошове: тетушка говорила мне, что Анеля и Целина встают рано. Мысли все так же неугомонно метались в голове, сердце мучительно щемило, не давая передышки. Я

решил не строить заранее никаких планов встречи и дальнейшего моего поведения – пусть все будет так, как само сложится и как быть должно. Я не мог, однако, не думать о том, какой я увижу Анельку, как она меня встретит, что даст мне понять, как отнесется ко мне. Сам не приняв и не желая принимать никаких решений, я почему-то был уверен, что у нее все заранее обдумано. И, думая так, я то злился на Анельку, то, понимая, что и она тоже окажется в трудном и неловком положении, испытывал что-то вроде жалости к ней. Мысли мои и воображение были до того заняты ею, что она как будто стояла передо мной. Удивительно ясно помнились высоко зачесанные над лбом каштановые волосы, длинные ресницы, глаза, тонкое личико. Я пробовал угадать, как она будет одета. Вспоминались разные ее слова, движения, выражения лица, ее платья. И настойчивее всего приходила на память та минута, когда Анеля вернулась в гостиную из своей комнаты наверху, напудрив разгоревшееся от волнения лицо. Наконец эти воспоминания стали так яркие, что уже походили на галлюцинации. «Вот опять я одержим ею», – подумал я и, чтобы отвлечься, завязал разговор с извозчиком. Спросил, женат ли он, на что он ответил: «Без бабы никак не проживешь». Он говорил еще что-то, но я уже его не слушал, так как в это время вдали замаячили плошовские тополя. Я и не заметил, как мы проехали несколько верст от заставы.

При виде Плошова я почувствовал, что мое внутреннее беспокойство усиливается, и мысли еще быстрее зароились в мозгу. Я старался сосредоточить внимание на окружающем, на переменах, произошедших здесь за время моего отсутствия, новых домах вдоль дороги. Механически твердил себе, что погода прекрасная, что весна в этом году удивительно ранняя. День и в самом деле был чудесный, в прозрачном воздухе чувствовалась бодрящая утренняя свежесть. Около домов цвели яблони, и опавший цвет их снегом покрывал землю. Передо мной словно разворачивались полотна художников новой школы. Куда ни глянь – ослепительный и прозрачный *Pleine air*[34], в глубине мелькали фигуры людей, работавших у домов и в поле. Однако странно – я все видел, все примечал, но не мог всецело отдаться этим впечатлениям. Они меня почему-то не волновали и словно скоплялись только на поверхности мозга, не проникая вглубь, где таились иные мысли. В таком-то состоянии раздвоенного сознания я въехал в Плошов. Тут охватили меня сразу тень и прохлада липовой аллеи, в глубине которой блестели окна дома. Вспугнутые тревожные мыслишки еще беспокойнее закопошились во мне. Сам не знаю, почему я, вместо того чтобы въехать во двор, расплатился с извозчиком у ворот и, не слушая выражений его благодарности, пешком зашагал к дому.

Почему, собственно, я так волновался? Потому ли, что в этом столь знакомом доме меня ждало что-то неизвестное, но трагически связанное с моим прошлым? Пока я шел по двору, сердце у меня так сжималось, что дух перехватывало. «Что за чертовщина?» – твердил я мысленно. Так как я остановил извозчика за воротами, приезд мой не был замечен, и никто не вышел навстречу. Прихожая была пуста. Я вошел в столовую и решил здесь подождать дам. Они должны были скоро сойти вниз, – стол был уже накрыт, чашки расставлены, и самовар гудел и ворчал, пуская к потолку клубы пара. Здесь тоже ни одна подробность не ускользнула от моего внимания. Я заметил, например, что в столовой холодно и темновато – окна ее выходили на север. Потом засмотрелся на три мерцающие дорожки на полу – это свет, падавший из трех окон, отражался в темном, наощенном паркете. Потом стал разглядывать, как что-то новое, буфет, знакомый с детских лет. И тут мне вспомнился разговор со Снятынским в этой самой комнате, когда мы смотрели из окна на его жену и Анелю, шедших по снегу в оранжереи.

Наконец мною овладели тоска и ощущение пустоты. Я сел у окна, чтобы быть поближе к свету и полюбоваться на сад. Мне никак не удавалось избавиться от все того же

внутреннего раздвоения: я не переставал думать о том, что скоро, через минуту-другую, увижу ее, должен буду поздороваться, говорить с нею, а потом в течение нескольких месяцев видеть ее каждый день. Вопросы: «Как же это будет? Что будет?» – теснились в моей голове, опережая друг друга.

Есть люди, которые со страху совершают подвиги, проявляя безумную отвагу, а со мной часто бывает так, что тревога, нерешимость и состояние неизвестности сменяются вдруг взрывом нетерпения и гнева. Так случилось и теперь. Разница между прежней Анелькой и нынешней пани Кромицкой представилась мне так ясно, как еще ни разу до сих пор.

«Да хоть бы у тебя звезда была во лбу, – думал я, – хоть бы ты была во сто раз красивее, во сто раз обворожительнее, ты для меня теперь ничто. Более того – все в тебе будет меня отталкивать».

Гнев мой еще усилился, когда я почему-то вообразил, что Анелька и сейчас и в дальнейшем будет стараться всем своим поведением доказать мне обратное – то есть, что я обманываю себя и что она навек останется для меня страстно желанной и навек недоступной. «Посмотрим!» – отвечал я ей мысленно, готовясь к какому-то странному поединку с этой женщиной, борьбе, в которой я и проиграю и выиграю, ибо утрачу воспоминания, но зато обрету покой. В эти минуты мне казалось, что у меня хватит сил и отваги на то, чтобы отразить все атаки.

Но вот дверь тихо отворилась, и в столовую вошла Анелька.

У меня зашумело в голове, похолодели кончики пальцев. Женщина, в эту минуту стоявшая передо мной, называлась, правда, пани Кромицкой, но у нее были милые, обожаемые черты и невыразимая прелесть моей прежней Анельки. В хаосе, бушевавшем во мне, один голос звучал громче всех других: Анелька! Анелька! Анелька! А она то ли не сразу меня заметила, то ли приняла за кого-то другого, – я стоял спиной к свету. Только когда я подошел к ней, она подняла глаза – да так и застыла на месте. Невозможно описать то смешанное выражение испуга, смущения, волнения и покорности, какое я увидел на ее лице. Она побледнела так, что я боялся, как бы она не лишилась чувств. Когда я взял ее руку в свои, мне показалось, что я держу кусочек льда. Всего я ожидал – только не такой встречи. Еще минуту назад я был уверен: мне сразу дадут почувствовать, что передо мной пани Кромицкая. А между тем передо мной стояла прежняя моя Анелька, взволнованная и робеющая. Я сделал ее несчастной, я был виноват, страшно виноват перед ней, а она смотрела на меня так, словно сама просила у меня прощения. И вмиг прежняя любовь, раскаяние, жалость нахлынули на меня с такой силой, что я совсем потерял голову. Я с трудом поборол желание схватить ее, прижать к груди и успокаивать словами, которые говорятся только горячо любимому человеку. А сердце мое было до краев полно такими словами. Меня до того взволновало и ошеломило это неожиданное, невероятное появление вместо пани Кромицкой прежней Анельки, что я только жал ей руку и ни слова не мог выговорить. Однако молчать дольше было невозможно. И, собрав остатки самообладания, я спросил глухим, не своим голосом:

– Разве тетя не сказала тебе, что я приеду?

– Тетя... говорила... – с усилием вымолвила Анелька.

И оба мы снова замолчали. Я понимал, что следует осведомиться о здоровье ее матери и ее собственном, но не в силах был это сделать и от всей души желал, чтобы пришел кто-нибудь и выручил нас обоих. К счастью, вошли тетушка и молодой

лекарь Хвастовский, младший сын управляющего, – он уже с месяц как находится при больной пани Целине. Анелька тотчас отошла к столу и стала разливать чай, а я поздоровался, завел разговор с тетей. К этому времени я совсем уже овладел собой. Мы сели завтракать. Я спросил, как чувствует себя пани Целина. Тетя, отвечая мне, то и дело ссылалась на молодого доктора, а тот давал объяснения с оттенком снисходительного презрения, как новоиспеченный ученый специалист разговаривает с профаном и вместе с тем как демократ (бдительно оберегающий свое достоинство даже тогда, когда никто и не думает его унижать) отвечает человеку, которого относит к аристократам. Он показался мне очень уж самоуверенным – я с ним говорил гораздо учтивее, чем он со мной. Беседа за столом немного развлекла меня и дала возможность прийти в равновесие, хотя мысли мои мешались, когда я смотрел на Анельку. А я время от времени поглядывал на нее через стол и с чувством, близким к отчаянию, говорил себе: «Да, те же черты, то же тонкое личико, и волосы над лбом. Та же Анелька, почти девочка! Да, это она, любовь моя, мое счастье, теперь уже навсегда утраченное!» Была в этом сознании и великая отрада, и острая боль.

Анелька уже кое-как справилась с волнением, но все еще как будто робела. Чтобы как-нибудь смягчить неловкость и сделать наши отношения менее напряженными, я отважился несколько раз обратиться к ней с вопросами о ее матери, – и мне удалось ее немного ободрить. Она даже сказала: «Мама будет рада тебя видеть». Я этому не поверил, но голос ее слушал с закрытыми глазами, как самую чудесную музыку. Разговор наш становился все непринужденнее. Тетушка была в прекрасном настроении – этому способствовал мой приезд и то, что Клара, у которой она уже успела побывать, обещала ей дать концерт в пользу ее бедных. Уходя от Клары, тетушка на лестнице встретила двух дам – патронесс других благотворительных обществ, – они опоздали, и это больше всего тешило тетушку. Она стала расспрашивать меня о Кларе, которая произвела на нее самое лучшее впечатление. К концу завтрака я, отвечая на вопросы, вынужден был рассказать кое-что о своих путешествиях. Тетя удивилась тому, что я побывал даже в Исландии, и, расспросив, как там живут люди, объявила:

– Только разве с отчаяния можно поехать в такое место.

– А мне действительно было тогда очень тяжело, – отозвался я.

Анелька глянула на меня, и снова в глазах ее я прочел испуг и покорность. Ощущение у меня было такое, словно чья-то рука больно сжала мне сердце. Я настолько был готов к тому, что она встретит меня с видом холодно торжествующим, с гордым сознанием своего превосходства и некоторым злорадством, что теперь меня особенно трогало и вместе с тем угнетало ее ангельское сочувствие. Все ожидания, все предчувствия обманули меня. Прежде я думал: «Если бы даже она захотела, чтобы я не увидел в ней пани Кромицкую, ей это не удастся, она этим только оттолкнет меня». А между тем она даже не похожа была на замужнюю женщину. Мне сейчас приходилось себе напоминать, что она – чужая жена, и это будило во мне уже не отвращение, а невыразимую печаль.

У меня есть склонность в минуты душевных невзгод беречь свои раны. Это самое я хотел сделать сейчас – начать разговор о ее муже. Но не смог: мне казалось, что это было бы жестокостью и профанацией наших чувств. И вместо этого я выразил вслух желание навестить пани Целину. Анелька пошла узнать, может ли больная принять меня, и, вернувшись через минуту, сказала:

– Мама просит тебя зайти к ней хотя бы сейчас.

Мы пошли на другую половину дома, и тетя с нами. Мне хотелось сказать Анельке какие-нибудь добрые слова, чтобы ее успокоить, но стесняло присутствие тети. Однако затем я подумал, что при ней будет даже лучше сказать Анеле то, что я хочу. И, остановившись у дверей пани Целины, я сказал:

– Дай руку, родная моя сестричка.

Анелька протянула мне руку. Я видел, что она мне благодарна за это слово «сестричка», что у нее камень с души свалился, и своим ответным горячим пожатием она хочет мне сказать: «Будем друзьями, и простим друг другу все».

– Я вижу, между вами мир и согласие, – буркнула тетюшка, глядя на нас.

– Да, да! Он такой добрый! – отозвалась Анелька.

Сердце мое в эту минуту и в самом деле было полно доброты. Войдя в комнату пани Целины, я поздоровался с нею очень сердечно, но она отвечала мне несколько принужденно: видно было, что, если бы не боязнь обидеть тетю, она встретила бы меня весьма холодно. Впрочем, я не ставлю ей этого в вину: она имеет полное право сердиться на меня. А может, она считает, что и в продаже ее родового поместья до некоторой степени виноват я: ведь, если бы я в свое время повел себя иначе, этого бы не случилось.

Пани Целина сильно изменилась. С некоторых пор она уже не встает с кресла на колесах, и на этом кресле ее в хорошую погоду вывозят в сад. Лицо ее, и прежде худощавое, стало совсем восковым. Видно, что когда-то эта женщина была очень хороша собой и что всю жизнь была очень несчастна.

Я стал расспрашивать ее о здоровье и выразил надежду, что живительное действие весны восстановит ее силы. Пани Целина выслушала меня с грустной усмешкой и покачала головой. Потом две крупные слезы покатались по ее щекам. Она не утирала их.

– А ты знаешь, что Глухов продан? – спросила она у меня.

Видно, мысль об этом не оставляла ее ни на минуту, постоянно грызла и мучила.

Услышав ее вопрос, Анелька сразу вспыхнула. Нехороший это был румянец – краска досады и стыда.

– Знаю, – ответил я пани Целине. – Может, это еще поправимо, тогда унывать не надо. А если непоправимо, надо покориться воле божьей.

Анелька взглядом поблагодарила меня, а панн Целина возразила:

– Нет, я уже больше себя не обманываю.

Однако это была неправда: она еще надеялась. Она не отводила глаз от моих губ, ожидая слов, которые укрепили бы ее тайную надежду. И, желая быть великодушным до конца, я сказал:

– Что делать, все мы подчиняемся необходимости, и винить за это человека трудно. Но я думаю, милая тетя, что нет на свете таких преград, которых нельзя было бы

преодолеть стойкостью и соответствующими средствами.

И я стал объяснять, что мне известны случаи, когда продажа признавалась недействительной из-за неточностей в купчей. Кстати сказать, это было вранье, но я видел, что мои слова – попросту целебный бальзам для сердца пани Целины. Притом я тут косвенно выступал в защиту Кромицкого, хотя и не называл его. Впрочем, имя его ни разу не было названо и никем из остальных.

Должен, однако, сказать правду: великодушие руководило мною только отчасти. Главным же образом я говорил все это для того, чтобы слова мои расположили ко мне Анельку и представили ей меня в ореоле доброты и благородства.

И Анелька была мне признательна: когда мы с тетей наконец вышли, она побежала за нами и, протянув мне руку, шепнула:

– Спасибо тебе за маму.

А я в ответ молча поцеловал ее руку.

Тетушку тоже тронула моя доброта. Расставшись с ней, я вышел в сад – нужно было разобраться в своих впечатлениях и привести мысли в порядок. Но в саду я встретил молодого Хвастовского, совершавшего свою обычную утреннюю прогулку. И так как мне хотелось расположить к себе всех в Плошове, я заговорил с ним о здоровье его пациентки, подчеркивая свое уважение к его знаниям и авторитету. Я видел, что ему это очень льстит. Скоро он спрятал в карман свою демократическую бдительность, перестал ошетиливаться при каждом слове и заговорил о болезни Анелькиной матери с готовностью и даже увлечением, присущим молодым адептам науки, еще не отравленным сомнениями. При этом он то и дело вставлял в свои пояснения латинские термины, как будто беседовал с кем-либо из коллег-медиков. Этот крепыш, в чьих речах и взглядах чувствуется большая энергия, произвел на меня хорошее впечатление – я увидел в нем представителя того нового поколения, о котором мне столько говорил Снятынский, поколения, совсем непохожего на «гениев без портфеля». Бродя по длинным аллеям парка, мы завели в конце концов так называемый «интеллигентный разговор», состоявший главным образом из перечисления имен авторов и заглавий книг. Хвастовский то, что знает, знает, вероятно, основательнее меня, но я читал больше и, кажется, очень поразил его своей начитанностью. Временами он поглядывал на меня почти враждебно, – должно быть, считал узурпацией чужих прав то, что человек, которого он причисляет к аристократам, позволяет себе знать такие-то книги или таких-то авторов. Зато я подкупил его своим свободомыслием. Правда, либерализм мой состоит в том, что я допускаю все, ибо во всем сомневаюсь, но уже одно то, что человек с моим состоянием и положением в свете не является реакционером, окончательно расположило ко мне молодого радикала. Под конец мы беседовали как люди, друг друга понимающие и нашедшие общий язык.

Полагаю, что отныне доктор Хвастовский будет видеть во мне исключение из общего правила. Я уже давно заметил, что у нас в Польше у каждого демократа есть «свой» аристократ, к которому он питает особую слабость, подобно тому как у всякого шляхтича есть «свой» еврей, на которого не распространяется его неприязнь к евреям.

Перед тем как мы разошлись, я спросил Хвастовского о его братьях. Он рассказал, что один из них открыл в Плошове пивоварню (об этом я знал и раньше из письма тети), у другого – в Варшаве книжная лавка, где продаются учебники, третий

окончил коммерческую школу, и Кромицкий взял его в помощники и увез на восток.

– Больше всех преуспевает наш пивовар, – сказал мне молодой доктор, – но все мы работаем не жалея сил и, может, чего-нибудь добьемся в жизни. Какое счастье, что отец потерял состояние, не то были бы мы теперь *glebae adscripti*[35], сидели бы каждый в своей деревеньке и еще, пожалуй, в конце концов разорились бы, как отец.

Несмотря на то что мысли мои были не только заняты, но прямо-таки поглощены другим, я слушал доктора с некоторым интересом. Вот они, люди не чересчур «рафинированные», но уже вышедшие из тьмы невежества! Оказывается, у нас в Польше есть люди, способные что-то делать и составляющие здоровое звено между расцветом культуры и варварством. Может быть, эти слои общества создаются только в больших городах, где они постоянно пополняются сыновьями разорившейся шляхты, которые, обладая крепкими мускулами и нервами, в силу необходимости усваивают мещанскую традицию труда. Я невольно вспомнил, как Снятынский раз кричал мне вслед на лестнице: «От таких, как ты, уже толку не будет, но из ваших детей могут еще выйти люди. Однако для этого нужно, чтобы вы разорились, иначе и внуки ваши не примутся за работу». А вот сыновья Хвастовского принялись за нее и прокладывают себе путь собственными руками. Не будь у меня состояния, я тоже был бы вынужден как-нибудь добывать средства к существованию. И, может, развил бы в себе энергию и решительность, которых мне так не хватало всегда.

Доктор скоро распрощался со мной – ему нужно было навестить еще одного пациента в Плошове, молодого студента варшавской духовной семинарии, сына плошовского крестьянина. У студента была последняя стадия чахотки. Тетя поместила его у себя в усадьбе, во флигеле, и каждый день она и Анелька навещали его. Узнав об этом, я тоже отправился к нему и, против ожидания, увидел не умирающего, а жизнерадостного, веселого юношу с лицом худощавым, но румяным. Однако, если верить доктору, эта бодрость – последняя вспышка догорающей лампы. За молодым ксендзом ухаживала его мать, и, благодарная моей тетушке за ее заботы, она сразу излила на меня такой поток благословений, что я рисковал в нем утонуть.

Анелька не пришла навестить больного: она весь тот день не отходила от матери. Я увидел ее только за обедом, так же как и пани Целину, которую привозят к столу в кресле. То, что Анелька весь день провела у матери, было вполне естественно, но я вообразил, что она избегает встреч со мной. Наши отношения должны постепенно наладиться, но вначале, конечно, это будет делом трудным и щекотливым. Анелька так чутка, впечатлительна и добра, что ее не может не волновать положение, в котором мы очутились. Притом ей недостает светской опытности, которая помогает сохранять внешнюю непринужденность во всех самых трудных положениях. Такая выдержка приходит с годами, когда у человека начинают высыхать живые источники чувств и душа приспособляется к окружающим условиям.

Во всяком случае, я дал понять Анельке, что не испытываю ни обиды, ни ненависти, – так подсказало мне сердце. Я решил никогда не напоминать ей о прошлом и потому не добивался сегодня разговора с глазу на глаз. За вечерним чаем мы беседовали на общие темы, о том, что нового у нас и за границей. Тетя расспрашивала меня о Кларе, которая очень ее заинтересовала. Я сообщил ей все, что знаю, и разговор незаметно перешел на артистов вообще. Для тети артисты – это люди, для того и созданные господом богом, чтобы было кому давать иногда благотворительные концерты или устраивать всякие зрелища с той же целью. Я утверждал, что артист, если сердце у него чисто и полно не жалкого себялюбия, а любви к искусству, может быть самым счастливым человеком на свете, ибо постоянно соприкасается с

миром идеально прекрасного и бесконечного. Жизнь – источник всякого зла, искусство – источник только счастья. Это мое искреннее убеждение, основанное на наблюдениях. Анелька меня поддержала, и я потому и записываю этот разговор, что меня поразило одно ее замечание, очень простое, но для меня полное значения. Когда речь шла о радости, доставляемой искусством, она промолвила: «Да, музыка дает наилучшее утешение». Я увидел в этих словах невольное признание, что она несчастлива и сознает это. Впрочем, я и раньше немало в этом не сомневался.

Разве такое лицо бывает у женщины счастливой? Анелька еще похорошела, с виду как будто покойна, даже весела, но лицо ее не светится бьющей из души радостью, и в нем заметна какая-то сосредоточенность, которой я прежде в нем не замечал. Днем мне бросилось в глаза, что на висках у нее кожа имеет желтоватый тон слоновой кости. И я не мог отвести от нее глаз. Смотреть на Анельку было неизъяснимым наслаждением. Я как бы припоминал ее и с каким-то странным, дразнящим и вместе сладостным чувством убеждался, что это то самое лицо, те же длинные ресницы, те же глаза, которые кажутся черными, хотя они не черные, те же затененные пушком губы. Я просто насытиться не мог этим превращением воспоминаний в реальную действительность. Есть в Анельке что-то неотразимо меня притягивающее. Если бы я увидел ее впервые среди тысячи прекраснейших женщин и мне предложили бы выбрать одну из этой тысячи, я знаю, что подошел бы прямо к ней, Анельке, и сказал: «Вот моя избранница!» Есть, быть может, и женщины красивее, но для меня ни одна не соответствует в такой степени тому типу женщины, который каждый мужчина храпит в своем воображении. Думается, Анелька не могла не заметить, что я все время ею люблюсь.

Уехал я в сумерки. Я настолько был поглощен впечатлениями этого дня и мои прежние предположения и надежды до такой степени разбиты в пух и прах, что я еще и сейчас не в силах разобраться в себе. Я ожидал встретить пани Кромицкую, а нашел Анельку. Да, снова повторяю это. И один бог знает, чем это кончится для нас обоих. Я думаю об этом с чувством огромного счастья, но и какого-то замешательства. Ибо теоретически я был вправе предполагать, что в Анельке после замужества могут произойти психологические перемены, как в каждой женщине на ее месте, и мог ожидать, что она хотя бы намекнет мне, будто она очень довольна, что выбрала не меня. Всякая другая не преминула бы таким образом потешить свое самолюбие... А я, зная себя, свою впечатлительность и нервность, готов был поклясться, что после этого уеду из Плошова, полный горечи, сарказма и гнева, но исцеленный. В действительности же все вышло совсем иначе. Доброта и прямотуши этой женщины так беспредельны, что никакой обычной мерой их не измерить. Что будет дальше, что станется со мной, об этом не хочу и думать. Жизнь моя могла плыть тихой и спокойной рекой в то море, куда уплывает все, – а теперь она водопадом низвергнется в пропасть. Будь что будет! В худшем случае меня ждут тяжкие муки. Но и до сих пор с этой пустотой в душе я не почивал на розах. Не помню кто, – кажется, мой отец, – говаривал, что из каждой жизни должно что-нибудь вырасти, ибо таков закон природы. Что же, если должно вырасти, значит вырастет. Ведь даже в пустыне скрытые силы жизни поднимают из недр земли пальмы в оазисах.

21 апреля

Считается, что я живу в Варшаве, но четыре дня подряд я провел в Плошове. Пани Целине лучше, а молодой ксендз Латыш умер позавчера. Доктор Хвастовским назвал его болезнь «образцовым процессом туберкулеза легких» и с трудом скрывает свое удовлетворение тем, что он с точностью чуть не до часа предсказал конец этого «образцового процесса». Мы навестили больного за двенадцать часов до его смерти, и он шутил с нами, был полон надежд, так как температура упала, – а между тем

это понижение температуры объяснялось ослаблением организма. Вчера утром, когда мы с Анелькой сидели на крыльце, пришла мать бедного юноши и стала рассказывать нам о его кончине с характерной для крестьян смесью горя и полнейшей покорности судьбе. В моем сочувствии к ней крылось и любопытство: я до сих пор редко общался с простым народом и уделял ему мало внимания. Каким замечательным языком говорят эти люди! Я старался запомнить выражения старой крестьянки, чтобы потом их записать. Здороваясь, она сначала молча поклонилась в ноги мне и Анельке, а потом, прикрыв глаза ладонью, запричитала:

– Ох, Иисусе родимый, ох, пресвятая Мария! Помер мой сыночек, помер сердечный! Захотел уйти к господу, не остался с отцом-матерью! Не спасли его и заботы нашей пани... Напрасно ему вина давали, и вино не помогло. Ох, господи Иисусе Христе, ох, Иисусе, Иисусе!

В голосе ее звучало неподдельное материнское горе, но меня поразило, что в этих воплях и причитаниях звучит что-то вроде обрядового напева. Я никогда не слышал, как крестьянки оплакивают смерть близких, но готов поручиться, что все они вот так же голосят, словно соблюдая деревенскую традицию.

Анелька со слезами на глазах и с чисто женским горячим состраданием стала расспрашивать старуху, как все случилось, понимая, что ей станет легче, когда она выговорится. И старая мать действительно чуть не с жадностью ухватилась за эту возможность.

– Как ушел от него ксендз со святыми дарами, – рассказывала она, – я ему и говорю: помрешь или не помрешь, на то воля божья. К смерти ты хорошо приготовился, как полагается, а теперь спи! Он говорит: «Ладно», – и задремал, а я тоже, потому что, не в обиду господу богу будь сказано, целых три ночи перед тем без сна промаялась. Только после первых петухов пришел мой старик, разбудил меня, и сидим оба, а он все спит и спит. Я говорю старику: «Ох, уж не помер ли?» А старик мне: «Может, и помер». Тронул его, а он проснулся и говорит: «Мне лучше». Полежал спокойно так. Вижу – в потолок глядит и усмешается. Тут меня зло взяло. «Ты что же это, рыжий, говорю, над моим горем смеешься?» А это он смерти своей усмеялся. Сразу задышал тяжело, бедняжка, и к рассвету его не стало..

Она снова заголосила, потом предложила нам пойти взглянуть на покойника.

– Я уже его обрядила, лежит красивый, как картинка.

Анелька хотела было пойти с ней, но я ее удержал. Кстати, старуха через минуту уже забыла о своем предложении и стала нам рассказывать, как они бедны. Муж ее когда-то был зажиточным хозяином, но весь достаток пошел на ученье сына. Соседи откупали у них морг за моргом, и теперь у них осталась только хата, а земли ни клочочка. Тысячу двести рублей истратили на сына. Думали, на старости лет поживут при нем на покое, а сына-то бог прибрал.

Старушка с чисто мужицкой покорностью объяснила нам, что они с мужем уже решили – сразу после похорон пойдут «христарадничать». Ее это, кажется, ничуть не пугало. Она говорила об этом даже как будто с удовлетворением, опасалась только, как бы в волостном правлении не было волокиты с выдачей свидетельства, которое ей зачем-то понадобилось. В ее рассказах тысяча конкретных подробностей перемежались с воззваниями к Иисусу и пресвятой богородице, слезами и причитаниями.

Анелюшка побежала в дом и через минуту вернулась с деньгами, которые хотела отдать старухе, но тут мне пришла в голову мысль, сразу показавшаяся удачной, я остановил Анелюшку и, обратясь к старухе, спросил:

– Так вы говорите, что истратили тысячу двести рублей на ученье сына?

– Да, ясновельможный пан. Думала, как дадут ему приход, будем жить при нем. А бог судил иначе, и вместо плетения пойдём мы на паперть милостыню просить.

– Так я вам дам эти тысячу двести рублей. Обзаведитесь всем, что нужно, и живите себе спокойно.

Я хотел тут же выполнить обещание, но у меня не было при себе денег. Решив взять нужную сумму у тети, я велел старухе прийти через час. Она была так ошеломлена, что несколько минут смотрела на меня молча, выпучив глаза, а потом с криком повалилась мне в ноги. Но мне удалось довольно быстро от нее отделаться – главным образом потому, что ей хотелось поскорее бежать к мужу с этой доброй вестью. Мы с Анелюшкой остались вдвоем, она тоже была взволнована и в первую минуту не находила слов. Потом стала повторять:

– Какой же ты добрый! Какой добрый!

А я пожал плечами и ответил так небрежно, как будто речь шла об естественном и самом обыкновенном деле:

– Ах, моя дорогая, я это сделал вовсе не по доброте и не ради этих людей, которых в первый раз вижу. Ты их жалеешь, вот я и захотел доставить тебе удовольствие. Иначе я отделался бы от них какой-нибудь мелкой подачкой.

Я сказал истинную правду. Эти люди интересовали меня не более, чем первый попавшийся нищий. А для того чтобы порадовать Анелюшку, я, не задумываясь, дал бы им вдвое или втрое больше. Сказал же я ей об этом умышленно, отлично понимая, что такие слова, сказанные женщине, означают очень много: это – почти признание в любви, хотя и облеченное в иную форму. Это все равно что сказать ей: «Для тебя я готов сделать все, потому что ты для меня – все». И при этом ни одна женщина не может отмахнуться от такого признания и не вправе оскорбиться. Я сказал это Анелюшке еще и потому, что именно так чувствовал. Я только замаскировал тайный смысл моих слов, сказав их тоном, каким говорят нечто само собой разумеющееся.

Однако Анелюшка поняла значение моих слов – она опустила глаза и не нашла, что ответить. Наконец она в явном замешательстве сказала, что ей нужно идти к матери, и оставила меня одного.

Я хорошо понимаю, что, поступая таким образом, вселяю в душу Анелюшки мысли ей чуждые и беспокойные. Но, испытывая угрызения совести и мучительную боязнь нарушить покой существа, за которое я отдал бы жизнь, я одновременно с удивлением замечаю в себе какую-то хищную радость – как будто я удовлетворяю присущие человеку разрушительные инстинкты. Кроме того, я уверен, что никакое сознание содеянного зла, никакие угрызения совести меня не остановят. У меня слишком сильный темперамент, чтобы я смог обуздать себя и устоять перед непреодолимым, невыразимым очарованием этой женщины. Вот теперь я поистине уподобился тому индейцу, который, попав в водоворот, сложил весла и отдался на волю волн. Я даже не думаю о моей вине, о том, что все могло быть по-другому и мне стоило только протянуть руку, чтобы она стала моей, эта женщина, о которой я

сейчас говорю себе: «Для чего же стоит жить, как не для нее? Кого стоит любить, если не ее?» Я впадаю в детерминизм, и мне уже часто кажется, что иначе и быть не могло, что моя неприспособленность в жизни – наследие поколений, уже давно исчерпавших свой запас жизненных сил, что я был и буду таким, каким быть обречен, и мне не остается ничего другого, как только сложить весла.

Сегодня утром тетя, я и Анелька были на похоронах молодого Латыша. Погода все время стоит хорошая, и похороны не утомили моих дам, так как до костела и кладбища от нас недалеко. Удивительно своеобразны деревенские похороны. Во главе процессии ксендз, за ним едет телега с гробом, а дальше – тесно сбита толпа крестьян и крестьянок. Все поют, и эти до жути унылые погребальные напевы напоминают какую-то халдейскую музыку. В хвосте процессии люди уже толкуют между собой сонными протяжными голосами, начиная каждую фразу словами: «Ох, милые вы мои», – которые слышались каждую минуту. Странно было видеть на похоронах яркую пестроту девичьих платков. Мы шли до костела рябиновой аллеей, и когда толпа выходила на просеки между деревьями, эти платки, желтые, алые, голубые, так и горели на солнце и придавали всему шествию такой веселый вид, что, если бы не присутствие ксендза, не телега с гробом и запах можжевельника, можно было подумать, что это свадьба, а не похороны. Вообще я заметил, что деревенские люди идут за гробом охотно, даже весело. Смерть не производит на них никакого впечатления – быть может, она им представляется вечным отдыхом и праздником?

Когда мы стояли у вырытой могилы, я видел на лицах вокруг только сосредоточенное внимание и любопытство: ни следа, ни тени раздумья о неумолимом конце, за которым следует что-то страшное и неведомое. Я посмотрел на Анельку в тот момент, когда она нагнулась, чтобы бросить горсть земли на гроб. Она была немного бледна, и по ее лицу, ярко освещенному солнцем, можно было читать как в открытой книге. Я готов был поклясться, что она в эту минуту думала о своей смерти. Мне же казалась просто дикой и чудовищной мысль, что это лицо, такое выразительное, полное щедрой молодости, о которой говорил и пушок на губе, и эти длинные густые ресницы, и вся его неповторимая прелесть, могло когда-нибудь стать мертвенно-белым, застывшим, исчезнуть в вечном мраке могилы.

Однако в это мгновение словно мороз сковал мои мысли. Мне пришло в голову, что первый обряд, на котором мы с Анелей вместе присутствуем в Плошове, – похороны. Как смертельно больной, не веря больше в медицину, готов поверить в снадобья знахарей, так смертельно больная душа, во всем сомневающаяся, цепляется даже за предрассудки и суеверия. Вероятно, никто так не близок к бездне мистицизма, как абсолютный скептик. Те, кто усомнился в идеях религиозных и социологических, кто не верит больше в могущество знания и разума человеческого, вся эта масса людей, мечущихся без догматов, людей высоко развитых, но не видящих перед собой дороги и утративших все надежды, в наше время все глубже погружается в туман мистицизма. Мистицизм этот – бурная реакция против современной жизни, основанной на позитивном ограничении человеческой мысли, угашении идеалов, погоне за наслаждениями, на бездушном практицизме. Дух человеческий начинает разрывать клетку, которая ему отведена, ибо это жилище слишком уж похоже на биржу. Кончается какая-то эпоха, наступает какая-то эволюция во всех областях. Я не раз с превеликим удивлением задумывался над тем, что, например, и крупнейшие и моднейшие наши писатели сами не знают, как недалеко они от мистицизма. Некоторые из них, впрочем, уже открыто признают себя мистиками. Какую бы книгу я ни раскрыл в последнее время, я нахожу в ней не отображение человеческой души, воли и страстей человеческих, а какие-то отвлеченные роковые силы, олицетворенные в страшных образах, силы, не зависящие от отдельных явлений и живущие сами в себе, как гетевские матери.

Я тоже, несомненно, стою на краю бездны. Вижу это, и мне не страшно. Бездна влечет людей, а меня она влечет даже так сильно, что, если бы было возможно, я бы сейчас уже опустился на самое дно ее – и опущусь, как только смогу.

28 апреля

Упиваюсь жизнью в Плошове, ежедневными встречами с Анелькой и забываю, что она жена другого. Этот Кромицкий, который застрял в Баку или где-то еще дальше, представляется мне не живым человеком, а призраком, чем-то нереальным, несчастьем, которое рано или поздно должно прийти так же неизбежно, как приходит смерть, – но ведь о смерти не думаешь постоянно. Однако вчера одна мелочь, самая обыденная, послужила мне чем-то вроде «memento mori!» [36]. Анельке утром за чаем подали сразу два письма. Тетушка спросила у нее: «От мужа?» – и она ответила: «Да». Услышав это, я почувствовал то же, что, вероятно, чувствует приговоренный к смерти, которому в ночь перед казнью снился сладкий сон, а его внезапно разбудили и объявили, что пора стричь волосы и идти под нож гильотины. Я с необыкновенной ясностью постиг вдруг всю глубину своего несчастья, и целый день меня не оставляло это зловещее чувство, а тут еще тетюшка словно задалась целью мучить меня: Анелька хотела отложить чтение писем на после завтрака, но тетя приказала ей читать сейчас, а затем осведомилась, как поживает Кромицкий.

– Спасибо, тетя, хорошо, – отвечала Анелька.

– А как его дела?

– Слава богу. Лучше, чем он ожидал.

– Когда же он вернется?

– Пишет, что выедет, как только будет возможно.

И я вынужден был слушать эти вопросы и ответы. Если бы тетя и Анелька затеяли какой-нибудь невероятно циничный разговор, он меньше терзал бы мои нервы. Впервые со дня приезда сюда я почувствовал к Анельке неприязнь глубоко оскорбленного человека.

«Имей же хоть каплю человеколюбия и не говори при мне об этом человеке! Не благодари за вопросы о его здоровье и не говори „слава богу“, – думал я. Анелька между тем распечатала второе письмо. Взглянув на дату, она сказала: „Это писано раньше“, – и начала читать. Я смотрел на ее склоненную голову – пробор в волосах, лоб и опущенные веки, – и мне казалось, что чтение это длится невыносимо долго. Вместе с тем я понимал, что ее и Кромицкого объединяет целый мир общих интересов и целей, что они связаны неразрывными узами и, следовательно, не могут не ощущать эту тесную связь и близость друг другу. Я понял, что, если бы даже Анелька отвечала мне любовью на любовь, я, в силу вещей, останусь навсегда вне ее жизни. С того дня, когда я вновь увидел Анельку, и до сих пор я только чутьем угадывал всю глубину моего несчастья – так, как угадываешь глубину пропасти, которую заслоняет от тебя туман. Сейчас туман рассеялся, и я, заглянув в пропасть, увидел ее до самого дна.

Есть у меня, однако, свойство – когда что-нибудь уж очень гнет меня к земле, я неожиданно распрямляюсь. Любовь моя до сих пор не смела чего бы то ни было желать, но сейчас под влиянием ревности яростно жаждет попать и уничтожить все неумолимые законы, узы и зависимость, отнимающие у меня любимую.

Анелюшка читала две-три минуты, не больше, но я за это время прошел всю шкалу душевных пыток. Притом меня, как всегда, осаждали мысли, содержавшие анализ и критику моих чувств. Я говорил себе, что мое возмущение и горечь почти смешны и похожи на женские капризы, что с такими нервами жить невозможно. Наконец я спросил себя: если такой простой факт, что муж пишет жене, а она читает его письма, совершенно выводит меня из душевного равновесия, что же будет, когда он придет, и ты каждую минуту будешь воочию убеждаться в их взаимной близости?

Я мысленно отвечал себе: «Тогда я его убью!» – и в то же время понимал, как это смешно и глупо.

Легко догадаться, что подобные мысли не способствовали моему успокоению. Анелюшка, кончив читать, сразу заметила, что я сам не свой, и с беспокойством поглядывала на меня. Этой нежной душе необходима дружеская атмосфера, иначе ей и тяжело и страшно. Объясняется это ее безмерной чуткостью. Помню, в те времена, когда старый Хвастовский еще обедал не у сына-пивовара, а в плошовской усадьбе, и тетушка моя за столом всегда с ним ссорилась, Анелюшку пугали и огорчали эти ссоры, пока она не убедилась в их безобидности. Сейчас ее, видимо, обеспокоило мое волнение, хотя она и не догадывалась о его причинах. Она несколько раз заговаривала со мной о концерте Клары, а глаза ее спрашивали: «Что с тобой?»

Я отвечал ей холодными взглядами: я не мог простить ей этих писем и разговора с тетей. Как только мы отпили чай, я поднялся и объявил, что мне нужно ехать в Варшаву.

Тетя настаивала, чтобы я остался обедать, а после обеда, как и предполагалось раньше, поехал с нею вместе на концерт. Но я возразил, что у меня есть еще всякие дела в Варшаве. В действительности же мне просто хотелось побыть одному. Я велел запрягать.

– Надо бы как-нибудь отблагодарить панну Хильст, – сказала тетушка. – Вот думаю – не пригласить ли ее на денек в Плошов?

Тетушка, очевидно, считала приглашение в Плошов столь великой честью, что еще сомневалась, не будет ли это для Клары чересчур много.

Помолчав, она добавила:

– Если бы только я была уверена, что эта девушка из вполне приличного круга.

– Панна Хильст – друг румынской королевы, – сказал я резко. – И каждый год гостит у нее несколько недель. Если уж говорить о чести, то это она нам окажет честь...

– Ну, ну! – проворчала тетя.

Уже уходя, я спросил у Анелюшки:

– А ты поедешь с тетей на концерт?

– Нет, не могу оставить маму. И потом мне нужно писать письма.

– Ах да, я не принял в расчет чувств тоскующей супруги! Что ж, не стану тебе

мешать...

Этим взрывом иронии я облегчил душу. Пусть знает, что я ревную! Она, как и ее мать и тетушка, – женщина из породы ангелов, не допускающих существования порока. Пусть же поймет, что я влюблен, пусть освоится с этой мыслью и начнет волноваться, бороться с нею. Внести в ее душу такой чуждый ей разлагающий фермент – это уже частичная победа. Увидим, что будет дальше.

Я испытал облегчение временное, но сильное, похожее на злорадство. Не успел я, однако, сесть в экипаж, как меня одолел гнев на себя. На душе оставался неприятный осадок, все, что я думал, и то, что сказал Анельке, казалось мне уже мелочным, ничтожным, следствием издерганных и привередливых нервов. Да, я вел себя не как мужчина, а как истеричная женщина...

Тяжело мне было во время этой поездки в Варшаву, тяжелее даже, чем тогда, когда я, вернувшись из-за границы, ехал в первый раз в Плошов. Я думал о том, что убийственная нежизнеспособность, роковым образом тяготеющая над такими людьми, как я, и надо мной в частности, объясняется преобладанием в нашей натуре женского начала над мужским. Я не хочу этим сказать, что мы, как женщины, физически слабы, трусливы, лишены энергии. Нет, дело не в том! Предприимчивости и смелости у нас если не больше, то уж во всяком случае не меньше, чем у других, каждый из нас готов вскочить на необъезженного коня и ехать куда угодно. Но что касается психологии, то о мужчине такого сорта можно было бы говорить «она», а не «он». Наша духовная организация лишена спокойного синтетического равновесия, нечувствительного к мелочам. Все нас ранит, обескураживает, заставляет отступать, и оттого мы на каждом шагу жертвуем безмерно важным для безмерно малого. Мое прошлое служит лучшим тому доказательством. Ведь я пожертвовал огромным счастьем целой жизни, своим будущим и будущим любимой женщины только потому, что узнал из письма тетки о намерении Кромницкого посвататься к Анельке. Нервы мои встали на дыбы и понесли меня не туда, куда влекли мои желания. Это было проявлением болезни воли. А такой болезнью страдают женщины, а не мужчины. И потому не удивительно, что я и сейчас веду себя как истеричка. С этим проклятием я родился на свет, в нем виноваты поколения моих предков и все те условия, в каких приходится жить.

Сняв с себя такими рассуждениями всякую ответственность, я, однако, ничуть не утешился. В Варшаве я собирался посетить Клару, но помешала ужасная головная боль. Она прошла только к вечеру, перед самым приездом тети.

Тетя застала меня уже одетым, и мы скоро отправились на концерт. Он прошел очень удачно. Слава Клары привлекла на этот концерт весь музыкальный мир и всю интеллигенцию Варшавы, а благотворительная цель концерта – все высшее общество. Зал был переполнен. Я встретил здесь множество знакомых, в том числе и Снятынских. Но я был в таком дурном настроении и нервы мои так развинтились, что меня все бесило. Неизвестно почему, на меня напал страх, что Клара потерпит фиаско. Случилось, что, выходя на эстраду, она потащила за собой по полу афишу, зацепившуюся за оборку ее платья. Я боялся, что это делает ее смешной. В бальном туалете, отделенная от толпы пустым пространством эстрады, Клара казалась мне чужой – как будто это была какая-то незнакомая пианистка, а не моя близкая приятельница. Я невольно спрашивал себя, неужели это та самая Клара, с которой меня связывает крепкая дружба. Но вот утихли приветственные аплодисменты. На лицах появилось то сосредоточенно-серьезное и «умное» выражение, которое помогает людям, ничего не понимающим в искусстве, изображать из себя знатоков и судей. Клара села за рояль и, как ни был я зол и на нее и на весь свет, я в душе

не мог не признать, что у нее голова благородного рисунка и свободно сидит на стройной шее, что держит себя Клара, как подобает настоящей артистке, просто, без всякой рисовки. Она заиграла концерт Мендельсона, который я помню наизусть, – и потому ли, что знала, как много от нее ждут, или была взволнована необычайно сердечным приемом публики, – но вначале она играла хуже, чем я надеялся. Разочарованный, я с удивлением посмотрел на Клару, и на одно мгновение глаза наши встретились. Выражение моего лица окончательно ее смутило, и следующие аккорды прозвучали так же бледно, без надлежащей силы и экспрессии. Теперь я уже не сомневался, что она потерпит фиаско. Никогда еще рояль, звуки которого еще приглушало теперь расстояние и плохая акустика зала, не представлялся мне таким жалким инструментом. По временам мне казалось, что я слышу не рояль, а прерывистые звуки арфы. Через некоторое время Клара заиграла увереннее, но все же, по-моему, весь концерт сыграла не очень хорошо. Каково же было мое удивление, когда по окончании его грянули такие аплодисменты, каких я ни разу не слышал даже в Париже, где Клару принимали с исключительным энтузиазмом. Музыковеды встали с мест и оживленно беседовали с рецензентами. На их улыбающихся лицах ясно читалось восхищение. Аплодисменты не смолкали до тех пор, пока Клара не появилась на эстраде. Она не поднимала глаз, и лицо ее, по которому я хорошо умею читать, словно говорило: «Вы очень добры, благодарю вас, но я играла плохо, и мне хочется плакать». Я хлопал вместе с остальными, за что Клара бросила на меня беглый укоризненный взгляд. Она настолько любит музыку, что ее не могут удовлетворить незаслуженные овации. Мне стало ее жаль. Я хотел было пойти за кулисы и ободрить ее подходящими словами, но неумолкавшие аплодисменты и крики «браво!» не давали ей уйти с эстрады. Она снова села за рояль и заиграла Сонату *cos-moll* Бетховена, которой не было в программе.

Ни одно музыкальное произведение не передает с такой выразительностью, терзания великой души, охваченной каким-то трагическим беспокойством. Я говорю главным образом о третьей части сонаты, *presto aitato*. Музыка ее, видимо, отвечала волнению, пережитому в этот вечер Кларой, и уж, несомненно, гармонировала с м о и м настроением: в жизни не слышал я т а к о г о исполнения Бетховена и не чувствовал так сильно его музыки! Я не музыкант, но думается, и музыканты до этого вечера не знали всего, что кроется в этой сонате. Определить впечатление, которое эта соната произвела на всех, можно только словом «гнет». Казалось, свершается что-то мистическое, рождалось видение потусторонней бесформенной пустоты, жуткой и печальной, едва озаренной лунным светом, а среди этой пустыни вопило, рыдало и рвало на себе волосы безнадежное отчаяние. Было это страшно и потрясающе, так как свершалось словно за пределами жизни, – и вместе с тем непреодолимо захватывало, ибо никакая музыка не приближает так человека к абсолютному. По крайней мере могу сказать это о себе. Я не более впечатлителен, чем другие, а слушая эту сонату, дошел чуть не до галлюцинаций. Мне чудилось, что в пустоте и бесформенном могильном мраке я ищу кого-то, кто мне дороже целого мира, без кого я не могу и не хочу жить, – и вот ищу, сознавая, что мне суждено искать целую вечность и никогда не найти. Сердце у меня сжалось так сильно, что трудно было дышать. Я больше не обращал внимания на качество исполнения, но оно, видимо, было на такой высоте, когда уже и вопроса о нем не возникает. Весь зал был под таким же впечатлением, как и я, – все, не исключая и самой Клары.

Кончив, она несколько минут еще сидела за роялем, откинув голову и глядя куда-то вверх. Щеки ее побледнели, губы были полуоткрыты. Это не было эффектной позой, нет, – это, несомненно, было подлинное вдохновение и самозабвение. В зале стояла мертвая тишина, как будто люди еще чего-то ждали или, окаменев от скорби, ловили последние отголоски того рыдающего отчаяния, которое унес уже вихрь загробного

мира. Потом началось нечто такое, что, вероятно, никогда еще не бывало ни на одном концерте: поднялся такой крик, словно слушателям грозила катастрофа. Несколько рецензентов и музыкантов подошли к эстраде. Я видел, как они наклонялись к руке Клары. У Клары слезы повисли на ресницах, но лицо ее было вдохновенно, ясно и спокойно. Я тоже подошел, чтобы пожать ей руку.

С первой минуты нашего знакомства и до этого вечера Клара всегда говорила со мной по-французски.

А сейчас она в первый раз, горячо отвечая на мое рукопожатие, спросила по-немецки:

– Haben sie mich verstanden?[37]

– Ja, – отвечал я. – Und ich war sehr undglücklich.[38]

И это была правда.

Продолжение концерта стало сплошным триумфом Клары. После концерта Снятынские увезли ее к себе на званый вечер. Я не захотел к ним ехать. Вернувшись домой, я почувствовал такую усталость, что, не раздеваясь, повалился на диван и пролежал добрый час без сна. Только позднее, собираясь сесть за дневник, я поймал себя на том, что все время не перестаю думать о похоронах молодого Ксандза, об Анельке и о смерти. Я приказал подать себе свечу и взялся за перо.

29 апреля

Полученные Анелей письма Кромицкого расстроили меня настолько, что я до сих пор не могу отделаться от скверного настроения. Правда, мой безрассудный гнев на Анелю уже проходит, чем яснее я вижу, что был незаслуженно суров с ней, тем сильнее раскаиваюсь и с тем большей нежностью думаю о ней. Я отлично понимаю, что самая сила фактов неумолимо связывает этих двух людей. Со вчерашнего дня я в когтях у этой мысли и потому не поехал сегодня в Плошов. Там пришлось бы следить за собой, и если не быть, то притворяться спокойным, а я сейчас на это не способен. Все во мне – мысли, чувства, ощущения – восстает против того, что случилось. Не знаю, что может быть ужаснее такого состояния, когда человек не приемлет совершившегося, протестует каждым фибром мозга и сердца, – и в то же время сознает, что он бессилен перед фактом. И, конечно, это еще только начало, только предвкушение того, что меня ждет. Ничего нельзя сделать, ровно ничего! Она замужем, она – жена Кромицкого, принадлежит ему и будет принадлежать всегда, а я не могу с этим примириться, потому что мне тогда жизнь будет не в жизнь, – и все-таки д о л ж е н примириться. Это в порядке вещей – женщина, выйдя замуж, принадлежит мужу. Протестовать против этого порядка вещей? С таким же успехом я мог бы протестовать против силы земного притяжения. Так что же делать?

Примириться? Но что проку в пустом, бессмысленном и напрасном слове «согласен», если душа никак на это не соглашается? Бывают минуты, когда я решаю уехать. Но я чувствую, что без этой единственной женщины жизнь для меня станет смертью, – а главное, я заранее знаю, что не уеду, не хватит силы. Не раз в жизни что-то подсказывало мне, что горе человеческое может превзойти всякое человеческое воображение, и бывает так, что о горе уже больше не думаешь, а оно, как море, разливается все шире и шире. И вот сейчас, кажется, меня самого унесло в это море.

Нет, это не совсем так. Кое-что мне еще остается. Я читал когда-то в мемуарах Амьеля, что поступок – это лишь мысль, сгущенная до материальности. Однако мысль

может остаться и отвлеченной, чувство – никогда. Теоретически я эту аксиому знал и раньше, но только сейчас проверил ее на себе самом. Со дня моего возвращения в Плошов и до этой минуты я ни разу не сказал себе ясно и определенно, что жажду любви Анельки, но это ничего не значит. На самом деле я знал, что все еще хочу обладать ею. Каждый мой взгляд, каждое слово и поступок были устремлены к этой единственной цели. Чувство, оторванное от желания и действия, – ничто. Так пусть же слово будет сказано: да, я хочу! Хочу стать для Анельки самым желанным и любимым человеком, каким она стала для меня. Хочу, чтобы она, ее любовь, все ее мысли, душа ее принадлежали мне, – и не намерен ставить границ моим желаниям. Сделаю все, что велит мне сердце, пушу в ход все средства, какие разум найдет подходящими, чтобы добиться ее взаимности. Отниму у Кромицкого такую часть Анели, какую только смогу, и отниму ее всю, если только она на это согласится. Тогда у меня будет цель в жизни, я буду знать, для чего встаю утром, для чего подкрепляюсь пищей днем и сном ночью. Полного счастья я не узнаю – для этого мне нужно было бы не только иметь ее всю для себя, но и отмстить тому, кто ею обладал. Но у меня будет чем жить, а в этом мое спасение. Это я понял давно, а сейчас я только выразил в словах все то, что творилось во мне, те желания и стремления, что заложены в любви и неотделимы от нее.

К черту все сомнения! Страх, что Анелька, полюбив меня, будет несчастна, должен отступить перед той великой, как мир, правдой, что любовь одна наполняет жизнь, питает ее и во сто тысяч раз дороже, чем жизнь без любви, жизнь в пустоте.

Уже не одну тысячу лет люди знают: хорошо и нравственно лишь то, что придает силы жить, а пустота и убожество жизни – путь в царство зла. Та минута, когда голова любимой склонится ко мне на грудь и дорогие губы прильнут к моим губам, будет торжеством добра и правды. И в гуще сомнений, заполнивших мой мозг, лишь эта мысль светит ясно, лишь о ней я могу сказать: верую, что это так. Теперь я постиг, что в жизни – самое надежное. Я прекрасно знаю, как велик разрыв между этой верой и ходячей условной моралью, выработанной для повседневного употребления в человеческом обществе. Знаю, что и для Анельки этот мой мир будет миром чуждых ей и устрашающих понятий, но я возьму ее за руку и введу в него, ибо с искренним убеждением могу ей сказать: «Вот где добро и правда».

В этих мыслях я нахожу поддержку. Но все-таки большую часть дня я был в очень тяжелом настроении: мучило сознание своего бессилия в тех условиях, в которых находимся мы с Анелей. Мне даже думалось: «А может, она любит Кромицкого?» И одно это предположение сводило меня с ума. К счастью, размышления мои прервал приезд доктора Хвастовского. Он приехал после полудня из Плошова, чтобы посоветоваться с пожилым врачом, раньше лечившим пани Целину, а перед отъездом зашел ко мне. От него я узнал, что пани Целина чувствует себя все так же, а у пани Кромицкой так сильно болела голова, что она даже не вышла в столовую к утреннему чаю.

Потом он еще долго говорил об Анельке, а я охотно слушал – это немного заменяло мне ее общество. Хвастовский, при всей своей молодости, человек интеллигентный. Он объявил мне, что поставил себе за правило относиться к людям недоверчиво – не потому, что они только этого и заслуживают, но потому, что так для него безопаснее. Однако о пани Кромицкой он с полным убеждением может сказать, что это натура высшая во всех отношениях. Он вообще говорил об Анельке с таким жаром, что у меня мелькнуло подозрение, не питает ли он к ней в глубине души чувство более пылкое, чем восхищение.

Это подозрение ничуть меня не рассердило, – вероятно, потому, что слишком велика

дистанция между вчерашним студентом и Анелей. Напротив, я был ему признателен за то, что он сумел оценить Анельку, и долго не отпускал его от себя, так как разговор с ним спасал меня на время от тяжелых мыслей. Между прочим, я спросил, какие у него планы на будущее. Он ответил, что прежде всего ему надо скопить немного денег на поездку за границу, чтобы там поработать в клиниках, а по возвращении оттуда он намерен обосноваться в Варшаве.

– Что вы называете «обосноваться»?

– Я имею в виду научную работу при какой-нибудь больнице, возможно, и врачебную практику.

– И, конечно, женитесь?

– И для этого придет время, но сейчас я об этом еще не думаю.

– Не думаете, пока не придет любовь и не продиктует вам свою волю. Вы, как врач, знаете, что любовь – физиологическая потребность.

Молодой Хвастовский, видимо, хотел показать себя человеком трезвого ума, стоящим выше общечеловеческих слабостей. Он пожал широкими плечами, погладил подстриженные ежиком волосы и наконец изрек:

– Потребность эту я признаю, но не намерен отводить ей в жизни больше места, чем следует. Каждую потребность можно обуздать.

Сказав это, он победоносно усмехнулся. Однако тон моего ответа был вполне серьезен:

– Но если поглубже разобраться, то, пожалуй, любовь – единственное, ради чего стоит жить.

Хвастовский подумал с минуту.

– Нет! Есть много другого, ради чего стоит жить, – вот хотя бы наука, общественные обязанности. Я не против брака: человеку следует жениться и ради себя, и для того, чтобы иметь детей, это ведь тоже общественная обязанность. Но одно дело – брак, другое – вечные романы.

– Что вы хотите этим сказать?

– Хочу сказать, что мы, муравьи, строящие муравейник, мы, люди труда, не можем посвящать свою жизнь женщинам и любви. У нас на это просто нет времени. Это годится только для тех, кто может ничего не делать или не хочет ничем другим заниматься.

Хвастовский сказал это веско, тоном человека, который выступает от имени мудрейших и дельнейших в стране. Я же с удовольствием наблюдал этого здорового духом представителя человеческой породы. Должен признать – то, что он говорил, было вовсе не глупо, хотя меня несколько коробило его юношеское, почти мальчишеское самомнение. Это верно, в жизни людей труда и людей, ставящих перед собой серьезные задачи и цели, женщина и любовь к ней не играют такой огромной роли. Крестьянин женится, чтобы жениться и завести свое хозяйство. Способность его к глубокому чувству очень невелика, хотя поэты и романисты стараются убедить

нас в обратном. Ученый, государственный деятель, полководец, политический вождь отводят женщине только небольшое место в своей жизни. Исключение составляют артисты. Любовь – их специальность, ибо само искусство живо лишь любовью. А в общем, только в кругу людей богатых, где многие уклоняются от всякого труда, женщина властвует безраздельно и заполняет этим людям жизнь. Она занимает все их мысли, становится двигателем их поступков, единственной целью их усилий и стремлений. Иначе и быть не может. Возьмем, к примеру, меня. Правда, вращаюсь я в обществе людей не таких уж богатых, но сам я – человек состоятельный. Благодаря этому я никогда ничем не занимался, а потому не было у меня и нет определенной цели в жизни. Быть может, было бы иначе, если бы я родился англичанином или немцем. Но надо мной, помимо всего прочего, тяготеет тот роковой «первородный грех», который получил название «l'improductivite slave». Ни одна из составных частей современной культуры не увлекала меня и не заполняла мне душу по той простой причине, что культура эта немощна и пропитана скепсисом. Если она сама предчувствует свой конец и не верит в себя, трудно требовать, чтобы я в нее верил и посвятил ей жизнь. И, в общем, я жил, как человек, висящий в воздухе, ибо не мог за что-либо уцепиться на земле. Будь я человеком сухим или очень тупым, с холодной душой и животной чувственностью, я свел бы жизнь к жалкому прозябанию или удовлетворению животных потребностей – и существовал бы кое-как. Но произошло как раз обратное. Я родился на свет с живым умом, с натурой страстной и незаурядными жизненными силами. Силам этим нужен был выход, и они могли найти его только в любви к женщине. Ничего другого мне не оставалось. Я сознаю это и покоряюсь, так как бороться с этой силой было бы тщетно. Любовь к женщине – вот единственный смысл, единственное оправдание моей жизни. Вся моя беда в том, что я, дитя больной цивилизации, рос криво, а потому и любовь моя – какая-то искривленная.

Простота понятий дала бы мне узнать счастье, но что уж об этом говорить! Каждый горбун рад бы избавиться от своего горба, но это невозможно, ибо он был горбатым еще в утробе матери. Так же моими «горбами» наградили меня ненормальная цивилизация и эпоха, породившая меня. Но, горбатый или прямой, я должен любить – и хочу любить!

4 мая

Разум мой окончательно подчинился чувству. Он превратился в такого возницу, который следит только за тем, чтобы экипаж не разбился. Вот уже несколько дней я в Плошове и все, что говорю и делаю, – только тактика любви. Доктор Хвастовский поступил очень умно, прописав Анельке моцион. Сегодня утром я встретил ее в парке. Бывают минуты, когда чувство, которое таишь в душе, прорывается вдруг необычайно бурно и почти пугает своей силой, хотя ты и раньше знал о нем. Такую минуту пережил я сегодня, когда на повороте аллеи увидел Анельку. Никогда еще она не казалась мне такой прелестной и желанной, никогда еще не чувствовал я так сильно, что она должна быть моей. Она – единственная женщина, которой, в силу каких-то таинственных, еще только названных, но не исследованных наукой законов, суждено притягивать меня к себе, как магнит – железо, владеть мною, стать целью и содержанием моей жизни. Сегодня, когда я подходил к ней в парке, я подумал, что в ней слилось ее собственное очарование с прелестью этого утреннего часа, светлой солнечной весны, радостью птиц и растений, и она для меня больше, чем женщина, она – воплощение красоты, всех чар и благодатной щедрости природы. И еще я подумал: если природа создала ее такой, что она пленяет меня сильнее, чем всякого другого мужчину, то тем самым она предназначила ее мне. А между тем мои права на нее попорчены ее замужеством. Кто знает, может быть, все уродства жизни порождены нарушением такого рода прав, и не в этом ли причина несовершенства нашего мира.

Неверно люди говорят, что у любви повязка на глазах. Напротив – ничто, ни одна мельчайшая черта не ускользает от ее взора. В любимом видишь все, все замечаешь, – но это «все», расплавленное в огне чувства, сливается в одно великое и простое «люблю». Подходя к Анельке, я заметил, что глаза у нее блестят словно со сна, а по лицу и светлому ситцевому платью скользят зелено-золотые отблески солнечных лучей, просочившихся сквозь молодую листву грабов. Видел я и то, что волосы ее заколоты кое-как, свободная блузка удивительно изящно обрисовывает стройный стан и плечи, что в ее прическе и туалете заметна некоторая утренняя небрежность и от нее так и веет свежестью, делающей ее еще в тысячу раз пленительнее. Не ускользнуло от моего жадного внимания и то, что в этой аллее высоких грабов Анелька кажется миниатюрной и такой юной, почти девочкой. Словом, я видел все, но все эти впечатления слились в восторг человека, который любит без меры.

На мое «доброе утро!» Анелька ответила как-то смущенно. Последние дни она меня боится, потому что я гипнотизирую ее каждым словом, каждым взглядом. Я уже возмутил покой ее души, заронил в нее фермент. Она не могла не понять, что я все еще люблю ее, но ясно, что она ни за что на свете не хочет в этом признаться даже себе самой. По временам у меня бывает такое ощущение, словно я держу в руке голубя и слышу, как под моими пальцами тревожно бьется его испуганное сердечко.

Мы шли рядом в неловком молчании. Я умышленно не прерывал его. Знаю, что эта неловкость между нами Анелю мучает, но это делает ее в некотором роде моей соучастницей и приближает меня к цели. В окружавшей нас тишине слышен был только скрип песка под ногами да веселый свист иволг, которых здесь в парке множество.

Наконец я завел разговор, направляя его, как хотел. Ум мой теперь замкнут для всех внешних впечатлений, не связанных с моей любовью, зато в области чувства я проявляю удвоенную восприимчивость и прозорливость – так люди, погруженные в магнетический сон, видят кое-что яснее, чем в нормальном состоянии.

Разговор быстро перешел на личные переживания, и я рассказывал Анельке о себе тоном интимно-доверительным, как говорят с самым близким человеком, который один имеет право все знать о тебе. Таким образом, между нами возникало чувство близости и взаимного понимания, целый мир общих интересов, в котором было место только для нас двоих. Такая близость должна бы существовать только между нею и мужем, – значит, я как бы вел ее к духовной измене мужу и вел так осторожно, чтобы она не могла этого заметить.

Однако эта чуткая душа инстинктивно понимала, что мы вступили на какой-то необычный путь. Я словно вел ее за руку, уводя все дальше и дальше, но все время при этом ощущал с ее стороны какое-то внутреннее сопротивление. Мне было совершенно ясно, что сопротивление это усилится, как только я быстрее увлеку ее вперед и опасность станет уже менее неуловима. Но я был все-таки уверен, что преимущество на моей стороне и что я постепенно смогу довести ее до того, чего хочу.

Пока же я умышленно говорил о прошлом.

– Помнишь, в старые добрые времена ты раз спросила меня, почему я не живу здесь, на родине, и зачем допускаю, чтобы пропадали даром те способности, которые видят во мне люди. Я помню каждое твое слово. Это было в тот вечер, когда я поздно вернулся из города, а ты меня дождалась... Ты себе не представляешь, какое

влияние ты имеешь на меня. В то время я не мог сразу подыскать себе какое-нибудь дело, так как пришлось уехать в Рим. А потом умер отец. Но слова твои запали мне в душу, и скажу откровенно: то, что я вернулся в Польшу и решил тут поселиться навсегда и чем-нибудь заняться, это твоя заслуга. И если я в конце концов сделаю что-либо путное в жизни, этим я буду обязан тебе.

С минуту оба мы молчали. В парке стояла тишина, только по-прежнему свистели иволги. Анелька, видимо, искала слов для ответа. Наконец она сказала:

– Не могу поверить, чтобы такой человек, как ты, не имел других, более серьезных причин переменить свою жизнь. Ты отлично знаешь, что это – твой долг. А т о – дело прошлое, с тех пор все переменялось...

– Кое-что переменялось, а кое-что нет, – возразил я. – Может, принявшись за какое-нибудь дело, я со временем увлекусь им и оно станет любимым делом моей жизни. Но такой человек, как я, который, что ни говори, никогда не считал нужным заняться чем-нибудь, должен иметь особые личные причины для коренной перемены жизни. И чем более жизнь ему в тягость, тем нужнее такой душевный толчок... Я несчастлив – к чему лгать тебе? Сознание общественного долга – вещь прекрасная, но, к сожалению, у меня его нет. Ты лучше меня, благороднее, ты могла бы мне его внушить... Вышло иначе... Но я и сейчас помню, чего ты когда-то от меня требовала. Только ради тебя и при твоей помощи я смогу за что-нибудь приняться.

Анелька пошла быстрее, словно торопясь вернуться в дом, и почти шепотом сказала:

– Не говори так, Леон, прошу тебя, не надо! Ты сам понимаешь, что я не могу согласиться на такие отношения...

– Почему? Не пойми меня превратно. Ты для меня навсегда останешься горячо любимой сестрой. Только это я и хотел сказать.

Анелька стремительно протянула мне руку, а я поднес эту руку к губам медленно и с глубочайшей почтительностью.

– Да, всегда, всегда буду тебе сестрой, – торопливо сказала она.

Я видел, что у нее камень с души свалился, так успокоило ее, тронуло и подкупило одно это слово «сестра». Это помогло и мне сохранить самообладание, – а в первое мгновение, когда я коснулся губами дорогой руки, у меня даже в глазах потемнело и страстно захотелось обнять Анельку, прижать к груди и сказать ей всю правду.

А у Анельки лицо прояснилось, она повеселела. Чем ближе мы подходили к дому, тем она становилась спокойнее, а я, убедившись, что такой тактикой легче завоевать ее доверие, продолжал тоном обычного разговора:

– Видишь ли, сестренка, вокруг меня – такая страшная пустота. Отец умер, тетя – святая женщина, но нам с ней трудно найти общий язык, она не понимает новые времена и новых людей. У нее и у меня на все совершенно разные взгляды. Жениться я никогда не женюсь... Подумай только, как я одинок! Никого у меня нет. Не с кем поделиться мыслями или планами, некому поверять свои огорчения... Пустыня – и только. Скажи сама – удивительно ли, что я ищу сочувствия там, где надеюсь найти его? Я похож на нищего калеку – стоит он у ворот и ждет, не вынесут ли ему несколько грошей. Сейчас этот попрошайка и вправду очень бедный, стоит под твоим окном и вымалывает каплю милосердия и дружеского сочувствия. Он и думать не

смеет ни о чем, кроме милостыни. А в милостыне ты ведь ему не откажешь, да?

– Да, Леон, да, – отвечала Анелька. – Тем более если тебе так тяжело...

Она не договорила – голос ее оборвался, губы дрожали. Опять потребовалось мне огромное усилие воли, чтобы не упасть к ее ногам. Ее волнение так меня тронуло, что к горлу подступил комок.

– Анелька, Анелька! – произнес я, не находя других слов.

А она замахала руками, словно обороняясь, и наконец шепнула сквозь слезы:

– Сейчас... сейчас пройдет... Не могу я такой войти в дом... Извини...

И она быстро ушла.

– Прости меня, Анелька! – крикнул я ей вслед.

В первый момент я хотел бежать за ней, потом подумал, что лучше ей побыть одной, и только проводил ее глазами. Она побежала назад, в ту же аллею, по которой мы гуляли, потом свернула в сторону. По временам она скрывалась за деревьями, затем светлое платье снова мелькало среди них, белея на солнце. Я видел издали, как она то закрывала, то открывала зонтик, словно этими механическими движениями пробовала себя успокоить. А я все время говорил ей мысленно самые нежные слова, какие может изобрести любовь. Я не мог себя заставить уйти, не заглянув еще хоть раз ей в лицо. Мне пришлось ждать довольно долго. Наконец она вернулась, но поспешно прошла мимо, словно опасаясь нового волнения. Только на ходу улыбнулась мне ангельски-кроткой улыбкой и сказала:

– Прошло! Прошло!

На ее лице, разрумившемся от быстрой ходьбы, уже не видно было слез. Я остался один, опьяненный безумной радостью. Душа была полна надежды, а в голове – одна мысль: «Она любит меня, она пробует защищаться, не поддается, обманывает себя, но она любит». Иногда самый рассудительный человек от избытка чувств может прийти до сумасшествия, и я в эти минуты был к нему близок. Мне хотелось бежать в глубь парка, кататься там по траве и кричать во весь голос, что Анелька меня любит, любит!

Сейчас, уже спокойнее вспоминая этот взрыв радости, я вижу, что она складывалась из множества чувств. Был тут и восторг художника, который чувствует, что задуманный шедевр ему удастся, было, пожалуй, и удовольствие паука, уверенного, что мухе не миновать его сетей. Но была и нежность, и жалость, и все те добрые человеческие чувства, которым, по словам поэта, радуются ангелы на небесах. Жаль мне было этой беззащитной бедняжки, которая непременно попадет ко мне в руки, и в то же время эта жалость разжигала любовь, а значит, и жажду обладать Анелькой. Я испытывал угрызения совести из-за того, что ее обманываю, и вместе с тем чувствовал, что еще никогда в жизни не говорил так искренне и от всего сердца.

Ведь не лгал же я, моля ее о сочувствии и дружбе! Они тоже мне нужны, как воздух. Я только не высказал ей всех своих желаний, – для этого еще не пришло время. Я не сказал всей правды, чтобы не испугать этой дорогой мне, робкой души. В конце концов я ведь стремлюсь и к своему и к ее счастью, избрав ту дорогу, которая вернее других ведет к нему.

10 мая

Небо безоблачно, и отношения между нами – тоже. Анелька спокойна и счастлива. Она свято верит, что я питаю к ней одни лишь братские чувства, и, так как любить меня, как брата, совесть ей разрешает, она дала волю сердцу. Я один знаю, что это только лояльный способ обманывать самое себя и мужа, ибо под прикрытием «сестринской привязанности» таится и растет в ней иное чувство; но, разумеется, я и не подумаю вывести ее из заблуждения, пока это чувство не станет непреодолимым... Скоро оно охватит ее, как огонь, и его не погасит ни воля, ни сознание долга, ни стыдливость этой женщины с душой белоснежной, как лебедь. Пока и мне хорошо, так хорошо, что, кажется, ничего больше не желал бы, но только при том условии, чтобы никто другой не имел на нее никаких прав. Мне все чаще и чаще приходит мысль, что, любя ее больше, чем все, я имею на нее и наибольшие права. Что может быть логичнее и справедливее? Ведь по этике всех народов и всех религий мира основой союза мужчины и женщины должна быть любовь.

Но сейчас я так умиротворен и счастлив, что хочу не рассуждать, а жить одними чувствами. Между нами установились самые сердечные и непринужденные отношения, как между старыми друзьями. Да, мы созданы друг для друга. Как нас тянет друг к другу, как бедная девочка отогревается и блаженствует в соблазнительном тепле моих «братских» чувств! За все время, что я здесь, на родине, я не видел Анельку такой веселой, как сейчас. Раньше я не раз, глядя на нее, вспоминал шекспировского «бедного Тома». Таким натурам любовь нужна, как воздух, а этот Кромицкий, занятый коммерцией, недостаточно ее любит, да и не способен любить. Она вправе была бы жаловаться и повторять за Шекспиром: «Бедному Тому холодно». Я не могу думать об этом без волнения и в душе даю себе клятву, что, пока я жив, ей не будет холодно.

Если бы в любви нашей было что-то дурное, мы не знали бы такого душевного мира. Хотя Анелька и не называет своего чувства по имени, все равно – это любовь. Весь нынешний день был для нас настоящей идиллией. Я прежде не любил воскресенья, а сегодня узнал, что воскресенье может все, с утра до вечера, быть сплошной поэмой, в особенности в деревне. Сразу после чая мы пошли в костел к ранней обедне. С нами пошла и тетушка. Даже пани Целина, по случаю чудесной погоды, попросила, чтобы ее отвезли туда в кресле. Молящихся в костеле было немного, – большинство ходит только к «большой», то есть поздней обедне. Сидя на скамье подле Анельки, я блаженствовал, воображая, будто она моя невеста. По временам я поглядывал на ее милый профиль, на руки, сложенные на пюпитре, и мне невольно передавалась та глубокая сосредоточенность, которая была в ее позе и лице. Страсть моя дремала, мысли были чисты, и я любил ее в эти минуты любовью идеальной, чувствуя, как никогда, что она ничуть не похожа на тех женщин, которых я знал до нее, – и во сто крат чище и лучше их.

Давно я не был в таком настроении, как в это утро в деревенском костеле. Создавало его и присутствие Анельки, и атмосфера торжественности, царившая в костеле, слабое мерцание свеч во мраке алтаря, и радужные лучи света, струившиеся сквозь цветные стекла, и чирикание воробьев за окнами, и негромкий голос ксендза, служившего обедню. Во всем этом чувствовалась еще как бы сонная пега раннего утра, и все действовало необыкновенно успокоительно. Мысли мои струились так же плавно и тихо, как дым из камина перед алтарем. В душе просыпалась готовность к самоотречению, и внутренний голос твердил: «Не мути ты этой прозрачной воды, пощади ее чистоту».

Между тем обедня кончилась, и мы вышли из костела. У входа я с немалым

изумлением увидел старых родителей умершего Латыша: они сидели на земле с деревянными чашками в руках и просили милостыню. Тетушка, которой было известно о моем даре, увидев их, вскипела и стала их бранить, но старуха Латыш, протягивая нам свою чашку, спокойно возразила:

– Что пан нам пожаловал, то само по себе, а воля божья сама по себе. Супротив божьей воли нельзя идти. Коли нам Исус велел тут сидеть, так и будем сидеть. Ныне и присно и во веки веков, аминь.

Против таких умозаключений спорить трудно. Меня особенно восхитило это «во веки веков, аминь», так что я даже, забавляясь оригинальностью положения, подал им милостыню. Народ наш верует главным образом в предопределение и, слепо ему покорный, по-своему сочетает эту веру с христианской религией. Старики Латыши, получив от меня тысячу двести рублей, теперь богаче, чем были когда-либо, и все-таки пошли побираться в убеждении, что им так предопределено, и это предопределение старушка называет по-своему: «Божья воля».

Мы возвращались домой. Колокола уже сзывали к поздней обедне, и навстречу нам к церкви шли толпы прихожан. Крестьяне и крестьянки с дальних хуторов гуськом брели межой через поля, среди хлебов, хотя еще зеленых, но поднявшихся уже высоко благодаря ранней весне. Куда ни глянь, пестрели в воздухе платки девушек, как разноцветные маки среди зелени. Кстати сказать, нигде во всей Европе не встретишь таких широких просторов, как у нас. И еще поражает необычайно праздничное настроение, царящее здесь по воскресеньям не только среди людей, но как будто и в природе. Правда, погода вообще стояла великолепная, но казалось, что ветер не дует сегодня только по случаю воскресенья, и хлеба не колышутся в поле, и листья на тополях недвижимы, ибо празднуют с нами воскресенье. Повсюду царил блаженный тишь, глубокий покой, повсюду – море света и веселая пестрота воскресных нарядов.

Я стал объяснять Анельке с точки зрения художника, в чем красота окружающего нас пейзажа и красочных пятен, удивительно гармонирующих с голубыми тонами воздуха. Потом мы говорили о крестьянах. Признаюсь, я вижу в них только сборище более или менее живописных моделей. Анелька же относится к ним совсем иначе. Она рассказала мне много характерных подробностей их жизни, и печальных и веселых. Разговор и прогулка ее оживили, и она была так прелестна, что я, глядя на нее, невольно твердил про себя четыре последних строчки стихотворения, которое написал еще в университетские годы и успел позабыть все, кроме этих строк:

Дивлюсь только я, что цветы
Не растут у тебя под ногами.
Ведь ты – воплощенье весны,
Ты – май, к нам слетевший из рая.

Разговор опять зашел о Латышах, вернее – о старой Латышихе, рассуждения которой нас изрядно насмешили. Пользуясь тем, что тетушка осталась позади с пани Целиной, которую слуга вез в кресле, я мог говорить свободно и, применив к себе философию Латышихи, напомнил Анельке о нашей недавней прогулке в парке.

– Я тоже просил милостыни, – сказал я. – И ты мне ее подала. Ну, а теперь я знаю, что это меня ни к чему не обязывает, и я вправе сесть на паперти с деревянной чашкой в руках.

– Ага, и просить подаяния у других добрых душ! – подхватила Анелька. – Тетя как раз собирается пригласить одну такую добрую душу на завтра в Плошов. Теперь я

понимаю!

Я возразил, что такая громадина, как Клара Хильст, в одном сердце не поместится, так что любить ее надо было бы по меньшей мере втроем. Но Анелька не переставала меня поддразнивать и, грозя пальцем, повторяла:

– Знаю твой секрет, знаю!

– Напрасные подозрения! Сердце мое полно одних лишь братских чувств, и в нем царит безраздельно та злючка, которая меня сейчас донимает насмешками.

Анелька перестала смеяться и грозить мне пальцем. Она замедлила шаг, и через минуту старшие поравнялись с нами. Все-таки весь день прошел безоблачно и так весело, что я часто чувствовал себя снова студентом. Глазами я, правда, говорил Анельке «люблю», но страсти во мне молчали: слишком дорога была она мне в тот день. Тетушка тотчас после завтрака уехала в Варшаву, а я остаток дня просидел в комнате пани Целины – читал ей вслух письма Монталамбера, с которым отец мой когда-то переписывался. Письма эти нагнали бы на меня изрядную скуку, если бы не присутствие Анельки. Поднимая глаза от книги, я встречал ее взгляд, и сердце мое ширилось от радости, ибо, если чутье мне еще не изменило, она смотрела на меня, как смотрит женщина чистая и невинная, которая, сама того не зная, любит всем сердцем. Что за счастливый день! Вечером вернулась тетя и объявила, что завтра приедут гости: Снятынские и Клара Хильст.

Уже довольно поздно, но мне не спится – жаль расставаться с впечатлениями сегодняшнего дня. Никакой сон не может быть чудеснее их. Притом парк весь звенит соловьиными песнями, а во мне еще крепко сидит старый романтик! Ночь такая же прекрасная, каким был день, небо усыпано звездами. Думаю об Анельке и говорю ей мысленно: «Покойной ночи!» Сто раз повторяю эти слова. Вижу, что во мне, кроме «l'improductivite slave», есть еще вдобавок типично польская сентиментальность. Не знал этого до сих пор. Ну, да все равно. Как я ее люблю!

13 мая

Клара и Снятынские не приехали. Они известили нас, что приедут завтра, если погода будет подходящая. Сегодня над Плошовом пронеслась такая гроза, какой здесь и старожилы не помнят. Около десяти часов утра поднялся жаркий вихрь и затмил свет облаками пыли. Он дул не все время, но до полудня его покровы были так часты и так сильны, что деревья гнулись до земли. Наш прекрасный парк наполнился треском ломавшихся сучьев, среди клубов пыли кружились тучи сорванных ветром листьев. Могучая липа, росшая у правого флигеля, где умер молодой Латыш, раскололась надвое. Было нестерпимо душно, легким не хватало воздуха. Казалось, этот ветер выходит из пасти какой-то раскаленной печи и несет с собой смертельный угар. Привыкнув в Италии к сирокко, я переносил это довольно легко, но пани Целина жестоко страдала, Анелька страдала за нее, тетя в раздражении задала головной убор старому Хвастовскому за опустошения в парке. Вспыльчивый шляхтич за словом в карман не полез и, до сих пор помня «Одиссею» (видно, в школе его не раз драли за уши, чтобы лучше учил Гомера), ответил тетушке, что если бы он был богом ветра Эолом, то не служил бы у нее управляющим и не должен был бы терпеть несправедливые нападки. Тетя на сей раз быстро уgomонилась, – вероятно, потому, что небо грозило новыми бедствиями. После полудня буря внезапно утихла, но стали двигаться огромные гряды туч, то траурно-черные, то медно-красные с золотой опушкой. По временам становилось темно, как ночью, и пани Целина просила зажечь лампы, потом мрак сменялся зловещим красным светом. Вся природа как будто замерла от страха. Хвастовский побежал распорядиться,

чтобы пригнали скотину с поля, но оказалось, что пастухи уже до его приказа сами догадались это сделать: скоро мы услышали жалобное мычание коров, в этом затишье перед бурей доносившееся до самой усадьбы. Тетя, схватив лоретанский звонок[39], забегала вокруг дома, неистово звоня. Я даже не пытался объяснить ей, что этот звон в таком неподвижном воздухе может скорее вызвать, а никак не предотвратить гром и молнию. Отлично зная, что ничем ей помочь не могу, я все-таки сопровождал ее в этой экспедиции, потому что совестно было оставлять ее одну в опасности. Тетушка была просто великолепна, когда, подняв голову, глядела с вызовом на громады черных и медных туч и грозила им своим звонком. Я не жалел, что пошел с нею, ведь я видел перед собой как бы символическую картину: в минуту, когда все живое трепещет и, припадая к земле, замирает от страха перед грозой, одна лишь вера ничего не боится, вызывает стихии на бой. Да, что ни говори, а вера – это источник неизмеримой силы в душе человеческой.

Мы вернулись в дом, когда первые удары грома покатались по небу. Через несколько минут грохот стал непрерывным. Создавалось впечатление, будто гром ударяет по настилу из туч, настил этот каждый миг рушится и с неописуемым треском валится на землю. Молния ударила в пруд в конце парка, а затем тотчас же вторая – где-то ближе, и даже стены нашего дома задрожали до самого основания. Дамы мои начали молиться, а я переживал минуты крайне неприятные: мне казалось, что молиться вместе с ними будет с моей стороны лицемерием, а стоять в стороне – похоже на позу плохо воспитанного умника, который не желает считаться с освященным веками деревенским обычаем, а главное – естественным страхом слабых женщин. Впрочем, я скоро понял, что ошибаюсь, приписывая им страх: лица их были спокойны и даже ясны. Видно, эта традиционная молитва казалась им такой надежной защитой от всяких опасностей, что в сердцах их больше не было страха. Глядя на них, я думал еще, что я такой чужой среди этих трех польских женщин. Каждая из них знает в десять раз меньше меня, но, если мерить их обычной человеческой мерой, стоит в десять раз больше меня. Они подобны книге с небольшим числом страниц, но полной ясных и простых правил, а я – многотомному изданию, в котором нет ни единой бесспорной истины, и в каждой из этих истин я первый готов сомневаться.

Но эти неприятные размышления продолжались очень недолго – их рассеяла гроза, принимавшая все более угрожающие размеры. Снова налетел ветер, да такой сильный, что парк клонился под его напором. В иные минуты ветер вдруг утихал, и тогда потоки дождя поливали землю. Я видел не капли, а непрерывные струи воды, словно сеть соединявшие небо и землю. Аллеи парка превратились в бурные реки. Порой внезапный страшный порыв ветра распылял влагу, висевшую в воздухе, – и все кругом закрывал туман, такой густой, что за шаг ничего не было видно. Оглушительная канонада грома не утихала ни на мгновение. Воздух был насыщен электричеством. Я чувствовал, как кровь стучит у меня в висках, – даже в комнатах ощущался тот душливый запах бури, который распространяется после ударов грома. В конце концов и мысли мои и страсти разбушевались по примеру стихий. Я забыл о грозе, я видел только одну Анельку и, уже совершенно не владея собой, подошел к ней и спросил:

– Хочешь поглядеть на грозу?

– Хочу.

– Так пойдем в ту комнату... Там венецианское окно.

Она пошла за мной, и мы стали у окна. Вдруг наступил сплошной мрак, и каждые несколько секунд этот мрак рассекали молнии, белые и багровые, открывая глубину

небес, освещая наши лица и залитый дождем мир за окном. Анелька была спокойна и с каждым блеском молнии, освещавшим ее, казалась мне все более желанной.

– Не страшно тебе? – спросил я шепотом.

– Нет.

– Дай руку.

Она удивленно посмотрела на меня. Еще миг – и я схватил бы ее в объятия, припал бы губами к ее губам, а там – будь что будет, пусть хоть весь Плошов провалится под землю! Но Анельку испугала не гроза, а мой шепот и выражение моего лица. Быстро отойдя от окна, она вернулась в соседнюю комнату, где сидели мать и тетка.

А я остался один, рассерженный и униженный. Если бы она не ушла, я, несомненно, злоупотребил бы ее доверием, но сейчас считал, что она оскорбила меня своей недоверчивостью. И решил дать ей это понять. Взволнованный тем, что произошло, я не скоро пришел в равновесие. Еще добрый час стоял я у окна, бессмысленно глядя на спящие молнии. А между тем за окном становилось светлее, и наконец в щель меж разорвавшихся туч выглянуло солнце, такое яркое, словно вымытое; оно как бы удивлялось тому, что натворила гроза.

А бед она принесла немало: по аллеям парка еще текли желтые пенящиеся ручьи, унося сломанные ветви. Там и сям лежали сваленные бурей деревья, а на стволах тех, что уцелели, даже издали заметны были ссадины, точно зияющие раны. Куда ни глянь, везде опустошение и смерть, как после боя.

Когда вода немного схлынула, я пошел к прудам, чтобы осмотреть повреждения. Весь парк неожиданно закишел людьми, которые весело, с удивительной энергией стали собирать сломанные сучья, рубить упавшие деревья. Это окрестные безземельные крестьяне пробрались с топорами в наш парк через поваленный бурей забор, чтобы запастись дровами. В сущности, мне это было безразлично, но так как они вторглись в парк без разрешения и вели себя, как дикари, а я и без того был зол, то я стал разгонять их с гневом, возраставшим из-за их сопротивления. Я уже пригрозил им, что пожалуюсь войту, но вдруг за моей спиной самый дорогой для меня в мире голос произнес по-французски:

– Разве это плохо, Леон, что они очистят парк?

Я обернулся и увидел Анельку в платочке, завязанном под подбородком. Обеими руками она подобрала платье, открыв по щиколотку маленькие ноги в высоких сапожках, и, наклонясь вперед, просительно смотрела на меня.

Гнев мой вмиг испарился, я забыл недавнюю обиду и только смотрел, смотрел на нее, не мог досыта наглядеться.

– Ты приказываешь? – спросил я. Затем обратился к крестьянам: – Благодарите пани и можете забирать дрова.

Этот приказ они выполнили очень охотно. А мне доставляло огромное удовольствие то, что некоторые из них, не зная, кто такая Анелька, называли ее «паненка». Был бы Плошов мой, я бы по одному ее слову позволил им вырубить весь парк... Через полчаса весь бурелом был убран, и парк действительно принял более веселый вид.

Бродя вдвоем по аллеям, мы с Анелькой находили множество ласточек и других птиц, мертвых и полуживых, насквозь промокших. Я подбирал их и, передавая Анельке, касался при этом ее рук, смотрел ей в глаза, и на душе у меня было легко и радостно. Снова наступила идиллия, а с нею непринужденная веселость. Я ликовал в душе, видя то, чего не сознавала Анелька, – что в нашей якобы братской дружбе было вдвое больше нежности, чем может и должно быть между самыми любящими родственниками. Я больше не сомневался, что Анелька, сама того не сознавая, питает ко мне чувства совершенно такого же рода, как мои – к ней. Итак, мои надежды и планы уже более чем наполовину осуществились, оставалось только добиться, чтобы Анелька поняла, что любит меня, и перестала бороться со своей любовью.

Думая об этом сейчас, я счастлив и с будущим сердцем говорю себе то, что уже когда-то писал в дневнике: ни одна женщина не может противиться мужчине, если он дорог ее сердцу.

15 мая

Гости наши приехали не вчера, а только сегодня, – и хорошо сделали, так как уже основательно подсохло и погода стоит прекрасная. Этот день пятнадцатого мая будет одним из самых памятных в моей жизни. Сейчас уже за полночь, но я не сплю и спать не лягу: сон отлетел за тридевять земель, и я так возбужден, что не чувствую ни малейшей усталости и намерен писать до утра. Преодолею искушение начать с конца и запишу все по порядку. Мне в этом поможет привычка.

Тетушка послала лошадей за Снятынскими и Кларой очень рано, и около полудня они уже были в Плошове. Обе дамы приехали веселые, свежие и бодрые и чирикали без умолку, как воробьи, – их радовала и хорошая погода, и поездка за город. Что за туалеты! Какие сногшибательные шляпы! Клара была в светлом полосатом платье, в нем она казалась не такой огромной. Я заметил, что Анелька с первой же минуты встречи пытливо присматривалась к Кларе и, кажется, была удивлена ее красотой, о которой я до сих пор в наших разговорах о Кларе почти не упоминал, и вовсе не из какого-то расчета – нет, просто я настолько поглощен Анелькой, что многое ускользает от моего внимания. Так, например, хотя я дважды побывал у Снятыньских, я только сейчас, в Плошове, заметил, что Снятынская коротко остригла волосы и это к ней очень идет. Спадающая на лоб светлая челка делает ее похожей на розового бойкого мальчика. Мы с ней теперь в большой дружбе. Одно время она так злилась на меня за Анельку, что готова была утопить меня в ложке воды. Но, должно быть, муж ей рассказал, сколько я выстрадал, а женщины вообще питают особую слабость к людям, страдающим от любви, – вот она и простила мне все грехи и стала ко мне очень милостива. Присутствие этой живой, простой и милой женщины очень помогло сломать первый лед между Анелькой и Кларой. Тетя, благодарная Кларе за благотворительный концерт, приняла ее чрезвычайно сердечно. Анелька же, при всей своей приветливости и врожденной мягкости, держалась как-то натянуто и несмело. И только за завтраком, во время общего веселого разговора, она и Клара успели подружиться. Клару поразила красота Анельки, а так как эта простодушная женщина привыкла свободно высказывать свои мнения, она выразила свое восхищение при Анельке, но так мило и с такой искренней горячностью, что это не могло не тронуть Анельку. А пани Целина, завтракавшая в это утро вместе со всеми в столовой, от похвал Анельке просто расцветала у нас на глазах и, хотя, наверное, впервые в жизни оказалась в обществе представительницы артистического мира, все благосклоннее поглядывала на Клару. В конце концов она, обратившись к Кларе, сказала, что, хотя неудобно хвалить родную дочь, но она должна признать, что Анелька в детстве была очень недурна и обещала стать еще лучше. Оба Снятыньские тоже вмешались в этот разговор. Он немедленно заспорил с Кларой о различных

типах женской красоты и при этом обсуждал «тип» Анельки и степень его совершенства с такой забавной объективностью, как будто Анелька – портрет, висящий на стене, а не живая и присутствующая здесь женщина. Слушая его, она краснела, как девочка, и опускала густые ресницы, что придавало ей еще больше очарования.

Не вступая в разговор, я мысленно сравнивал лица трех молодых женщин, сидевших за столом, стараясь судить так же беспристрастно, как Снятынский, то есть независимо от того, что в Анельку я влюблен и поэтому она для меня самая привлекательная из женщин. Впрочем, сравнение все равно было в ее пользу. У Снятынской, в особенности теперь, когда она коротко подстригла волосы, – прелестная головка, но такие увидишь в любом английском Keepsake[40]. Красота Клары – в ее спокойных приятных чертах, а главное – голубых глазах и отличающей немом тонкой, почти прозрачной коже. Но если бы не то, что она – артистка и, глядя на нее, невольно думаешь о музыке, – ее лицо казалось бы, самое большее, миловидным. У Анельки же не только правильные черты лица: вся она словно задумана и создана художником в самом благородном стиле, и есть в ней при этом нечто настолько своеобразное, что ее невозможно отнести ни к какому общему типу. Быть может, своеобразие это кроется в том, что Анелька, не будучи ни брюнеткой, ни блондинкой, наружностью своей производит впечатление брюнетки, а складом души – впечатление блондинки. Или, может быть, дело тут в удивительной пышности волос при тонком личике. Во всяком случае, красота ее – единственная в своем роде. Анелька даже лучше Лауры Дэвис: красота Лауры безупречна, но это красота статуи. Она будила во мне только восхищение и чувственность, Анелька же будит во мне, кроме того, идеалиста, очарованного поэзией ее лица, поэзией новой, ранее ему неведомой.

Однако не стоит и сравнивать двух столь различных женщин. Мне эти мысли потому пришли в голову, что за завтраком об этом шел разговор, а мне всегда очень приятно слышать суждения о красоте Анельки. Разговор наш прервала тетушка, полагая, что ей, как радушной хозяйке, следует побеседовать с Klarой об ее недавнем концерте. И говорила она на эту тему много и дельно. Я даже не подозревал, что она так хорошо знает и понимает музыку. А свои комплименты Klarе она делала с такой изысканной любезностью знатной дамы, так красноречиво и мило, как это умеют только люди старшего поколения, кое-что позаимствовавшие у восемнадцатого века. Словом, я с удивлением убедился, что моя прямолинейная и резковатая тетушка способна, когда захочет, вспомнить век париков и мушек. Klarу это подкупило, и она не осталась в долгу, отвечая любезностями на любезности.

– В Варшаве я всегда буду хорошо играть, – говорила она. – Потому что здесь публика меня понимает. Но лучше всего я играю в тесном кругу знакомых, где мне все по душе. И, если позволите, я вам это докажу тотчас после завтрака.

Тете очень хотелось, чтобы пани Целина и Анелька услышали игру Klarы, но она сомневалась, удобно ли просить об этом гостью. Поэтому она обрадовалась предложению Klarы и пришла в прекрасное настроение. Я стал рассказывать о выступлениях Klarы в Париже, об ее триумфах в зале Эрара, а Снятынский рассказал, что говорят о ней в Варшаве. Так прошел завтрак. Когда мы встали из-за стола, Клара сама взялась за ручки кресла, в котором сидела пани Целина, чтобы перевезти ее в гостиную. Не позволив никому помочь ей, она сказала со смехом, что наверняка сильнее всех нас и не боится устать. Через минуту она уже села за фортепиано. Сегодня, видно, ее настроению больше всего отвечала музыка Моцарта: она заиграла «Дон-Жуана». Едва прозвучали первые аккорды, как мы увидели перед собой совсем другую Klarу: не того милого и веселого ребенка, с

которым болтали за завтраком, а живое олицетворение святой Цецилии. Казалось, существует какое-то таинственное сродство между ее внешним обликом и музыкой. В ней чувствовались душевное величие и гармония, которые делали ее выше обыкновенных женщин. В эти минуты я сделал одно открытие: влюбленный мужчина находит пищу для своей любви даже в том, что явно не в пользу любимой женщины. Когда я подумал, как далеко моей Анельке до этой Сивиллы, когда увидел ее в уголку гостиной, маленькую, притихшую и словно чем-то подавленную, я почувствовал, что люблю ее еще больше, что такой она мне еще дороже. Мне думается, женщина в действительности не такова, какой кажется большинству людей, а такова, какой ее видит влюбленный в нее мужчина. А потому ее безотносительное совершенство прямо пропорционально силе любви, которую она сумела внушить. У меня не было времени подумать как следует, но мысль эта мне очень понравилась, ибо уже смутно напрашивался вывод, что во имя этого женщина должна принадлежать тому, кто более всего ее любит.

Клара играла чудесно. Я старался по лицам слушателей угадать их впечатления и скоро заметил, что Анелька с той же целью наблюдает за мной. Было ли это простое любопытство, или безотчетная тревога сердца, которое не знает, чего опасается, но, несомненно, чего-то опасается? Я подумал: «Если я угадал верно, то это – новое доказательство ее любви ко мне». И от одной этой мысли почувствовал себя счастливым и решил сегодня же узнать правду.

С этой минуты я не отходил от Клары. Я беседовал с нею дольше и сердечнее, чем когда-либо до этого дня. В лесу, куда мы отправились всей компанией, я гулял только с Klarой и время от времени поглядывал украдкой на Анельку, шедшую поодаль со Снятынскими. Клара восторгалась нашим лесом – он и в самом деле очень хорош, в нем много лиственных деревьев, и под темным сводом сосен они образуют второй свод, гораздо светлее и веселее.

Солнце щедро посылало свои лучи в чащу леса сквозь просветы в листве и расшивало папоротники мерцающим золотым узором. Как всегда весной, вокруг куковали кукушки, где-то дятел долбил дерево.

Когда подошли Снятынские и Анелька, я попросил Klarу, чтобы она, когда вернемся домой, перевела нам на язык музыки этот лес, солнце, шелест деревьев и всю картину весны. А она ответила, что у нее в душе уже звучит песнь весны, и она попробует ее сыграть. По ее лицу и в самом деле видно было, что в ней что-то поет. В сущности, она подобна большой арфе, изливающей свои чувства лишь в музыке.

Лицо Клары сияло, на щеках пылал румянец. Анелька же, напротив, казалась чем-то угнетенной, хотя усердно старалась не отставать от Снятынских, которые расшалились, как дети. В конце концов они стали гоняться друг за другом по лесу. За ними побежала и Клара, которой этого делать не следовало бы: движения ее крупного тела не могли быть ловкими, и широкие бедра пресмешно колыхались на бегу.

В то время как остальные бегали наперегонки, я оставался с Анелькой. Согласно моей тактике следовало довести до ее сознания истинную причину ее тревоги. И я сказал:

– Что с тобой сегодня, Анелька?

– Со мной? Ровно ничего.

– А мне кажется, что ты чем-то недовольна. Может, тебе не нравится Клара?

– Она мне очень нравится. Не удивительно, что люди так ею восхищаются.

Разговор наш оборвался, так как подошли Клара и Снятынские. Пора было возвращаться. По дороге Снятынский спросил у Клары, действительно ли она так довольна своей поездкой в Варшаву.

– Лучшее доказательство – то, что я еще не собираюсь уезжать, – ответила она весело.

– Мы постараемся, чтобы вы остались с нами навсегда, – вставил я.

Клара слишком бесхитростна, чтобы подозревать скрытый смысл в том, что ей говорят, но на этот раз она вопросительно посмотрела на меня и, неожиданно смутившись, сказала:

– Все здесь так добры ко мне!..

Я знал, что моя фраза до некоторой степени – жульническая, так как может ввести Клару в заблуждение. Но мне важно было одно: увидеть, какое впечатление эти слова произведут на Анельку. К сожалению, я ничего не увидел, – Анелька как раз в этот момент стала застегивать перчатки и опустила голову так низко, что поля шляпы совершенно заслонили ее лицо. Однако ее внезапный жест я счел добрым предзнаменованием.

Мы вернулись домой. Нас уже ждал обед, и затянулся он до девяти часов вчера. Потом Клара импровизировала на фортепиано свою «Весеннюю песнь». Думаю, с тех пор как существует Плошов, здесь не слышали такой музыки. Но в этот вечер я слушал ее рассеянно, мысли мои были слишком заняты Анелькой. Я сел рядом с ней. В гостиной царил полумрак: Клара не позволила принести сюда лампы. Снятынский все время размахивал рукой, словно дирижируя, а жену его, видно, это раздражало, и она то и дело дергала его за рукав. Анелька сидела неподвижно. Быть может, и она, как я, уйдя в свои мысли, не слушала Кларину «Весеннюю песнь». Я был почти уверен, что она в эти минуты думает обо мне и Кларе, а главное – о смысле тех слов, что я сказал Кларе в лесу. Легко было угадать, что, если она и не влюблена в меня, если даже не догадывается, что чувство мое к ней гораздо сильнее братской привязанности, все же сейчас одно подозрение, будто другая женщина может отнять меня у нее, вызывает в ее душе ревность, чувство одиночества и горечи. Когда женщина несчастна в браке, она цепляется за каждое теплое чувство к ней, хотя бы это была только дружба, обвивается вокруг него, как плющ вокруг дерева, и боится лишиться этой опоры. Я нимало не сомневаюсь, что, упав я сейчас перед ней на колени и признайся ей в любви, она, ошеломленная этим признанием, вместе с тем обрадовалась бы, как человек, которому вернули нечто очень для него дорогое. «А если так, говорил я себе, – то не следует ли поторопиться с признанием? Только надо сделать это так, чтобы как можно меньше испугать ее и как можно больше обрадовать».

И я тотчас стал обдумывать форму признания, от которого, быть может, все будет зависеть. Оно должно было сразу обезоружить Анельку и не дать ей оттолкнуть меня навсегда. Мозг мой работал усиленно – задача была не из легких. Волнение мое все росло, и странно: я волновался не столько за себя, сколько за Анельку. Хорошо понимая, что это будет крутой перелом в ее жизни, я боялся за нее.

Между тем в гостиной стало светлее: из-за деревьев парка выплыла луна и отпечатала на полу четыре светлых квадрата, отражения окон. Звуки «Весенней песни» все еще наполняли комнату. А в открытую стеклянную дверь из глубины парка Кларе вторил соловей. Необыкновенный то был вечер – теплая майская ночь, музыка и любовь! Я невольно подумал: «Если жизнь не дает счастья, то по крайней мере часто дает подходящее для него обрамление».

В этом прозрачном сумраке я пытался встретиться глазами с Анелькой, но она упорно смотрела на Клару, которая в эти минуты казалась каким-то волшебным видением. Лунный свет, проникая все дальше в глубь гостиной, освещал теперь нашу пианистку за фортепиано, и Клара в своем светлом платье казалась серебряным духом музыки.

Однако иллюзия недолго длилась. Клара доиграла свою «Весеннюю песнь», и Снятынская немедленно подала сигнал к отъезду, она торопилась домой. Так как вечер был удивительно теплый, я предложил пойти всем пешком до самого шоссе, – до него от нас полверсты. Затеял я эти проводы, рассчитывая, что обратно мне придется возвращаться вдвоем с Анелькой: Анельке будет неудобно отказаться проводить гостей, а тетя с нами не пойдет. Расчет был верный. Я распорядился, чтобы экипаж ждал на шоссе, и мы двинулись пешком по липовой аллее, которая ведет от дома до самой дороги. Я предложил руку Кларе, но шли мы все рядом.

Нас провожал хор лягушек в плешовских прудах. Клара вдруг остановилась и долго прислушивалась к этому хору, то утихавшему, то еще громче разносившемуся вокруг. Наконец она промолвила:

– Вот вам финал моей «Весенней песни».

– Какая чудная ночь! – откликнулся Снятынский и стал декламировать прелестный отрывок из «Венецианского купца»[41]:

Как сладко дремлет лунный свет на горке!
Дай сядем здесь – пусть музыки звучанье
Нам слух ласкает; тишине и ночи
Подходит звук гармонии сладчайшей...
Дальше он не мог вспомнить, но я помнил и dokonчил за него:

Сядь, милый друг! Взгляни, как небосвод
Весь выложен кружками золотыми;
И самый малый из всех тех, что видишь,
Поет в своем движенье, точно ангел,
И вторит светлооким херувимам.
Гармония подобная живет
В бессмертных душах, но пока они
Земною грубой оболочкой праха
Укрыты плотно, мы ее не слышим.
Клара не понимает по-польски, и я повторил ей весь отрывок по-французски, в собственном, наскоро импровизированном переводе. Слушая, она, сама того не замечая, подняла глаза к небу и, когда я кончил, сказала, указывая на звезды:

– Я всегда знала, что они поют.

Оказалось, что и Снятынская так думает. Она утверждала, что не раз говорила это

мужу, но он никак не мог этого припомнить. Между супругами произошла перепалка, очень насмешившая меня и Клару. Одна Анелька почти все время молчала, не вмешиваясь в разговор. «Уж не сердится ли на меня моя дорогая девочка за то, что я взял под руку Клару и уделяю ей больше внимания?» – подумал я. Одно это предположение делало меня счастливым. Я всячески старался рассуждать здраво. «На обольщайся надеждой, будто она сознательно тебя ревнует, – говорил я себе. – Нет, она огорчена, а может, немного обижена – и только». В эти минуты я отдал бы легион таких артисток, как Клара, за то, чтобы можно было сказать Анельке, что я весь принадлежу ей. Снятынский говорил что-то об астрономии, но я слушал рассеянно, хотя меня безмерно интересует эта наука, которая по природе вещей не может ни себе, ни уму человеческому ставить пределов. Предел ее, как и духа человеческого, – Бесконечность.

Наконец мы дошли до шоссе, и там Снятынские с Кларой сели в коляску. Застучали колеса, донеслось уже издали последнее «до свиданья!» – и мы с Анелькой остались одни.

Мы сразу же повернули обратно к дому и долго шли молча. Кваканья лягушек больше не было слышно, только издали, от усадебных служб, доносились свистки ночных сторожей и лай собак. Я нарочно не заговаривал с Анелькой: такого рода молчание всегда означает, что между двумя людьми что-то есть. Пусть же мое молчание наведет на эту мысль и Анельку. Только, когда мы прошли уже полдороги, я сказал:

– Как чудесно мы провели сегодня день, не правда ли?

– Давно я не слышала такой музыки, – отозвалась Анелька.

– А все-таки ты была как будто чем-то недовольна. Меня не обманешь – я так внимательно присматриваюсь к тебе, что от меня не укроется малейшая тень на твоём лице.

– Ну, сегодня тебе было не до меня, ты был занят гостями. Спасибо за внимание, Леон, но, право же, ты ошибаешься. Я всем довольна.

– Сегодня я, как и всегда, занят был тобой одной. В доказательство я, с твоего позволения, сейчас скажу тебе, о чем ты думала весь день.

И, не ожидая этого позволения, я продолжал:

– Ты думала, что я поступаю примерно так же, как старики Латыши. Что я лгал тебе, говоря о пустоте, в которой живу. И, наконец, ты думала, что мне незачем было искать твоей дружбы, потому что я уже ранее нашел ее у другой. Угадал? Отвечай мне прямо.

С заметным усилием Анелька ответила:

– Что ж, если ты непременно хочешь... Ну, да... Пожалуй... Но это меня только радует.

– Что тебя радует?

– Твоя дружба с Кларой.

– Я к ней очень хорошо отношусь, но, как женщина, она мне безразлична, и не только она, но и все остальные. А знаешь почему?

С внутренней дрожью я сказал себе, что настала решительная минута. Подождав, пока Анелька повторит мой вопрос, я сказал, стараясь говорить как можно спокойнее:

– Ведь ты не можешь не видеть и не понимать, что я весь твой, тебя одну любил и люблю до сих пор безумно.

Анелька так и застыла на месте. Лицо мое похолодело, я почувствовал, что бледнею. Ведь не только у бедной Анельки в эту минуту земля уходила из-под ног, – дело шло и о моей душе. Но, зная, какого рода женщина передо мной, я поспешил ее обезоружить раньше, чем она опомнится и оттолкнет меня.

– Ты можешь не отвечать мне, – сказал я быстро. – Я ничего не хочу, ничего от тебя не добиваюсь – ничего, слышишь? Я хотел только сказать тебе, что ты завладела моей жизнью, и она твоя. Да ты и сама уже поняла это, так что мне молчать незачем. Повторяю, я ничего не жду и не требую. Не нужно меня отталкивать – ведь я тебе не навязываюсь... Я говорю с тобой об этом только как с другом или сестрой. Прихожу к тебе излить душу, потому что больше некому. Прихожу и жалею, что мне тяжело, потому что люблю женщину, которая принадлежит другому, а люблю я ее без памяти, моя Анелька, люблю безгранично.

Мы дошли уже до ворот и остановились в густой тьме под деревьями. Одно мгновение мне казалось, что Анелька сейчас склонится ко мне, как надломленный цветок, упадет в мои объятия. Но я ошибся. Справившись со своим волнением, Анелька вдруг стала повторять с какой-то страстной энергией, которой я в ней и не подозревал:

– Я не хочу этого слушать, Леон! Не хочу, не хочу, не хочу!

И метнулась в освещенный луной двор. Да, попросту убежала от меня, от моих слов и признаний. Через минуту она скрылась на крыльце, и я остался один со своей тревогой, страхом, горячей жалостью к ней и вместе с тем чувством торжества – да, я радовался, что слова, которые откроют нам обоим новую жизнь, уже наконец произнесены. Правда, пока я ни на что больше не мог рассчитывать, но семя, из которого что-то должно вырасти, было брошено в землю.

Войдя в дом, я уже не увидел Анельки, застал там только тетушку. Ходя по комнате, она бормотала молитву, а в промежутках, по обыкновению, разговаривала вслух сама с собой. Я пожелал ей спокойной ночи – мне хотелось поскорей уйти к себе. Я думал, что если стану записывать в дневник впечатления сегодняшнего дня, это меня успокоит и приведет в порядок взбудораженные мысли. Но я только еще больше устал и решил завтра (вернее, сегодня, ибо за окнами уже белый день) ехать в Варшаву. Пусть Анелька окончательно убедится, что я ничего не добиваюсь, а главное – надо дать ей время успокоиться и освоиться с тем, что я сказал ей. Но, если уж говорить всю правду, я хочу уехать еще и потому, что боюсь встречи с нею и хочу эту встречу оттянуть. По временам я упрекаю себя в том, что совершил нечто неслыханное, внеся элемент моей развращенности в эту душу, доселе такую чистую. Но, собственно говоря, разве корень зла не в том, что она стала женой человека, которого не любит и любить не может? Что же безнравственнее: моя любовь, проявление великого закона природы, или брак Анельки с таким человеком, брак, который грубо попирает этот закон? Законнейший союз мужчины и женщины становится постыдным, если он не основан на любви. Мне это совершенно ясно, но я такой слабый человек, что мне страшно даже задеть отжившую мораль. К счастью, это страх преходящий. Если бы я даже не был до конца убежден в своей правоте, в

одном я ничуть не сомневаюсь: сторонники этой морали не правы. И, наконец, все подобные сомнения рассеивает одно слово «люблю».

Сердце мое тает при мысли, что и она, быть может, сейчас не спит, плачет и борется с собой. Вот еще одно доказательство, что я ее люблю! И, значит, все, что происходит между нами и еще произойдет, неизбежно.

19 мая

Приехав в Варшаву, я весь тот день проспал мертвым сном. В Плошове я не сплю – днем дорожу каждой минутой, которую могу провести с Анелькой, а по ночам пишу. И оттого я устал до смерти, как-то осовел, но думать это мне не мешает. Мне немного стыдно, что я сбежал из Плошова и оставил Анельку одну под впечатлением моего признания. Но в отношениях с любимой женщиной некоторая трусость – не беда. И я, наверное, не сбежал бы, если бы это не требовалось для моего будущего счастья. В эти несколько дней Анелька, вставая утром, молясь, гуляя по парку, ухаживая за больной матерью, невольно будет твердить себе: «Он меня любит», – и это постепенно станет казаться ей все менее невозможным, все менее страшным. Человек привыкает ко всему, а женщина тем более легко осваивается с мыслью, что любима, в особенности если сама любит. Вопрос, любит ли она меня, я задал себе в первую же минуту, когда понял, что люблю ее, и с тех пор беспрестанно обдумываю этот вопрос со всех сторон, стараюсь взвесить все обстоятельства так беспристрастно, словно дело идет не обо мне, а о ком-то другом. И прихожу к заключению, что любит. Выходя замуж, она любила меня, а не Кромицкого; она только с отчаяния согласилась на брак с ним. Если бы она вышла замуж за человека незаурядного, который привлек ее славой своей или идеями, если бы еще муж этот обладал какими-то исключительными чертами характера, она, может быть, забыла бы меня. Но Кромицкий не мог увлечь ее своим маниакальным стремлением разбогатеть. Кроме того, он уехал вскоре после свадьбы, да еще продал Глухов, который для матери и дочери был целью жизни. На самый объективный взгляд, Кромицкий – маленький человек, и нет в нем ничего такого, чем он мог бы пленить эту женщину, полную идеальных чувств и порывов. Тут приехал я. Любовь ко мне в ней еще, вероятно, не угасла, а я с первых же дней волновал ее сердце воспоминаниями, каждым своим словом, каждым взглядом. Я старался ее увлечь, и помогал мне в этом приобретенный в жизни опыт, а главным образом та магнетическая сила, которую рождает истинная любовь. Прибавьте к этому и то, что Анельке было известно от Снятынского, сколько я выстрадал из-за ее решения, что она, должно быть, жалела меня, и жалость эта живет в ней до сих пор... Думая об этом, я говорю себе: в этой игре я ставлю жизнь на карту, но условия игры таковы, что я не могу проиграть.

Я прав так же, как прав всякий, кто защищает свою жизнь. Говорю это не в пылу увлечения, а совершенно спокойно и объективно. Нет у меня никаких убеждений, верований, принципов, никакой твердой почвы под ногами, – все то, что служит человеку опорой, выела во мне рефлексия и критика. Есть только врожденные жизненные силы, и они, не находя себе выхода и применения, сосредоточились на любви к этой женщине. Вот я и хватаюсь за нее, как утопающий за соломинку. Если не будет у меня и этой соломинки, я, наверно, пойду ко дну. Когда рассудок спрашивает, почему я, полюбив Анельку, попросту не женился на ней, я отвечаю то, что уже говорил раньше: не женился «попросту» потому, что я – человек не простой, а исковерканный. Таким вырастили меня две мои няньки: рефлексия и критика. Почему именно эта, а не другая женщина стала для меня якорем спасения – не знаю. Над этим я не властен.

Если бы она сегодня стала свободна, я взял бы ее без колебаний. Но если бы не было этого ее замужества, кто знает... Стыдно признаться... Быть может, я меньше

желал бы ее.

И это вовсе не романтика, это не потому, что брак мне представляется пошлой прозой жизни. Мне смешны такие устарелые взгляды. Нет, перебирая факты моего прошлого, я думаю, что, будь Анелька и сейчас незамужем, я стал бы без конца анализировать ее и свои чувства, – до тех пор, пока кто-нибудь не отнял бы ее у меня.

Лучше об этом не думать, потому что эта мысль приводит меня в ярость.

20 мая

Сегодня я призадумался над тем, что будет, когда я добьюсь любви Анельки, – вернее, ее признания. Будет счастье, да, но как мне тогда действовать? Этого я не знаю. Пожалуй, если вымолвить в Плошове при наших трех дамах слово «развод», – земля расступится и поглотит дом. О разводе не может быть и речи. Ни тетя, ни пани Целина не пережили бы такого удара. Я не обманываю себя и относительно Анельки: у нее такие же понятия обо всем, как у обеих старушек. Но как только она признается, что любит меня, я скажу это слово, и ей придется примириться с мыслью о разводе. Иного выхода у нас нет, но, пока живы тетя и пани Целина, придется ждать. Ничего другого не остается. Кромицкий, может, согласится на развод, а может, и нет. Если нет, я увезу от него Анельку на край света, хотя бы в Индию. И дело о разводе или аннулировании их брака начну против его воли. К счастью, денег у меня для этого достаточно. Я готов на все, и глубочайшее внутреннее убеждение совершенно оправдывает меня в собственных глазах. Теперь у меня не банальный роман, а любовь, в которую я вложил всю душу. Искренность и сила этого чувства оправдывают и мое поведение относительно Анельки. Я ее обманываю, внушаю ей, что мне нужна от нее только сестринская привязанность; лгу ей, уверяя, что ничего не добиваюсь, – но все это было бы гнусным коварством соблазнителя лишь в том случае, если бы самая любовь была обманом. А когда есть настоящее чувство, то все это только тактика, только дипломатия любви, один из ее ходов. Ведь пускаются же на всякие хитрости обрученные, чтобы добиться признаний. А я искренен даже тогда, когда лгу.

21 мая

Я сказал Анельке, что намерен чем-нибудь заняться, и действительно хочу найти себе дело, хотя бы уже потому, что обещал ей это. Для начала я решил перевезти в Варшаву коллекции покойного отца и основать здесь музей имени Плошовского. Это будет заслугой Анельки и первым полезным делом, к которому побудила меня наша любовь. Предвижу, что итальянское правительство этому воспротивится: в Италии существует какой-то закон, запрещающий вывоз из страны памятников старины и ценных произведений искусства. Но улаживать это будет мой адвокат. Кстати, я вспомнил, что в коллекции находится и та Мадонна Сассоферрато, которую отец завещал своей будущей снохе. Прикажу выслать ее мне немедленно, она мне здесь пригодится.

22 мая

Как люди злы! Этот Кромицкий, который где-то в дальних степях из кожи лезет, чтобы нажить миллионы, в то время как здесь его жене нашептывают слова любви, мне только смешон. И я рад, что та же мысль должна прийти в голову Анельке. А если не придет сама собой, я постараюсь внушить ее Анельке в самом обнаженном виде, без всяких прикрас. Кромицкого лучше всего характеризует то, что, продав Глухов, он оставил обеих женщин без крыши над головой. Он, вероятно, думал, что они поселятся в Одессе или Киеве, но болезнь пани Целины привела Анельку в Плошов.

Однако знал же он, какое слабое здоровье у пани Целины, и должен был предвидеть, что она может тяжело захворать, и тогда Анелька будет одна нести бремя горя и забот. Возможно, его дела требуют, чтобы он жил на Дальнем Востоке, – но зачем он тогда женился?

Завтра еду обратно в Плошов. Очень уж здесь тоскливо, а кроме того, хочется поскорее встретиться с Анелькой лицом к лицу: иногда у меня такое чувство, словно я бежал от ответственности. Уехать после моего признания следовало, но теперь пора вернуться. Кто знает, – а вдруг судьба ко мне милостивее, чем я думаю? Может, Анелька тоже тоскует по мне?..

Сегодня побывал у Снятынских, у Клары (ее я не застал дома) и у знаменитой здешней красавицы, пани Коруцкой. Она носит свою историческую фамилию, как жокейскую шапочку, а остроумием пользуется, как хлыстом, хлещет им всех по лицу. Впрочем, я вышел от нее без единой царапины, – напротив, со мной даже пококетничали. Потом я заезжал к доброму десятку знакомых, оставил свои визитные карточки. Хочу, чтобы в свете думали, что я теперь постоянно живу в Варшаве.

Перевозкой отцовских коллекций я не ограничусь – какая же это работа, для этого потребуются только мое согласие и мои деньги. И вот я думаю, чем бы заняться, помимо этого? У людей моего круга обычно одно лишь занятие – они управляют своими именами и своим состоянием и, кстати сказать, за немногими исключениями, распоряжаются им очень плохо, гораздо хуже, чем я. Очень немногие из них принимают какое-либо участие в общественной жизни. Здесь, в Польше, люди еще играют в аристократию и демократию, и есть среди них такие, которые цель своей жизни видят в борьбе с демократическим движением и в защите общественной иерархии. Я же вижу в этом только спорт, не хуже и не лучше всякого другого, и, поскольку я не спортсмен, он меня не занимает. Если бы это даже было не просто игрой, если бы в этом крылся какой-то практический смысл, – все равно: я слишком скептически отношусь к обоим лагерям, чтобы присоединиться к одному из них. Мои нервы не выносят демократов – я имею в виду, конечно, не простой народ, а всяких патентованных демократов. Ну, а об аристократии могу сказать одно: если действительно ее существование оправдывается историческими заслугами предков, то у нас большая часть этих заслуг такого сорта, что потомкам следовало бы надеть на себя власяницу и посыпать головы пеплом. А в общем, люди обоих лагерей, за исключением немногих безнадежных тупиц, сами в себя не верят. Они в личных целях прикидываются искренними, я же никогда не лицемерю, и, значит, участие в этой борьбе – не для меня.

Есть еще синтетики вроде Снятынского: они стоят вне обоих лагерей и стремятся слить оба лагеря в один. Они в большинстве своем – люди разумные, но если бы я даже и разделял их точку зрения, убеждения – еще не работа, при этом надо было бы что-то делать, в чем-то их проявлять. Вот Снятынский пишет пьесы. А я... Право, если внимательно присмотреться, – я существую как-то за скобками и не знаю, как попасть в них. Что ни говори, а это странно: человек с большими средствами, образованием, способностями, не лишенный силы воли, не находит, к чему руки приложить. Снова просят на язык проклятия, – вижу ясно, что и тут виновата чрезмерная утонченность моей психики. На мне можно изучать симптомы одряхления нашего века и нашей культуры, ибо болезнь эта у меня приняла типический характер. Кто скептически относится ко всему: к вере и науке, консерватизму и прогрессу, тому поистине трудно что-нибудь сделать в жизни.

А вдобавок, стремления мои удовлетворить очень трудно. Везде и всюду жизнь

держится на труде. Трудятся люди и у нас в Польше, этого нельзя отрицать. Но труд их – труд ломовых лошадей, которые, надрываясь, возят снопы в овин. Я, если бы даже хотел, для этого не гожусь. Я – кровный рысак и мог бы, пожалуй, везти какую-нибудь карету, но обыкновенную телегу по песчаной дороге любая кляча будет везти ровнее и спокойнее, чем я. На постройке дома я никак не смог бы перетаскивать кирпичи, пригодился бы разве для орнаментировки, но, к несчастью, когда строится простое жилище, такие мастера не требуются.

Впрочем, если бы я испытывал внутреннюю потребность работать или жаждал что-нибудь делать во имя догматов Снятынского, – может быть, я и заставил бы себя взяться за черную работу. Но, в сущности, мне нужна только видимость работы, нужна для того, чтобы понравиться любимой женщине. Анелька этот вопрос принимает так близко к сердцу, и ее бы это непременно подкупило. Но именно потому и самолюбие и расчет побуждают меня занять такое положение, которое возвысило бы меня в ее глазах. Ну, да там видно будет. Мне еще надо хорошенько осмотреться. А пока пушу в ход свой кошелек. Перевезу сюда отцовские коллекции, буду финансировать всякие учреждения и раздавать деньги направо и налево.

Удивительное влияние оказывает такая женщина, как Анелька! Вот встретился с нею типичный «гений без портфеля», такой ни к чему не пригодный человек, как я, – и едва только узнал ее, как без малейшего менторства с ее стороны уже чувствует себя обязанным ко многому, стремится к тому, к чему раньше вовсе не стремился. Черт побери, да мне никогда бы и в голову не пришло прельстить парижанку или венку тем, что перевезу мои коллекции в Париж или Вену!

Еду опять в Плошов – не терпится увидеть поскорее моего доброго гения.

23 мая

Я уезжал на время из Плошова еще и для того, чтобы дать Анельке время решиться на что-нибудь. В Варшаве и на обратном пути в Плошов я все время гадал: что же она решит? Я понимал, что не может она написать мужу прямо: «Приезжай и увези меня, потому что Плошовский преследует меня своей любовью». Она не сделала бы так даже в том случае, если бы меня ненавидела, – не такой у нее характер. Кроме того, это неизбежно вызвало бы столкновение между мной и Кромицким, и Анельке пришлось бы тогда оставить больную мать, так как пани Целину в ее состоянии нельзя увезти из Плошова.

Положение у Анельки действительно трудное, и я это принял в расчет, когда объяснялся ей в любви. Но сейчас, когда я возвращался в Плошов, меня испугала вдруг мысль, что она решит избегать меня и по возможности не выходить из комнаты матери. Однако через минуту-другую я успокоился. Живя в деревне, да еще под одной крышей, никак невозможно избежать встреч. Да и, кроме того, такое поведение Анельки бросилось бы в глаза и тете, и Анелькиной матери, возбудило бы подозрения и могло скверно отразиться на здоровье пани Целины.

По правде говоря, я бессовестно пользуюсь создавшимся положением, но кто же этого не делает, когда любит? Я догадывался, что Анелька, как бы горячо она меня ни любила, не позволит мне повторить мое признание, что она будет сопротивляться гораздо упорнее, чем обычно сопротивляются замужние женщины, так как при ее скромности и нравственных правилах малейшая уступка будет ей казаться неслыханным преступлением. Но разве она может помешать мне говорить о своей любви? Есть один только способ: добиться моего добровольного согласия. Я предполагал, что Анелька захочет решительного объяснения, – и не ошибся.

По приезде в Плошов я заметил, что она осунулась. Но смотрела она на меня довольно смело и спокойно. Видно, у бедняжки были наготове аргументы, в силу которых она свято верила; верила, что, когда она их выскажет, мне останется только склонить голову и замолчать навсегда. Наивное заблуждение ангельской души, воображающей, что есть только одна правда на свете! Милая моя Анелька, не вступай ты никогда со мною в философский спор! Если я и верую в какую-то правду и в какие-то аргументы, то только в правду и права любви. И притом я достаточно хитер, чтобы каждый твой аргумент вывернуть, как перчатку, и сделать его оружием против тебя же. Не спасут тебя ни твои рассуждения, ни моя нежность и жалость к тебе. Чем чище и прекраснее твоя душа, чем сильнее ты меня умилишь и растрогаешь, тем страстнее будет моя любовь, тем желаннее ты станешь мне. Ты можешь ждать от меня лишь крокодиловых слез, а слезы эти еще подстегнут мои хищные инстинкты. Таков заколдованный круг любви.

Как только я увидел Анельку, я почувствовал себя в этом заколдованном кругу. В самый день моего возвращения, после полудня, когда пани Целина крепко уснула на веранде, Анелька сделала мне знак идти за нею в глубь сада. По ее лицу, поразившему меня своей необычной серьезностью, я понял, что настала минута решительного объяснения, и торопливо пошел за нею. Но чем дальше мы отходили от веранды, тем больше таяло мужество Анельки. Она побледнела и явно испугалась собственной решимости. Но отступить было уже поздно.

– Если бы ты знал, – заговорила она дрожащим голосом, – как мне было тяжело все эти дни!..

– А мне, думаешь, легко? – отозвался я.

– Нет, этого я не думаю. И потому хочу обратиться к тебе с большой просьбой... Знаю, ты все можешь понять, ты добр и великодушен и не откажешь мне. Да, да я в этом уверена, я знаю тебя.

– Ну, скажи же, чего ты хочешь?

– Леон, уезжай за границу и не возвращайся до тех пор, пока моя мама не будет в состоянии уехать из Плошова. Так нужно, Леон!

Я знал заранее, что она именно этого потребует, но с минуту молчал, как бы не находя ответа.

– Ты можешь распорядиться мною как хочешь, – промолвил я наконец. – Но скажи мне хотя бы, за что ты меня приговариваешь к изгнанию.

– Это не изгнание. Ты сам знаешь, почему тебе следует уехать.

– Знаю, – подтвердил я с непритворной грустью и покорностью. – Это потому, что я готов отдать за тебя всю свою кровь до последней капли. Потому, что, если бы сейчас молния должна была ударить в одного из нас, я заслонил бы тебя и подставил ей свою голову. Потому, что я готов взять на себя все несчастья, какие могут тебя встретить в жизни. Это потому, что я люблю тебя больше жизни... Да, все это поистине тяжкие грехи.

– Нет, – с неожиданной твердостью перебила меня Анелька. – Ты должен уехать потому, что я – жена другого. Я его люблю и уважаю – и не хочу слышать от тебя больше таких слов!

Гневное возмущение, подобно электрической искре, всколыхнуло меня всего. Я знал, что Анелька говорит неправду. Все замужние женщины, когда оказываются на распутье, пробуют, как щитом, заслониться любовью и уважением к мужу, хотя бы в сердце у них не было и следа этих чувств. Тем не менее слова Анельки так резнули меня по нервам, что я едва удержался, чтобы не крикнуть ей: «Лжешь, не любишь ты его и не уважаешь!» Но я тут же подумал, что ее решимость скоро растает, и ответил почти смиренно:

– Не сердись, Анелька, я уеду...

Я видел, что моя покорность ее обезоружила, что ей уже меня жаль. Она вдруг сорвала листок с низко свисавшей ветки и стала нервно разрывать его. Слезы душили ее, и она делала невероятные усилия, чтобы не разрыдаться.

Я тоже был взволнован до глубины души и с трудом заговорил:

– Но ты не удивляйся, что я медлю... Ведь это жестокая несправедливость... Я уже тебе говорил, что ничего больше не хочу – только дышать с тобой одним воздухом, смотреть на тебя. Бог видит, не так уж это много! И в этом все мое счастье. А ты у меня отнимаешь и его. Подумай только: ведь каждый может сюда приехать, говорить с тобой, глядеть на тебя, – а мне это запрещается только потому, что мне ты дороже, чем другим. Какая утонченная жестокость судьбы! Вообрази себя хоть на миг на моем месте. Это будет тебе нелегко, ты ведь не ощущаешь такой пустоты в душе, ты любишь мужа или тебе кажется, что любишь, а это почти одно и то же... Но ты все-таки вообрази себя на моем месте – и поймешь, что это изгнание для меня хуже смертного приговора. Надо же и меня пожалеть немного! Знаешь ли ты, что, прогоняя меня, отнимаешь у меня не только счастье видеть тебя, но и единственную зацепку в жизни? Я уже тебе говорил, что вернулся на родину, чтобы стать ей полезным. Быть может, в этом я нашел бы забвение и покой душевный; может, искупил бы свои старые грехи. Вот недавно я решил перевезти сюда из Италии отцовские коллекции, а ты мне велишь отказаться от всего, все бросить и ехать куда глаза глядят, снова вести ту же бесцельную и беспросветную жизнь! Хорошо, я уеду! Но уеду лишь в том случае, если ты через три дня повторишь свое приказание, потому что до сих пор ты еще, быть может, не понимала, что оно для меня значит. Теперь ты это знаешь. И я прошу у тебя только три дня отсрочки, не больше.

Анелька закрыла глаза рукой и прошептала:

– О, боже! боже! боже!

Это было так трогательно, как жалоба ребенка на свою беспомощность, и сердце мое захлестнула великая жалость. Была минута, когда я хотел упасть к ее ногам и согласиться на все, чего она требовала. Но в ее жалобе чувствовалось, что моя победа близка, и я не смог отказаться от плодов этой победы.

– Послушай, Анелька, – сказал я, – я уехал бы немедленно, еще сегодня, и далеко, за моря и океаны, если бы знал, что это тебе нужно не только для того, чтобы присутствие несчастного человека не смущало твой покой, а еще и для успокоения собственного сердца. Говорю с тобой сейчас, как твой друг и брат. От тети я знаю, что ты меня любила. Если эта любовь еще живет в твоём сердце, меня завтра же здесь не будет.

Мне подсказала эти слова искренняя душевная боль, но в то же время они были опасной ловушкой для Анельки, ибо могли вырвать у нее признание. Если бы так случилось, я, возможно, и в самом деле уехал бы завтра, но в ту минуту, видит бог, не вытерпел бы и сжал бы ее в объятиях. Однако Анелька только вздрогнула, словно я неосторожно дотронулся до ее открытой раны, и лицо ее вспыхнуло от возмущения.

– Нет! – воскликнула она запальчиво. – Неправда это, неправда! Уезжай или оставайся, как хочешь, но это неправда! Неправда!

Ее горячность убеждала меня, что это правда. И много овладело желание сказать ей это прямо в глаза, безжалостно и грубо. Но вдруг я увидел шедшую к нам тетю. Анелька не успела овладеть собой, и тетушка при первом взгляде на нее тотчас спросила:

– Что с тобой? О чем это вы говорили с Леоном?

– Анелька рассказывала мне, как тяжело продажа Глухова отозвалась на здоровье ее матери, – сказал я. – И не удивительно, что она взволнована...

То ли душевные силы Анельки были уже вконец исчерпаны, то ли моя ложь, которую она как бы подтвердила своим вынужденным молчанием, была последней каплей, переполнившей чашу горечи, – как бы то ни было, она вдруг расплакалась. Неудержимые рыдания сотрясали ее тело. Тетя обняла ее и прижала к себе, как ребенка.

– Родная моя деточка, что ж поделаешь! На все воля божья, – сказала она. – У меня вот во время недавней бури град побил весь хлеб на пяти фольварках, а я даже пану Хвастовскому слова не сказала.

Это упоминание о граде и пяти фольварках показалось мне таким эгоистичным и все огорчения тетушки такими ничтожными в сравнении с единой слезой Анельки, что я вдруг страшно разозлился.

– Ах, при чем тут ваши фольварки, когда речь идет о здоровье ее матери! – бросил я резко и ушел.

Я страдал, чувствуя, что мучаю женщину, которую люблю больше всего на свете. Я как будто одержал полную победу, а между, тем на душе у меня было так тяжело, словно мне грозило что-то страшное и неведомое.

25 мая

После нашего последнего разговора прошло три дня. Анелька не повторила своего требования, так что я остаюсь. Она редко говорит со мной, все больше сидит у себя в комнате, но нельзя сказать, чтобы она решительно избегала меня. Вероятно, боится, как бы на это не обратили внимания тетя и пани Целина. Я к ней нежен, внимателен, всячески выражаю дружеские чувства, но общества своего ей не навязываю. Пусть думает, что моя любовь сама себя выдает, я же делаю все, чтобы скрыть ее. Она увидит, конечно, что любовь моя крепнет, – она действительно крепнет с каждой минутой. Не может быть, чтобы на Анельку это не подействовало. Во всяком случае, у нас с ней уже есть свой отдельный мирок, в котором нас только двое. У нас есть общие тайны от тети и пани Целины. Когда мы разговариваем о вещах посторонних, когда на людях стараемся сохранять видимость прежних отношений, мы оба одинаково чувствуем, что в глубине души скрываем

что-то иное. И, наконец, у меня есть уже слова и взгляды, которые понимает только она, Анелька. Это вышло само собой, хотя против ее воли, и создает между нами близость. Время, привычка, терпение сделают остальное. Я опутал ее тысячами нитей моей любви, и они будут связывать нас все крепче и крепче. Все это было бы напрасно лишь в том случае, если бы она любила мужа; тогда я, вероятно, своими усилиями внушил бы ей только ненависть. Но прошлое – за меня, а настоящее тоже не в пользу Кромицкого. Я думаю об этом с объективностью постороннего человека и все снова и снова прихожу к убеждению, что Анелька его любить не может. Соппротивление ее – это внутренняя борьба души необычайно чистой, которая не допускает и мысли о вероломстве. Но в этой борьбе ей не на что опереться. Я не обманываю себя, знаю, что сопротивление ее будет длительным, сломить его будет трудно. Придется всегда быть начеку, все предвидеть и принимать во внимание. Я должен ткать мою сеть из тончайших, почти невидимых нитей. Мне нельзя будет никогда нажать какую-нибудь клавишу преждевременно или чересчур сильно. Но все равно я буду остерегаться промахов и не успокоюсь до тех пор, пока не переделаю эту душу на свой лад. В конце концов, если я в чем и ошибусь, источником этих ошибок будет любовь, а потому я надеюсь, что и они мне не повредят, а помогут.

26 мая

Сегодня я сообщил Снятынскому, что твердо решил перевезти отцовские коллекции в Варшаву. Написал я ему это, рассчитывая, что от него новость узнают в редакциях газет, а те не замедлят мое решение объявить великой гражданской доблестью. Анелька невольно станет сравнивать меня и Кромицкого, и сравнение, конечно, будет в мою пользу. Я телеграфировал в Рим, чтобы мне как можно скорее отдельно переслали Мадонну Сассофферато.

За завтраком я нарочно при всех сказал Анельке, что мой отец завещал ей эту картину. Она смутилась, догадавшись сразу, что отец считал ее тогда своей будущей снохой. На самом деле, в завещании даже не было упомянуто ее имя, сказано только: «Голову Мадонны номер такой-то завещаю моей будущей снохе». Но именно поэтому я и захотел отдать ее Анельке. Намека на этот пункт завещания было достаточно, чтобы всколыхнуть в нас обоих целый рой воспоминаний. Затем-то я и заговорил о Мадонне, чтобы напомнить Анельке то время, когда она меня любила и ничто не мешало ей любить меня. Я знаю, в ее сердце с того времени осталось много горечи и много обиды на меня. Иначе и быть не может. Я бы окончательно пал в ее глазах, если бы не моя мольба, переданная через Снятынского в последний момент. Это – единственное, что смягчает мою вину. Анелька не может не помнить, что я хотел все исправить, что я ее любил, страдал, раскаялся и каюсь до сих пор, что если мы оба теперь несчастливы, то в этом есть доля ее вины. Такие мысли заставят ее простить мне мой грех, пожалеть о прошлом. И она в мечтах будет упиваться картинами того счастья, какое было бы сейчас возможно, если бы не моя вина и ее суровость.

Я и сейчас прочел по ее лицу, что она боится этих упоительных видений и старается рассеять их беседой о вещах ей безразличных. Тетушка так сейчас поглощена предстоящими скачками, что ни о чем другом думать не может. Она надеется, что наш Ноти-бой получит первый приз. Анелька затеяла с нею разговор о скачках, но говорила о них рассеянно, лишь бы не молчать, и задала тете несколько таких вопросов, что та наконец вознегодовала и сказала ей с досадой:

– Дитя мое, да ты, я вижу, никакого понятия не имеешь о скачках!

А я взглядом сказал Анельке: «Знаю, что ты сейчас пробуешь заглушить в себе», – и она поняла меня так хорошо, как будто я сказал это вслух. Я почти уверен, что

она, как и я, думает только о наших отношениях. Мысль о любви вне брака уже посеяна в ее душе, растет в ней и не оставляет ее ни на минуту. Анельке придется с нею жить и сжиться с нею. При таких условиях сердце женщины, даже если она любит мужа, может от него отвернуться. Капля камень долбит. Если Анелька любит меня хоть немножко, если ей дорого наше прошлое, она должна стать моей. Не могу и думать об этом спокойно, у меня дух захватывает от предчувствия счастья.

На морских побережьях встречаются кое-где зыбучие пески. Человеку, ступившему на них, нет спасения. И вот иногда мне кажется, что моя любовь похожа на такие пески. Я увлекаю на них Анельку, но и сам погружаюсь в них все глубже.

Пусть мы погибнем – лишь бы вместе!

28 мая

Тетушка проводит теперь по шесть – восемь часов в день в Бужанах, на одном из своих хуторов в миле от Плохова, упиваясь лицемерием Ноти-боя и надзирающая за англичанином Уэбом, который тренирует ее любимца перед скачками.

Вчера и я провел там часа полтора. Ноти-бой и в самом деле конек многообещающий, авось он не окажется чересчур «naughty»[42] когда придет время себя показать.

Но что мне до всего этого!

Разные дела требуют моего присутствия в городе, но мне не хочется отлучаться из Плохова. Пани Целине хуже. Правда, «молодой Хваст» (как его называет тетя) считает, что это ухудшение временное, но все-таки он советует не оставлять больную одну и стараться ее развлекать, а то бедная женщина все думает об утрате любимого Глухова, и это еще больше расстраивает ей нервы. Я проявляю по отношению к ней сыновнюю заботливость – для того, конечно, чтобы заслужить благодарность Анельки и приучить ее видеть во мне самого близкого человека. В сердце моем нет больше прежней горькой обиды на пани Целину, – она так несчастна, а кроме того, я уже начинаю любить всех близких Анельки – всех, кроме одного!

Вчера и сегодня я несколько часов сидел у больной вместе с Анелькой и «Хвастом», читали, разговаривали. Пани Целина не спит по ночам, а доктор не разрешает ей принимать снотворное, так что днем она после каждого долгого разговора крепко засыпает. И удивительная вещь – будит ее только тишина! Поэтому, когда она засыпает, мы продолжаем читать вслух и разговаривать в ее комнате. Не будь здесь доктора, я мог бы совершенно свободно говорить с Анелей.

Газеты сегодня сообщают об окончании бракоразводного процесса красавицы Корицкой. Этой историей живо интересуется вся Варшава, а в особенности моя тетушка, так как она в дальнем родстве с Корицким. Я решил воспользоваться случаем и заронить в ум Анельки некоторые понятия, которые ей до сих пор были чужды.

– Напрасно тетя так возмущается поступком Корицкой, она не права, – сказал я Анельке тоном глубочайшего убеждения. – По-моему, Корицкая поступила разумно и честно. Воля человека кончается там, где начинается любовь. С этим даже тетя не может не согласиться. Если Корицкая любит другого, единственное, что ей остается, – это разойтись с мужем. Догадываюсь, что сказала бы на это тетя и что ты, Анелька, вероятно, думаешь сейчас. Ты думаешь, что ей остается еще выполнение долга – так, что ли?

– Да, ведь и ты, наверное, так думаешь, – ответила Анелька.

– Конечно. Надо только решить вопрос, в чем состоит долг Коруцкой...

Тут наш молодой доктор зачем-то счел нужным нас предупредить, что он не признает свободы воли. Но затем он стал слушать меня внимательно, не перебивая, так как ему нравилась смелость моих суждений. Лицо Анельки выразило удивление. Увидев это, я продолжал:

– Дико и бесчеловечно требовать от кого-нибудь, чтобы он пожертвовал любимым человеком для нелюбимого. Религии могут во многом сильно отличаться друг от друга, но этика у них всех одна. И согласно этой этике брак должен быть основан на любви. Что представляет собой брак? Союз нерасторжимый и священный, если основа его – любовь, в противном же случае – это только сделка, противоречащая требованиям и морали и религии, и, как безнравственная сделка, он должен быть расторгнут. Другими словами, долг жены налагается любовью, а вовсе не рядом торжественных обрядов, которые сами по себе – только формальность. Говорю я это потому, что сущность вещей ценю выше, чем форму. Знаю, слова «измена», «нарушение клятвы, данной перед алтарем» звучат очень страшно. Но не вообразайте, будто женщина изменяет мужу только тогда, когда бросает его. Нет, она изменила ему уже в тот час, когда почувствовала, что больше его не любит. Дальнейшее зависит от ее способности поступать логично, от ее мужества, от того, может ли ее сердце полюбить еще раз, или не может. Коруцкая любила того человека, ради которого она сейчас разводится, еще до брака с ее нынешним мужем. Она не вышла за него по какому-то недоразумению, приняв порыв ревности с его стороны за равнодушие. Это была ее главная ошибка. А если она теперь хочет свою ошибку исправить, если она поняла, что нельзя жертвовать любимым ради нелюбимого и что ее долг – долг перед любовью, а не перед «приличиями», – то порицать ее способны только ханжи или люди с повязкой на глазах.

В том, что я говорил, было столько же лжи, сколько искренности. Я прекрасно понимал, что тетушка ни за что на свете не согласилась бы с теорией, будто воля кончается там, где начинается любовь, но сослался на нее умышленно, чтобы внушить Анельке, что это истина, не подлежащая ни малейшему сомнению. Знал я также, что Коруцкая – женщина легкомысленная, и в защиту ее не стоит выдвигать тяжелую артиллерию принципов. Историю ее первой любви я просто выдумал для полной аналогии с историей Анельки. Зато, говоря о правах и обязанностях любви, я выражал свое искреннее убеждение. Может быть, я не ратовал бы за эту теорию так горячо, если бы она не была мне на руку, но люди судят всегда несколько субъективно, а тем более такой человек, как я, изверившийся во всех объективных истинах.

Я защищал свои интересы, и дурак бы я был, если бы говорил против себя. Я рассчитывал, что, внушая Анельке такие понятия, ускорю желательный перелом в ее сознании, так как они ей придадут смелости и помогут оправдаться в собственных глазах. Зная ее восприимчивость, я надеялся, что эта «прививка» окажет хоть какое-нибудь действие. Анелька меня отлично поняла, легко было заметить, что каждое мое слово ударяет по ее нервам, как по струнам. На щеках ее все ярче пылали розовые пятна, она несколько раз прикладывала к ним руки, словно пытаюсь их охладить, а когда я кончил, сказала:

– Все можно доказать рассуждениями. Но когда поступаешь дурно, совесть всегда твердит: «Нехорошо, нехорошо», – и ничем ее не убедишь.

Молодой Хвастовский, вероятно, подумал, что Анелька в философии полнейший профан. Я же, признаюсь, в первую минуту испытал ощущение фехтовальщика, острием шпаги наткнувшегося на стену. Возражение Анельки своей прямоотой и догматичностью обратило в ничто все мои доводы. Ибо, если утверждение, что воля кончается там, где начинается любовь, может еще вызвать сомнения, то, безусловно, аксиомой является то, что, где появляется на сцену догмат, там конец всяким логическим рассуждениям. Женщины, а в особенности польские женщины, следуют логике лишь до тех пор, пока она им ничем не грозит. Почувяв же опасность, они укрываются в крепости простых верований и катехизических истин, и крепость эту может разрушить только чувство, разум же перед ней бессилен. В этом их слабость и одновременно их сила, ибо мышление их менее развито, чем у мужчин, зато добродетель в известных условиях может быть непобедима. Дьявол может довести женщину до падения тогда только, когда вселит в нее страсть. Если же он попытается искушать ее философскими рассуждениями, ничего он не добьется, хотя бы рассуждал совершенно правильно.

Придя к такому заключению, я сильно пал духом. Я говорил себе, что, как бы искусны ни были мои построения, сколько бы труда они мне ни стоили, Анелька опрокинет их одним окриком: «Это дурно! Совесть этого не позволяет!» – и я буду бессилен. Притом я должен соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не испугать ее чрезмерной смелостью идей, которые я ей внушаю, и не оттолкнуть ее этим от себя.

А все-таки не могу я отказаться от таких попыток. Правда, они не сыграют существенной роли в процессе покорения ее души. Но они могут сыграть роль вспомогательную и ускорить развязку. Все мои усилия окажутся ни к чему лишь в том случае, если она меня не любит. Какая страшная была бы ошибка! Но все равно – даже и тогда должна же наступить какая-то развязка.

29 мая

Сегодня я застал Анельку в столовой. Она стояла на стуле перед большими стенными часами, в которых что-то испортилось. В тот момент, когда она поднялась на цыпочки, чтобы перевести стрелку, стул под ней покачнулся. Я только успел крикнуть «упадешь!» и, подхватив ее на руки, поставил на пол. Одно мгновение я прижимал к груди это любимое тело, волосы ее коснулись моего лица, я ощутил ее дыхание. У меня так закружилась голова, что я вынужден был и сам ухватиться за ручку кресла, чтобы не упасть.

Анелька это видела. Она знает, что я люблю ее без памяти! Не могу больше писать сегодня...

30 мая

День испорчен: опять Анелька утром получила письмо от Кромницкого. Я слышал, как она говорила тете, что он еще сам не знает, когда сможет приехать: быть может, скоро, а быть может, только через два месяца. Представить себе не могу, как я буду терпеть его присутствие здесь в качестве мужа Анельки. Порой мне кажется, что я этого не вынесу. Надеюсь только, что благоприятные обстоятельства задержат его на Востоке. Хвастовский объявил, что пани Целине, как только позволит состояние ее здоровья, следует ехать в Гаштейн. Это так далеко от Баку, что Кромницкий, я надеюсь, туда не поедет. А я поеду, как бог свят, поеду! Счастливая мысль пришла в голову нашему доктору! Счастливая и для меня и для пани Целины, – тамшние ванны могут восстановить ее силы. Я тоже очень устал и хочу подышать горным воздухом, а главное – побыть там с Анелькой. Завтра поеду в Варшаву и телеграфирую в курортное управление, чтобы для моих дам сняли квартиру. Если все

окажется занято, я готов купить целую виллу. Когда пани Целина заговорила о связанных с этой поездкой трудностях и хлопотах, которые свалятся на Анельку, я сказал: «Все это предоставьте мне». Затем, повернувшись к Анельке, добавил тихо: «Сделаю все как для родной матери». Я видел, что пани Целина (она все меньше верит в миллионы Кромицкого) опасается, как бы я не устроил все на слишком широкую ногу и не ввел их в большие расходы. И я тут же решил показать ей фиктивный расчет и взять на себя большую часть расходов. Разумеется, я им еще и не заикнулся, что собираюсь тоже ехать в Гаштейн. Я намерен так ловко повести дело, чтобы тетя сама мне предложила сопровождать их. И думаю, что мне это удастся, так как она далека от каких бы то ни было подозрений. Я почти уверен, что, когда стану с ней советоваться, куда бы мне поехать летом отдохнуть, тетушка скажет: «Да поезжай с нашими, и тебе и им будет веселее». Знаю, Анелька испугается, но, может быть, в каком-то тайном уголке души и обрадуется. Быть может, она вспомнит строки из «Кордиана»[43]: «Ты везде – надо мной, подле меня и во мне». И в самом деле, моя любовь заключила ее в заколдованный круг, она ее окружает, обязывает, подкупает, вкрадывается к ней в сердце под видом заботливости о ней и ее матери, под видом услуг, которых отклонить Анелька не может из страха, что тогда мать поймет все и это ухудшит ее состояние. Любовь проникает к ней в душу в виде благодарности мне и сочувствия моим тяжким страданиям, и наконец, ее навязывает ей власть воспоминаний.

С утра до вечера Анелька слышит только похвалы мне: тетушка, как всегда, слепо обожает меня, молодой Хвастовский, желая показать, что люди его лагеря умеют быть беспристрастными, утверждает, что я исключение в своей «гнилой среде». Я расположил к себе даже пани Целину сердечным к ней отношением, она теперь – можно сказать, против воли – привязалась ко мне и, наверное, в глубине души сожалеет, что не я муж Анельки. Словом, все вокруг Анельки – и люди и природа – словно внушают ей любовь ко мне.

И ты, любимая, разве устоишь перед всем этим? Когда же ты придешь ко мне и скажешь: «Я больше не в силах бороться – возьми меня, потому что я тебя люблю»?

Варшава, 31 мая

Пани Л., патронесса одного из здешних благотворительных обществ, просила Клару дать второй концерт – в пользу этого общества. Но Клара ей отказала, пояснив, что работает сейчас над большим музыкальным сочинением и должна всецело сосредоточиться на этой работе. К письму с безукоризненно вежливым отказом она приложила сумму, равную сбору с ее первого благотворительного концерта. Легко себе представить, какое впечатление это произвело в Варшаве. Газеты до сих пор еще шумят о поступке Клары, превознося до небес пианистку и ее великодушие. И, конечно, в их передаче состояние ее отца, человека действительно очень богатого, возросло втрое. Не знаю, откуда пошла в варшавском свете молва, будто я женюсь на Кларе. Быть может, повод к этому дала наша старая дружба, а также преувеличенные слухи об ее миллионах. Я сначала злился, но, подумав, решил не опровергать этих слухов. Они полезны, так как отведут всякие подозрения насчет моих отношений с Анелькой.

Сегодня, на дневном приеме у Клары, ко мне подошла с лукавой миной Коруцкая и при всех, – а было там человек двадцать представителей музыкального мира и нашего варшавского высшего света, – сказала громко:

– Кузен, кто это в мифологии не смог устоять перед пением сирены?

– Никто не устоял, кузина, кроме Одиссея, – отвечал я. – Да и он спасся только

благодаря тому, что был привязан к мачте.

– А ты оказался менее предусмотрительным?

Я видел, что кое-кто из гостей, в ожидании моего ответа, уже прикусил губу, сдерживая усмешку.

– Иногда никакая предусмотрительность не помогает. Ты лучше всех знаешь, что любовь разрывает все узы.

Корыцкая смутилась, утратив на минуту всю свою самоуверенность. Так я одержал одну из тех маленьких побед, которые в светских беседах неизменно характеризуются словами: «Нашла коса на камень».

Пусть себе люди болтают, что я женюсь на Кларе. Мне это безразлично – нет, как я уже говорил, мне это даже выгодно. Я не знал только одного: что мой визит к Кларе окончится так неприятно – и по ее вине. Когда гости разошлись и остались только мы со Снятынским, Клара сыграла нам свой только что законченный концерт, такой великолепный, что мы не находили слов для похвалы. По нашей просьбе она вторично сыграла его финал и, кончив, вдруг сказала:

– Это на прощанье. Да, все на свете кончается прощаньем.

Как, неужели вы собираетесь нас покинуть? – спросил Снятынский.

– Да, не позже как через десять дней я должна быть во. Франкфурте.

Снятынский повернулся ко мне:

– Ну-с, а ты что на это скажешь? Ты же в Плошове обнадежил нас, что панна Хильст останется с нами!

– И могу еще раз повторить, что в нашей памяти панна Хильст останется навсегда.

– Я так это и поняла, – с наивным выражением грустной покорности отозвалась Клара.

Меня обуял гнев на себя, на Снятынского, на Клару. Не такой уж я глупец и тщеславный пошляк, чтобы тешиться каждой победой над женщиной. Мысль, что Клара, быть может, по-настоящему любит меня и питает несбыточные надежды, была мне невыразимо неприятна. Я знал, разумеется, о каком-то неясном чувстве ее ко мне, которое при известных условиях могло сильно завладеть ею, но никак не ожидал, что она смеет чего-то требовать от меня и на что-то рассчитывать. Мне вдруг пришло в голову, что Клара объявила нам о своем отъезде только затем, чтобы проверить, как я отнесусь к этой вести. И потому я принял ее весьма холодно. Казалось бы, такая любовь, как моя любовь к Анельке, должна научить человека состраданию. А между тем грусть Клары и ее упоминание об отъезде не только не тронули меня, но показались прямо-таки дерзкой и обидной для меня претензией.

Почему? Уж во всяком случае не из аристократических предрассудков. Я далек от них. В тот момент я не мог разобраться в своих чувствах, но сейчас объясняю эту странность моей исключительной, безграничной верностью Анельке. Мне кажется, что всякая женщина, которая хочет заставить мое сердце хоть на миг забиться сильнее, тем самым посягает на права Анельки. И этим объяснением я удовлетворюсь.

Я, конечно, прошусь с Кларой очень сердечно, когда она будет уже в вагоне, но ее предупреждение об отъезде оставило в моей душе пренеприятный осадок! Ах, одной только Анельке разрешается безнаказанно терзать мои нервы! После слов Клары я впервые посмотрел на нее недружелюбно и критически и словно впервые заметил, что пышность ее форм, белизна кожи, темные волосы, чересчур выпуклые голубые глаза и вишневые губы, – словом, весь тип ее красоты напоминает безвкусные изображения гаремных гурий или, что еще хуже, олеографии, украшающие стены второразрядных гостиниц. Я ушел от Клары в отвратительном настроении и направился прямо в книжный магазин, чтобы купить несколько книг для Анельки.

Целую неделю я раздумывал, что бы такое выбрать ей для чтения. Не следовало пренебрегать и таким средством. Правда, я не возлагаю на него больших надежд, ибо средство это действует очень медленно. Притом я замечал, что для наших женщин, у которых фантазия гораздо буйнее их темперамента, книга всегда остается чем-то далеким от действительности. Даже у женщин очень впечатлительных книги в лучшем случае создают в голове какой-то отдельный мир, совершенно оторванный от реальной жизни. Пожалуй, ни одной из наших женщин не придет в голову руководиться в своей личной жизни идеями, почерпнутыми из книг. Я уверен, что если бы какой-нибудь великий и знаменитый писатель в книгах своих пытался, например, доказать Анельке, что чистота души и мыслей женщине не только не нужна, но с точки зрения нравственности даже предосудительна, и более того – каким-то чудом сумел бы ее в этом убедить, Анелька все-таки считала бы, что это правило годится для всего света, но только не для нее.

Я могу рассчитывать самое большее на то, что чтение подходящих книг привьет Анельке некоторый либерализм мыслей и чувств. Мне, собственно, только того и нужно. Любя ее всем сердцем, я жажду взаимности, всячески ищу к этому путей, ни единого средства не упускаю, – вот и все. Не имея обыкновения себя обманывать, я откровенно признаюсь: да, хочу довести Анельку до того, чтобы она ради меня оставила мужа, но не хочу ее развращать, грязнить чистоту ее души. И пусть мне не говорят, что одно исключает другое и что это софистика. Во мне и без того сидит бес скептицизма и докучает мне, вечно нашептывая: ты сочинил эту теорию, потому что она тебе на руку, а если бы тебе это было выгодно, утверждал бы обратное. Измена всегда ведет к нравственной испорченности. Какая мука! Но я возражаю моему бесу: что ж, противоположную теорию точно так же можно оспаривать. Я придумываю все, что возможно, в защиту моей любви, это мое естественное право. Другое, еще более естественное право – любить. Бывают чувства банальные и мелкие, а бывают высокие и исключительные. Если женщина, хотя бы и связанная браком, слушается голоса великой любви, она не утратит благородства души. Такую великую, исключительную любовь я и хочу пробудить в сердце Анельки и потому вправе утверждать, что я ее не испорчу, не развращу.

В конце концов эти споры с самим собой ни к чему не ведут. Если бы я даже нимало не сомневался, что поступаю дурно, если бы не мог восторжествовать в споре с моим бесом, я бы из-за этого любить не перестал и все равно пошел бы туда, куда влечет меня сила более могучая, то есть слушался бы живого чувства, а не отвлеченных умозаключений.

Однако подлинная драма всех современных людей с аналитическим складом ума, вечно наблюдающих самих себя, состоит в том, что, не веря результатам самоанализа, они все же остаются жертвами непобедимой страсти копаться в себе. То же самое происходит и со мной. С некоторых пор меня мучает вопрос, как это возможно, что я, весь поглощенный любовью, способен проявлять такую бдительность, взвешивать и

обдумывать всякие средства, которыми смогу достигнуть цели, рассчитывать все так хладнокровно, как если бы это делал за меня кто-то другой.

И вот что я могу на это ответить. Во-первых, человек нашего времени всегда какую-то часть души использует для наблюдения за остальной ее частью. Кроме того, все усилия любви, расчеты, даже хитрости, вся эта на вид хладнокровная и обдуманная тактика прямо пропорциональна температуре чувства. Чем оно горячее, тем энергичнее оно принуждает холодный разум усердно служить ему. Ибо, повторяю, напрасно люди представляют себе любовь с повязкой на глазах. Она не затемняет разума – так же, как не глушит биения сердца и не останавливает дыхания, – она его только покоряет себе. Разум становится первым ее советчиком и орудием. Словом, тем, чем был Агриппа для императора Августа. Разум мобилизует все силы, ведет войска в бой, одерживает победы, возводит своего владыку на триумфальную колесницу и, наконец, воздвигает не Пантеон, как Агриппа, а Монотеон, в котором на коленях служит единственному божеству своего императора. В том микрокосме, которым является человек, роль разума выше, чем роль полководца, ибо он до бесконечности отражает сознание всего и себя самого, как система соответственно установленных зеркал отражает до бесконечности какой-нибудь предмет.

1 июня

Вчера получил ответ из Гаштейна. Квартира для Анельки с матерью снята. Я сразу известил их об этом и послал Анельке целую пачку книг – Жорж Санд и Бальзака. Сегодня воскресенье, первый день скачек. Тетушка приехала из Плошова и остановилась у меня. Она, разумеется, уже побывала на скачках и всецело занята ими. Наши лошади, Ноти-бой и Аврора, которые уже два дня находятся в моей конюшне вместе с Уэбом и жокеем Джеком Гузом, будут участвовать в состязаниях только в будущий четверг. Так что первый день скачек интересовал тетушку, так сказать, платонически. Но что у нас творится, описать трудно! Конюшни превратились в крепость. Тетушка воображает, будто жокеи других коневодов трепещут при одной мысли о ее Ноти-бое и готовы на все, только бы сделать его неспособным к состязанию. Поэтому в каждом торговце апельсинами, в каждом шарманщике она видит переодетого врага, который прокрался к нам во двор с коварными намерениями. Швейцару и дворнику отдан строжайший приказ следить за каждым, кто войдет в ворота. Конюшню стерегут еще бдительнее. Тренер Уэб, как истый англичанин, сохраняет хладнокровие, несчастный же Джек Гуз (он родом из Бужан, и настоящее его имя, Куба Гусак, в точном переводе с польского превратилось в «Джек Гуз») совершенно теряет голову, так как тетушка непрерывно ругает его и двух конюхов, тоже приехавших из Бужан для надзора за лошадьми. Она не отходила от своего Ноти-боя, и я ее почти не видел эти дни. Только перед отъездом она мне сообщила добрую весть: пани Целине опять лучше, и она решила, что Анельке непременно следует побывать в четверг на скачках. Вероятно, пани Целина догадалась, что тетушке это будет приятно, она же один день вполне может оставаться без Анельки, под присмотром служанки и доктора. Анелька сидит в Плошове, как замурованная, и ей действительно не мешает развлечься. А для меня это будет большой радостью. Одна мысль, что она будет жить в моем доме, наполняет меня блаженством. В этом доме я полюбил ее, а быть может, и ее сердце впервые забило для меня сильнее после того бала, который тетя устроила тогда для нее. Все здесь будет напоминать ей те минуты.

2 июня

Хорошо, что я не успел переделать зал под будущий музей, – мне пришла идея пригласить после скачек на обед гостей, выбрав тех, к кому Анелька расположена; таким образом, я задержу ее у себя в доме еще на несколько часов и, кроме того, она поймет, что это обед в ее честь.

3 июня

Я закупил массу цветов и велел убрать ими лестницу и два зала. Комната Анельки осталась в таком точно виде, как тогда, когда она здесь гостила у тетп. Вероятно, дамы приедут утром, и Анелька захочет переодеться перед скачками, поэтому в ее комнату я приказал перенести большое зеркало и все, что нужно для дамского туалета. Комната превратилась в настоящий будуар. Анелька на каждом шагу будет встречать доказательства моей заботы и любви, увидит, что я храню память о прошлом. Только сейчас, когда я пишу об этом, я понял, что мне гораздо легче, когда я чем-нибудь занят, когда необходимость действовать вырывает меня из заколдованного круга рефлексии и раздумья о самом себе. Право же, вбивать в стену гвозди, на которых будут висеть картины будущего музея, гораздо полезнее, чем беспрерывно наворачивать одну мысль на другую. Ах, почему я не могу быть простым человеком! Если бы я в свое время не мудрил, я был бы сейчас одним из счастливейших людей на свете!

4 июня

Ездил сегодня приглашать на обед Снятынских и еще нескольких знакомых. Снятынский, как мне и хотелось, раструбил уже повсюду, что я перевожу отцовские коллекции в Варшаву и учреждаю музей, открытый для всех. И вот я – герой дня. Все газеты пишут об этом событии и, пользуясь случаем, обрушиваются на других богатых людей, которые, мол, только убивают время и транжирят свои деньги за границей, и так далее. Мне хорошо знакомы стиль и манера газетных писак, и я заранее предвидел, что они напишут, начиная с содержания заметок и кончая такими фразами, как «noblesse oblige»[44] и т. п. Но все это мне выгодно. Я собрал целую кипу газет, чтобы показать их тетушке и Анельке.

5 июня

Скачки назначены днем раньше из-за того, что завтра праздник. Анелька и тетя приехали сегодня утром в сопровождении горничной и привезли груды картонок с туалетами. При первом взгляде на Анельку я испугался. Она очень похудела, побледнела, лицо утратило свои прежние теплые тона и было словно затуманено, оно напомнило мне живопись Пюви де Шаванна. Тетя и мать Анельки не замечают ничего, так как видят ее постоянно, мне же, после нескольких дней разлуки, перемена эта сразу бросилась в глаза. Меня уже мучает раскаяние и жалость. Должно быть, всему причиной – разлад и тайная борьба в ее душе. Если бы она перестала бороться с собой, если бы послушалась голоса сердца (а сердце это – мое, стократ мое, и говорит за меня!), наступил бы конец ее волнениям и началось бы счастье.

Я все глубже погружаюсь в зыбучие пески. Ведь вот, кажется, изучил я каждую черту, каждую мельчайшую подробность в лице Анельки и, когда ее не вижу, представляю ее себе так живо, словно она стоит передо мной. А между тем всякий раз, как мы встречаемся после нескольких дней разлуки, я открываю в ней что-нибудь новое, пленительное, люблю ее еще больше прежнего. И сказать не могу, до какой степени она удовлетворяет меня эстетически, как глубоко я чувствую, что это – мой тип, мой идеал красоты, моя женщина. Это чувство будит во мне какую-то полумистическую веру, что она создана для меня. И когда я, услышав во дворе стук коляски, сбегал по лестнице навстречу Анеле, я снова почувствовал себя во власти ее обаяния и снова действительность показалась мне чудеснее того образа, который я хранил в душе.

Анелька приехала в легком дорожном плаще из шелка-сырца и шляпке с длинной серой вуалью, завязанной под подбородком по английской моде. Из этой серой рамки улыбалось мне прелестное любимое лицо, лицо девочки, а не замужней женщины. Она

поздоровалась со мной удивительно сердечно и весело. Вероятно, утренняя поездка и предстоящие развлечения привели ее в хорошее настроение. А я, решив, что она рада меня видеть и Плошов без меня кажется ей пустым и скучным, почувствовал себя счастливым. Как гостеприимный хозяин, я предложил одну руку тете, другую – Анельке, благо широкая лестница позволяла идти по ней втроем, и повел дам наверх. При виде этой великолепно убранной цветами лестницы они очень удивились, а я сказал:

– Я хотел устроить вам сюрприз.

При этом я прижал к себе руку Анельки, так легонько, что мой жест мог показаться случайным и невольным. Затем обратился к тетушке:

– Я даю званый обед в честь победы Плошовских.

Тетушку это очень тронуло. Если бы она знала, как мало меня интересовал ее Ноти-бой и все победы, какие могут одержать лошади Плошовских на ристалищах всей Европы! Анелька, видимо, догадывалась об этом, но она была сегодня в таком приподнятом настроении, что только мельком взглянула на меня и с усмешкой прикусила губу.

Я чуть не потерял голову. В обращении со мной Анельки сегодня мне почудился оттенок веселого кокетства, какого я ни разу не замечал до сих пор. «Ведь не может быть, чтобы у нее совсем не было самолюбия и чтобы ей нисколько не льстило то, что я все делаю только для нее», – говорил я себе.

Тетушка между тем сняла пальто и пошла взглянуть на Ноти-боя и Аврору. А я подал Анельке список приглашенных на обед и сказал:

– Я старался подобрать людей тебе приятных. Но если велишь позвать кого-нибудь еще, я сейчас же пошлю приглашения или съезжу сам.

– Ты этот список покажи тете, – отозвалась Анелька. – Пусть она выбирает.

– Нет. Тетю я усажу во главе стола, и к ней все будут обращаться с поздравлениями или выражениями соболезнования. Но роль хозяйки в этом доме я предназначил тебе.

Анелька слегка покраснела и, желая переменить разговор, спросила:

– А как ты думаешь, Леон, Ноти-бой победит? Тетя так на это рассчитывает, и ей так этого хочется!

– Не знаю, повезет ли Ноти-бою, а мне уже повезло, – у меня в доме такая дорогая гостья, как ты!

– Ты все шутишь, а у меня и вправду душа не на месте...

– Видишь ли, – сказал я уже серьезнее, – тетя даже в случае провала на скачках скоро утешится. Через несколько недель мои коллекции будут уже в Варшаве, а она об этом мечтала много лет и горячо уговаривала отца перевезти их на родину. То-то обрадуется! Все газеты уже трубят об этом, – и ты не можешь себе представить, какие мне расточают похвалы.

Милое личико Анельки вмиг просияло.

– Покажи, прочти мне! – попросила она.

Мне хотелось целовать у нее руки за этот порыв радости. Ведь он служил новым доказательством: если бы я ей был безразличен, разве радовали бы ее так похвалы мне?

– Нет, не сейчас. Прочту, когда тетя вернется. Или еще лучше, пожалуй, пусть читает сама, а я спрячусь на это время за твою спину, чтобы вы – а главное ты – не видели, какая у меня будет глупая физиономия!

– Почему глупая?

– Да потому, что все это – вовсе не моя, а твоя заслуга. И похвалы следует адресовать тебе. Ах, как бы я хотел сказать господам журналистам: если вы считаете мой поступок таким великим подвигом, то отправляйтесь всей компанией в Плошов и поклонитесь в ноги одной женщине.

– Леон! Леон! – остановила меня Анелька.

– Тсс, злущка, иначе и я сейчас упаду перед тобой на колени. И не встану, пока ты не признаешь, что это твое влияние.

Анелька не нашла, что ответить. Слова мои были словами страстно влюбленного, но тон, непринужденный, шутливо-веселый, мешал отнестись к этим словам с полной серьезностью.

А я радовался тому, что нашел новый способ многое ей высказать, сделать много признаний.

Не желая, однако, этим способом злоупотреблять, я тотчас заговорил уже серьезно о переделках, которые затеваю у себя в доме.

– Я отведу под музей весь второй этаж, кроме одной комнаты, где ты жила прошлой зимой. Она останется нетронутой. Я позволил себе только сегодня украсить ее немного в честь твоего приезда.

Говоря это, я подвел ее к двери. Анелька остановилась на пороге и невольно ахнула:

– Ой, какие цветы!

– Ты сама – самый чудесный цветок на свете, – сказал я тихо. И, помолчав, добавил: – Поверишь ли, Анелька, в этой комнате я хотел бы умереть, когда придет мой час.

О, как искренне я это говорил! Лицо Анельки затуманилось, веселость ее угасла. Я видел, что мои слова ее глубоко взволновали, как волнует каждый искренний вопль души. Она дрогнула, наклонилась вперед, словно какая-то сила толкнула ее ко мне. Но и на этот раз поборола себя. Одно мгновение она стояла передо мной, опустив веки, затем сказала печально и строго:

– Не огорчай меня. Мне хотелось бы чувствовать себя свободно в твоём обществе.

– Хорошо, Анелька. Так и будет, вот тебе моя рука!

И я протянул ей руку. Она схватила ее так крепко, словно этим пожатием хотела выразить все, что запретила себе говорить. И оно заменило мне тысячу слов, опьянило меня так, что я едва устоял на ногах. Впервые со дня моего возвращения я ясно почувствовал, что любимая женщина – моя душой и телом. Счастье было так безмерно, что к нему примешивался даже какой-то страх. Передо мной открывался новый, неведомый мир. С этой минуты я был уверен, что сопротивление Анельки недолго будет длиться, что все зависит от времени и от моей смелости.

Тетуска вернулась из конюшни в самом радужном настроении, убедившись, что не было никакого покушения на драгоценное здоровье ее Ноти-боя. Тренер Уэб на все ее вопросы отвечал только: «All right»[45] А Джек Гуз был полон энтузиазма. Мы подошли к окнам, чтобы посмотреть, как будущего победителя выведут из конюшни, ибо нора было отправлять его на Мокотовское поле, где он, топчась на месте, станет дожидаться своей очереди. Действительно, через несколько минут мы увидели, как два конюха вывели его во двор, но полюбоваться им как следует не смогли, – он был словно зашит в попону. Видны были сквозь прорези только большие кроткие глаза да стройные ноги, словно отлитые из стали. За ним шагал Уэб, а замыкал шествие наш доморощенный «англичанин», юный Джек Гуз в новом кафтане поверх жокейской куртки и в жокейских сапогах. Я крикнул ему в открытое окно:

– Смотри же, Куба, не ударь в грязь лицом!

А он снял шапку и, указав на Ноти-боя, ответил весело на чистейшем, отнюдь не лондонском, а бужанском диалекте:

– Не бойтесь, ясновельможный граф, они увидят только его зад!

Завтракали мы наспех, но тетя нашла все-таки время прочесть за кофе все, что писали газеты о перевозке коллекций моего отца из Рима в Варшаву. Как женщины чувствительны ко всякой похвале в печати по адресу близких им людей! Тетуска расцвела от радости. Она была просто несравненна, когда, каждую минуту отрываясь от чтения, смотрела сквозь очки на меня с обожанием, а на Анельку – испытующе, и то и дело произносила тоном, не допускающим возражений:

– Ничуть не преувеличено! Ты всегда был такой!

Я мысленно благодарил бога, что здесь нет какого-нибудь мужчины-скептика, ибо у меня был, вероятно, преглупый вид.

Настало время дамам переодеваться. Выходя из столовой, тетуска с притворным равнодушием сказала:

– Надо поторопиться. Я обещала заехать за молодой Завиловской. Ее должен был повезти на скачки отец, но у него на днях был приступ подагры.

Когда она вышла, мы с Анелькой переглянулись. Анелька хитро усмехнулась уголками губ, а я сказал:

– Слыхала, Анелька? Новое сватовство!

Она приложила палец к губам, как бы предостерегая меня, чтобы я не говорил

слишком громко, и скрылась в своей комнате, но через минуту высунула голову из-за двери:

– Знаешь, что я вспомнила? Ты не пригласил панны Хильст!

– Да, не пригласил.

– Но почему же?

– А я люблю с ней встречаться с глазу на глаз, – ответил я со смехом.

– Нет, серьезно, – отчего ты ее не пригласил?

– Если хочешь, могу еще пригласить.

– Это твое дело, – бросила Анелька, снова скрываясь за дверь.

И я предпочел не звать Клару Хильст.

Через час мы уже ехали по Бельведерским Аллеям. На Анельке было желтоватое платье, отделанное кружевами. Я так научился говорить ей все глазами, что она легко могла прочесть в них мое восхищение. И прочла – я угадал это по ее покрасневшему и смущенному лицу. По дороге мы остановились у особняка Завиловских. Не успел я позвонить, как дверь распахнулась, и панна Елена в серебристо-сером наряде встала передо мной, – а вернее проплыла мимо, с высоты своего величия едва удостоив меня кивком. Панна Елена – блондинка с холодными голубыми глазами, неулыбающимся лицом и в высшей степени церемонными манерами. Красивой ее назвать нельзя. Но она считается образцом благовоспитанности, и я готов согласиться с этим, если благовоспитанностью называть чопорность. Обхождение ее со мной так же холодно, как ее глаза, но это холодность настолько преувеличенная, что вряд ли она искренна. Нет, это – попросту метод, которым панна Елена рассчитывает дразнить мое самолюбие. Метод неумный, ибо он меня ничуть не подстегивает и только нагоняет скуку. Я уделяю панне Завидовской лишь то внимание, какого требует простая учтивость.

Сегодня, впрочем, я занимал ее несколько усерднее: мне это нужно было, чтобы отвлечь внимание любопытных и рассеять подозрения, которые могли бы у них возникнуть при виде Анельки, сидящей со мной в экипаже. Мы двигались медленно – день был прекрасный, и на ипподром направлялось множество людей, веренице экипажей не видно было конца. Впереди и за нами колыхалось море раскрытых зонтиков, и это было, в сущности, красивое зрелище – они яркими красками горели на солнце, а под ними, в их разноцветной тени, мелькали женские головки, лица с тонкими точеными чертами. В Варшаве довольно много красивых женщин, но им недостает темперамента. Не замечал я его даже у дам из денежной аристократии – они только делают вид, что он у них есть. Открытые экипажи, кое-где – оригинальные запряжки, светлые платья дам на фоне зеленой листвы, обилие нарядно одетых породистых людей и породистых лошадей, – все придавало этой процессии вид весьма изысканный и не лишенный красочности. Я с удовольствием отметил про себя, что движение и оживленная толчея вокруг веселят и занимают Анельку. Отвечая на мои замечания, она поглядывала на меня с благодарностью, как будто это я устроил для нее такое развлечение.

Сидя против нее, я имел возможность все время смотреть на нее, но старался чаще заговаривать с панной Завидовской, от которой веяло холодом, как от графина с

ледяной водой. Эта молодая особа своим поведением уже попросту забавляла меня – она как будто подчеркивала, что отвечает на мои вопросы и терпит мое общество только из благовоспитанности и светской учтивости. Я умышленно стал еще усерднее любезничать с ней, но любезность моя была не лишена оттенка незлобивого юмора, и это в конце концов начало ее бесить. Так доехали мы до Мокотовских полей. Для экипажа тетушки было оставлено обычное место у трибуны, и, как только мы подъехали, нас окружили знакомые с билетами на шляпах, приветствуя тетушку и восторгаясь прекрасными и многообещающими «статьями» Ноти-боя. Один известнейший коннозаводчик сказал ей, что это лошадь великолепная; она, пожалуй, недостаточно тренирована, но, так как ночью шел дождь и почва еще мягкая, то такой сильный рысак, как Ноти-бой, имеет все шансы победить. Мне показалось, что он сказал это с иронией, и я забеспокоился: поражение Ноти-боя испортило бы весь день тетушке, а значит – и мне, ибо ее дурное настроение помешало бы нам веселиться. Я прошел вдоль вереницы экипажей, осматривая поле, отыскивая глазами знакомых. Везде было полно народу, на трибунах – сплошная, тесно сбитая масса, расцвеченная яркими красками женских платьев. Вся арена была опоясана широким кольцом зрителей; городской вал тоже усеян любопытными. По обе стороны трибун, словно два крыла, тянулись бесконечные ряды экипажей, и каждый из них напоминал корзину цветов.

Шагах в ста от трибун я увидел в коляске задорный носик и розовое лицо Снятынской. Когда я подошел поздороваться, она сказала мне, что муж отправился разыскивать панну Хильст. Потом, не переводя дыхания, задала мне множество вопросов: как здоровье тетушки и пани Целины? Приехала ли Анелька на скачки? Каким образом они с матерью могут ехать в Гаштейн, если пани Целина не встает с постели? Победит ли Ноти-бой? И что будет, если не победит? Сколько человек будет сегодня у меня на обеде? Пока я стоял у ее коляски и на меня сыпались все эти вопросы, я успел заметить, что у Снятынской удивительно доброе выражение глаз и очень красивая ножка. Я попытался было ответить на все ее вопросы «залпом», так же как они были заданы, но для этого (как говорит шекспировская Розалина) нужны были бы уста Гаргантюа. Поэтому, ответив кое-как, с пятого на десятое, и попросив, чтобы она и муж после скачек ехали прямо ко мне, я тоже следом за Снятыным пошел искать Клару, считая, что мне следует хотя бы подойти к ее экипажу. Оказалось, что он стоит неподалеку от нашего. Клара напоминала холмик, покрытый цветами гелиотропа. Ее коляску обступили артисты и меломаны, и она весело болтала с ними. Увидев же меня, сдвинула брови и поздоровалась несколько холодно. Впрочем, я понимал, что при первом моем дружеском слове холодность эта сменится искренней сердечностью. Однако я остался холоден и после пятнадцатиминутной церемонной беседы пошел дальше. Обменявшись на ходу несколькими словами с другими знакомыми, я вернулся к нашему экипажу, так как за это время два первых состязания кончились и настала очередь Ноти-боя.

Я взглянул на тетушку: лицо у нее было торжественно-серьезное, ей явно стоило больших усилий сохранять хладнокровие. Зато Анелька не могла скрыть своего беспокойства. Мы довольно долго ожидали, пока вывели лошадей, – взвешивание сегодня почему-то продолжалось дольше обычного. Между тем примчался Снятынский; он уже издали махал нам длинными руками и показывал билеты, купленные в тотализаторе.

– Я поставил миллионы на вашего Ноти-боя! – крикнул он. – И если он меня подведет, я потребую закладную на Плошов.

– Надеюсь, что вы... – с достоинством начала тетушка.

Но она не договорила: в эту самую минуту над темной массой людей, теснившихся у

трибуны, запестрели куртки жокеев. Лошадей выводили на беговую дорожку. Одни, очутившись на свободе, сразу же галопом неслись к месту, откуда начинаются скачки, другие шли спокойным, неторопливым шагом. После старта наездники промчались мимо нас тесной кавалькадой, не очень быстро, так как предстояла еще вторая скачка и следовало беречь силы лошадей. Но уже на втором повороте кавалькада развернулась цепью. Казалось, ветер разнес по полю горсть цветочных лепестков. Впереди мчался жокей в белом, за ним – второй, в голубом с красными рукавами и в красной шапочке, далее скакали двое рядом, один весь в красном, другой – в красно-желтом, а наш оранжевый Куба занял предпоследнее место, имея за собой очень близко только жокея в белом и синем. Однако недолго они скакали в таком порядке. Когда лошади дошли до противоположной границы круга, в экипажах началось движение: наиболее заинтересованные дамы стали на сиденья, чтобы не упустить ни единого момента скачек; их примеру последовала и моя тетушка, – она уже не могла усидеть на месте.

Анелька уступила свое место панне Завиловской, и та, после церемонного отказа, все же стала рядом с тетей, Анельку же я поставил на передней скамейке, и так как здесь не на что опереться, то я встал рядом с ней и поддерживал ее. Сознаюсь, в эти минуты я чуть не забыл о скачках и думал только о том, что эта дорогая хрупкая рука лежит в моей и Анелька ее не отнимает. Спина тетушки отчасти заслоняла мне зрелище, но, встав на цыпочки, я окинул взглядом все поле и жокеев, достигших уже поворота на другой стороне поля. Издали они были похожи на каких-то светлых жуков, летящих по воздуху. С такого расстояния скачка казалась медленной, и в движениях передних и задних конских ног было что-то автоматическое. Однако эта разноцветная вереница при всей кажущейся медленности движения быстро оставляла за собой пространство. Жокеи уже снова поменялись местами. Впереди по-прежнему шел белый жокей, за ним – красный, но на третьем месте был теперь наш Куба. Остальные сильно отстали, и расстояние между ними и передними увеличивалось с каждой минутой. По-видимому, Ноти-бой был конек не из плохих. Я на миг потерял всех из виду, но увидел их снова, когда они пронеслись близко от нас. Красный жокей уже догонял белого, а Куба был еще ближе к ним обоим. Теперь я был уверен, что белый отстанет, так как лошадь под ним взмокла, бока у нее блестели, словно облитые водой. Красный жокей был грозным соперником, но я подумал, что в худшем случае Ноти-бой возьмет второй приз, и, значит, провал не будет полным. Обнадеживало меня и то, что он шел так хладнокровно и выбрасывал ноги спокойно и мерно, словно выполняя какую-то обычную работу. Интерес зрителей все возрастал.

– Ноти-бой проиграл? – шепотом спросила у меня Анелька, увидев, что Куба позади.

– Нет, милая, остается еще один круг, – ответил я, слегка пожимая ее пальцы.

Она и теперь не отняла руки. Правда, все ее внимание было поглощено скачкой. Когда лошади появились с другой стороны ипподрома, заслоненной от нас трибуной, Куба был уже на втором месте, а лошадь белого жокея настолько обессилела, что и трое оставшихся позади наездников догоняли ее. Всем уже было ясно, что борьба пойдет теперь только между красным жокеем и оранжево-черным. Куба еще больше приблизился к красному, между ними теперь было расстояние, на котором могло поместиться лошадей пять-шесть. Так они обскакали значительную часть поля. Вдруг шум на трибунах возвестил, что происходит что-то необычайное. Гляжу – Куба решительно догоняет своего соперника. Жужжание голосов на трибуне перешло в громкий говор. Анелька была так увлечена, что сама теперь нервно сжимала мою руку и поминутно спрашивала: «Ну, что? Как там?» Лошади шли уже по левой стороне поля. Красный, несколько раз подстегнув свою кобылу, снова вылетел вперед, но

наш Ноти-бой уже почти касался мордой ее хвоста. Оба бешеным галопом поравнялись с трибунами и опять скрылись с глаз. Состязание подходило к концу. На трибунах наступила тишина, но через мгновение она сменилась громкими криками. Толпа зрителей хлынула к веревкам, которыми был оцеплен ипподром. И в ту же минуту мы вдруг увидели красные ноздри и голову лошади с вытянутой в струну шеей, а над ней – что-то оранжевое с черным, и все это пронеслось вихрем мимо нас. На трибуне раздался звонок – победа была за нами, красный жокей остался далеко позади.

Надо отдать тетушке справедливость – она сумела сохранить спокойствие. Только на лбу у нее выступил пот, и она стала обмахиваться платком. Анелька была взволнована, обрадована, просто счастлива. Мы оба стали поздравлять тетушку, и даже панна Завиловская изрекла несколько французских фраз, словно извлеченных из «Бесед» г-жи Бокель. А затем нашу коляску обступили знакомые. Триумф был полный.

Я тоже был в упоении, вновь и вновь переживая те мгновения, когда Анелька сжимала мне руку. Напрасно говорил я себе, что она делала это, быть может, бессознательно, напрасно напоминал себе, что сопротивление женщины часто ослабевает в минуты сильного волнения, самозабвенного увлечения чем-нибудь, будь то красоты природы, или какое-нибудь зрелище, или что-либо другое из ряда вон выходящее. Легко понять, что в такие минуты взвинченные нервы нарушают душевное равновесие. В таком именно состоянии была Анелька, а я, предположив, что она уже перестает бороться с овладевшим ею чувством, давал себе слово действовать решительно.

Думаю, в Плошове у меня будет для этого немало удобных случаев. Завтра мы туда возвращаемся. Сегодняшний званый обед, разговоры, развлечения – все сыграло роль наркотиков. Анелька не знает, сколько счастья нас ждет впереди, но для этого она должна отдать мне свое сердце целиком, без оговорок и без оглядки.

Хотя тетя и предупредила пани Целину, что они с Анелькой, возможно, останутся в Варшаве до завтра, мы собирались уехать еще сегодня, после званого обеда. Однако нас задержало одно происшествие: обед и чаепитие затянулись до десяти часов вечера, а когда ушли последние гости, тетушке пришлось сказать, что Ноти-бой захворал. Поднялась невообразимая суматоха. Пока послали за ветеринаром, пока его разыскали, время подошло к полуночи. И тетя слышать не хотела об отъезде.

Анелька, напротив, пожелала ехать, но, видя, что я намерен под любым предлогом ее сопровождать, не стала настаивать: она еще меня опасается. К тому же тетя сказала ей, что, вернувшись в Плошов в такой поздний час, она разбудит весь дом и свою мать.

– Я считаю, что и в этом варшавском доме я у себя, – добавила затем тетушка. – И Леон на меня за это не в обиде. Так что ты здесь вроде как у меня в гостях. Ну, все равно, как если бы я отдала Леону Плошов, но продолжала там жить и тебя с матерью не отпустила бы, пока Цеся не поправится.

Этим тетя окончательно убедила Анельку остаться.

Сейчас три часа ночи. Уже светает, но на дворе и у конюшен еще мелькают фонарики тех, кто ухаживает за больным Ноти-боем. Когда мы расходились на ночь по своим комнатам, тетя сказала, что пробудет в Варшаве еще и завтрашний день. Тогда я объявил, что в Плошове оставил нужные мне бумаги и поеду завтра за ними, а заодно отвезу Анельку.

Мы будем с ней одни в экипаже – и я не стану больше медлить и колебаться. Вся кровь приливает к сердцу, как представлю себе, что буду везти мою любимую в объятиях, прижав ее к груди, и услышу признание, что и она любит меня так, как я ее.

Пасмурно, моросит дождь, но уже светает. Всего лишь несколько часов отделяет меня от той минуты, когда начнется новая жизнь... Конечно, я не сплю, не мог бы уснуть ни за что на свете. Ни малейшего утомления, веки мои ничуть не отяжелели, и я пишу, вспоминаю... Ладонь еще хранит тепло Анелькиной руки и дрожь ее пальцев. Я завоевал эту душу, я воспитал ее и подготовил к любви. Я чувствую себя как полководец, который все предусмотрел, обдумал, рассчитал, но все-таки бодрствует накануне дня, когда решится его судьба.

Зато Анелька спит там, в другом конце дома, и я верю, что даже сон ее – мой союзник; быть может, она видит меня во сне и протягивает ко мне руки. Я с трепетом радости думаю об этом.

В этом мире зла, глупости, непрочности и ненадежности всего есть одно, ради чего стоит жить, – любовь, любовь, не знающая сомнений, сильная, как смерть. И вне ее нет ничего...

6 июня

Сегодня отвез Анельку в Плошов и теперь спрашиваю себя: ну, не безумец ли я? Нет, не привез я ее в объятиях, не услышал от нее признаний! Меня оттолкнули так решительно, с таким возмущением и багровым румянцем стыда, что я совсем уничтожен! Но что же это значит? Либо я глупец, либо у нее нет сердца. С чем я борюсь? Обо что разбились мои надежды? Почему она меня отталкивает? В голове у меня такой хаос, что не могу ни думать, ни писать, ни рассуждать здраво – и только повторяю все тот же вопрос: обо что я разбился?

7 июня

Я допустил в чем-то огромную ошибку, проглядел что-то в этой женщине и ошибся в расчетах. Два дня пытался понять, что же случилось, но хаос в мозгу мешал мне думать. Сейчас я взял себя в руки и хочу хладнокровно во всем разобраться. Поведение Анельки было бы вполне ясно, если бы ее от меня защищала любовь к мужу. Тогда были бы понятны то негодование и оскорбленная стыдливость, с какими эта женщина, такая кроткая и ласковая, оттолкнула меня. Но этому я поверить не могу. У меня еще достаточно ума, чтобы понимать, что смотреть на все сквозь черные очки так же безрассудно, как видеть все в розовом свете. Откуда могла взяться у Анельки любовь к Кромицкому? Посмотрим и еще раз взвесим все. Вышла она за него не любя. За то время, что они провели вместе, он успел обмануть ее доверие: продал ее родное гнездо и этим довел ее мать до тяжелой нервной болезни. Детей у них нет. Да если бы и были – ребенок вовсе не побуждает женщину сильнее любить мужа, – нет, он только как бы гарантирует ее верность, заставляет ее больше считаться с отцом семьи. Другими словами, ребенок крепче связывает супругов, но не их сердца. Наконец, Анелька не из тех женщин, которые способны после свадьбы вдруг вспылать любовью к мужу, – такие женщины либо сильнее, чем она, тоскуют по мужу, либо легче заводят любовника. Я говорю это так прямо и грубо, что себе самому причиняю боль, но к чему щадить себя? Нет, я положительно уверен, что Анелька не питает к Кромицкому никакого чувства, хоть сколько-нибудь похожего на любовь, и даже никакого уважения. Она только не позволяет себе презирать его. Таково состояние ее души. Я считаю это доказанным раз навсегда, – если это не так, значит, я слеп.

Если сердце Анельки в то время, когда я вернулся из-за границы, было *tabula rasa*[46], то я, несомненно, на этой *tabula rasa* что-то начертал. Ведь в других случаях мне не раз это удавалось, а тут мне этого так хотелось, мне это было важнее, чем когда бы то ни было. Я будил в душе Анельки чувство дружбы, жалости, будил воспоминания, ничего не упуская, все принимая в расчет. Мне помогала сила истинной любви. И вот теперь я хватаюсь за голову и говорю себе: человек, ведь ты же не провинциальный «лев», убежденный, что ни одна женщина не может перед тобой устоять. Так не обманывался ли ты, воображая, что она тебя любит, что сердце ее принадлежит тебе?

Где же доказательства, что я ошибался? Прежде всего ее сопротивление. Но я никогда и думать не смел, что она не будет сопротивляться. Допустим, какая-нибудь замужня женщина без памяти влюблена в другого, – но и в таком случае женщина не отдастся любимому без всякого сопротивления, не борясь с собой и с ним до потери сил.

Сопротивление рождается не любовью, но если эти две силы могут существовать бок о бок, как две птицы в одном гнезде, значит, они не исключают друг друга.

Я веду дневник не только потому, что это уже превратилось у меня в страсть, стало моей второй жизнью, и не потому лишь, что это единственная возможность отводить душу: дневник помогает сызнова обзреть мысленно ход событий, осознавать их, отдавать себе во всем отчет. Вот я сейчас перечитываю страницы, на которых записана вся история моих отношений с Анелькой с момента моего возвращения в Плошов. Здесь запечатлен чуть ли не каждый ее взгляд, каждый наш разговор, каждая ее улыбка и слеза, каждый подмеченный мною трепет ее души. И анализ мой верен, я не заблуждался, нет! То были слова, слезы, взгляды и улыбки женщины, может быть, несчастной, но не равнодушной.

Мое поведение не могло не отразиться на ней. Я ведь не слеп и вижу с болью в сердце, как она день ото дня худеет, руки становятся прозрачнее, а лицо словно меньше, – и при мысли, что эта душевная борьба будет ей стоить здоровья, у меня от ужаса волосы встают дыбом. Все это – неопровержимые доказательства. Да, ее сердце принадлежит мне, ее мысли заняты мною. Именно поэтому она так же несчастна, как я, – а может, еще несчастнее.

Я перечел те строки, в которых писал, что я не смел и надеяться на покорность Анельки. Правда, так было вначале, после моего приезда в Плошов, но в последний раз, когда мы ехали вместе из Варшавы, я уже был уверен, что она не станет сопротивляться. И ошибся. Она не сделала мне ни малейшей уступки, ничуть не сжалась, она с таким ужасом отказывалась слушать меня, как будто слова мои были кощунством. Я видел в ее глазах гнев и возмущение, она вырвала свои руки, когда я стал покрывать их поцелуями, и не переставая твердила: «Ты меня оскорбляешь!» Ее решительность победила мою, ибо я никак не ожидал такого взрыва. Не помня себя от гнева, Анелька даже пригрозила, что выскочит из коляски и пешком пойдет в Плошов под проливным дождем. Слово «развод» словно ожгло ее каленым железом. Ничего, ровно ничего я не добился ни страстными протестами, ни дерзостью, ни мольбами, ни словами любви. Все это Анелька воспринимала как оскорбление, все было ею отвергнуто и растоптано. Сегодня, когда я вижу, как она ходит по дому, ласковая и кроткая, мне начинает казаться, что тогда, в экипаже, была какая-то другая женщина. Не буду скрывать от себя – я потерпел поражение столь полное, что, если бы у меня хватило на то мужества, если бы у меня была еще какая-нибудь цель в жизни, я должен был бы сегодня же уехать отсюда.

Допустим даже, что она меня любит. Но что мне с того, если ее любовь никогда не разорвет тех уз, которые ее связывают, не вырвется наружу, не откроется мне ни единым словом и поступком? С тем же успехом я мог бы вообразить, что меня любит Елена Троянская, Клеопатра, Беатриче или Мария Стюарт! Такова ее любовь, ничего не жаждущая и ни к чему не обязывающая. Быть может, ее сердце и принадлежит мне, но какое же это робкое и бессильное сердце! Она, быть может, позирует перед собой в роли благородной героини, жертвующей любовью во имя долга, – и в такой роли очень нравится себе. Ради этого стоит кое-чем пожертвовать! Ладно! Жертвуй мной, но если ты думаешь, что, отрекаясь от своей любви, приносишь такую уж великую жертву и удовлетворишь этим требования долга, то ты ошибаешься.

Не могу, не могу больше об этом думать и писать спокойно!

8 июня

Кокетка – тот же ростовщик: дает мало, а требует огромные проценты. Сегодня я спокойнее, мысли мои пришли в порядок, и я должен признать, что в кокетстве Анельку никак нельзя упрекнуть. Она ничем меня не поощряла и ничего от меня не требовала. То, что я в Варшаве принял за легкое кокетство с ее стороны, было только минутной веселостью и хорошим настроением. Да, во всем, что между нами произошло, виноват я один, это я сделал ряд ошибок, и они привели к тому, что случилось.

Знать что-нибудь и принимать в расчет – вещи совершенно разные. Мы можем прекрасно разбираться в чуждых нам побуждениях другого человека, но, общаясь с ним, чаще всего все-таки исходим из своих чувств и меряем все на свой аршин. Так случилось и со мной. Я знал, – во всяком случае, чувствовал, что я и Анелька – люди настолько разные, словно мы – жители разных планет, но не способен был всегда об этом помнить. И я бессознательно надеялся, что она поступит так, как поступил бы я на ее месте.

Да, хотя я чутьем угадывал, что нет под солнцем двух более разных людей, чем я и она, что мы – как два противоположных полюса, но и сейчас пишу это с каким-то удивлением, мне трудно освоиться с этой мыслью. А между тем это правда. Я в тысячу раз больше похож на Лауру Дэвис, чем на Анельку.

Теперь я понял, о какую стену я разбился. Эта стена – догматическая прямота ее души, то свойство, которое во мне отсутствует совершенно. Отсутствие его, правда, дало полную свободу моим мыслям, раскрепостило их, но оно же зародило во мне смертельный недуг и стало моей трагедией.

Сейчас я это понимаю, – впрочем, быть может, еще недостаточно глубоко, потому что я – человек настолько сложный, что утратил способность понимать простоту... «Слышу голос твой, но не вижу тебя». Я страдаю своего рода духовным дальтонизмом, не различаю некоторых цветов.

У меня просто в голове не укладывается, как можно не рассмотреть со всех сторон каждую истину, хотя бы освященную веками, не разложить ее на части, частицы, атомы, – словом, разбирать до тех пор, пока она не рассыплется в прах и больше невозможно будет собрать ее снова воедино.

Анелька же себе даже не представляет, что правило, признанное нравственным и освященное религией, можно считать для себя необязательным.

Мне все равно, сознательное ли это у нее убеждение, или инстинктивное, выработанное своим умом или привитое, – достаточно того, что оно вошло ей в плоть и кровь. Я мог бы об этом догадаться уже раньше, когда в разговоре о разводе Корицкой Анелька сказала: «Доказать можно что угодно, но когда поступаешь дурно, совесть всегда твердит тебе: „Это дурно, это дурно“, – и ее ничем не переубедишь».

Тогда я не придавал ее словам серьезного значения, а они этого заслуживали. Анелька не знает никаких сомнений и компромиссов. Душа ее отделяет плевелы от зерна так тщательно, что о смешении их не может быть и речи. Она не старается создать себе свои собственные правила поведения, она берет их готовыми у религии и общепринятой морали, но прониклась ими так глубоко, что они стали ее собственными, частью ее самой.

Чем прямолинейнее человек различает добро и зло, тем более он уверен в своей правоте и тем он неумолимее. В этом нравственном кодексе смягчающим обстоятельствам нет места. По этому кодексу жена должна принадлежать мужу, а значит, если она отдается другому, она поступает дурно. Тут ничто не принимается во внимание, никакие рассуждения и толкования не допускаются. Праведники – одесную, грешники – ошую, над теми и другими милосердие божие, но между ними – ничего, никакой середины!

Таков кодекс «достопочтенного Варфоломея и праведницы Магды», столь примитивный, что такие люди, как я, перестают его понимать. Нам думается, что жизнь и душа человеческая слишком сложны, чтобы уложиться в этот кодекс. И в самом деле, быть может, нам и не следует в него укладываться. К несчастью, мы не придумали взамен ничего другого, и потому наш удел – метаться, как заблудившиеся птицы, в пустоте и тревоге.

Но большинство женщин, в особенности у нас в Польше, еще признают этот кодекс нравственности. Даже те, которые в жизни отступают от его предписаний, не позволяют себе ни на миг усомниться в его законности и святости. Где он начинается, там кончаются всякие рассуждения.

У поэтов неверное представление о женщине. Они называют ее загадкой, живым сфинксом. В действительности же мужчина – загадка во сто раз более сложная, он во сто раз более сфинкс, чем женщина. Нормальная, здоровая женщина, не истеричка, бывает злой или доброй, сильной или слабой, но душой она проще мужчины. Ее во все времена удовлетворяли десять заповедей, независимо от того, соблюдает ли она их, или, по слабости своей, нарушает.

Душа женщины настолько склонна к догматизму, что у некоторых из них (я знавал таких) даже атеизм принимает характер и все особенности религии.

Характерно, что у иных женщин светлый ум, усиленная работа мысли и высокий полет ее как-то совмещаются с преклонением перед кодексом «праведной Магды».

Душа женщины чем-то схожа с колибри. Сия птичка умеет свободно порхать среди густых зарослей, не зацепив ни единой ветки, не задев ни единого листка.

Это можно сказать прежде всего об Анельке. В ней величайшая тонкость чувств и мыслей сочетается с величайшей простотой моральных понятий. Ее десять заповедей – это те же десять заповедей Магды, но у Магды, они вышиты на дерюге, а у Анельки – на ткани тонкой, как кружево.

Почему я об этом говорю? Да потому, что это же для меня не отвлеченный вопрос, а чуть ли не вопрос жизни, это – причина моего несчастья, моей муки душевной. Я чувствую, что простых десяти заповедей мне не победить своей сложной и путаной философией любви. Да и как мне их преодолеть, если я первый не безусловно верю в свою философию, а часто даже просто в ней сомневаюсь, тогда как Анелька верит в свои заповеди твердо и нерушимо.

Только те уста, что пили уже из чаши сомнений, можно убедить, что запретный поцелуй не грех. Женщину религиозную «грешная» любовь может подхватить и унести, как ураган – щепку, но никогда эта женщина не перестанет считать свою любовь грешной.

Удастся ли мне когда-нибудь увлечь Анельку? Быть может, охватившее меня безнадежное отчаяние временно, и завтра я с надеждой буду смотреть в будущее, но сейчас это мне кажется совершенно невозможным.

Я когда-то писал в моем дневнике, что у нас в некоторых семьях девушкам прививают скромность, как оспу. И мне следует помнить, что правило «жена должна принадлежать мужу», в которое Анелька свято верует, соблюдается ею еще из стыдливости, которая пустила в ее натуру такие крепкие корни, что мне легче представить себе Анельку мертвой, чем обнажающей грудь при мне.

И я еще могу обманываться, ожидать чего-нибудь от такой женщины! Ведь это просто безумие!

Но что же мне делать? Уехать? Нет, не уеду! Не хочу и не могу.

Останусь здесь. Если моя любовь – безумие, что ж, буду безумствовать. Довольно планов, расчетов, предусмотрительности! Пусть будет так, как она хочет. Иной путь не приведет ни к чему.

9 июня

Анельке не легче, чем мне. То, что я сегодня видел, убедило меня в этом. В душе ее идет тяжкая борьба, и силы для этой борьбы ей приходится черпать только в себе самой. Мысли мои путаются, никак не могу успокоиться.

После отъезда из Плохова Завиловского с дочкой, которые сегодня были у нас в гостях, тетя намеренно завела разговор о панне Елене и стала превозносить ее достоинства. Тут меня вдруг прорвало. Я был утомлен, не выспался, нервы у меня совсем развинулись. И, дав волю раздражению, я закричал:

– Ну, хорошо! Если вы непременно хотите, чтобы я женился, и вам безразлично, буду я счастлив или нет, так я хоть завтра могу сделать предложение панне Завиловской. В конце концов мне все равно!

Разумеется, было ясно, что говорю я это в раздражении и ни за что так не поступлю. Но лицо Анельки вдруг стало белее бумаги. Без всякой надобности встав с места, она принялась развязывать шнуры оконной шторы. Руки у нее дрожали, как в лихорадке. К счастью, тетя на нее не смотрела – она и сама была в таком замешательстве, в каком я ее никогда еще не видел. Не подию, что она мне ответила, – в эту минуту я видел одну только Анельку, все окружающее для меня перестало существовать.

Правда, я и до этого в мыслях приходил к выводу, что занял какое-то место в ее сердце, но одно дело – догадываться, другое – видеть. До своего смертного часа не забуду я этого побледневшего лица и дрожащих рук! Теперь у меня было неопровержимое доказательство. Ее волнение никак нельзя было объяснить только неожиданностью моей вспышки. Нет, внезапная весть не только о браке, но даже о смерти человека, ей безразличного, не заставила бы ее так побледнеть.

Несколько дней назад я еще говорил себе: «Если она и любит меня, что мне из того, раз любовь эта останется навсегда скрытой в ее сердце?» А вот сегодня, когда я воочию убедился, что любим, все мои надежды сразу воскресли, все сомнения рассеялись. Снова замаячила впереди победа, снова я почувствовал уверенность, что непременно наступит час, когда любовь Анельки станет сильнее ее, и тогда она будет моей.

Увы, я тотчас же убедился, что это только иллюзия. Когда тетушка, сказав еще что-то, вышла, – быть может, чтобы где-нибудь в уголке утереть слезы обиды, – я торопливо подошел к Анельке и сказал:

– Анельца, я за все сокровища мира не согласился бы жениться на панне Завиловской. Ты пойми меня и прости: мало ли у меня горя, а тут еще и тетушка со своими проектами. Ты лучше всех знаешь, что никогда этого не будет.

– Почему же?.. Я была бы рада, если бы ты женился, – выговорила она с усилием.

– Неправда! Я видел, как ты побледнела! Да, видел!

– Извини, я уйду...

– Но ты же любишь меня, моя Анелька! Не лги себе и мне: любишь.

У нее снова побелели губы.

– Нет, не люблю, – сказала она быстро. – И боюсь, что тебя возненавижу.

Она ушла к матери. Знаю, когда женщина борется со своей любовью, ей, должно быть, часто кажется то, о чем только что сказала мне Анелька, любовь ее, запретная и горькая, принимает именно такую окраску. И все-таки слова Анельки погасили мою радость, как ветер – свечу. В жизни много такого, чего, как бы ни было оно естественно, не в силах вынести нервы человеческие. Я сейчас как-то особенно остро осознал одну истину, которая и раньше была мне известна, которая известна всем: любовь к чужой жене, если это любовь только по имени, – мерзость, если же это любовь настоящая, она – великое несчастье, и тем большее, чем более эта женщина достойна любви. Меня мучает горькое любопытство – хочу знать, что было бы, если бы я сказал Анельке: «Либо ты сейчас же обнимешь меня и признаешься, что любишь, либо я на твоих глазах пушу себе пулю в лоб»? Знаю, это было бы подло, и никогда я не решусь на такой шантаж и насилие – ведь, как бы то ни было, я порядочный человек. Но не могу не гадать: что бы тогда сделала Анелька? И, право, я почти уверен, что она не сдалась бы и тогда, хотя, быть может, не пережила бы своего горя и своего презрения ко мне. Думая об этом, я ее и проклинать готов – и еще больше обожаю, ненавижу – и люблю, люблю еще сильнее. Да, надо прямо сказать, на меня обрушилось страшное несчастье. Самое худшее – то, что я не вижу спасения от него, нет у меня сил вырваться из его тисков. К порывам страсти, которую эта женщина всегда будила во мне, прибавилась теперь собачья привязанность. Глаза, мысли, все приковано к ней, я гляжу и не наглядуюсь

на ее волосы, губы, глаза, плечи. И чувствую, что она для меня уже не только самая желанная, но и самый дорогой человек на свете. Ни с одной женщиной не связывала меня такая двойная и нерушимая связь. Иногда ее влияние на меня кажется мне просто непостижимым, а иногда я себе его объясняю и – как всегда – самым невыгодным для себя образом.

Я жил быстро и прошел уже свой зенит. Теперь дорога моя идет вниз, в долину холода и мрака. Однако я чувствую, что в этой единственной женщине обрел бы снова свою молодость, и силу, и жажду жизни. Если Анелька для меня потеряна, значит, пропала жизнь и остается только прозябание, унылое, как предвкушение смерти. Потому я люблю Анельку не только сердцем, не только страстью мужчины, но и всей силой инстинкта самосохранения. В любви этой – мое спасение от страха небытия.

Анелька этого не знает. Но, думается, она меня очень жалеет: ведь вот и я, немилосердно ее мучая, душу бы отдал за то, чтобы ей было легче. И как же мне не говорить, что любовь к чужой жене – несчастье, если она доводит человека до того, например, что он вынужден терзать ту, за кого с радостью отдал бы жизнь. И на каждом шагу – тысячи таких заколдованных кругов! В конечном счете мы оба глубоко несчастны. Но у тебя, моя Анеля, есть какая-то опора в жизни, есть свой догмат, а я – как лодка без руля и ветрил.

Мне что-то нездоровится. Плохо сплю, вернее – совсем не сплю, да иначе и быть не может. А хотелось бы заболеть серьезно: пролежать бы этак с месяц без сознания, в беспамятстве, отдохнуть за все годы моей жизни. Это было бы для меня чем-то вроде каникул. Вчера Хвастовский-сын долго ко мне приглядывался, а потом ударился в философию. Сказал, что у меня нервная система уже отживающей породы людей, но вместе с тем я получил в наследство и большой запас физических сил. Пожалуй, он прав. Если бы не это, я не мог бы справиться со своими нервами. Кто знает – быть может, отчасти поэтому чувство мое к Анельке целиком поглотило всего меня? Силам моим нужно было какое-нибудь применение, нужен был выход, и, не найдя его ни в науке, ни в какой-либо деятельности, они устремились в одно русло: любовь к женщине. Но (тут опять-таки виноваты мои нервы) поток этот течет мутно и бурно, избрал кривой путь. Да, это главное – кривой путь!

Сколько волнений каждый день! Вечером ко мне пришла моя милая тетушка просить прощения за похвалы панне Завиловской. А я, покрывая ее руки поцелуями, в свою очередь извинялся за свою вспышку.

– Клянусь тебе, – говорила она, – я больше никогда и слова не скажу об этой девушке. Конечно, милый Леон, я всей душой хотела бы, чтобы ты женился, – ведь ты последний в роде. Но, видит бог, самое главное для меня – чтобы ты был счастлив, дорогой, любимый мой мальчик!

Я, как умел, успокоил ее и в заключение сказал:

– Вы же знаете, тетя, я до некоторой степени – баба, нервная баба!

Но тетушка немедленно возмутилась:

– Это ты-то баба? Заблуждаться каждый может. Но если бы у всех был твой ум и характер, на свете все шло бы иначе!

Ну, как рассеять подобные иллюзии? Иногда меня охватывает отчаяние, и я твержу

себе: «Что мне делать здесь, в этом доме, среди женщин, позаимствовавших у ангелов все их добродетели?» Мне уже поздно переходить в их веру, а оставаясь самим собой, сколько я могу причинить им горя, разочарований и бед!

10 июня

Получил сегодня два письма: одно от моего поверенного в Риме, другое – от Снятынского. Из Рима мне сообщают, что препятствия со стороны итальянского правительства, которое обычно противится вывозу памятников старины и ценных произведений искусства, можно будет устранить, вернее – обойти. Коллекции отца были его частной собственностью, государству никак не принадлежат, и их можно переслать за границу просто как мебель.

Надо будет сейчас же заняться переделками в моем варшавском доме, приспособить его под музей. Я с неудовольствием думаю об этом, так как затея перевезти в Польшу коллекции больше ничуть меня не увлекает. На что это мне теперь? Я не откажусь от своего намерения только потому, что сам же о нем говорил повсюду и о нем так много уже писали в газетах.

Состояние души у меня сейчас такое же мучительное, как во время моих странствий после свадьбы Анели. Как и тогда, я все делаю, вижу и воспринимаю с единственной мыслью об Анеле, и стал совершенно нечувствителен к непосредственным впечатлениям. Мысли, на дне которых я не нахожу ее, кажутся мне совершенно пустыми и лишены всякого значения. Вот яркая иллюстрация того, как человек может потерять себя. Сегодня утром я читал статью Бунге «Витализм и механистическая теория». Читал с огромным интересом: автор научно обосновывает то, что давно уже бродило в моей голове скорее в виде смутных догадок, чем четких идей. В этой статье наука сознается в недоверии к самой себе и подтверждает не только свое бессилие, но и позитивное существование какого-то мира, который есть нечто большее, чем материя и движение, – познать этот мир не помогает ни физика, ни химия. А мне уже все равно, будет ли этот мир надстройкой над материей, или подчинен ей. Поистине игра словами! Я не ученый, не обязан быть осторожным в своих выводах – и очертя голову кидаюсь в открытую дверь. Пусть себе наука сто раз твердит, что за дверью этой мрак, а я предчувствую, что мне там все будет виднее, чем по эту сторону. Я читал статью Бунге с жадностью, с чувством громадного облегчения. Только закоснелые глупцы не создают, как материализм нас гнетет и нагоняет тоску смертную, только они не боятся, как бы учение это случайно не оказалось истинным, не ждут новой эволюции науки и не радуются, как узники, когда открывается любая калитка, через которую можно вырваться на свежий воздух. Все дело в том, что дух наш уже порядком пришиблен, и мы не смеем ни свободно вздохнуть, ни поверить в свое счастье: Ну, а я смею, и читал я эту статью с таким чувством, словно вышел на волю из душного подвала. Быть может, и это только мимолетное впечатление. Я же понимаю, что неовитализм не делает эпохи в науке, и, может, я завтра добровольно вернусь в свою тюрьму. Не знаю! Но пока мне было хорошо. Я каждую минуту говорил себе: «Если это так, если даже путем скептицизма приходишь к твердой уверенности, что существует мир сверхчувственный, который „смеется над всякими механистическими теориями“ и лежит абсолютно вне сферы „физико-химических открытий“, то все возможно: всякая вера, всякий догмат, всякого рода мистицизм! А значит, можно думать, что существует не только бесконечное пространство, но и бесконечный разум, бесконечная благодать. Можно надеяться, что какая-то необъятная сутана укрывает вселенную, и под ней, под этой сутаной, можно найти прибежище, и есть над нами чья-то опека, под которой отдохнут измученные. А если так, то я знаю, по крайней мере, для чего живу и страдаю. Какое безмерное утешение!

Повторяю: я не обязан быть осторожным и робким в своих выводах, и я уже писал, что скептик ближе к мистицизму, чем кто бы то ни было. Это я проверил теперь на самом себе: я похож на долго просидевшую в клетке и выпущенную на волю птицу, которая носится повсюду, блаженствует, купаясь в пространстве. Я видел новые сферы, в которых рождалась новая жизнь. Не знаю, было ли это на какой-то другой планете или где-то в межпланетном пространстве, но эта жизнь, эти места были совсем иные, чем у нас. Там снял мягкий свет, в воздухе ощущалась чудесная прохлада, а главное – там связь между душой человека и душой всеобщей гораздо ближе, чем у нас, так близка, что невозможно различить, где кончается личное и начинается общее. При этом я понимал, что именно на неопределенности этой границы основано счастье жизни в том мире. Ибо там человек не выключается из своего окружения, не противопоставляет себя ему, а живет в полной гармонии с ним и, следовательно, во всю мощь общей жизни.

То не были видения. Нет, я только перешел черту, за которой кончается четкая работа мысли и начинаются чувства и ощущения. Эти чувства оставались еще некоторым образом выводами из прежних предпосылок, но они зашли уже так далеко, что стали почти неуловимыми, как золотая нить, которую вытягиваешь до бесконечности. Я не был еще способен ни целиком перевоплотиться в человека этих новых сфер, ни как следует раствориться в новой жизни и отказаться от самого себя. В какой-то степени я сохранял свою обособленность, чего-то мне не хватало, я, казалось, искал чего-то вокруг себя. И вдруг понял: ищу Анельку. Да, конечно, только ее, всегда ее! Без нее мне эта иная жизнь ни к чему. В конце концов я ее нашел, и мы стали блуждать с ней вместе, как тени Паоло и Франчески да Римини...

Зачем я пишу об этом? Да затем, что я вижу здесь устрашающее доказательство того, до какой степени всего меня поглотила любовь к этой женщине. Что за черт! Что общего между Бунге с его неовитализмом и Анелей? Тем не менее я даже тогда, когда размышляю об отвлеченных вещах, в конце концов прихожу к мыслям о ней. Науку, искусство, природу, жизнь – все я привожу теперь к этому одному знаменателю. Анелька для меня – ось, вокруг которой вращается мир.

Поэтому совершенно невероятно, чтобы я когда-нибудь внял голосу рассудка, который время от времени еще твердит мне слабо, приглушенно: «Уезжай! Беги!»

Знаю, добром это не кончится, не может кончиться. Но откуда я возьму силы, волю, энергию, если все это у меня отнято? С таким же успехом я мог бы приказывать безногому: «Встань и иди!» На чем? И еще скажу: куда? зачем? Здесь – жизнь моя!

Порой хочется дать Анельке прочесть мой дневник. Но я этого не сделаю. Прочтя его, она, быть может, стала бы еще больше жалеть меня, но, несомненно, меньше любить. Если бы Анелька была моей, она искала бы во мне опоры, душевного успокоения и непоколебимой веры, веры за двоих в то, что мы поступили, как должно, поступили хорошо. Но она нашла бы во мне сомнения даже и в этом. Думаю, что если бы даже она умом поняла все, что я пережил и что во мне творится, многое она не способна почувствовать: мы с ней такие разные люди! Я, например, даже тогда, когда впадаю в мистицизм и твержу себе, что все возможно, представляю себе жизнь за гробом не так, как принято, а значит – ненормально (если эти общепринятые верования можно считать нормальными). Но почему? Если все возможно, то и ад, и чистилище, и рай так же возможны, как светлое царство, созданное моим воображением. Притом видения Данте величественнее и внушительнее моих. Так почему же? По двум причинам. Во-первых, мой скептицизм, отравляясь порожденными им сомнениями, как скорпион – собственным ядом, все же способен еще извлекать из разнородных предположений идеи простые и общепринятые. А во-вторых...

Во вторых, я не могу вообразить себя в этой дантовской обители вдвоем с Анелькой. А без нее я не хочу такого загробного существования...

Все то, что я пишу и думаю, занимает только какую-то частицу моего мозга. Остальное полно Анелькой. Я еще вижу в эту минуту свет, падающий из ее окна на кусты барбариса внизу. Бедная моя девочка тоже не спит по ночам! Я видел сегодня, как она задремала над своим рукодельем. В большом кресле она казалась еще более миниатюрной и глубоко вздыхала от усталости. А я смотрел на нее с таким чувством, с каким отец смотрит на своего ребенка.

11 июня

Мне наконец прислали голову Мадонны Сассофerrато. Я отдал ее Анельке в присутствии тети и пани Целины, сказав, что это ее собственность, завещанная ей моим отцом, так что она никак не могла не принять ее. Потом сам повесил картину в ее будуаре. Она очень хороша. Я не в восторге от Мадонн Сассофerrато, но у этой такое простое, ясное лицо и так хороши светлые тона картины. Мне отраднo думать, что Анелька всякий раз, как на нее взглянет, невольно вспомнит, что это я подарил ей образ святой Мадонны и что он дар любви. Таким образом, любовь моя, которую она считает грешной, в мыслях ее теперь будет сочетаться с воспоминанием о святыне. Детское утешение! Но когда нет другого, хорошо и это.

Сегодня я пережил радостную минуту. Когда я повесил картину, Анелька подошла ко мне, желая меня поблагодарить. Так как пани Целина сидела довольно далеко, я осмелился задержать руку Анельки в своей и спросил вполголоса:

– Анелька, неужто ты и в самом деле меня ненавидишь?

Она как-то грустно покачала головой:

– О нет!

И сколько содержания было в этом коротком ответе!

Я писал, что если чувствам любимой женщины ко мне не суждено никогда проявиться, то мне все равно, любит она меня или нет. Но это одни слова. Нет, совсем мне не все равно! Пусть я владею хоть этим ее даром! Я не отдал бы его ни за что на свете. Иначе мне нечем было бы жить.

12 июня

Я – в Варшаве: третьего дня получил от Снятынского письмо, в котором он звал меня на прощальный обед по случаю отъезда Клары. На обед я не поехал, а с Klarой простился сегодня на вокзале и сейчас только вернулся оттуда. Эта славная девушка уезжала, несомненно, обиженная на меня и разочарованная, но, увидев меня, все мне простила, и прощание было трогательное. Я тоже чувствовал, что мне будет недоставать Клары и пустота вокруг станет еще ощутимее. В моих мистических сферах не будет прощаний! Сегодня на вокзале мне стало очень грустно. Вечер к тому же был пасмурный и дождливый, дождь зарядил, наверное, на несколько дней. Он не помешал, однако, множеству людей прийти провожать Klarу. Ее купе было так завалено венками и цветами, что напоминало погребальную колесницу. Придется ей все это выбросить, чтобы не задохнуться. Последние минуты Clara (насколько было возможно в такой обстановке) посвятила мне одному, не считаясь с тем, что подумают люди. Я вошел к ней в купе, мы разговаривали, как близкие друзья, не обращая внимания на сидевшую тут же и, как всегда, безмолвную старую родственницу Клары и на провожающих, которые в конце концов один за другим

деликатно удалились в коридор.

Я держал обе руки Клары, а она смотрела на меня своими честными голубыми глазами и взволнованно говорила:

– Вам одному я скажу откровенно, что ниоткуда мне не было так жаль уезжать, как из Варшавы... Из-за этой суматохи перед отъездом не осталось даже времени высказать то, что у меня на душе... Но мне так грустно! Во Франкфурте я встречаюсь со многими образованными людьми и с артистами, но все-таки... сама не знаю... есть какая-то разница между ними и здешними людьми. Вы, поляки, – как бы более чуткие инструменты. А уж о вас лично нечего и говорить!

– Вы позволите писать вам?

– Да, я как раз хотела вас просить об этом. И я тоже буду вам писать. Хотя у меня есть музыка, но мне иногда уже ее одной недостаточно. Может, и вам когда-нибудь захочется поговорить со мною хотя бы в письмах. У вас много друзей, но, наверно, ни одного такого преданного, как я, и так горячо желающего вам добра... Ох, я такая глупая, все меня волнует, а тут сейчас уже поезд отойдет...

– Мы ведь оба постоянно кочуем по белу свету, Клара: вы – артистка, а я – цыган. Так что можем сказать друг другу не «прощай», а «до свиданья».

– Да, до свиданья! До самого скорого свиданья! Вы тоже артист. Можно не играть, не писать, не рисовать – и все же душой быть артистом. Я это поняла с первой минуты знакомства с вами. И еще другое поняла: что вы как будто и счастливый человек, а на сердце у вас, быть может, очень тяжело. Так не забывайте, что есть на свете одна немка, которая любит вас, как сестра.

Я поцеловал ей руку, а она, думая, что я уже с ней прощаюсь, сказала торопливо:

– Еще есть время. Был только второй звонок.

Мне, по правде говоря, уже хотелось уйти. До чего же у меня развинтились нервы! На родственнице Клары был прорезиненный дождевой плащ, который нестерпимо шуршал при каждом ее движении, и это шуршание – вернее, свист резины – доводило меня просто до исступления. Кроме того, до отхода поезда оставалось уже только две-три минуты. Наконец в купе вбежала Снятынская, и я вышел на перрон.

– Пишите по адресу «Франкфурт, Хильсту», – крикнула мне вдогонку Клара. – А из дому мне письмо перешлют, где бы я ни была.

И вот я стою уже на перроне под окном ее вагона, а вокруг провожающие что-то кричат, прощаясь с Klarой, и с этим гомоном сливается шипенье пара, шумное пыхтенье локомотива, выкрики поездной бригады. Вдруг окно купе опустилось, и я еще раз увидел милое лицо Клары.

– Где вы проведете лето? – спросила она.

– Не знаю еще. Я вам напишу.

Тут локомотив запыхтел еще громче, послышался свисток, и поезд тронулся. Мы прокричали последние приветствия, а Клара посылала нам воздушные поцелуи, пока поезд не скрылся в темноте.

– Вы очень будете тосковать? – спросила у меня вдруг Снятынская.

– Очень, – ответил я и, простясь с ней поклоном, ушел с вокзала.

У меня действительно было такое чувство, словно уехал человек, который чем-то мог мне помочь. Я был очень расстроен. Быть может, виноват был отчасти и этот унылый вечер, дождливый и такой туманный, что уличные фонари в густой мгле издали походили на радужные круги. Последняя искорка надежды угасла во мне. Мой пессимизм, казалось, уже не оставался внутри, а, как воздух, обнимал весь окружающий мир, оседал на предметах и людях, проникал во все щели, пропитывал все и всех.

Я шел домой угнетенный, испытывая тяжкую тревогу, непонятное беспокойство, словно предчувствие какой-то неведомой опасности. В душе проснулась на минуту безумная тоска по солнцу и ясному небу, по тем краям, где не бывает таких дождей, мрака и туманов. Казалось, если я умчусь туда, где так светло, то самый свет там будет мне защитой, не допустит до меня чего-то страшного. Все мои мысли сосредоточились на одном слове, которое я твердил, как эхо: «Уехать! Уехать!» Но вдруг с ужасом вспомнил, что, уехав, оставлю здесь Анельку одну в жертву той неведомой опасности, от которой сам хочу бежать. Знаю, что это – моя фантазия, что ей было бы легче, если бы я уехал, но не могу отделаться от ощущения, что бежать было бы трусостью и подлостью с моей стороны... И это сильнее всех доводов рассудка. Да и вообще разговор об отъезде – только пустые слова. Я могу их сколько угодно повторять, верить в них, но если бы вздумал от них перейти к действиям, то оказалось бы, что из всех действий, какие в моих силах, отъезд – наименее возможное. Я вложил в эту любовь столько себя, она так крепко вросла в мою жизнь, что мне легче, кажется, дать растерзать себя на куски, чем от нее оторваться.

У меня настолько развиты способность контролировать свои мысли и самоанализ, что не верится, чтобы я мог сойти с ума. Никак я этого себе не представляю, а между тем по временам чувствую, что нервы мои уже натянуты до предела.

Жаль, что уехала Клара. Я редко виделся с ней в последнее время, но отраднo было знать, что она близко. Теперь Анелька завладеет мною всецело, ей будет принадлежать и та часть души, которую я отдавал спокойной привязанности и дружбе.

Вернувшись домой, я застал у себя молодого Хвастовского. Он приехал вечером, чтобы посоветоваться со своим братом-книгопродавцем: они здесь открывают магазин школьных учебников. Эти братья всегда что-нибудь затевают, вечно чем-то заняты, и потому жизнь их полна до краев. Я обрадовался Хвастовскому, как ребенок, который, боясь привидений, счастлив, когда кто-нибудь войдет в комнату. Вот до чего дошло! Душевное здоровье этого молодого человека действует на меня благотворно, бодрость его как будто передается и мне. Он сказал, что пани Целина заметно поправляется и через недельку сможет ехать в Гаштейн. Вот и прекрасно, хоть бы поскорее переменить обстановку! Я всеми силами постараюсь ускорить наш отъезд. Уговорю и тетюшку ехать. Она это сделает ради меня, а тогда никого не удивит, если и я отправлюсь с ними. Ну, вот, теперь я по крайней мере чего-то хочу, и хочу сильно! Там мне представится возможность окружить Анельку заботами. И мы будем еще ближе друг к другу, чем в Плошове.

Я вздохнул с облегчением после этого убийственного дня. Ничто так не гнетет

меня, как ненастная погода. Еще и сейчас слышно, как дождь барабанит по желобам, но в просветах между тучами уже кое-где мигают звезды.

12 июня

Сегодня приехал Кромицкий...

Гаштейн, 23 июня

Вот уже неделя, как мы прибыли в Гаштейн всем домом, то есть Анелька, тетя, пани Целина, я и Кромицкий. Я некоторое время не вел дневника, но не потому, что мне это надоело или я не испытывал в этом потребности. Мешало писать состояние души. Никакими словами не опишешь, что со мной творилось. А пока человек, не переводя дыхания, борется с обрушившейся на него силой, у него нет ни настроения, ни времени заниматься чем-либо другим. Я был в таком точно состоянии, как тот осужденный, о котором рассказывает Сансон в своих записках: с него сдирали кожу и заливали раны расплавленным оловом, а он в безумном исступлении кричал: «Encore! Encore!»[47] – пока не потерял сознания. И я уже дошел до полного бесчувствия, обессилел и окончательно сдался.

Меня словно придавила к земле чья-то грозная рука, огромная, как те горы, среди которых мы сейчас живем.

Но что же мне делать? Пусть давит, я не сброшу ее с себя. Не знал я до сих пор, что можно найти если не утешение, то некоторое успокоение в сознании своего бессилия и всей глубины своего несчастья.

Только бы не приходиться в себя, только бы мое нынешнее состояние продолжалось как можно дольше! Я записывал бы все, что со мной происходит, объективно, как посторонний человек. Но я уже по опыту знаю, что день на день не приходится, – и боюсь того, что может принести с собой завтрашний день.

24 июня

В один из последних дней перед отъездом из Варшавы я писал в дневнике следующее: «Любовь к чужой жене, если это любовь только по имени, – мерзость, если же это любовь настоящая, она – величайшее из человеческих несчастий». Однако до приезда Кромицкого я еще понятия не имел, из чего складывается это несчастье. Я его представлял себе более возвышенным, чем оно есть в действительности. А теперь вижу, что наряду с глубокими страданиями здесь и мелкие унижения, сознание собственного ничтожества и того, что ты смешон, и необходимость лгать, притворяться, и тысячи вынужденных жалких поступков, соблюдение тысячи недостойных порядочного человека предосторожностей... ну и букет! Право, аромат у этих цветов удушающий!

Бог знает, с каким наслаждением я вцепился бы Кромицкому в горло, прижал бы его к стене и крикнул прямо в глаза: «Я люблю твою жену!» А вместо этого я должен всеми силами стараться, чтобы он не заподозрил даже того, что она мне нравится. Красивая роль по отношению к Анельке! Что она может обо мне подумать? И это – только один цветок из всего букета.

25 июня

Не забуду, пока жив, того дня, когда приехал Кромицкий. В Варшаве он прямо с вокзала явился ко мне. Вернувшись домой поздно вечером, я увидел в прихожей чемоданы и свертки. Но мне почему-то в голову не пришло, что это могут быть вещи Кромицкого. Вдруг он сам выглянул из соседней комнаты и, увидев меня, бросился с распростертыми объятиями приветствовать нового родственника, да так поспешно,

что выронил из глаза монокль. Я, как сквозь сон, видел перед собой его голову, похожую на череп мертвеца, блестящие глазки и черные волосы. Меня обнимали, казалось, руки деревянного манекена. В сущности, приезда Кромицкого можно было ожидать, но у меня было такое ощущение, словно я увидел смерть лицом к лицу. Мне как будто снился страшный сон, слова: «Здравствуй, Леон», – звучали как-то неправдоподобно, фантастически. И вдруг меня захлестнула волна такого бешенства, омерзения и ужаса, что только огромным усилием воли я преодолел желание броситься на этого человека, свалить его на пол, размозжить ему череп.

У меня и прежде бывали вспышки ярости и отвращения, но примешавшийся к ним на этот раз страх был для меня чем-то новым и непонятным: это был инстинктивный страх, какой испытываешь при виде мертвеца. Я долго не в силах был выговорить ни слова. К счастью, Кромицкий мог объяснить мое поведение тем, что я его не узнал или что я удивился, когда он, человек едва мне знакомый, сразу перешел на «ты» и обошелся со мной, как с близким родственником... Кстати, это «ты» до сих пор бесит меня ужасно.

Я пытался сохранить хладнокровие. А он вставил монокль в глаз и снова принялся жать мне руку, говоря:

– Ну, как поживаешь? Как там Анелька? А мамаша? Все болеет, да? А тетушка?

Со смесью удивления и неистового возмущения я слушал, как он говорит о самых близких и дорогих мне женщинах таким тоном, словно они столь же близки ему. Светский человек все сумеет перенести, скрыв свое истинное настроение, нас к этому приучают с детства. Но я чувствовал, что еще немного – и я не выдержу. Я позвал слуг, приказал подать чай, пытаюсь выйти из оцепенения и занять мысли чем-нибудь другим. Но Кромицкого встревожило мое молчание, и, опять уронив монокль, он с живостью спросил:

– Почему ты ничего не отвечаешь? Уж не случилось ли там что-нибудь?

– Нет, все здоровы.

Неожиданно у меня мелькнула мысль, что мое волнение с первой же минуты дает этому ненавистному человеку преимущество передо мной. И этого было достаточно, чтобы я мигом овладел собой.

Я новел его в столовую, усадил за стол.

– А у тебя что нового? Надолго ты приехал?

– Сам еще не знаю, – ответил Кромицкий. – Приехал потому, что соскучился по Анельке. Да и она, я думаю, по мне скучает. Ведь мы только два месяца и прожили вместе. Для молодоженов это маловато, а?

Он рассмеялся своим деревянным смехом и сказал:

– Кроме того, у меня и здесь дело есть. Ох, дела, дела, всегда дела!

Он принялся подробно рассказывать о своей коммерческой деятельности, но я не вслушивался и ничего не мог понять. Только каждую минуту в моих ушах звучало слово «капитал», а перед глазами мелькал монокль. Удивительно, до чего даже в минуты тяжких страданий могут раздражать какие-то мелочи. Не знаю, со всеми ли

так бывает или только со мной, – но это слово «капитал» и монокль вызывали во мне испуганное чувство омерзения. В первые минуты встречи с Кромицким и я был почти неменяемым, тем не менее мысленно подсчитывал, сколько раз он вставлял и вынимал монокль. То же самое продолжается и сейчас, всегда, когда я нахожусь в его обществе.

После чая я проводил Кромицкого в комнату, отведенную ему на ночь. Тут он, не переставая рассказывать о своих делах, стал с помощью слуги распаковывать чемоданы. Время от времени он прерывал свою болтовню, чтобы показать мне какие-нибудь редкости, привезенные с Дальнего Востока. И, развязав ремни, в которых, кроме пледа, были уложены два восточных коврика, объявил:

– Купил в Батуме. Хороши, а? Будут лежать у наших кроватей.

Устав наконец, он отпустил слугу и, развалившись в кресле, продолжал говорить о своих торговых операциях на Востоке и планах на будущее, а я не слушал и думал о другом. Когда не можешь уберечься от несчастья в целом, то единственное спасение – избавляться хотя бы от его отдельных элементов. И для меня сейчас самый главный вопрос – поедет Кромицкий в Гаштейн или не поедет. Поэтому я, выждав несколько минут, сказал:

– Я тебя до сих пор мало знал, но теперь верю, что ты составишь себе состояние. Ты человек ничуть не легкомысленный и не станешь жертвовать серьезными делами ради всяких сентиментальностей.

Кромицкий горячо пожал мне руку.

– Если бы ты знал, как мне важно заслужить твое доверие!

В первую минуту я не придавал его словам особого значения. Я думал о том, что вот уже моя первая ложь Кромицкому и подлость по отношению к нему. Ложь – ибо я не верил в его коммерческие способности, а подлость – в том, что я ему льщу, хотя рад бы утопить его в ложке воды. Но мне было необходимо прежде всего отговорить его от поездки в Гаштейн, и я очертя голову ринулся дальше по этому пути.

– Вижу, что поездка наших дам в Гаштейн тебе не на руку, – сказал я.

Он стал сетовать на слабое здоровье пани Целины, как пошлый эгоист, который все воспринимает лишь постольку, поскольку это затрагивает его лично.

– Разумеется, эта поездка весьма некстати, – сказал он. – Между нами говоря, я думаю, что можно бы без нее обойтись. Всему должны быть границы – и дочерней любви тоже. Замужняя женщина должна понимать, что прежде всего обязана заботиться о муже. Притом эта мать, вечно сидящая за стеной в соседней комнате, стесняет нас, мешает мужу и жене сжиться, существовать только друг для друга. Не спорю, любовь детей к родителям похвальна, но когда она доведена до абсурда, то становится в жизни помехой.

Он долго разглагольствовал на эту тему, изрек множество подобных же сентенций, нестерпимо плоских и банальных, которые бесили меня тем сильнее, что в них была доля истины. В заключение Кромицкий сказал:

– Ну, да что поделаешь! Я поступаю, как купец: знал, какой контракт заключаю, и готов выполнить все свои обязательства.

– Значит, поедешь в Гаштейн?

– Да. Прежде всего это в моих интересах. Я хочу поближе сойтись с тобой и тетушкой и заслужить ваше полное доверие. Мы еще вернемся с тобой к этому разговору. У меня есть месяца полтора свободных. Я оставил вместо себя на Востоке Люциана Хвастовского, и он блюдет там мои интересы, – это, как говорят англичане, а *solid man*...[48] Ну, и потом, ты сам понимаешь, когда имеешь такую жену, как Анелька, то хочется пожить с нею под одной крышей... Понимаешь, а?

Он хихикнул, оскалив желтые гнилые зубы, и потрепал меня по колену. А у меня точно струя холода оледенила мозг, я чувствовал, что бледнею. Я поспешно встал, повернувшись спиной к свету, чтобы Кромицкий не заметил выражения моего лица, и, собрав все свое мужество, спросил:

– Когда ты думаешь ехать в Плошов?

– Завтра же, непременно завтра!

– Ну, покойной ночи!

– Покойной ночи! – отозвался он, выронив монокль из глаза. Потом протянул мне обе руки и добавил: – Я счастлив, что мы с тобой теперь близко сойдемся. Я всегда питал к тебе слабость... Уверен, что мы отлично пойдем друг друга.

Мы с ним пойдем друг друга? Боже, какой безнадежный идиот! Но чем он глупее, тем страшнее думать, что Анелька его собственность, ну попросту его вещь. В эту ночь я не пытался уснуть, я даже не разделся. Никогда еще мне не было так ясно, что бывают положения, когда нет больше слов, когда теряешь способность сознавать и ощущать свое несчастье, когда всему конец, только не самому несчастью. Да, поистине прекрасную жизнь уготовила мне судьба! Достаточно сказать, что жизнь моя до сих пор, которую я считал пределом страданий, потому что Анелька отвергла мою любовь, теперь уже казалась мне сказочным блаженством. Если бы тогда или даже сейчас явился ко мне сатана и дал подписать договор, обещав, что все останется таким, как до сих пор, и Анелька вечно будет попирает мои чувства, но зато Кромицкий никогда не приедет, – я бы, не раздумывая, подписал договор и за эту цену продал дьяволу душу. Когда женщина отталкивает мужчину, он невольно воображает ее как бы стоящей на высокой башне, на недоступной высоте, на которую не смеешь и глаз поднять. Так и я, помимо воли, думал об Анельке. И вот на сцену появляется господин Кромицкий с двумя ковриками из Батума и без церемоний стаскивает ее с высокой башни прямо на свои коврики – это ее-то, непреклонную, неумолимую, святую! Как ужасно то, что человеку дана способность мыслить, дано богатое воображение, – а при этом он бывает так омерзительно жалок и смешон! Как много я философствовал, сколько насочинял теорий, как только не утруждал свой мозг, доказывая себе, что любовь сильнее брачных контрактов, что я имею право любить Анельку, а она – меня! А теперь я останусь при своих теориях, а Кромицкий – с Анелькой.

«Человек, – думал я, – может поднять только какую-то определенную тяжесть. Если же ему взвалит на спину больше, он на ногах не устоит». В своей безмерной муке и унижении, в своей глупости, столь же безмерной и смешной, я с момента приезда Кромицкого стал презирать Анельку. Почему? Никакими разумными человеческими мотивами я объяснить этого не могу. Жена должна принадлежать мужу. Эту истину я знаю не хуже каждого другого глупца, но в моих глазах она опошляет любимую мною

чужую жену. Ах, какое мне дело до всех таких истин и суждений! Знаю одно: я презираю Анельку, и это уже последняя капля, переполнившая чашу, это больше, чем я могу вынести! Я чувствую, что жить при этих условиях мне совершенно невозможно и, несомненно, все должно коренным образом измениться.

Однако какие же это будут перемены? Хорошо, если презрение убьет мою любовь, как волк убивает овцу. Но я предчувствую, что наступит нечто иное. Я не презирал бы Анельку, если бы не любил ее; значит, презрение это – только лишняя цепь на моей шее. Я четко сознаю, что, кроме Кромицкой, ее мужа и их взаимоотношений, меня ничто больше не волнует – ни свет, ни мрак, ни война, ни мир, ничто, происходящее в мире. Она, Анелька, или, вернее, сейчас уже оба они и моя роль в их жизни – вот единственное содержание моей жизни. Если именно поэтому я больше жить не могу, что же будет? Мне вдруг показалось удивительным, как это до сих пор мне не пришел в голову самый простой выход: смерть. Какая же невероятная сила в человеческих руках – эта возможность перерезать нить своей жизни! Жду тебя, мой злой гений, и скажу я тебе так: «Ты будешь взваливать на спину мне все новое бремя только до тех пор, пока я на это согласен. Когда же станет уж слишком неумолимо, я отшвырну тебя прочь вместе с твоим грузом. А там – *e poi eterna silenza...*[49] нирвана, четвертое измерение Цельнера...» Впрочем, почему я знаю, что наступит затем! Но одна мысль, что в конечном счете все зависит от меня, доставляет мне огромное облегчение... С час я, лежа на диване, обдумывал, когда и как сделать это. И, отвлекшись мыслями от Кромицкого, его приезда, от моей ревности, в какой-то мере отдохнул душой. Самоубийство требует некоторых предварительных хлопот, конкретных действий, – и приходится думать не только о своем горе, но и о всяких других вещах. Я вспомнил, например, что мой дорожный револьвер слишком малого калибра. Встал, осмотрел его и решил купить другой.

Потом я стал обдумывать, каким образом можно было бы придать моему самоубийству видимость несчастного случая. Но все это, в сущности, были чисто отвлеченные размышления. Никакое определенное решение не выкристаллизовывалось у меня в мозгу. То было скорее сознание, что есть у меня такой выход, как самоубийство. И в глубине души я чувствовал, что еще не скоро решусь на это. «Уж если я знаю, что выход есть, и всегда могу освободиться, то спешить некуда, – думал я. – Поживу еще, посмотрю, до какого предела может довести меня злой рок и какие новые муки изобретет он для меня». Меня сжигало непреодолимое болезненное любопытство: что будет дальше, как сложится совместная жизнь этих двоих, как Анелька будет смотреть мне в глаза? В конце концов я так устал, что заснул, не раздеваясь, тяжелым сном, полным видений. Мне снились монокль Кромицкого, револьверы, какой-то хаос, в котором были перемешаны люди и вещи. Проснулся я поздно, и слуга сказал мне, что Кромицкий уже уехал в Плошов. Первой моей мыслью было ехать вслед за ним, увидеть их вместе. Но, уже сев в коляску, я вдруг почувствовал, что мне этого не вынести, слишком это будет тяжело и противно и может ускорить мой добровольный уход в иной, неведомый мир. И я приказал везти себя не в Плошов, а в другое место.

Всякий человек, даже самый отъявленный пессимист, инстинктивно бежит от зла и всеми силами обороняется от него. Поэтому он хватается за каждую надежду и от каждой перемены ждет лучшего. Вот и мне сейчас так загорелось ехать со всеми в Гаштейн, как будто меня там ждало спасение. «Только бы увезти их поскорее из Плошова!» – эта мысль не давала мне покоя, преследовала меня так неотступно, что я весь тот день старался ускорить ее осуществление.

Это оказалось нетрудным. Дамы уже почти закончили сборы. Кромицкий не писал им ничего о своем приезде (должно быть, хотел сделать жене сюрприз), и мы

предполагали через несколько дней тронуться в путь. Теперь же следовало бы, конечно, дать ему отдохнуть в Плошове и узнать, когда он сможет ехать с нами. Но я решил не считаться с ним, как будто его и не было здесь, отправился на вокзал, заказал на следующий день места в спальном вагоне до Вены, после чего послал слугу в Плошов с письмом к тете. В письме я уведомил ее, что билеты куплены, и так как все места на остальные дни этой недели уже распроданы, то надо выезжать завтра.

26 июня

Хочу вернуться опять к последним часам перед нашим отъездом из Варшавы. Они настолько врезались мне в память, что я не могу о них умолчать. Странное чувство испытывал я на другой день после приезда Кромицкого. Мне казалось, что я уже не люблю Анельку, – но все-таки не могу без нее жить. Впервые я переживал такое психическое раздвоение. Прежде, когда чувство любви зарождалось и росло во мне как-то закономернее, я говорил себе: «Я ее люблю, а значит, и хочу ею обладать», – здесь та же логика, что и в суждении Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую». Теперь я говорил: «Не люблю, но жажду», – и обе части этого заключения жили во мне словно высеченные на двух разных скрижалях. Обе меня терзали невыразимо. Я не скоро понял, что это «не люблю» – самообман. Я люблю ее, как и прежде, но теперь любовь моя так мучительна, горька и так отравлена, что не имеет ничего общего со счастьем.

Иногда я думаю, что если бы даже Анелька сейчас призналась мне в любви, если бы она развелась с мужем или овдовела и стала моей, я все равно не узнал бы счастья. Я готов бы жизнью заплатить за такую минуту, но, право, не знаю, мог ли бы я превратить ее в минуту истинного счастья. Не парализованы ли уже во мне те нервы, которыми человек ощущает счастье? Возможно. Но если так – на что мне жизнь?

Накануне отъезда в Гаштейн я зашел в оружейный магазин. Какой интересный старик продавал мне револьвер! Не будь он оружейных дел мастером, он мог бы стать профессором психологии. Войдя в лавку, я сразу сказал ему, что мне нужен хороший револьвер крупного калибра, все равно какой системы – Кольта или Смит и Вессона. Старик выбрал для меня револьвер, я взял его без возражений.

– Вам, наверно, нужны к нему и патроны? – спросил он затем.

– Да, да. Я как раз хотел вас об этом просить.

Оружейник остановил на мне пытливый взгляд.

– А футляр для револьвера не потребуется?

– Как же, как же! Давайте и футляр.

– Отлично, – сказал он. – В таком случае я подберу вам патроны с тем же номером, что и у револьвера.

Теперь уже я в свою очередь посмотрел на него пристально и с удивлением.

– Я, сударь, сорок лет занимаюсь своим делом и за это время немало научился. У меня люди часто покупали оружие, чтобы пустить себе пулю в лоб. И не было случая, чтобы такой человек купил и футляр. Что вы на это скажете? Всегда бывало так: приходит покупатель и говорит: «Мне нужен револьвер». – «В футляре?» –

«Нет, футляра не нужно». Удивительное дело! Уж коли решил застрелиться, чего тут рубль экономить? Но такова человеческая натура... Каждый, должно быть, думает: «На кой черт мне футляр?» И вот, сударь, когда приходит покупатель, я сразу узнаю, задумал он пустить себе пулю в лоб или нет.

– Это очень интересно, – сказал я.

– И когда я это заметил, – продолжал оружейник, – я вот что придумал: если человек покупает револьвер без футляра, я, как будто по ошибке, отпускаю ему патроны на один номер больше. Пустить себе пулю в лоб – дело нешуточное. Для этого нужно черт знает как крепко взять себя в руки, собрать все свое мужество. Ну, решился наконец человек – и хватает револьвер. А тут патроны не подходят. Хоть головой о стенку бейся, а приходится отложить до завтра. Вы как думаете, сударь, легко второй раз на такое решиться? Если бы не патроны, он был бы уже мертвецом сегодня. Ну, а как заглянул смерти в глаза, завтра уже стреляться не станет! Таких немало. Некоторые приходили на другой день ко мне – купить футляр... А меня смех разбирает. «Получай футляр и живи себе на здоровье».

Я записываю в дневник этот разговор, так как меня теперь очень интересует все, что связано с самоубийствами. А слова старого оружейника – любопытный психологический материал.

27 июня

По временам напоминаю себе, что Анелька меня любила. Я мог на ней тогда жениться, и жизнь моя была бы светлой и счастливой. Все зависело от меня, а я упустил свое счастье все из-за той же нежизнеспособности. В такие минуты я задаю себе вопрос, не схожу ли я с ума и действительно ли она могла стать моей навеки. Но я же отлично помню весь ход событий с нашей первой встречи и до сегодняшнего дня. И подумать только, что такая женщина была бы моей и так верна мне, как верна теперь этому Кромицкому, – нет, во сто раз вернее, потому что любила меня всем сердцем! Да, врожденная нежизнеспособность – вот мое несчастье. Но даже если бы это полностью меня оправдывало в собственных глазах, что толку? Я не нахожу в этом никакого утешения. Немного легче становится при мысли, что и потомков выродившихся поколений, и людей поколения сильного и цветущего – всех одинаково в конце концов засыпят землей. Это несколько сглаживает разницу между мной и так называемыми настоящими людьми. Вся беда моя и мне подобных – в нашей обособленности. Какое нелепое представление существует не только у писателей, но и у профессионалов-психологов, и даже физиологов о нас, потомках отживших родов! Эти люди воображают, что внутренней нежизнеспособности всегда соответствует невзрачная внешность, малый рост, вялые мускулы, анемичный мозг и убогий интеллект. Может, в отдельных случаях так и бывает, но утверждать, что это общее правило, – значит грубо ошибаться и педантично твердить одно и то же. Болезнь потомков старых родов – не отсутствие жизненных сил, а отсутствие гармонии, равновесия между этими силами. Вот я – человек физически здоровый и крепкий, да и безмозглым меня никто не назовет. Знал я и других представителей моего круга, людей, сложенных, как античные статуи, обладающих острым умом, даровитых, а жить они не умели и плохо кончали – всё из-за неуравновешенности их чрезмерно даже буйных жизненных сил. Силы эти в нас я сравнил бы с неправильно организованным обществом, в котором неизвестно, где начинаются права одних и кончаются права других. Мы «держимся анархией», а, как известно, анархией долго не продержишься. Каждая из наших сил работает только на себя, тянет нас в свою сторону и часто перетягивает остальные силы, – а отсюда – трагедии маниакальности. Я, например, сейчас болен именно этим – для меня ничто не существует, кроме Анельки, ничто другое меня не интересует и не привязывает к

жизни. Но люди не понимают, что такое отсутствие гармонии, анархия жизненных сил, – тяжкая болезнь, тяжелее физической и душевной анемии. В этом-то разгадка. Когда-то жизнь и общественные обязанности нас спасали, требуя от нас действий и в какой-то мере принуждая к ним. А ныне, когда мы отошли от жизни, отравлены философствованием и скепсисом, недуг наш еще обострился в этих нездоровых условиях. В конце концов мы дошли до того, что способны уже не к действиям, а только к душевным эксцессам, поэтому именно наиболее способные и одаренные из нас кончают обычно каким-нибудь видом безумия. В сущности, из всего, что составляет жизнь, осталось нам только одно – женщина. И вот мы – одно из двух – либо размениваемся, тратя по грошу свой жизненный капитал на разврат, либо, уцепившись за любовь к какой-нибудь женщине, как за ветку, растущую над пропастью, висим в воздухе, рискуя сорваться и сломить себе шею, тем более что чаще всего выбираем любовь незаконную, носящую в себе зачатки трагедии. Знаю, и моя любовь к Анеле добром не кончится, но не пытаюсь даже защищаться, так как отказ от нее был бы моей погибелью.

28 июня

Ванны, а в особенности здешний свежий воздух благотворно действуют на пани Целину. Она с каждым днем бодрее. И так как я окружаю ее заботами, как родную мать, она мне благодарна и все дружелюбнее относится ко мне. Анелька это видит и тоже не может не чувствовать ко мне признательности, но я уверен, что к этому чувству примешивается все больше горечи, потому что ей теперь еще яснее, как мы все были бы счастливы, если бы произошло то, что было прежде так возможно. Я теперь окончательно уверен, что она не любит мужа. Она ему верна и останется верна, но я заметил, что в его присутствии лицо ее принимает какое-то натянутое и угнетенное выражение. Я вижу ясно, что всякий раз, когда Кромицкий (может быть, он действительно в нее влюблен, а может, больше старается показать, что они с Анелькой – влюбленная пара) гладит ее руки или волосы или целует в лоб, она готова сквозь землю провалиться – так ей трудно терпеть эти ласки при мне и других. Она их терпит все же и вынуждена еще и улыбаться. Я тоже терплю и улыбаюсь, – только для развлечения сую тогда пальцы в свою рану, стараясь еще больше разбередить ее. Порой у меня мелькает мысль, что эта жрица Дианы, когда остается с мужем наедине, вероятно, не так сдержанна и, не стесняясь, проявляет свои чувства... Но давать волю этой мысли я остерегаюсь: чувствую, что еще одна капля – и я окончательно выйду из равновесия и перестану владеть собой. Мое отношение к Анельке теперь ужасно и для нее и для меня. Любовь моя начинает походить на ненависть, презрение, иронию. Это мучает и пугает Анельку. Она по временам смотрит на меня так, словно хочет спросить: «Чем я виновата?» Я и сам часто твержу себе: «Чем она виновата?» Но не могу, не могу, видит бог, относиться к ней иначе. Чем более угнетенной и смущенной она кажется, тем сильнее разгорается во мне злоба на нее, на Кромицкого, на самого себя и весь свет. И это не потому, что я не жалею любимую женщину, которая так же несчастлива, как я. Но подобно тому как вода не только не гасит слишком разбушевавшийся пожар, но еще сильнее раздувает пламя, так и во мне все другие чувства только усиливают ожесточение и отчаяние. Когда я казню презрением мою единственную любовь, женщину, самую дорогую мне в мире, когда даю волю гневу и сарказму, – я совершаю жестокость по отношению к себе такую же, как по отношению к ней, – нет, даже большую, потому что Анелька способна простить мне, я же не прощу этого себе никогда!

29 июня

Человек этот заметил, что я словно обижен на его жену, и объясняет это по-своему. Такое объяснение вполне достойно его: он вообразил, будто я ненавижу Анелю за то, что она предпочла его мне. По его мнению, во мне говорит попросту

оскорбленное самолюбие, и больше ничего. Так слеп может быть только муж! Додумавшись до этого, он старается вознаградить Анелю усиленной нежностью, а со мной разговаривает снисходительным тоном великодушного победителя. Только самомнение способно так оглуплять человека. Станный субъект этот Кромицкий! Каждый день ходит в отель Штраубингера, подсматривает за гуляющими под Вандельбаном парами и потом с каким-то злорадством высказывает на их счет самые гнусные предположения; скаля все свои гнилые зубы, смеется над обманутыми (по его мнению) мужьями, и каждое новое открытие в этом роде приводит его в такой восторг, что он десять раз в минуту то вынимает из глаза монокль, то снова вставляет его. Для него супружеская измена – только подходящая тема для дешевых острот. В несчастье других обманутых мужей он видит только фарс, а коснись это его самого, он считал бы неверность жены величайшей трагедией, тягчайшим преступлением, вопил бы к небу о мщении. С какой стати, глупец? Что ты собой представляешь? Подойди к зеркалу, посмотри на себя. Полюбуйся на свои монгольские глаза, волосы, подобно черной ермолке облегающие череп, свой монокль, длинные голени. А потом загляни внутрь себя, узри все убожество своего интеллекта, всю свою серость и банальность – и посуди сам, обязана ли такая женщина, как Анеля, быть тебе верной хоть один час? Каким образом досталась она тебе, физический и духовный выскочка? Разве не чудовищно, не противоестественно то, что ты – ее муж? Если бы Дантова Беатриче стала женой самого худшего из подонков Флоренции, это было бы более равным браком, чем ваш брак с Анелькой.

Я перестал писать, потому что снова вышел из себя, теряю спокойствие, а ведь я уже было совсем окаменел! В конце концов Кромицкий может утешиться: по совести говоря, я ничуть не выше его. Если даже допустить, что я создан из более ценного материала, – в этом мало утешения, ибо поступаю я хуже, чем он. Ему передо мной притворяться не нужно, я же вынужден лицемерить, таить правду и подлаживаться к нему, обманывать его и подсиживать. Мне хочется схватить его за горло, а я довольствуюсь тем, что ругаю его в своем дневнике, – что может быть пошлее? Такое «заочное» удовлетворение может себе позволить и раб по отношению к своему господину.

Кромицкий, наверное, никогда не казался себе таким подлецом, каким чувствовал себя я, когда проделывал тысячу низостей, пускался на всякие недостойные хитрости, чтобы только поместить его подальше от Анельки в нанятой мною вилле. Вдобавок мне это и не удалось. Одной простой фразой: «Я хочу быть около жены», – сказанной совершенно открыто, он разрушил все мои планы. И вот – живет «около жены»... Притом совершенно невыносимо то, что Анеле ясен смысл каждого моего поступка, понятно каждое мое слово и тайное намерение. Вероятно, ей часто бывает стыдно за меня...

Вот и все, чем я теперь живу изо дня в день. Думается, долго не выдержу, ибо я не на высоте создавшегося положения – то есть не настолько еще подл, насколько того требуют обстоятельства.

30 июня

Сегодня я услышал с веранды конец разговора между Кромицким и Анелькой. Оба говорили, повысив голос.

– С ним я сам потолкую, – сказал Кромицкий. – А ты объясни тетке, как обстоят дела.

– Ни за что на свете! – возразила Анелька.

– А я тебя о ч е н ь прошу, – с ударением произнес Кромицкий.

Не желая быть тайным свидетелем их дальнейшего разговора, я вошел в комнату. Лицо Анельки выражало огорчение и сильнейшую досаду, которые она постаралась скрыть, когда увидела меня. Кромицкий был бледен от гнева, но с улыбкой протянул мне руку. В первую минуту я с беспокойством, даже со страхом подумал, что Анелька во всем призналась мужу. Боялся я не Кромицкого, а того, что он может увести Анельку, и тогда прекратятся мои муки, треволнения и унижения. А ведь они – единственная пища сейчас для моей души, без них я умру с голоду. Все, что угодно, – только не разлука с Анелькой! Я пытался угадать, о чем они могли говорить? Наиболее вероятным мне казалось, что Анелька что-то рассказала мужу. Но тогда его обхождение со мной должно было измениться, а между тем он стал как будто еще любезнее. Вообще, если бы у меня не было причин его ненавидеть, я не мог бы ни в чем упрекнуть его: он всегда со мной вежлив, дружелюбен, даже сердечен, уступает мне во всем, как нервной женщине. Он старается завоевать мое доверие. Его не отталкивает и то, что я иногда отвечаю ему резко или иронически, весьма бесцеремонно уличаю его в необразованности и недостаточной утонченности. Я никогда не упускаю случая в присутствии Анельки подчеркнуть убожество и вульгарность его ума и сердца по сравнению с нашими. А он терпелив. Быть может, только со мной? Сегодня я в первый раз видел, как он рассердился на Анельку. Он даже позеленел от злости, как люди, чей гнев холоден, а значит – упорен и свиреп. Анелька, вероятно, его боится. Впрочем, она всех боится, а теперь уже и меня. Иной раз трудно бывает понять, откуда берется такая поразительная сила воли у этой женщины, кроткой, как голубка. В свое время я воображал, что у нее пассивная натура и она не сможет мне противиться. Как я ошибался! Стойкость ее столь же упорна, сколь для меня неожиданна. Не знаю, о чем они говорили с Кромицким, но уверен: раз она ему объявила, что не сделает того, чего он от нее требует, то и не сделает, – будет трястись от страха, а не сделает. Если бы она была моя, я любил бы ее, как преданный пес хозяина. Носил бы ее на руках, сдувал бы с ее дороги каждую пылинку, любил бы больше жизни.

1 июля

Ревность моя была бы жалка, если бы не было в ней душевной муки верующего, на глазах у которого профанируют его божество. Ах, если бы я мог вознести ее на вершину неприступной горы, к которой никто не смел бы и подойти близко! Ради этого я готов был бы и себе отказать во всем, даже в прикосновении к ее руке.

2 июля

Нет, я не окаменел, – мне только так казалось. То, что было временным состоянием нервов, я принимал за окончательное состояние души. Впрочем, я уже и прежде подозревал, что оно долго не продлится.

3 июля

Очевидно, между ними все-таки что-то произошло. Оба скрывают недовольство друг другом, но я все вижу. В последние дни я ни разу не замечал, чтоб Кромицкий, как прежде, брал Анельку за руки и целовал их – сначала одну, потом другую, – чтобы он гладил ее по волосам или целовал в лоб. Я было обрадовался, но радость эту отравила Анелька: она явно старается умиловить мужа, развеселить его и восстановить прежние отношения. Я взбесился, и это, конечно, отразилось на моем обращении с нею. Я был к ней, а тем самым и к себе, жесток, как никогда.

4 июля

Сегодня я, возвращаясь с прогулки, встретил Анелю на мостике против водопада. Она круто остановилась и что-то сказала, но шум воды заглушил ее слова. Меня это

разозлило – я в последнее время стал очень раздражителен, – и, когда мы, сойдя с мостика, пошли в сторону нашей виллы, я сказал сердито:

– Я не расслышал, что ты сказала.

– Я хотела спросить, почему ты стал так относиться ко мне? – промолвила она огорченно. – Почему у тебя нет ни капли жалости ко мне?

От этих слов вся кровь прилила к моему сердцу.

– Разве ты не видишь, что я люблю тебя без памяти? – сказал я стремительно. – Как можно ни в грош не ставить такое чувство? Слушай! Я от тебя больше ничего не требую. Скажи мне только, что любишь, отдай мне душу свою – и я все вытерплю, всему покорюсь и отдам тебе взамен жизнь, буду служить тебе до последнего вздоха. Анелька, скажи: ведь любишь меня, правда? В этом одном слове – мое спасение. Скажи же его!

Лицо Анельки стало блее пены водопада. Казалось, ледяной ветер пронизал ее и заморозил кровь в ее жилах. В первую минуту она не могла выговорить ни слова, потом с величайшим усилием сказала:

– Ради всего святого, не говори так со мной!

– Значит, никогда? Никогда я не услышу от тебя этого слова?

– Никогда.

– Так это не у меня, а у тебя ко мне нет ни капли...

Я не договорил. Меня вдруг ужалила мысль, что Кромицкому она не отказала бы, если бы он захотел услышать от нее слова любви. И от бешенства и отчаяния у меня зашумело в голове, потемнело в глазах. Не помня себя, я бросил ей в лицо такие страшные, циничные слова, каких ни один мужчина не позволил бы себе сказать беззащитной женщине. Я просто не решаюсь привести их здесь. Как сквозь сон, помню, что Анелька одно мгновение смотрела на меня с удивлением и ужасом, потом схватила меня за рукав и, порывисто теребя его, твердила:

– Что с тобой, Леон? Что с тобой?

А со мной было то, что я потерял всякую власть над собой. Вырвав у Анельки руку, я зашагал в другую сторону. Через несколько минут вернулся, но ее уже не было. Тогда я сознавал только одно: что пришло время покончить со всем. Мысль эта сразу лучом света прорезала мрак, царивший в моем мозгу. Я был в том странном состоянии, когда сознание человека сосредоточивается на чем-то одном. Я не отдавал себе ясного отчета в том, что произошло, почти не помнил ни о себе, ни об Анельке, – зато о смерти думал, как человек в полном сознании, совершенно спокойно. Так, например, я трезво рассудил, что, если брошусь со скалы в пропасть, это может сойти за несчастный случай, если же застрелюсь у себя в комнате, тетя такого удара не переживет. Еще удивительнее было то, что, сознавая это, я, однако, не способен был сделать выбор – как будто между моим разумом и волей порвалась всякая связь. Совершенно ясно понимая, что броситься со скалы лучше, чем застрелиться, я все-таки шел на виллу за револьвером. Почему? Не знаю. Помню только, что я шагал все быстрее, спешил ужасно и, стрелой взлетев по лестнице наверх, стал искать ключ от чемодана, в котором лежал револьвер. Вдруг

быстрые шаги на лестнице вывели меня из состояния отрешенности, отвлекли от мысли о самоубийстве. Я подумал, что это Анелька угадала мое намерение и спешит ему помешать. Дверь распахнулась, и я увидел тетюшку. Она крикнула, задыхаясь:

– Леон, беги за доктором, Анелька заболела!

Услышав это, я забыл обо всем и выбежал из дому без шляпы. Через четверть часа я привел врача из отеля Штраубингера. Но пока я ходил, все кончилось благополучно. Доктор пошел к Анельке, а я остался с тетей на веранде и спросил у нее, что случилось.

– Полчаса назад Анелька пришла домой, – сказала тетя, – и лицо у нее было такое красное, что мы с Целиной забеспокоились. Спрашиваем, что с ней, а она отвечает: «Ничего, решительно ничего!» – да так нетерпеливо! Но мы видели, что это неправда. Целина стала допытываться уже настойчивее, и тут Анелька из себя вышла – первый раз в жизни я видела ее в таком гневе. Стала кричать: «За что меня здесь все мучают!» Потом с ней начались какие-то спазмы, и она не то плакала, не то смеялась. Мы страшно перепугались, и я побежала за тобой. Слава богу, это скоро прошло. Она только плакала, бедняжка, и все просила у нас прощения за свою вспыльчивость.

Я молчал – сердце у меня разрывалось от боли. Тетя стала ходить большими шагами по веранде, потом остановилась передо мной и сказала:

– Знаешь, мальчик, что мне думается? Мы все недолюбливаем этого Кромницкого... Да, все, Целина тоже его едва выносит. И странное дело – он так старается нас расположить к себе, а при всем том остается чужим... Нехорошо это с нашей стороны. Анелька все видит и страдает...

– А вы думаете, тетя, что она так сильно его любит?

– Ну, ты уж сейчас «сильно! сильно!». Любит, потому что он ей муж. И, разумеется, ей неприятно, что мы к нему плохо относимся.

– Да из чего это видно? Кто его обижает? По-моему, она просто с ним несчастлива – вот и все.

– Упаси боже! – вздохнула тетюшка. – Не спорю, она могла сделать лучшую партию. Но, собственно говоря, в чем его можно упрекнуть? Он, видимо, очень к ней привязан. Правда, Целина не может ему простить продажи Глухова, да и я этого никогда ему не забуду. Но Анелька его защищала изо всех сил.

– Быть может, защищала скрепя сердце?

– А хоть бы и так, – это еще больше доказывает, что она его любит. Ну, а его коммерческие дела... Беда в том, что никто из нас толком не знает, как они обстоят, – и потому Целина все время в тревоге. Но, по совести говоря, разве в деньгах счастье? И, кроме того, я тебе уже сказала, что не забуду Анельку в своем завещании, и ты на это согласился. Ведь так? Ты не возражаешь? Мы оба, мой милый Леон, обязаны о ней позаботиться, и притом она такая милая, хорошая девочка, она этого вполне заслуживает.

– Совершенно с тобой согласен, дорогая тетя. У меня нет сестры, о ком же мне больше заботиться, как не об Анельке? Покуда я жив, она ни в чем не будет

нуждаться.

– Я на это крепко надеюсь и потому умру спокойно, – сказала тетушка и бросилась меня обнимать, но тут на веранду вышел доктор. Он несколькими словами окончательно успокоил нас.

– Небольшое расстройство нервов, это часто наблюдается в первое время после здешних ванн. Пусть несколько дней их не принимает, побольше бывает на воздухе, вот и все. Организм у нее здоровый, крепкий – и, значит, все будет в порядке.

В благодарность я столько насовал доктору в карман, что он надел шляпу только уже за воротами нашей виллы. Я отдал бы несколько лет жизни за возможность сейчас же пойти к Анельке и, целуя у нее ноги, просить прощения за все то зло, что я ей причинил. Я давал себе клятву отныне вести себя иначе, терпеливо переносить присутствие Кромицкого, не возмущаться и даже не роптать. Раскаяние, полное и глубокое раскаяние – вот чем была полна моя душа. Как я люблю – этого не выразить никакими словами.

Около полудня вернулся с дальней прогулки Кромицкий. Я тут же постарался обойтись с ним ласково. Он принял это за выражение сочувствия и проникся ко мне искренней благодарностью. Вдвоем с пани Целиной он весь день провел у постели Анельки. После полудня она хотела одеться и выйти, но ее не пустили. Я и этим не позволил себе возмущаться. Такой великой победы над собой я не одерживал еще, кажется, ни разу в жизни. «Это ради тебя, любимая», – мысленно говорил я Анельке. Весь день я был в глупейшем состоянии – мне, как малому ребенку, хотелось плакать. Вот и сейчас меня душат слезы. Да, набедокурил я, но зато теперь искупаю это честно.

5 июля

После вчерашних волнений сегодня полнейшее спокойствие, – как затишье после бури. Грозовые тучи разрядили весь свой запас электричества. Я ощущаю какую-то душевную и физическую расслабленность. Анельке лучше. Утром мы с ней оказались одни на веранде. Я усадил ее в кресло на колесах и, укутав пледом (утра здесь холодные), сказал:

– Дорогая моя, от всего сердца прошу прощения за то, что я наговорил тебе вчера. Прости и забудь – достаточно и того, что сам я никогда себе этого не прощу и не забуду.

Она в ответ стремительно протянула мне руку, а я так и впился в эту руку губами. Мне понадобилось огромное усилие воли, чтоб не застонать громко, – так сильна была мука неудовлетворенной любви. Анелька это хорошо понимала и не скоро отняла руку. Она тоже боролась с волнением, а быть может, и с порывом сердца, толкавшим ее ко мне. Ее шея и грудь трепетали, словно от рвавшихся наружу рыданий. Чувствует же она, что я люблю ее больше всего на свете, что такую любовь далеко не всегда встретишь и она могла бы стать счастьем целой жизни.

Однако она скоро взяла себя в руки, и лицо ее стало ясно и спокойно. В нем можно было прочесть лишь покорность судьбе и безмерную нежность.

– Значит, мир и согласие, да? – спросила она.

– Да.

– И уже навсегда?

– Что я могу ответить тебе на это, мой ангел? Ты сама хорошо знаешь, что во мне творится.

Глаза Анельки снова затуманились, но она превозмогла себя.

– Не надо об этом... – промолвила она. – Ты так добр ко мне...

– Я? – воскликнул я с искренним негодованием. – Да знаешь ли ты, что, если бы не твоя болезнь, я бы вчера на себя...

Я не договорил, поняв вдруг, что было бы подло таким образом обезоруживать ее, внушая ей страх за мою жизнь. Нет, такие способы не для меня! Мне стало очень стыдно, когда Анелька, сразу встревожившись, внимательно посмотрела на меня и спросила:

– Что ты хотел сказать?

– То, что было бы меня недостойно, да и теперь уже не имеет значения.

– Нет, Леон, я непременно хочу знать это, иначе ни минуты не буду спокойна.

Ветер смахнул ей на лоб прядь волос. Я встал и принялся укладывать эту прядку на прежнее место так бережно и заботливо, как это сделала бы ее мать.

– Анелька, родная, не заставляй меня говорить то, чего говорить не следует. Ты и без того можешь быть спокойна. Даю тебе слово, что больше у тебя не будет никаких причин тревожиться.

Она подняла глаза.

– Обещаешь?

– Да, торжественно и твердо. Что за страхи тебе мерещатся? Что это взбрело в твою дорогую головку?

Разговор наш прервал почтальон, принесший целую пачку писем. Тут были письма Кромицкому с Востока, Анельке – от Снятынских (я узнал его почерк на конверте) и одно письмо мне от Клары. Эта славная девушка о себе писала мало, зато усердно расспрашивала меня, как я живу. Я сказал Анельке, что письмо от Клары, и она, желая, должно быть, окончательно восстановить между нами дружескую непринужденность, принялась подшучивать над моим «романом». Я в долгу не остался и объявил, что, по моим наблюдениям, Снятынский в последнее время совсем потерял голову. Так мы оба некоторое время шутили и смеялись. Сердце человеческое, как пчела, ищет меду даже в горьких цветах. Самый несчастный человек – и тот стремится отыскать хоть капельку счастья даже в собственных муках и хватается за малейшую тень, за малейшую видимость этого счастья. Мне иногда думается: такая неутолимая потребность счастья – не доказательство ли, что нас еще ждет око после смерти? Я убежден, что и пессимизм порожден этой именно потребностью, – ведь, если несчастья всего человечества облечь в философскую формулу, это может служить некоторым утешением. Да, пессимизм призван был усыпить стремление к познанию и правде, а что такое счастье, как не длительное усыпление?

А может быть, любовь – такой неисчерпаемый источник счастья, что, даже когда она безнадежно мрачна, мрак ее бывает пронизан лучами света? Вот такой лучик сегодня светил мне и Анельке. А я уже на это не надеялся! Не думал я, что человек, не знающий границ своим желаньям, жаждущий обладать всем, способен в своей тяжелой доле удовлетвориться малостью, почти ничем. Но примером тому оказался я сам.

Едва мы дочитали письма, как в дверях появилась панн Целина (она уже ходит без чужой помощи). Она принесла Анельке скамеечку под ноги.

Ах, мама! – с досадой сказала Анелька. – Как это можно!

– А ты мало ли нянчилась со мной, когда я болела? – возразила пани Целина.

Я взял из ее рук скамеечку и, опустившись перед Анелькой на колени, ждал, чтобы она поставила на нее свои ножки. Эта секунда осчастливила меня на целый день. Да! Нищий, всего лишенный, живет крохами и, собирая их, еще благодарно улыбается сквозь слезы.

6 июля

Сердце у меня искалеченное, но оно способно любить. Только теперь я понимаю Снятынского. Если бы я не был человеком, утратившим душевное равновесие, вывихнутым, отравленным скептицизмом, критическим самоанализом и критикой этого самоанализа, если бы любовь моя была законной и правой, я обрел бы в Анельке свой жизненный догмат, а за этим догматом появились бы и другие. Впрочем, кто знает – может быть, я способен любить только так, против человеческих законов и правил, и в этом именно сказывается моя нежизнеспособность. Как бы там ни было, то, что должно было вернуть мне душевное здоровье и быть моим спасением, стало для меня смертельным недугом и гибелью. И – странное дело! – люди как будто предвидели, что меня постигнет: предостережений было немало. Мне все вспоминается то, что написал Снятынский, когда я жил у Дэвисов в Пельи: «Жизнь дает всякие всходы. Смотри же, чтобы в твоей жизни не выросло что-нибудь такое, что станет несчастьем для тебя и твоих близких». В то время я посмеялся над его словами, – а между тем как верно он предсказал мое будущее! Да и отец не раз говорил со мной так, словно взор его проникал сквозь завесу будущего. Но сейчас поздно вспоминать об этом. Знаю, что размышления эти ни к чему не приведут, но не могу не предаваться им, потому что мне жаль не только себя, но и Анельку. Со мной она была бы во сто раз счастливее, чем с Кромицким. Может, я вначале и критиковал бы ее, находя в ней множество недостатков, но все равно любил бы ее всем сердцем. Она была бы моей, и, значит, на нее распространялась бы моя эгоистическая любовь к самому себе. Ее недостатки я рассматривал бы как свои собственные, а ведь себе человек все прощает и, как бы резко ни критиковал себя, всегда заботится о своем благе, остается себе дорог. Так и Анелька была бы мне дорога, а к тому же она настолько выше меня, что со временем стала бы моей гордостью, лучшей и благороднейшей частью моей души, и, сознавая всю неуместность моей критики, я перешел бы в ее веру, и она стала бы моей спасительницей.

Да, так могло быть, но все загублено, испорчено, стало трагедией для нее, трагедией и злом для меня.

7 июля

Перечитывая то, что писал вчера, я задумался над последней фразой, – я писал, что любовь моя, будь она законной, могла бы спасти меня, а вместо этого стала источником зла... С этой мыслью трудно примириться. Каким образом любовь к такому

чистому существу, как Анелька, может породить зло? Объяснить это можно одним словом: любовь моя – любовь неправая. В конце концов надо в этом сознаться. Если бы мне, человеку цивилизованному, с впечатлительными нервами, человеку, который всегда жил в ладу с уголовным кодексом уже хотя бы потому, что нравственные понятия не позволяют ему жить иначе, два года назад кто-нибудь предсказал, что я буду целыми днями и ночами думать о том, как бы любым способом, хотя бы убийством, избавиться от человека, который стоит у меня на дороге, я счел бы такого пророка сумасшедшим. Однако это так – вот до чего я дошел! Кромицкий мешает мне жить, отнимает у меня землю, воду и воздух. Я не могу жить оттого, что он живет на свете, – и потому ни на минуту не расстаюсь с мыслью о его смерти. Если бы он умер, как просто разрешилось бы все! Наступил бы конец всем страданиям. Ведь вот гипнотизер может сказать своему медиуму: «Спи!» – и медиум засыпает. Так почему та же сила, но еще более напряженная, не может усыпить кого-нибудь навеки? Побуждаемый этой мыслью, я выписал себе недавно несколько книг о гипнотизме, а пока невольно каждым взглядом говорю Кромицкому: «Умри!» – и если бы такого внушения было достаточно, Кромицкого давно бы не было на свете. Между тем он жив и здоров, остается, как и был, мужем Анельки, а я сознаю, что мое поведение преступно, глупо, смешно, недостойно человека действия, – и все сильнее и сильнее презираю себя.

Это не мешает мне, однако, по-прежнему «гипнотизировать» Кромицкого. Вот так же иногда человек интеллигентный, когда врачи бессильны излечить его от тяжелой болезни, обращается к знахарям. Я стремлюсь умертвить соперника гипнотизмом, но при этом только яснее вижу свое ничтожество, и мне становится еще хуже. Все-таки должен признаться: всякий раз, как я остаюсь один, я ловлю себя на мыслях об уничтожении ненавистного соперника любыми средствами, какие доступны человеку. Долгое время я носился с мыслью убить его на дуэли. Но это ни к чему бы не привело. Анелька не могла бы выйти за убийцу своего мужа. Потом я, как самый настоящий преступник, стал обдумывать иные способы. И любопытно, что я придумал множество таких, которых не могло бы раскрыть никакое человеческое правосудие.

Ах, все это – глупости, пустые фантазии! Кромицкий может спать спокойно – мои замыслы никогда не перейдут в действия. Я его не убью, хотя бы знал, что отвечать за это не буду, как не отвечаешь за то, что раздавил паука. Даже если бы мы с ним жили одни на необитаемом острове, я и тогда не убил бы его. Но если бы возможно было разрезать пополам череп человека, как яблоко, и увидеть скрытые в нем мысли, – все увидели бы, как червяк преступления точит мой мозг. Более того: я отдаю себе ясный отчет, что не убью Кромицкого вовсе не из высших нравственных побуждений, выраженных в заповеди «Не убий!». Эту заповедь я уже в себе растоптал. Нет, не убью я только потому, что, пожалуй, мне этого не позволят какие-то остатки рыцарских традиций, а еще потому, что я, человек с утонченными нервами, слишком далеко отошел от первобытного дикаря и не способен на жестокость. Словом, физически убить я не способен, но мысленно я убиваю Кромицкого каждый день. И потому задаю себе вопрос: не буду ли я отвечать за это перед каким-то судом, который выше всякого суда человеческого, отвечать так же, как за убийство свершенное?

Правда, если бы можно было, вскрыв череп, увидеть тайные мысли человека, то, вероятно, даже в мозгу самого добродетельного из людей нашлись бы такие мысли, от которых волосы у всех встали бы дыбом. Помню, в детстве у меня был период такой набожности, что я молился горячо с утра до вечера, но вместе с тем в минуты высшего религиозного экстаза в голове у меня проносились всякие греховные мысли – как будто их мне навевал ветер или нашептывал какой-то злой демон. Точно так же меня иногда посещали кощунственные мысли о людях, которых я любил больше

всего на свете и за которых без колебания отдал бы жизнь. Помню, для меня, ребенка, это было трагедией, я искренне страдал. Так вот я думаю, что за грешные или преступные мысли мы не ответственны, ибо они порождены злом, которое мы видим вокруг, и вовсе не свидетельствуют о зле, укоренившемся в нашей душе. Вот почему человеку кажется, будто это бес нашептывает ему такие мысли. И человек слышит их, но если он не склонен ко злу, то гонит их от себя. В этом, пожалуй, даже есть некоторая заслуга.

Но со мной дело обстоит иначе. Мысль избавиться от Кромицкого приходит ко мне не извне, она растет и крепнет внутри меня. Я уже нравственно дошел до того, что способен убить, и если не решаюсь и не решусь никогда на это, то, как я уже говорил, только из-за своих нервов. Роль моего демона сводится к тому, что он издевается надо мной, шепча мне в уши, будто убийство Кромицкого лишь доказало бы мою способность к действию и вовсе не было бы преступнее, чем желание убить.

Вот оно, то распутье, на котором я сейчас стою. Никогда я не думал, что зайду так далеко, и с удивлением смотрю в глубь своей души. Не знаю, искупил ли я хотя бы отчасти это падение своими неслышанными муками. Знаю только одно: тот, чья жизнь не укладывается в простой кодекс, признанный Анелькой и людьми ей подобными, тот, у кого душа перехлестывает через край такого сосуда, неизбежно будет повержен в прах.

9 июля

Сегодня в читальне Кромицкий указал мне какого-то англичанина, которого сопровождала необыкновенно красивая женщина, и рассказал их историю. Красавица эта, румынка по происхождению, была замужем за каким-то разорившимся румынским боярином, англичанин же, встретив их в Остенде, попросту купил ее у мужа. О таких случаях я слышал в жизни раз десять. Кромицкий даже назвал мне сумму, уплаченную за красавицу. Рассказ его произвел на меня странное впечатление. Я подумал: «Что ж, и это – способ. Конечно, постыдный и для продающего и покупающего, зато простой». От женщины в этих случаях можно скрыть сделку, а самой сделке придать по возможности приличный вид. Я невольно стал «примерять» этот способ к нашему положению. А что, если... Но у такого решения две стороны: по отношению к Анельке оно мне представлялось гнусной профанацией, по отношению же к Кромицкому – способом не только допустимым, но и могущим удовлетворить мою ненависть и презрение к нему. Если бы он на это согласился, тут-то и стало бы ясно, какой он мерзавец и каким чудовищным преступлением было выдать за него Анельку. Тогда сразу были бы оправданы все мои старания отнять у него жену. Но согласится ли он? «Ты его ненавидишь и потому готов приписать ему самое дурное», – говорил я себе. Однако, как я ни пытался быть объективным, я не мог забыть, что этот человек продал Глухов, коварно воспользовавшись доверенностью, полученной от жены, что он, в сущности, обманул Анельку и пани Целину, что, наконец, жажда наживы в нем явно сильнее всего. И не я один считал его одержимым «золотой лихорадкой». То же самое думал о нем и Снятынский, и моя тетушка, и пани Целина. А нравственный недуг такого рода всегда может довести человека до падения. Разумеется, все будет зависеть от состояния его дел. А каково оно, никто из нас толком не знает. Тетя предполагает, что неблагоприятно. Мне думается, что он все свои деньги вложил в какое-то предприятие, рассчитывая получить от этого посева обильный урожай. Но получит ли? В этом он и сам, по-видимому, не уверен, и оттого он в постоянной тревоге и шлет десятки писем молодому Хвастовскому, своему уполномоченному на Востоке...

Мне вдруг пришло в голову, что можно ведь от этого самого Хвастовского узнать о положении дел. Но на это нужно время. Пожалуй, съезжу на день в Вену, увижусь с

доктором Хвастовским (он там работает в клинике) и через него, быть может, что-нибудь узнаю: братья, наверно, переписываются. А пока постараюсь вывести кое-что у самого Кромицкого, – очень осторожно, чтобы не возбудить у него подозрений. Прежде всего я завтра же спрошу у него, что он думает о том румынском боярине, который продал жену англичанину. Предвижу, что Кромицкий не будет со мной до конца откровенным, но постараюсь хоть отчасти этого добиться, а остальное угадаю сам.

Все эти размышления и замыслы меня немного оживили. Самое страшное – страдать пассивно, сложа руки, и я рад всему, что выводит меня из этого состояния. «Вот завтра и послезавтра ты по крайней мере что-то предпримешь, попробуешь что-то сделать для своей любви», – твержу я себе и в этом черпаю бодрость. От полнейшей инертности перехожу к лихорадочной деятельности. Мой мозг и чувства нуждаются в разрядке. Я дал Анельке слово, что не покончу с собой, так что и этого выхода у меня уже нет. А так жить, как я живу, больше невозможно. Если путь, на который я хочу вступить, позорен, то, во всяком случае, для Кромицкого он будет позорнее, чем для меня. Я должен их разлучить не только ради себя, но и ради Анельки...

У меня, кажется, самая настоящая лихорадка. Здешние купанья полезны всем, только не мне.

10 июля

Даже здесь, в Гаштейне, бывают знойные дни. Что за пекло! Анелька носит платья из белой фланели, так одеваются англичанки для игры в теннис. По утрам мы пьем кофе на воздухе. Анелька приходит с купанья свежая, как снег на восходе солнца. Мягкая ткань платья как-то особенно рельефно обрисовывает ее стройное тело, а утреннее солнце освещает ее так ярко, что я вижу каждый волосок ее бровей и ресниц, вижу пушок на нежных щеках. Волосы ее кажутся мокрыми и в этом утреннем освещении еще светлее, а глаза – прозрачнее. Как она молода, как прелестна! В ней – вся моя жизнь, в ней все, чего я жажду. Нет, не откажусь я от нее, не смогу! Гляжу на нее и теряю голову от упоения и вместе от мучительного сознания, что вот сидит с нею рядом – муж. Нет, так продолжаться не может, пусть она будет ничья, только бы ему не принадлежала!

Анелька отчасти понимает, какая боль терзает мне нервы, – но только отчасти. Мужа она не любит, но жить с ним считает своей законной обязанностью, я же при одной этой мысли скрежещу зубами, потому что мне кажется, что, покоряясь этой «законности», она себя позорит, опошляет! А этого я не могу позволить даже ей. Лучше бы она умерла! Тогда она будет моей, ибо этот «законный муж» останется здесь, на земле, а я – нет. Поэтому у меня больше прав на нее.

Со мной по временам творится что-то странное. Когда я очень устану, измучаюсь, когда моему мозгу, перенапряженному мыслями об одном и том же, дано увидеть какие-то дали, которых в нормальном состоянии не видишь, бывают у меня минуты уверенности, что Анелька судьбой предназначена мне, что каким-то образом она уже стала или станет моей. Уверенность эта так глубока, что я, очнувшись, с удивлением вспоминаю о существовании Кромицкого. Быть может, в такие минуты я перехожу границу, которую люди при жизни обычно не переходят, и вижу все таким, каким оно должно бы быть в действительности, но существует лишь в идеале? Почему эти два мира не соответствуют друг другу? Как это возможно? Не знаю. Не раз пытался я это понять, но теряюсь. Такое несоответствие непостижимо, и я чувствую только, что в нем корень несовершенства и зла. Это сознание меня поддерживает: ведь в таком случае то, что Анелька – жена Кромицкого, тоже проявление зла.

11 июля

Снова разочарование, снова рушились мои планы, хотя есть еще искра надежды, что это крушение не окончательное. Я говорил сегодня с Кромицким о румыне, продавшем жену, и, чтобы вызвать Кромицкого на откровенность, придумал целую историю.

Мы встретили у водопада англичанина с купленной женой. Я тотчас стал восторгаться ее необычайной красотой, потом добавил:

– Мне здешний врач рассказывал, как совершилась эта купля-продажа. Ты слишком сурово судишь молдавского боярина.

– Он мне прежде всего смешон, – отозвался Кромицкий.

– Видишь ли, имеются смягчающие обстоятельства. Боярин этот – владелец крупных кожевенных заводов и вел дело на чужие деньги, полученные в виде ссуд. Неожиданно ввоз шкур в Румынию был запрещен ввиду эпизоотии. Боярин знал, что если он не продержится до конца карантина, то не только сам обанкротится, но и разорит сотни семей, доверивших ему свои деньги. Ну, что же, коли ты купец, так должен соблюдать купеческую честность. Быть может, их этика отличается от общепринятой, но кто ее признал...

– Тот вправе продать даже свою жену? – подхватил Кромицкий. – Ну, нет! Нельзя ради одних обязанностей жертвовать другими, да еще, быть может, более священными...

Высказавшись, как подобает человеку порядочному, Кромицкий этим до крайности разочаровал и разозлил меня. Впрочем, я не отчаивался, зная, что у самого дрянного человека всегда имеется запас громких фраз. И я продолжал:

Ты одного не принял во внимание, мой милый: ведь, разорившись, этот человек обречен бы на нищету вместе с собой и свою жену. Отнять у близкого человека последний кусок хлеба – это, согласишься, странный способ выполнять свои обязанности по отношению к нему.

– Вот не подозревал, что ты станешь так трезво рассуждать! – сказал Кромицкий.

«Дурак! – подумал я. – Ты не понимаешь, что это точка зрения не моя, а та, которую я хочу внушить тебе!»

– Я просто пытаюсь войти в положение этого мужа, – сказал я вслух. – А может, жена его не любила? Может, она любила англичанина и муж знал об этом?

– В таком случае они оба друг друга стоят.

– Не в этом дело. Надо смотреть глубже. Если она, полюбив англичанина, оставалась все же верна мужу, то она лучше, чем ты полагаешь. Ну, а муж... Может, он и подлец, не знаю. Но скажи, что делать мужу, когда к нему приходит другой человек и говорит: вы – двойной банкрот, ибо у вас есть долги, которых вы не в состоянии уплатить, и жена, которая вас не любит. Разведитесь с этой женщиной, и тогда я, во-первых, обеспечу ей богатую и, насколько это от меня зависит, счастливую жизнь, во-вторых, уплачу все ваши долги. И это только так говорится: «Продай! Продай!» – а, собственно, какая же тут продажа? Ты учти, что купец этот, согласившись на такую сделку, избавил от страданий любимую женщину (и еще вопрос, не правильнее ли такое понимание своих обязанностей) и одновременно

избавил от нужды всех тех, кто ему доверился...

Кромицкий подумал с минуту, вынул из глаза монокль и сказал:

– Дорогой мой, лъщу себя надеждой, что в коммерческих делах я понимаю больше тебя, но в дискуссии с тобой вступать не могу, так как ты меня мигом загонишь в угол. Если бы ты не получил в наследство миллионов и стал адвокатом, ты бы все равно их нажил... После того как ты эту историю мне представил в таком виде, я уж, ей-богу, не знаю, что думать об этом румынском хлыще. Одно знаю: тут был какой-то сговор относительно жены, и, значит, что ни говори, это грязное дело. А поскольку я сам в некотором роде купец, скажу тебе еще вот что: у банкрота всегда есть выход – либо вторично сколотить состояние и заплатить старые долги, либо пустить себе пулю в лоб. В последнем случае он за неимением денег расплачивается кровью, а жену, если она у него есть, избавляет от себя и дает ей возможность найти новое счастье.

Меня распирала тайная ярость, и я дорого дал бы за то, чтобы можно было крикнуть ему: «Ты тоже банкрот, хотя бы потому, что жена тебя не любит! Видишь этот водопад? Бросайся же в него, избавь жену от себя и открой ей новую жизнь, в которой она будет во сто раз счастливее!»

Но я молчал, переживая новое и полное горечи открытие, что Кромицкий, хоть он и жалкий человек, способный на такие поступки, как, например, продажа Глухова и злоупотребление доверием жены, – все-таки не такая подлая душонка, как я воображал. Это было для меня разочарованием, разрушало те планы, за которые я в последнее время цеплялся из последних сил. Теперь я снова ощущал свою беспомощность, снова впереди зияла пустота, и я словно повис в воздухе. Но я не хотел выпускать из рук последней соломинки, хорошо понимая, что смогу кое-как жить, только если буду действовать, буду что-то предпринимать, – иначе я сойду с ума.

«Подготовлю хотя бы почву для будущего и на всякий случай заставлю Кромицкого освоиться с мыслью о разлуке с Анелькой», – говорил я себе.

Повторяю, я не знал, каково его материальное положение, но допускал, что тот, кто занимается коммерцией, имеет одинаковые шансы и разбогатеть и все потерять. И я сказал:

– Не знаю, насколько твои слова совместимы с купеческой моралью, но должен с удовольствием признать, что они достойны благородного человека. Значит, если я верно тебя понял, ты утверждаешь, что муж, которому грозит разорение, не вправе увлечь за собой жену в бездну нищеты?

– Я сказал только, что продать жену при всех обстоятельствах – подлость. Вообще же говоря, жена должна делить участь мужа. Нечего сказать, хороша та жена, которая согласна расторгнуть брак только потому, что муж обеднел!

– Ну, может, жена и не согласится, но муж может развестись с ней и помимо ее воли. Каждый должен помнить свой долг... Притом, если жена видит, что развод с ней может спасти мужа, то правильно понятый долг велит ей согласиться на это.

– О таких вещах даже говорить противно.

– Почему? Или ты уже жалеешь румына?

– Боже упаси! В моих глазах он всегда останется подлецом.

– Тебе недостает объективности. Но это и не удивительно: человеку, у которого все идет как по маслу, никогда не понять психологии банкрота. Для этого надо быть философом, а философия несовместима с погоней за миллионами...

Я больше не хотел продолжать этот разговор – мне было невыразимо противно собственное коварство и лицемерие. Я воображал, будто мне удалось-таки посеять какое-то зерно, – правда, слишком ничтожное, чтобы оно могло дать всходы. Все-таки я по крайней мере снова ухватился за какую-то нить. Одно наблюдение меня воодушевило. Когда я стал внушать Кромицкому (делая вид, будто это его собственное мнение), что разорившийся муж должен дать жене свободу, на лице его выразилось беспокойство и смущение. А при упоминании о его миллионах он тихонько вздохнул. Делать из этого вывод, что ему грозит разорение, было бы преждевременно, но я предполагаю, что дела его не особенно надежны и могут принять дурной оборот.

Я решил это проверить. Во мне как будто сидело два человека. Один мысленно твердил Кромицкому: «Если ты хоть чуточку пошатнешься, я помогу тебе упасть. И, хотя бы мне пришлось пожертвовать всем своим состоянием, я одним ударом свалю тебя. Тогда я буду иметь дело с разбитым человеком, и посмотрим, не найдешь ли ты для предложенной мною сделки более приличного названия, чем „подлость“».

Но, думая так, я в то же время ясно сознавал, что подобный образ действий не в моем характере. Вероятно, я о чем-то таком или слышал, или читал, и если бы не мое отчаянное положение, ни за что не пошел бы на то, что мне претит и чуждо моей натуре. Деньги не играют в моей жизни никакой роли, никогда не были для меня ни средством, ни целью. Я не способен действовать таким оружием. Понимая, как унижительно было бы и для меня и для Анельки вводить этот элемент в наши отношения, я испытывал нестерпимое омерзение и спрашивал себя: «Неужели ты не остановишься и перед таким нравственным падением? Неужели и эта чаша не минет тебя? Смотри, ты все больше опускаешься – ведь прежде тебе и в голову не пришло бы поступить таким образом. А в довершение всего ты, быть может, и этим ничего не добьешься и только окончательно опротивеешь самому себе».

В самом деле, прежде, когда тетя иногда заговаривала о денежных делах Кромицкого и откровенно высказывала вслух подозрение, что они неблагополучны, меня это коробило. Предвидя, что он может когда-нибудь обратиться ко мне за помощью или предложить мне участвовать в его операциях, я давал себе слово решительно отказать ему и в том и в другом, настолько мне претила мысль, что в мои отношения с Анелькой вмешиваются деньги. Помню, я видел в этом доказательство своей щепетильности и благородства. А сейчас я дошел до того, что хватаюсь за это оружие, как банкир, который всю жизнь воевал только им.

Вижу совершенно ясно, что мои поступки и мысли хуже, чем я сам, – и часто не отдаю себе отчета, как же это случилось. Вероятно, причина в том, что я застрял на бездорожье и не могу выбраться на верный путь. Я люблю женщину высокой души, люблю горячо, однако это создает только ложное положение и заколдованный круг, в котором портится мой характер и даже исчезает тонкость чувств. В былые времена, когда случались минуты падения и я отбрасывал прочь всякую мораль, у меня всегда оставалось что-то взамен, эстетическое чувство, что ли, помогавшее мне различать зло. Теперь не осталось и этого чувства, вернее – оно бессильно. Ах, если бы я по крайней мере утратил душевную брезгливость! Но я сохранил ее полностью.

Только теперь она перестала быть для меня уздой, сдерживающим началом и только усиливает мои терзания. В душе моей больше нет места ни для чего, кроме любви к Анельке, но сознанию ведь и не требуется никакого места. Оно сохраняется и в любви, и в ненависти, и в боли, так же, как рак гнездится в больном организме. Кто не был в таком положении, как я, тот не может себе его представить. Я знал, конечно, что тревожения любви бывают весьма мучительны, но не вполне верил этому. Я не представлял себе, что эти муки бывают так реальны и невыносимы. Только теперь я познал разницу между «знать» и «верить» и по-настоящему понимаю слова французского мыслителя: «Мы знаем, что должны умереть, но не верим в это».

12 июля

Сегодня сердце мое бьется неровно, в голове шум, и при воспоминании о том, что произошло, каждый нерв во мне дрожит как в лихорадке.

День был прекрасный, а лунный вечер еще прекраснее. Мы решили совершить прогулку в Гофгаштейн, и только одна пани Целина захотела остаться дома. Тетушка, я и Кромицкий вышли к воротам виллы, Кромицкий отправился к Штраубингеру напясть коляску, а мы с тетей остались ждать Анельку, которая почему-то замешкалась у себя в комнате. Так как она долго не выходила, я побежал за нею и встретил ее на крутой наружной лестнице, которая со второго этажа виллы ведет прямо в сад.

Луна освещала только другую сторону дома, на этой же было совсем темно, а лестница – винтовая и почти отвесная. Поэтому Анелька спускалась очень медленно. Наступила минута, когда ноги ее оказались на уровне моей головы, и в ту же минуту я бережно обнял их обеими руками и стал жадно целовать. Я сознавал, что придется расплачиваться потом за эту минуту счастья, но не в силах был от нее отказаться. К тому же бог знает, как благоговейно касались мои губы этих дорогих ножек, от которых не могли оторваться, и какими муками я заслужил эту минуту. Если бы Анелька не противилась, я поставил бы ее ножку к себе на голову в знак того, что я навсегда ее слуга и раб. Но она вырвалась и отступила на верхнюю ступеньку. Тогда я соскочил вниз и закричал громко, чтобы стоявшая у ворот тетя меня услышала:

– Анелька сейчас идет!

Теперь Анельке не оставалось ничего другого, как сойти вниз, и она могла это сделать без всякой опаски, так как я пошел вперед. В эту минуту подъехал в коляске Кромицкий. Но Анелька, подойдя к нам, сказала:

– Извините, тетя, я передумала, не хочу оставлять маму одну. Вы поезжайте, а я вас дождусь, и будем чай пить вместе.

– Но ведь Целина прекрасно себя чувствует, – с легкой досадой возразила тетушка.
– Она сама предложила нам ехать – и главным образом ради тебя.

– Все-таки я... – начала было Анелька.

Но тут подошел Кромицкий и, узнав, в чем дело, сказал сухо:

– Пожалуйста, не порть нам прогулки.

И Анелька, ни говоря ни слова, села в коляску.

Волнение не помешало мне заметить тон Кромицкого и безмолвную покорность

Анелки. Они привлекли мое внимание главным образом потому, что Кромичский весь тот день разговаривал с Анелкой еще холоднее прежнего. Видимо, размолвка между ними, возникшая по неизвестным мне причинам, продолжалась и зашла еще дальше.

Однако я не стал об этом думать – не до того мне было. Я весь был во власти ощущений, которые испытал только что, осыпая поцелуями ноги Анелки. В душе моей смешались блаженство, радость – и страх. Блаженство я испытывал и прежде всякий раз, когда касался хотя бы руки Анелки. Но откуда эта радость? Ее породило то, что непреклонная и добродетельная Анелка не смогла все-таки решительно оттолкнуть меня. Я догадывался, что в эту минуту она говорит себе: «Я тоже стою на наклонной плоскости и не могу смело смотреть людям в глаза – ведь только что у ног моих был человек, который меня любит, и я отчасти его сообщница, потому что не приду к мужу и не скажу ему: „Накажи его, а меня увези отсюда“».

Я тоже понимал, что она так поступить не может, чтобы не нарушить мира в нашей семье, а если бы даже и могла, не сделает этого, чтобы не вызвать столкновения между мной и Кромичским. И какой-то внутренний голос шептал мне: «Кто знает, за кого из нас двоих она боится больше?»

Положение у Анелки было в самом деле исключительно трудное, и я пользовался этим сознательно, без зазрения совести, как полководец на поле битвы пользуется невыгодным положением противника. Я задавал себе только один вопрос: «Поступил бы ты так, если бы знал, что Кромичский заставит тебя ответить за это?» На этот вопрос я мог честно ответить – «да», и потому считал, что на все остальное не стоит обращать внимания.

Да, Кромичский мне страшен только тем, что он может увезти от меня Анелку бог знает куда. При одной мысли об этом я прихожу в отчаяние.

Но тогда, в коляске, я боялся прежде всего Анелки. Что-то будет завтра? Как она отнесется к тому, что я сделал? Увидит в этом дерзость или порыв благоговейного восторга и обожания? Я чувствовал себя, как нашкодивший пес, который боится, что его накажут. Сидя против Анелки, я пытался по ее лицу, освещенному луной, угадать, что меня ждет. Глядел на нее так смиренно, был так несчастен, что сам жалел себя, и надеялся, что она тоже не может не пожалеть меня. Но Анелка не смотрела на меня и слушала со вниманием, – притворным, быть может, – то, что говорил Кромичский. А он подробно объяснял тетушке, что он предпринял бы и как добился бы огромных доходов, если бы Гаштейн принадлежал ему. Тетя только головой кивала, а он то и дело повторял: «Ну, разве я не прав?» Он явно хотел убедить ее, что он – человек деловой, оборотистый и из каждого гроша сумеет сделать десять.

Дорога в Гофгаштейн прорублена в горах и вьется все время над пропастью. На многочисленных ее поворотах свет луны падал попеременно то на нас, то на сидевших напротив дам. В чертах Анелки я читал только тихую грусть, но меня ободряло уже то, что в них не было суровости. Она ни разу не взглянула на меня, но я утешался мыслью, что, когда лунный свет падает на меня, а ее лицо в тени, она, быть может, незаметно смотрит на меня и думает: «Никто во всем мире не любит меня так, как он, и никто не страдает так из-за меня». И ведь это правда.

Мы оба молчали. Говорил все время только Кромичский, и голос его мешался с шумом реки, протекавшей по дну ущелья, и с противным визгом тормоза, который кучер то и дело подкладывал под колеса. Этот визг терзал мне нервы, но их успокаивал теплый и светлый вечер. Было полнолуние. Месяц поднялся из-за гор и плыл в

просторах небес, освещая макушки Бокштейнкогля, ледники Тишькара, изрезанные ущельями склоны Гранкогля. Снега на вершинах гор мерцали светло-зеленым металлическим блеском, а так как ниже лежащие склоны сливались с вечерним мраком в одну сплошную серую массу, то казалось, что снеговые вершины парят в воздухе, легкие, неземные. Вокруг была такая мирная зачарованная тишь, таким покоем веяло от этих уснувших гор, что мне пришли на память слова поэта:

Ах, вот когда два сердца вместе плачут,
И коль простить они должны, так, значит,
Они простят. Проси у них забвенья –
Они дадут. [50]

А что, собственно, Анелька должна простить? Только то, что я целовал ее ноги. Если бы она была статуя святой и стояла в костеле, разве она стала бы гневаться и обижаться на такой знак благоговейного поклонения? Когда настанет время объясниться, я ей так и скажу – это должно ее убедить.

Я часто чувствую себя глубоко и несправедливо обиженным тем, что Анелька, – безотчетно, быть может, и не называя вещей по имени, – считает мою любовь чисто земным порывом чувственной страсти. Не спорю, чувство мое соткано из разных элементов. Но Анелька, кажется, не понимает, что есть в нем и элементы идеального, настоящей поэзии. Часто страсть во мне дремлет, и я люблю Анельку только душой – такой представляется нам первая наша юношеская любовь. Порой мое второе «я», тот критик, что сидит во мне и все анализирует, проверяет, а часто и высмеивает, говорит мне: «Вот как! А я и не знал, что ты любишь, как студент и как романтик». Да, именно так! Быть может, это смешно, но так я люблю и верю, что чувство это глубоко искренне, в нем нет ничего надуманного. Оттого-то любовь моя так всецело захватила меня, оттого она печальна, тем печальнее, чем сильнее дает себя знать и чем одностороннее она кажется Анельке.

В тот вечер я как раз переживал такие минуты усыпления страсти и мысленно говорил Анельке: «Неужели ты думаешь, что в моей любви нет ничего идеального? Вот сейчас я люблю тебя так чисто и самоотверженно, что ты можешь и должна эту любовь принять, и жаль, если ты ее отвергнешь, – ведь ты могла бы, ничем не поступаясь, спасти меня. Я сказал бы себе тогда: „Вот те пределы, в которых мне можно жить, вот мой мир“, – и у меня было бы хоть что-нибудь, я старался бы переделать себя, перейти в твою веру навсегда».

Я воображал, что Анелька может и должна согласиться на такое условие, и тогда между нами будет мир и оба мы успокоимся. Я давал себе слово все это ей объяснить, а когда мы решим навсегда душой принадлежать друг другу, тогда можно даже и расстаться, уехать. Меня окрыляла надежда, что Анелька согласится на такое решение. Она должна понять, что иначе жизнь нам обоим станет невозможна.

Было уже девять часов, когда мы доехали до Гофгаштейна. В деревне царил тишина, перед отелями – ни одного экипажа, в домах темно. Светились только окна на постоянных дворах, да у Мегера хор из нескольких очень недурных мужских голосов пел тирольские песни, «иодли». Я вышел из экипажа, чтобы предложить певцам показать нам свое искусство. Но оказалось, что это были не здешние крестьяне, а какие-то альпинисты из Вены, им неудобно было предлагать плату. Я купил два букета эдельвейсов и других альпийских цветов. Вернувшись к коляске, один поднес Анельке, другой развязал – якобы нечаянно, – и цветы посыпались к ее ногам.

– Не надо, пусть тут и лежат, – сказал я, когда Анелька нагнулась, чтобы их подобрать. И пошел за третьим букетом, для тетушки. Подходя с ним к экипажу, я

услышал голос Кромицкого:

– И если тут, в Гофгаштейне, открыть второй благоустроенный курзал, можно получать сто процентов прибыли.

– А ты все о том же? – сказал я небрежно.

Вопрос я задал умышленно – это ведь было все равно, что сказать Анельке: «Смотри – я весь полон тобой одной, а твой супруг, хотя ты рядом, думает только о деньгах. Сравни наши чувства к тебе – и сравни нас самих!»

И я почти уверен, что она меня поняла.

На обратном пути я несколько раз пробовал завести разговор, но мне так и не удалось вовлечь в него Анельку. Когда мы остановили коляску у ворот нашей виллы, Кромицкий пошел с дамами вверх, а я остался, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя затем в дом, я уже не застал Анельки за чайным столом, она, по словам тетушки, очень устала и захотела сразу лечь. Немало обеспокоенный, я уже стал упрекать себя в том, что мучаю ее. Когда любишь по-настоящему, нет ничего тяжелее сознания, что ты причиняешь зло любимой. Мы пили чай молча – тетя клевала носом, Кромицкий был словно чем-то встревожен, а я терзался все сильнее. «Должно быть, ее очень взволновало мое поведение там, на лестнице, – думал я. – Она во всем видит дурную сторону». Я предчувствовал, что завтра Анелька будет меня избегать. Она, конечно, считает, что я нарушил заключенный между нами мир. Эти мысли меня пугали, и я решил завтра ехать в Вену – попросту говоря, сбежать отсюда. Во-первых, я боялся Анельки, во-вторых, хотел увидаться с Хвастовским, в-третьих, подумал (один бог знает, с какой горечью!), что лучше дать Анельке отдохнуть хоть два дня, освободив ее от моего присутствия.

15 июля

Целый ряд событий и случайностей! Не знаю, с чего начать. Последние впечатления – самые сильные. Никогда еще я не имел столь веского доказательства, что Анелька ко мне все-таки равнодушна. Мне трудно рассказывать по порядку... Теперь я почти верю, что Анелька согласится на условия, которые я предложу ей. По временам у меня голова идет кругом... Но я сделаю над собой усилие и буду записывать все по порядку, с самого начала.

Я ездил в Вену. Вернулся сегодня вечером с кое-какими новостями, которыми поделюсь с тетей.

Я виделся с Хвастовским, переговорил с ним. Какой он молодчина! Работает в клинике как вол, дома пишет для народа брошюры по гигиене, а брат его, книгоиздатель, будет выпускать их дешевым изданием ценой в несколько грошей. Кроме того, наш доктор – деятельный член разных медицинских и не медицинских обществ и еще находит время для веселых, – может быть, даже слишком веселых, – походов в районе Кэртнерштрассе. Не знаю, право, когда этот человек спит. И при всем том он выглядит этаким ярмарочным Геркулесом. Сколько в нем жизни! Так и бурлит, так и кипит!

Я без обиняков рассказал ему, что привело меня в Вену.

– Не знаю, известно ли вам, что тетушка и я располагаем довольно значительными средствами, – начал я. – Пускать эти деньги в оборот нам нужды нет. Но если бы представилась возможность вложить их в предприятие, верное и приносящее солидные

барыши, то это принесло бы пользу нашей родине. Возможно, что и пану Кромицкому мы таким путем можем оказать услугу, – в этом случае польза была бы двойная. Скажу вам откровенно, сам он нам довольно безразличен, но раз мы с ним породнились, – отчего бы не помочь ему? Разумеется, мы должны быть уверены, что не потерпим при этом убытка.

– Так что вы хотели бы узнать, как обстоят его дела?

– Совершенно верно. Он-то, конечно, полон самых радужных надежд, и я не сомневаюсь, что искренне верит в свой будущий успех. Вопрос только в том, не ошибается ли он. Поэтому, если брат вам писал что-нибудь об этом и писал не по секрету, – расскажите мне, что именно. Кроме того, попросите его, чтобы он специально написал мне как можно точнее о положении дел Кромицкого. Тетя рассчитывает на его расположение к ней – ведь ваша семья связана с ней гораздо крепче, чем с Кромицким.

– Ладно, я напишу брату, – сказал доктор. – Да он как-то уже писал мне об этом, но не помню, что именно, – меня это мало интересовало.

Сказав это, он принялся рыться в бумагах на письменном столе, скоро нашел письмо брата и стал читать его вслух:

«Подыхаю с тоски. Женщин тут очень мало, а красивых и днем с огнем не сыщешь...»

Хвастовский рассмеялся и, прервав чтение, сказал:

– Нет, это не о том... Ему бы в Вену попасть – как сыр в масле катался бы... Ага, вот оно!

И, перевернув страницу, он дал мне прочесть несколько строк, в которых упоминалось о Кромицком:

«С нефтью у Кромицкого дело лопнуло. С Ротшильдами борьба невыносима, а он вздумал с ними тягаться. Кое-как мы выкарабкались, но с большими убытками. Теперь вложили огромные деньги в поставки и добились монополии. Дело сулит миллионные барыши, но ответственность большая. Все зависит от наших усилий. Мы стараемся работать как можно честнее и потому надеемся на лучшее. Но нужны деньги и деньги, так как нам платят в строго установленные сроки, а те, у кого мы забираем товар, требуют денег немедленно и вдобавок часто отпускают плохой материал. Все теперь – на моих плечах...»

– Деньги мы дадим, – сказал я, прочитав это.

На обратном пути в Гаштейн я усиленно размышлял об этом деле, и во мне заговорили более благородные инстинкты. «Как бы то ни было, – думал я, – вместо того чтобы губить Кромицкого, не будет ли проще и честнее помочь ему? Ведь Анелька оценит такой поступок, ее тронет мое бескорыстие. А будущее – в руках провидения».

Впрочем, поглубже заглянув в себя, я убедился, что и в моих «благородных» побуждениях есть доля эгоизма. Я рассчитывал, что Кромицкий, получив деньги, немедленно уедет из Гаштейна, и я избавлюсь от душевных мук, которые доставляло мне его присутствие и близость с Анелькой. Анелька останется одна, лицом к лицу с моей любовью, благодарная мне за помощь, а быть может, и досадующая на мужа за

то, что он эту помощь принял. Мне казалось, что все это открывает передо мной новые перспективы. Но прежде всего хотелось во что бы то ни стало спровадить Кромницкого.

Всю дорогу я был так поглощен мыслями об Анельке и наших отношениях, что и не заметил, как мы доехали до Ленд-Гаштейна. В Ленде я увидел множество раненых и убитых и узнал, что произошло крушение поезда на боковой ветке к Целлу. Но как только я снова сел в экипаж, впечатление, произведенное на меня видом ран и крови, рассеялось, и я вернулся к тем же мыслям. Я смутно чувствовал, что мои отношения с Анелькой надо как-то изменить, необходимо что-то сделать, иначе и мне и ей несдобровать! Но что? Ясно было только одно: она мучает и убивает меня, а я – ее. Я жажду всего, а она не идет ни на какие уступки, и это создает между нами такой трагический разлад, что для нее было бы лучше броситься в озеро, а для меня – слететь сейчас в пропасть вместе с экипажем и лошадьми. Кроме того, я прихожу к убеждению, что даже та замужняя женщина, которая остается верна мужу, не может избежать тяжелой внутренней борьбы, когда ее полюбит кто-то другой. Вот Анелька не сделала мне до сих пор ни малейшей уступки, но все-таки я по временам целую у нее руки и ноги, все-таки она вынуждена слушать мои признания и многое скрывать от матери и мужа. Ей приходится все время быть настороже, чтобы не выдать нашу тайну, следить за собой, да и за мной, ибо она не знает, до чего я еще могу дойти. При таких условиях жизнь становится нам обоим невыносима. Пора кончать.

Мне наконец показалось, что я нашел выход. Пусть Анелька не отвергает больше мою любовь, примет ее и скажет мне: «Я – твоя, душой и сердцем твоя и всегда буду твоей. Но ты этим должен ограничиться. Если ты согласен, то отныне мы связаны навеки».

И я, конечно, соглашусь на это. Я заранее рисовал себе, как протяну ей руку и скажу: «Беру тебя и обещаю, что больше ничего от тебя не потребую, что союз наш будет только союзом сердец, но в моих глазах наши взаимные обязательства будут браком, и ты – моей женой».

Возможен ли такой договор, положил бы он конец страданиям? Для меня он означал жесточайшее ограничение желаний и надежд, но создавал мой собственный мир, в котором Анелька принадлежала мне безраздельно. Наряду с этим такой договор узаконивал мою любовь, а для меня это было так важно, что я готов был на любую жертву, только бы Анелька признала мою любовь. Не доказывало ли это, как сильно я люблю ее и как жажду хоть каким бы то ни было образом обладать ею?

Да, я уже настолько переменялся, настолько себя переломил, что готов был согласиться на любые ограничения.

Итак, я с величайшим усилием сосредоточил свои мысли на одном вопросе: согласится ли Анелька? И мне казалось, что она должна согласиться.

Я уже заранее слышал, как говорю ей твердо и решительно: «Если ты действительно меня любишь, не все ли равно, пойми, скажешь ли ты мне это или нет? Что может быть выше и святее такой любви, какой я молю у тебя? Я и так уже отдал тебе жизнь мою, потому что не могу иначе. Так спроси же у своей совести, не должна ли ты хотя бы принять этот дар, как принимала Беатриче любовь Данте? Т а к любить друг друга не запрещается даже ангелам. Ты будешь мне близка, как только может душа быть близка другой душе, но в то же время так далека, как будто ты живешь на вершине самой высокой из здешних гор. Если это любовь неземная, если

обыкновенные люди не способны на такую любовь – тем более ты не должна ее отвергать. Дав ей волю, ты останешься бела, как снег, меня спасешь, а сама обретешь душевный покой и столько счастья, сколько можно узнать в нашей земной жизни».

Я искренне считал себя способным на такую любовь, почти мистическую, которая верит, что из земной брэнной личинки рождается бессмертный мотылек и, оторвавшись от земной жизни, летает с планеты на планету, пока не сольется с душой вселенской. Впервые мне пришла мысль, что я и Анелька в земном нашем воплощении уйдем из жизни, любовь же наша может нас пережить, остаться вечной, и в ней-то наше бессмертие. «Кто знает, – думал я, – не есть ли это единственный вид бессмертия?» Ибо я очень ясно чувствовал, что в любви моей есть нечто вечное, неподвластное закону перемен. Чтобы быть способным на такие чувства и мысли, надо сильно любить и притом быть несчастным, а может, и быть на грани безумия. Я, пожалуй, еще не стою на грани безумия, но все больше впадаю в мистицизм и только тогда и чувствую себя счастливым, когда вот так растворяюсь в том, что вечно, когда теряю свое «я» и не могу вновь обрести его. И мне понятно, почему это так. Мое внутреннее раздвоение и вечная критика разрушали все основы жизни и отравляли то относительное счастье, какое могут дать эти основы. А в сфере, где место силлогизмов занимают чувства и фантазия, моему скептицизму делать нечего, и я отдыхаю, испытывая безмерное облегчение.

Так я отдыхал, подъезжая к Гаштейну. Я видел в своем воображении Анельку и себя, успокоенных, связанных мистическим браком. Гордость поднималась во мне при мысли, что я все-таки сумел вырваться из заколдованного круга и нашел путь к счастью. Я был уверен, что Анелька с радостью подаст мне руку и пойдет со мной по этому пути.

Вдруг я словно очнулся от сна, увидев, что у меня вся рука в крови. Оказалось, что в этом экипаже перед тем перевозили раненых, пострадавших при железнодорожной катастрофе. Кучер не заметил, что в складки подушек натекло много крови, и не вытер ее. Мистицизм не завел меня еще так далеко, чтобы я мог верить во вмешательство сил неземных в человеческую жизнь, в особенности в виде каких-то знамений, примет и предостережений свыше. Но, хотя я не суеверен, мне весьма понятен ход мыслей суеверного человека, а следовательно, я легко мог угадать, что именно в том или ином совпадении могло бы поразить его. В данном случае странным было, во-первых, то, что в экипаже, где я размечтался о новой жизни, незадолго перед тем, вероятно, угасла чья-то жизнь, во-вторых, – что я с окровавленными руками думал о мире и согласии. Такие совпадения могут в душе каждого нервного человека пробудить если не дурные предчувствия, то, во всяком случае, грустные мысли и омрачить его настроение.

Несомненно, это случилось бы и со мной, если бы не то, что мы уже подъезжали к Вильдбаду. В то время как мы медленно поднимались в гору, я вдруг увидел коляску, мчавшуюся во весь опор вниз, нам навстречу. «Вот и тут может сейчас произойти несчастье! Ведь на этой крутой дороге надо ехать с крайними предосторожностями», – подумал я. Но в эту минуту кучер встречной коляски изо всех сил затормозил ее, так что лошади пошли чуть не шагом... И неожиданно я с величайшим удивлением увидел в коляске мою тетушку и Анельку, а они при виде меня закричали:

– Вот он! Вот он! Леон! Леон!

Вмиг очутился я подле них. Тетя обеими руками обхватила мою шею и, повторяя:

«Слава богу! Слава богу!», дышала так тяжело, словно она пешком бежала от самого Вильдбада. Анелька же схватила меня за руку и не выпускала ее. Вдруг лицо ее выразило ужас, и она вскрикнула:

– Ты ранен!

Сразу поняв, что ее испугало, я поспешил ответить:

– Нет, нет! Меня не было в том поезде. Я испачкал руку в коляске, в ней прежде перевозили раненых.

– Это правда? Правда? – спрашивала тетя.

– Ну, конечно.

– А какой же поезд потерпел крушение?

– Тот, что шел в Целл.

– О, боже, боже! А в телеграмме было сказано, что венский! Я чуть не умерла. Боже, какое счастье! Слава тебе господи!

Тетушка стала утирать пот со лба. Анелька была бледна как смерть. Выпустив наконец мою руку, она отвернулась, чтобы я не увидел, что губы у нее дрожат, а глаза полны слез.

– Мы были одни дома, – рассказывала тетушка. – Кромицкий ушел с бельгийцами в Нассфельд. А тут приходит наш хозяин с известием, что на железной дороге крушение. Я знала, что ты должен сегодня приехать. Вообрази, что со мной было! Я тотчас же послала хозяина нанять коляску. Анелька, добрая душа, не захотела отпустить меня одну... Боже... что мы пережили! Но бог милостив, отделались только страхом!.. А ты видел раненых?

Я поцеловал руки у тети и у Анельки и стал рассказывать им, что видел в Ленд-Гаштейне. От них я узнал, что в кургауз пришла телеграмма, в которой было сказано: «В Ленд-Гаштейне очень много раненых и убитых». И все решили, что катастрофа случилась на линии Вена – Зальцбург. Я рассказывал бессвязно, потому что в голове у меня стучала одна только радостная мысль: Анелька не захотела дожидаться дома возвращения тети, поехала с нею ко мне навстречу! Или она так поступила только ради тети? Я был уверен, что нет. От меня не укрылись ее тревога и растерянность, ее ужас, когда она увидела кровь на моих руках, радость на ее просиявшем лице, когда она узнала, что меня не было в потерпевшем крушение поезде. Я видел, что она еще и сейчас взволнована и ей хочется плакать от счастья. Если бы я взял ее за руки в эту минуту и сказал «люблю», она бы, наверное, разрыдалась и не отняла своих рук. И когда все это стало мне ясно как день, я решил, что пришел конец моим мученьям, что теперь в жизни моей наступит перелом, начнется новый атап. Нечего и пытаться описать словами, что я чувствовал тогда, какая радость распирала мне грудь. Я поглядывал время от времени на Анельку, стараясь сосредоточить во взгляде всю силу моей любви, а она улыбалась мне. Я заметил, что на ней не было ни пальто, ни перчаток, – видно, впопыхах, в сильном волнении забыла их надеть. Между тем похолодало, и я накинул ей на плечи свое пальто. Она было воспротивилась, но тетушка приказала ей не снимать его.

Когда мы приехали на виллу, пани Целина встретила меня так сердечно, так бурно изливала свою радость, как будто в случае моей смерти Анелька не становилась единственной наследницей Плошовских. Днем с огнем не сыщешь таких благородных женщин! А вот за Кромицкого не ручаюсь, – наверное, он, вернувшись из Нассфельда и узнав о случившемся, вздохнул украдкой и подумал, что в мире ничего бы не изменилось, если бы из него исчезли Плошовские.

Он вернулся из Нассфельда усталый, в кислом настроении. Рассказывая о бельгийцах, с которыми свел знакомство и ездил туда, он несколько раз обозвал их идиотами за то, что они довольствуются тремя процентами прибыли со своих капиталов (это были капиталисты из Антверпена). Уходя спать, он сказал мне, что завтра хочет поговорить со мной о важном деле. Раньше меня это встревожило бы, теперь же я догадываюсь, что речь пойдет о деньгах. Я мог бы, не откладывая до завтра, вызвать его на этот разговор, но мне хотелось остаться одному со своими мыслями, со своим счастьем, с образом моей Анельки в душе. Пожелав ей доброй ночи, я сжал ее руку не как брат, а как влюбленный, и она ответила мне таким же горячим пожатием. Так ты и в самом деле уже моя?

16 июля

Утром, едва я успел одеться, пришла ко мне в комнату тетушка и, поздоровавшись, без всякого вступления начала:

– Знаешь, Леон когда ты был в Вене, Кромицкий предложил мне войти с ним в долю.

– И что же вы ему ответили?

– Отказала наотрез. Я ему сказала так: «Мой милый, у меня, слава богу, своего достаточно, а Леон после моей смерти будет одним из самых богатых людей в Польше. Так на что нам искушать судьбу и пускаться на всякие авантюры? Если ты рассчитываешь своими поставками нажить миллионы, наживай их для себя. Если прогоришь, – зачем нам прогорать с тобой вместе? Я в твоей коммерции не разбираюсь, а впутываться в дела, в которых я ничего не смыслю, не в моих правилах». Как по-твоему, Леон, права я или нет?

– Совершенно правы.

– Ну, вот это я и хотела тебе рассказать и очень рада, что ты со мной согласен. Он, видишь ли, немного обиделся, когда я назвала его дела «авантюрами», и давай расписывать мне, какие у него виды на будущее, и подробно объяснять всю свою затею с поставками. Если это все верно, то он, пожалуй, в самом деле наживет миллионы. Что ж, дай ему бог! Но если дела у него так хороши, на что ему компаньоны? Я у него так прямо и спросила. А он ответил, что чем больше денег вложишь, тем больше извлечешь. Тут, мол, все решает наличный капитал, и ему приятнее делиться барышами со своими людьми, а не с чужими. Я его поблагодарила за родственные чувства, но решения своего не переменяла. Ему это, видно, очень не понравилось. Он выразил сожаление, что никто из нас ничего не смыслит в коммерческих делах и все мы только проедаем свое наследство. При этом он мне прямо в глаза объявил, что это – грех против общества. Тут я, конечно, рассердилась. «Вот что, мой милый, говорю, может, хозяйствовала я по-бабьи, но ни гроша не потеряла, напротив – еще увеличила свое состояние. Ну, а насчет грехов перед обществом не тебе толковать после того, как ты продал Глухов. Ты хотел услышать всю правду – так вот и получай! Если бы ты не продал Глухов, у меня было бы к тебе больше доверия. А о твоих делах не только я, но и никто ничего толком не знает. Одно мне ясно – будь они и вправду так блестящи, как ты

уверяешь, ты бы компаньонов не искал и отказ мой не огорчил бы тебя так. Если ищешь компаньонов, значит, они тебе нужны. Но ты и сейчас не был со мной совершенно откровенен, а я этого не люблю».

– И что же он?

– Он сказал, что прежде всего не понимает, почему его одного винят в продаже Глухова. Имение потеряно потому, что его владельцы по своей беспечности, неразумию, беспомощности и расточительности не смогли его сохранить и сделали продажу необходимой. У Анельки, когда она выходила за него, были одни только долги. А он спас больше, чем кто-либо другой мог бы спасти, и за это, вместо благодарности, слышит только попреки и... – постой, постой, как это он выразился? – да! только попреки и патетическую декламацию.

– Врет! – вставил я. – Глухов можно было спасти.

– Это самое и я ему сказала. И еще добавила, что для спасения Глухова я одолжила бы им денег. «Ты же мог, – говорю ему, – раньше, чем продавать, написать Анеле, чтобы она со мной переговорила, а я, бог свидетель, ни минуты бы не колебалась. Но такая уж у тебя система: действовать втихомолку, чтобы никто ничего не знал. Все мы верили в твои миллионы, и только поэтому я не предлагала Анельке свою помощь». Тут Кромницкий иронически засмеялся. «Анелька, говорит, слишком гордая шляхтянка и идеальное существо, чтобы снизойти до каких-то ничтожных денежных дел или хлопот за мужа. Вот, например, я ее дважды просил поговорить с вами насчет участия в деле, а она оба раза категорически отказалась. Ну, а Глухов... теперь, когда помощь уже ни к чему, вам легко говорить. Но после сегодняшнего вашего отказа я вправе думать, что и с Глуховом было бы то же самое...»

Я стал слушать уже с интересом – сейчас мне стала ясна причина размолвки между Кромницким и Анелей. А тетушка между тем продолжала:

– Я ему говорю: «Вот видишь, как мало в твоих речах искренности! Сначала ты уверял, что приглашаешь меня в компаньоны только затем, чтобы обогатить не чужих, а свою родню, теперь же оказывается, что ты сам в помощи нуждаешься». А он – изворотлив, нечего сказать! – отвечал, что в такого рода делах польза должна быть обоюдная. Ему, конечно, наше участие тоже выгодно: чем большими капиталами он будет располагать, тем надежнее успех – таков закон коммерции. И вообще, мол, взяв Анельку без приданого, он надеялся, что может рассчитывать на помощь ее родни хотя бы в тех случаях, когда это им самим выгодно. Зол он был ужасно, в особенности когда я сказала, что Анелька не бесприданница, что я ей завещаю пожизненную ренту.

– Вот как! Вы ему это сказали?

– Да. Все высказала, что было у меня на сердце. Что Анельку я люблю, как родную дочь, и потому-то, чтобы ее обеспечить, завещаю ей не капитал, а доход с него. «Капитал, говорю, мог бы пропасть – ведь еще неизвестно, чем кончатся твои затеи. А рента обеспечит Анельку до конца жизни. Если у вас будут дети, они получат и капитал, но только после смерти Анельки. Вот такова моя главная помощь, а наряду с этим я всегда готова помочь вам и в остальном».

– Тем и кончился ваш разговор?

– Да, почти. Я видела, что он очень разозлился. Должно быть, ему обидно и то,

что я завещаю Анельке не капитал, а пожизненный доход, – это показывает, как мало я ему доверяю. Уходя, объявил, что поищет компаньонов среди чужих и, вероятно, встретит не меньше сочувствия и больше деловитости. Эти колкости я выслушала молча. Вчера он поехал на экскурсию с бельгийцами, но вернулся расстроенный. Видно, хотел их пригласить в компаньоны, но и тут у него ничего не вышло. Знаешь, Леон, что я думаю? Его дела плохи, раз он так лихорадочно ищет компаньонов с деньгами. Эта мысль меня гложет; понимаешь, если это правда, то из простой осторожности не следует вкладывать деньги в его предприятие, но, с другой стороны, наша родственная обязанность – помочь ему хотя бы ради Анельки. Вот о чем я с тобой хотела посоветоваться.

– А кстати, его дела не так уж безнадежны, как вы думаете, – заметил я. И повторил тетушке то, что узнал от доктора Хвастовского. – Я давно уже по поведению Кромицкого догадывался, что ему нужны деньги и он ищет их повсюду, – сказал я ей. – Отчасти потому я и ездил в Вену.

Тетя была так восхищена моей проницательностью и моей тактикой, что, ходя по комнате, начала говорить сама с собой, перемежая свой монолог беспрестанными восклицаниями вполголоса: «Гениален во всем!» Наконец она объявила, что дело это предоставляет решать мне и поступит так, как я скажу.

Она ушла, а я еще раз перечел вчерашнюю запись в дневнике и через полчаса тоже сошел в столовую. Все сидели за чаем, и я с первого взгляда заметил, что опять случилось что-то: у Анельки лицо было испуганное, у пани Целины – страдальческое, а лицо моей милой тетушки побагровело от гнева. Один только Кромицкий как будто спокойно читал газету, но мина у него была кислая. Я заметил, что он даже осунулся, как после болезни.

– Знаешь, какую новость мне преподнесла сегодня уже с утра эта негодница? – сказала тетушка, указав на Анельку.

– Нет, не знаю, – ответил я, садясь за стол.

– Что через две недели, если здоровье Целины позволит, они уедут от нас в Одессу или куда-то еще дальше!

Я был как громом поражен. В первую минуту у меня даже сердце замерло.

Я посмотрел на Анельку (а она покраснела, как будто ее уличили в чем-то дурном) наконец спросил:

– Что такое? Куда? Зачем?

– А они, видишь ли, доставляют мне слишком много хлопот в Плошове, – сказала тетя, передразнивая Анельку. – Не хотят быть мне обузой – вот какие хорошие души! Они, видно, думают, что мне нравится жить одной, что, если тебе придется куда-нибудь уехать из Плошова и я останусь на старости лет одна в четырех стенах, мне будет и веселее и для здоровья полезнее... Всю ночь, вместо того чтобы спать, они совещались – и вот придумали!

Еще больше рассердившись, тетя повернулась к Кромицкому и спросила:

– А ты председательствовал на этом семейном совете?

– Вообще нет. Меня даже не звали, – ответил Кромицкий. – Но думаю, что моя супруга хочет ехать для того, чтобы быть поближе ко мне, – так что я должен благодарить ее за такое решение.

– Это еще только проект, – сказала Анелька.

Забыв всякую осторожность, я смотрел на нее, не отрываясь, а она не смела поднять глаз, и это еще больше убедило меня, что она хочет уехать из-за меня. Никакими словами не опишешь того, что я чувствовал в эти минуты, какая смертельная горечь наполняла мое сердце. Анелька отлично знала, что я живу только ею и для нее, что все мои думы о ней, все, что я делаю, имеет одну цель – завоевать ее любовь, что это для меня вопрос жизни или смерти. Да, все это она знала – и совершенно спокойно приняла решение уехать! А что я без нее зачехну или разобью себе голову о стену, об этом она и не подумала. Это в счет не идет! Ей в Одессе будет спокойнее, никто не будет у нее на глазах корчиться от мук, как жук на булавке, никто не будет целовать ее ног, смущать ее добродетель, а это – все, что ей требуется. Можно ли колебаться, когда такой безмятежный покой покупается столь ничтожной ценой, как чье-то перерезанное горло!

Тысячи таких мыслей пронеслись у меня в голове, на языке были слова, полные яда. «Ты добродетельна и такой останешься, – говорил я в душе Анельке. – Но это потому, что у тебя нет сердца. Если бы собака была к тебе так привязана, как я, то и она заслуживала бы хоть капли твоего внимания. Ты ни разу не сделала мне ни малейшей уступки, не подарила ни искры сочувствия, ни слова признания, а отняла все, что только могла отнять. Ты, если бы могла, не позволила бы мне даже смотреть на тебя, хотя была бы уверена, что, не видя тебя, глаза мои угаснут навеки. Но теперь я наконец понял тебя и знаю: твоя непреклонность так велика потому, что сердце твое так мало. Ты – холодная, бесчувственная женщина, и добродетель твоя – только величайший эгоизм. Ты хочешь прежде всего покоя и ради этого покоя готова все принести в жертву».

До конца завтрака я не произнес ни единого слова. Когда же он кончился, я ушел к себе наверх и здесь, схватившись за голову, пытался разобраться в том, что случилось. Мысли, ворочавшиеся в моем утомленном мозгу, были все так же горьки. Да, женщины с холодным сердцем часто крепко держатся за свою ханжескую мещанскую добродетель. Они, как любой лавочник, прежде всего заботятся о том, чтобы их бухгалтерия была в порядке. Любви они боятся, как буржуа боится уличных беспорядков, войны, рожденных в горячих головах великих слов и смелых идей, отважных до дерзости замыслов и взлетов. Ему прежде всего нужен мир и покой, ибо только при полном спокойствии в стране можно делать хорошие, надежные и прибыльные дела. Все, что выходит за рамки обыденной, благоразумной и шаблонной жизни, с точки зрения таких господ, – зло и достойно презрения людей рассудительных. Да, добродетель имеет свои вершины и пропасти, но имеет также свои плоские равнины. И вот теперь меня нестерпимо мучает один вопрос: неужели Анелька – одна из тех плоско-добродетельных женщин, которые хотят сохранять в своей жизни вот такой неукоснительный порядок, как купец в своих счетных книгах, и отвергают любовь потому, что она не умещается в тесноте их душ и мозгов? Я мысленно озираю все прошлое, ища в нем доказательств. Может быть, именно на этом и держится ее примитивный кодекс, который меня угнетает и обезоруживает? Мне часто казалось, что Анелька – натура исключительная, непохожа на других женщин, неприступна, как снежные вершины Альп, которые не имеют никаких отлогостей и отвесно поднимаются к небу. Но вот ведь эта устремленная в небо вершина находится вполне естественным, что ночные тупфы мужа топчут ее снега! Что же это такое?

Когда такие мысли осаждают меня, я чувствую, что близок к помешательству, и прихожу в такую ярость, что, если бы мог, опрокинул бы одним ударом и потом топтал и оплевывал эту гнусную жизнь, погрузил бы весь мир в хаос и стер бы с лица земли все живое.

Возвращаясь из Вены, я строил в своем воображении воздушный замок, где буду любить Анельку так, как Данте любил Беатриче. Я строил этот рай на муках, в которых любовь моя очистилась, как в огне, на отречениях и жертвах, готовый на все, только бы я и моя любимая хотя бы душою принадлежали друг другу. А теперь я думал: «Не стоит и говорить ей об этом, она не поймет, не стоит возводить ее на эти высоты, ей там трудно будет дышать. Она, быть может, в душе не против того, чтобы я ее любил и страдал, – это все-таки льстит самолюбию. Но ни на какой союз, хотя бы чисто духовный, ни на какую близость, хотя бы то была близость Данте и Беатриче, она не согласится, ибо она меня не понимает, она считает, что должна принадлежать только мужу, признает только права этого законного мужа в халате, и душа ее не в силах воспарить над пошлой и убогой бухгалтерией супружеской любви и верности.

Я теперь искренне и горячо сожалел, что не ехал в том поезде, который слетел под откос: очень уж я был возмущен жестокостью Анельки и дошел до полного истощения физических и душевных сил. Я жаждал смерти, как жаждет отдыха человек, который провел много бессонных ночей у постели больного. И тут же мелькала мысль, что если бы меня привезли в Гаштейн изувеченного, окровавленного, то, может быть, что-то дрогнуло бы в душе этой женщины. Думая так, я вдруг вспомнил, как Анелька вчера помчалась с тетей искать меня, вспомнил ее ужас, а потом радость, глаза, полные слез, растрепавшиеся волосы, – и безмерная нежность, во сто крат убедительнее всех моих выводов и рассуждений, затопила мне сердце. То был минутный бурный порыв любви, но он быстро уступил место ядовитым сомнениям. Все, что я видел вчера в коляске, могло объясняться иначе. Кто знает, не тревожилась ли Анелька больше за тетю, чем за меня? Да, наконец, впечатлительные женщины обладают большим запасом сочувствия даже к чужим, не только к родным, в особенности когда несчастье случается неожиданно. Почему же и Анельку не могла ужаснуть весть о моей гибели, а потом обрадовать встреча со мной, живым и невредимым? Если бы у тети гостила не она, а Снятынская, та, вероятно, так же сильно испугалась бы, а потом обрадовалась, и я увидел бы ее в экипаже такой же, как Анельку, без перчаток и шляпы, с растрепавшейся прической. Мне казалось, что в этом нечего и сомневаться. Анелька отлично знает, что для меня ее отъезд – катастрофа, более серьезная и опасная, чем крушение поезда, во время которого я мог сломать себе шею или лишиться руки или ноги. Однако она ни минуты не колебалась, принимая решение уехать. Я прекрасно понимал, что это придумала она, и никто другой. Ей «хочется быть поближе к мужу», а что будет со мной – это ей все равно!

И опять я почувствовал, что бледнею от гнева, ревности, возмущения, что от такого состояния один шаг до безумия. «Постой, постой! – уговаривал я себя, сжимая руками виски. – А вдруг она уезжает лишь оттого, что любит тебя и не в силах дольше тебе противиться?» Да, и такие мысли мелькали у меня, но, как семена, упавшие на каменистую почву, быстро пропадали и только оставляли по себе полную отчаяния иронию, бередившую мои раны. «Как же, любит она тебя! – говорил я себе. – Эта любовь похожа на сострадание тех, кто вытаскивает из-под головы умирающего подушку, чтобы он не так громко хрипел и поскорее отмучился. Я скорее отмучаюсь, а Кромицкому будет удобнее навещать супругу и доставлять ей те законные утехы, которых это идеальное создание привыкло ждать от него».

В эти минуты Анелька была мне ненавистна. Первый раз в жизни я готов был пожелать, чтобы она действительно любила Кромицкого, – тогда она не была бы мне так противна. Гнев и ожесточение туманили мой рассудок, ясно мне было только одно: если я сейчас не предприму чего-нибудь, не помешаю планам Анельки, не отомщу ей, то со мной произойдет что-то страшное. Эта мысль словно ожгла меня каленым железом. Я вскочил и, схватив шляпу, побежал разыскивать Кромицкого.

Не найдя его ни в доме, ни в саду, я пошел к Вандельбану, заглянул в читальню, но его и там не оказалось. Через некоторое время я остановился на мостике у водопада, раздумывая, где же еще искать Кромицкого? Ветер дул со стороны каскадов и бросал мне в лицо водяную пыль. Это доставляло мне огромное наслаждение. Сняв шляпу, я подставил ей голову, и скоро волосы мои стали совсем мокры. Блаженное ощущение прохлады принесло мне огромное облегчение, помогло прийти в себя. От прежнего смятения чувств осталось только твердое решение помешать планам Анельки. «Не уедешь, так и знай! – говорил я мысленно. – И я буду обходиться с тобой, как человек, который заплатил за тебя». Мне уже ясно было, каким путем идти к цели, и я не опасался, что сделаю глупость во время переговоров с Кромицким: я теперь вполне владел собой.

Кромицкий сидел на веранде отеля Штраубингера и читал газету. Увидев меня, он вынул из глаза монокль и сказал:

– А я как раз собирался идти к тебе.

– Пойдем на Кайзервег.

И мы пошли.

Я не стал ждать, чтобы Кромицкий высказался первый, я сразу приступил к делу.

– Тетя пересказала мне ваш вчерашний разговор с ней...

– Да, я очень сожалею, что затеял его, – отозвался Кромицкий.

– Это потому, что вы оба говорили не так хладнокровно, как следует говорить о делах. Разреши мне быть с тобой совершенно откровенным. Мою тетушку надо знать. Она – достойнейшая из женщин, но есть у нее одна слабость, – впрочем, вполне понятная: она любит показать свой здравый смысл, – а его у нее действительно много, – и поэтому ко всему подходит сначала с недоверием, пожалуй, даже преувеличенным. По этой же причине она чаще всего на всякие предложения отвечает отказом. Старый Хвастовский мог бы тебе кое-что порассказать об этом. Надо дать ей время подумать, а главное – не раздражать ее, иначе она еще больше заартачится. А ты этого не учел.

– Но чем я мог ее рассердить? Уж я-то умею вести деловой разговор!

– Напрасно ты сказал ей, что взял Анельку без приданого. Тетя до сих пор на тебя зла.

– Я сказал это, когда она начала меня упрекать в продаже Глухова. И в конце концов это же правда: Глухов был так обременен долгами, что Анельке уже там ничего не принадлежало.

– А собственно говоря, зачем тебе было продавать этот злосчастный Глухов?

– Я хотел удружить одному человеку, от которого зависит все мое будущее благосостояние, а значит, и судьба моя. Когда выбора нет, делаешь, что приходится. Кроме того, мне дали хорошую цену.

– Ну, ладно, оставим это. Тетю твои слова задели за живое еще и потому, что она намерена обеспечить Анельку.

– Знаю: завещать ей ренту.

– Скажу тебе по секрету, что это неправда. Она вчера тебе так сказала только потому, что ты ее разозлил, – это я знаю наверное. Она хотела показать, что не верит в твои коммерческие способности. На самом деле у нее относительно Анельки другие намерения. Она не раз со мной об этом говорила, да и кому же знать это, как не мне, ее будущему наследнику?

Кромицкий хитро посмотрел на меня.

– А ты теряешь ведь в таком случае часть наследства...

– Ну, я не проживаю даже своих собственных доходов и потому отношусь к этому очень спокойно. Тебе, дельцу, это может показаться странным. Ну что ж, если так, допусти, что я – чудака. Бывают же чудаки на свете. Так вот слушай: во-первых, я не собираюсь умерять щедрость тети, во-вторых, знаю наверное, что тетя оставит Анельке не ренту, а наличные деньги. Разумеется, мое влияние на тетю может сыграть тут большую роль, и верь или не верь, как хочешь, а я тебе говорю, что употреблю это влияние тебе на пользу, а никак не во вред.

Кромицкий крепко пожал мне руку. Плечи его при этом задвигались совсем как у деревянного манекена. Как этот человек мне противен! Думается, он в душе называл меня не чудаком, а болваном, но он мне поверил, а мне только этого и надо было. И, кстати, сказать, верил он мне на напрасно, – я в эту минуту твердо решил, что Анелька получит не ренту, а капитал на руки.

Я догадывался, что Кромицкому сильно хочется спросить у меня: сколько? И когда? Но, понимая, что это было бы слишком уж бестактно, он молчал – якобы от сильного душевного волнения. А я продолжал:

– Вам обоим следует помнить одно – к тете надо уметь подойти. Что она обеспечит Анельку, за это я ручаюсь, но, пока она эти деньги не выложила на стол и ты их не спрятал в карман, все зависит от ее воли и даже от любого минутного каприза. А вы что делаете? Вчера ее рассердил ты, сегодня – Анелька, и сильно притом. Как будущий наследник тети, я должен был бы этому радоваться, но, как видишь, стараюсь вас предостеречь и образумить. Тетя очень недовольна решением Анельки. К тебе она сегодня за столом обратилась как будто резко, но с тайной надеждой, что ты станешь на ее сторону. А ты вместо этого вроде как одобрил решение жены и тещи...

– Ах, дорогой мой! – Кромицкий опять пожал мне руку. – По правде говоря, я это сделал отчасти в отместку тете. А в сущности, проект Анельки не выдерживает никакой критики. Не выношу экзальтации, а у моих дам ее хоть отбавляй. Они всегда твердят, что мы злоупотребляем вашим гостеприимством, что нельзя же вечно гостить в Плошове, и так далее. Надоело это мне хуже горький редьки... Дела обстоят вот как: везти с собой в Туркестан Анельку с матерью я, разумеется, не

могу. А раз я должен пока быть там, мне решительно все равно, будет ли Анелька жить в Одессе или в Варшаве. Вот разделаюсь с этими поставками в дальних краях, вернусь домой – и, надеюсь, с немалым состоянием, – а тогда уже где-нибудь устроимся как следует. Это будет самое большее через год. И от тех, кому я передам свое дело, я ведь тоже получу отступного. Конечно, не будь Плошова, пришлось бы поискать какого-нибудь временного пристанища для моих дам, но раз тетя их приглашает и ей самой желательно, чтобы они у нее жили, было бы глупо искать другого места. Теща только месяц-другой как встала с постели. Кто знает, что с ней дальше будет. Если она опять свалится, все заботы лягут на Анельку, а она так молода и неопытна. Я сейчас никак не могу оставаться с ними. И так уже сижу как на иголках, и, если говорить откровенно, меня здесь удерживала только надежда привлечь к участию в деле тебя или тетю. Вот я сказал тебе все, что у меня на душе, – и теперь ты ответь мне: могу я в какой-то мере рассчитывать на вашу поддержку?

Я вздохнул с облегчением. Итак, план Анельки провалился! Я был очень доволен тем, что поставил на своем. К тому же, хотя любовь моя к Анельке сейчас скорее походила на страстную ненависть, – ненависть эта, составлявшая единственное содержание моей жизни, как и любовь, требовала пищи. А пищу ей могло давать только присутствие Анельки. Наконец из слов Кромицкого я понял, что могу заодно осуществить и свое самое горячее желание – избавиться от этого господина на неопределенное время. Но я старательно скрывал свои чувства, сообразив, что будет лучше, если мы с тетей не сразу пойдем ему навстречу и заставим его еще поклоняться. Поэтому я сказал:

– Ничего не могу заранее тебе обещать. Сначала ты мне подробно объясни, в каком состоянии твои дела.

Кромицкий заговорил охотно, даже с увлечением, – видно было, что сел на своего любимого конька. Каждую минуту он останавливался и то брал меня за пуговицу, то прижимал к придорожной скале. Сказав что-нибудь, по его мнению, очень убедительное, он с удивительной быстротой вставлял в глаз монокль и смотрел мне в лицо, словно проверяя, какое впечатление его слова произвели на меня. Все это, а также его скрипучий деревянный голос и беспрестанные «а? что?», которыми он уснащал свою речь, нестерпимо раздражали меня. Но надо отдать ему справедливость: он не лгал. Он рассказал мне приблизительно то же, что я прочел в письме молодого Хвостовского. Дело представлялось мне в следующем виде: в поставки были вложены уже огромные деньги, и можно было бы ожидать больших барышей, тем более что контракт давал Кромицкому монополию на некоторые поставки. Опасность же заключалась в том, что все деньги нужно было выложить вперед, а возвращали их после длинной канцелярской волокиты очень медленно, и, кроме того, Кромицкому приходилось покупать все у частных торговцев, которым было выгодно отпускать самый плохой товар, а ответственность за качество поставок лежала на нем одном. Это обстоятельство ставило его в полнейшую зависимость от интендантства, которое, конечно, имело право принимать только доброкачественный товар. Таким образом, Кромицкому грозили опасности немалые.

Выслушав его объяснения, которые длились добрый час, я сказал:

– Ну, вот что, голубчик: при таком положении дел ни я, ни тетя не можем стать твоими компаньонами...

У Кромицкого тотчас пожелтело лицо.

– Но почему же?

– Да потому что ты, несмотря на все предосторожности, можешь попасть под суд, а мы не хотим быть замешаны в судебном процессе.

– Если так рассуждать, то ни одного дела нельзя затевать!

– А нам нет ни малейшей надобности их затевать. Ты зовешь нас в компаньоны. А скажи – с каким капиталом?

– Что об этом теперь толковать!.. Но если бы вложили, скажем, хоть семьдесят пять тысяч...

– Нет, не вложим и не считаем себя обязанными это сделать. Но так как ты наш родственник... то есть стал им теперь, я хочу тебе помочь. Короче говоря, я тебе дам займы семьдесят пять тысяч под простой торговый вексель.

Кромицкий остановился и смотрел на меня, моргая глазами, как человек, внезапно разбуженный от сна. Но это длилось только одну минуту. Он, видимо, сообразил, что выказать слишком большую радость будет с его стороны недипломатично. Купеческая осторожность взяла верх, хотя по отношению ко мне она была и смешна и ненужна. Он пожал мне руку и сказал:

– Спасибо тебе. А под какие проценты?

– Об этом потолкуем дома. Мне пора возвращаться. Я хочу переговорить с тетей.

И я ушел. На обратном пути я спрашивал себя, не удивит ли Кромицкого мое поведение и не заподозрит ли он чего-нибудь. Но опасения мои были напрасны. Мужей делает слепыми чаще всего не любовь к жене, а чрезмерное самолюбие. Притом Кромицкий с высоты своей купеческой деловитости смотрит на нас с тетушкой, как на фантазеров без капли практической сметки, насквозь пропитанных старомодными понятиями, к которым относится и уважение к родственным обязанностям. Да, он во многих отношениях человек совсем другого сорта, и потому мы невольно смотрим на него, как на вторгшегося к нам чужака.

Придя на виллу, я встретил в саду Анельку, она покупала землянику у местной крестьянки. Проходя мимо, я бросил ей резким тоном:

– Ты не уедешь, потому что я этого не хочу!

И ушел к себе в комнату.

За обедом опять зашел разговор об отъезде Анельки и пани Целины. На этот раз слово взял Кромицкий и, пожимая плечами, назвал этот проект ребячеством, над которым человек со здравым смыслом может только посмеяться. Свои соображения он высказывал в форме довольно нетактичной по отношению к жене и теще, – его вообще нельзя назвать человеком деликатным. Я в разговор не вмешивался, делая вид, что вопрос этот меня, в сущности, мало интересует. Однако Анелька, по-моему, отлично поняла, что Кромицкий пляшет под мою дудку. Я видел, что ей стыдно за мужа, что она чувствует себя глубоко униженной. И мне это доставляло злорадное удовольствие – уж очень много обиды на нее скопилось у меня в душе.

Я по-прежнему чувствую себя больно уязвленным и до сих пор не могу успокоиться,

не могу простить этого Анельке. И надо же было всему случиться как раз тогда, когда я решил заключить с ней союз, отречься от всех чувственных порывов и желаний, переломить себя! Если бы не это, мое разочарование не было бы так сильно. Но после того, как я из любви к ней хотел переродиться, когда я поднялся на высоты, которых никогда не достигал, – только для того, чтобы быть рядом с нею, – очень уж жестоким мне показалось то, что она без всякой жалости хочет толкнуть меня в бездну отчаяния, на самое ее дно, не задумываясь о том, что будет со мной... Эти мысли отравляют меня, мешают радоваться тому, что Кромицкий уезжает, а она остается. Будущее принесет с собой развязку, но я так измучен, что даже не стану гадать какую. Если бы я помешался, это было бы самой простой развязкой. Может, со временем так и будет, потому что я все время терзаюсь, а по ночам не могу уснуть и пишу. При этом я выкуриваю множество сигар, доходя от них до одурения, и почти каждую ночь просиживаю до рассвета.

30 июля

Не писал целых две недели. Я ездил с Кромицким в Вену, чтобы выполнить всякие формальности, а после нашего возвращения он прожил здесь в Гаштейне еще три дня. В то время у меня начались такие головные боли, что я не был в состоянии писать. Вот уже неделя, как пани Целина закончила курс лечения, и мы остаемся здесь только потому, что везде, где нет гор, стоит страшная жара. Отъезд Кромицкого принес большое облегчение мне, пани Целине (которую он раздражает до такой степени, что, не будь он ее зятем, она бы его возненавидела), тете, а быть может, и Анельке. Анелька не может ему простить того, что он втянул меня в свои дела. Ему и в голову не приходило, что между его женой и мною могут быть не только обычные родственные отношения, и потому он не делал тайны из того, что занял у меня деньги. Анелька же всей душой была против этого. Она, очевидно, не решилась ему ничего открыть – может, боялась утратить последние остатки уважения к нему, если он и после этого оставит ее у тети. Думается мне иногда, что она и ее мать, скрывая это друг от друга, в глубине души потеряли к нему всякое доверие с тех пор, как он продал Глухов, и считают его еще хуже, чем он есть. Я же думаю о нем, что это – духовный парvenu с душой холодной, деревянной, неспособной к тонким мыслям и чувствам. Не замечал я в нем ни великодушия, ни высокого благородства. Это – натура неглубокая и невосприимчивая, но он – человек порядочный в общепринятом смысле слова. Способствует этому некоторый врожденный педантизм, который у Кромицкого странным образом уживается с тем, что я назвал бы «денежным неврозом». Невроз его есть не что иное, как извращенная фантазия, нашедшая себе выход в погоне за обогащением.

А в общем, этот человек мне так ненавистен, так невыразимо противен весь со своим моноклем, косыми глазами, длинными ногами и желтым лицом без всякой растительности, что я даже удивляюсь, как это я способен объективно судить о нем. Знаю: если он не потеряет всего, то и мои деньги за ним не пропадут. Но скажу прямо: я предпочел бы, чтобы он лишился всех денег, рассудка, жизни и чтобы я избавился от него навсегда.

Я болен. Анельку вижу редко последние дни. То из-за головной боли сижу у себя наверху, то умышленно избегаю встреч, чтобы дать ей почувствовать свой гнев и обиду. А мне это нелегко, – глаза мои жаждут ее, как света. Я уже как-то говорил, что Анелька при всей стойкости характера несколько робка. Она попросту страдает, когда на нее сердятся, боится того, кто гневается, старается его умиловить. Она тогда бывает тиха и ласкова, смотрит в глаза, как ребенок, который боится наказания. Меня это всегда глубоко трогало и вместе с тем радовало, так как я тешил себя надеждой, что, если я открою ей объятия, она бросится ко мне, положит голову мне на грудь – хотя бы только для того, чтобы

смягчить мой гнев. Никак не могу отказаться от этих иллюзий. Хоть и знаю, что им суждено рассеяться, в сердце моем и сейчас еще таится надежда, что, когда мы в конце концов помиримся, Анелька пойдет на уступки и станет мне ближе. С другой стороны, в нашем взаимном недовольстве я усматриваю как бы невольное признание Анельки, что я имею право ее любить. Если она признает законным мой гнев, порожденный любовью, то должна признать и эту любовь. Все это – права эфемерные, как сон, не имеющие плоти и крови, но я спасаюсь ими от полной апатии, я ими живу.

2 августа

Опять письмо от Клары. Она, видно, кое о чем догадывается: в словах ее столько нежного сочувствия, точно она понимает, до какой степени мне тяжело. Не знаю и не стремлюсь узнать, любит ли она меня, как сестра, или по-иному, но чувствую, что любит крепко. Я ответил на ее письмо так сердечно, как только способен человек, когда он несчастен, писать единственному сочувствующему ему другу. Клара собирается в Берлин, а к началу зимы – в Варшаву. Она уговаривает меня хоть на несколько дней приехать в Берлин. В Берлин я не поеду, не могу отрешиться от вечной моей заботы. Но буду рад увидеться с Klarой в Варшаве.

С Анелькой мы разговариваем только о самых обычных и повседневных вещах, чтобы наши старушки не заметили размолвки между нами. Когда же остаемся на минуту одни, молчим оба. Я несколько раз видел, что ей хочется мне что-то сказать, но мешает робость. Я же мог бы сказать ей только одно слово – «люблю», но оно так слабо выражает то, что я чувствую, сказать его – значит почти ничего не сказать, ибо к моей любви теперь примешалась горечь. Меня неотвязно мучит мысль, что бог дал этой женщине холодное сердце, неспособное к большим чувствам, и в этом – секрет ее непреклонности. Сейчас я уже могу думать об этом спокойнее и снова прихожу к убеждению, что Анелька, пожалуй, и питает ко мне нежное чувство, в котором есть благодарность, сострадание, трогательные воспоминания, но чувство это не имеет действительной силы, оно не заставит ее ни на что решиться, даже признать его существование. Она свою любовь осуждает, считает ее грешной, стыдится ее, скрывает, и любовь эта по сравнению с моей – все равно что горчичное зерно по сравнению с окружающими нас здесь Альпами. От Анельки можно ожидать, что она всеми силами постарается не давать воли своему чувству, сделает все, чтобы задушить его в себе. Я ни на что уже не надеюсь, знаю, что мне нечего от нее ждать, – и так мне трудно жить с этим сознанием!

4 августа

Некоторое время я в глубине души надеялся, что Анелька, возмущенная поступками мужа, в один прекрасный день придет ко мне и скажет: «Раз ты за меня заплатил, бери меня». Очередной самообман! Быть может, так поступили бы многие экзальтированные женщины, воспитанные на французских романах. Так, несомненно, поступила бы каждая, тайно жаждущая броситься в объятия любимого и ожидающая только повода к этому. Но Анелька – нет, она этого не сделает. И такая мысль могла прийти мне в голову только потому, что и я начитался книг о всяких псевдотрагедиях, якобы переживаемых женщинами, которые на самом деле больше всего жаждут пустить по ветру свою добродетель. Анельку могло толкнуть в мои объятия только сердце, а не воображаемая драма, не фразы и ложная экзальтация. Так что этого опасаться нечего.

Великое это несчастье – полюбить искренне и глубоко чужую жену, хотя бы ее муж был самый дюжинный или никчемный человек. Но верх несчастья – полюбить женщину добродетельную. В моей любви к Анельке есть нечто такое, о чем я никогда не слышал и не читал: у нее нет выхода, нет и не может быть развязки. Развязка –

бывает ли это катастрофа или исполнение желаний – всегда приносит с собой что-то определенное, а тут только мучительный заколдованный круг. Если Анелька останется верна себе, а я не смогу ее разлюбить, то впереди только муки и больше ничего. А я с отчаянием убеждаюсь, что и она не изменится и я не разлюблю. Если у нее и в самом деле холодное сердце, ей это ничего не будет стоить. Я же душой был бы рад сбросить с себя ярмо, да не могу. Я часто твержу себе, что это необходимо, борюсь с собой, напрягая все силы, как утопающий ради своего спасения. Иногда начинает казаться, что я уже крепко взял себя в руки, но стоит мне увидеть ее за окном – и меня охватывает страшное волнение, и вся бездонная глубина моей любви внезапно открывается мне, как грозовой ночью при блеске молнии раскрывается нутро туч.

Боже, какое мучение иметь дело с добродетелью холодной и неумолимой, как буква закона!

Но если бы даже у Анельки совсем не было сердца, я все равно любил бы ее так, как любишь своего единственного ребенка, хотя бы он был калекой или уродом. В такой любви только больше жалости и душевной боли.

5 августа

Каким плохим и неверным мерилom бывает наш разум, когда приходится мерить им нечто великое, гениальное или грозное! Этот разум, который хорошо служит нам в обычных условиях, становится в таких случаях просто старым шутom вроде шекспировского Полония. И точно так же, мне кажется, обычная мещанская этика не может быть мерилom для великих страстей. Видеть в таком исключительном, таком огромном чувстве, как мое, только нарушение каких-то правил, и ничего больше, не понимать, что это – стихия, часть той силы, которая превышает всяких ничтожных предписаний, силы божественной, творческой, неизмеримой, на которой держится мир, – это своего рода слепота и убожество... Анелька же, увы, только так и способна смотреть на мою любовь к ней. Вероятно, она воображает, что я, во всяком случае, должен ее за это уважать, я же (видит бог, не потому, что дело идет обо мне) часто вынужден бороться с чувством презрения к ней и говорю ей мысленно: «Да меряй же ты другой мерой, ведь эта недостойна тебя». Я во сто раз больше уважал и ценил бы ее, будь она способна другими глазами смотреть если не на наши с ней отношения, то на любовь вообще.

6 августа

Гаштейн действительно дарит людям здоровье! Сегодня я обратил внимание на то, что Анелька загорела на здешнем горном воздухе и выглядит очень хорошо. А между тем и у нее немало забот и огорчений. Ее угнетают размолвки с мужем, гордость ее страдает оттого, что он занял у меня деньги, да и моя любовь вносит в ее душу разлад и смущает ее покой. Но, несмотря на все это, ее нежное лицо дышит здоровьем, румянец стал свежее и ярче. Помню, как она в начале лета прямо-таки таяла на глазах и у меня волосы вставали дыбом при мысли, что ее здоровье, а может быть, и жизнь в опасности. Сейчас этого по крайней мере бояться нечего. Если бы я знал, что она будет еще безжалостнее ко мне, еще меньше считаться со мной и моим чувством к ней, но зато будет здорова, я сказал бы: пусть не щадит меня, пусть пренебрегает мною, лишь бы была здорова! Истинная любовь – не в одной только жажде счастья, но и в заботе о любимом человеке, в нежности и крепкой привязанности.

Вчера Анелька надела не то одно из своих девичьих платьев, не то новое, но чем-то очень их напоминающее. Я это сразу заметил – и все прошлое словно воскресло у меня перед глазами, что со мной творилось, одни бог знает!

7 августа

Тетя давно перестала сердиться на Анельку. Она так ее любит, что, умри я, она не все потеряла бы в жизни, если бы с ней осталась Анелька. Сегодня моя славная старушка сокрушалась о том, что Анелька скучает, постоянно сидит дома и ничего в Гаштейне так и не повидала, кроме дороги из Вильдбада в Гофгаштейн.

– Если бы мои ноги меня слушались, – говорила она Анельке, – я бы повсюду с тобой ходила. Не понимаю, почему твой муж не удосужился показать тебе хотя бы ближние окрестности. Ведь сам он носился с утра до вечера.

Анелька стала ее уверять, что дома ей хорошо и нет надобности много ходить. Тут я вмешался в разговор и сказал безразличным тоном:

– Мне решительно нечего делать и гуляю я много, так что мог бы сопровождать Анельку и показать ей все, что есть тут интересного хотя бы поблизости.

И, помолчав, прибавил еще равнодушнее:

– Не вижу в этом ничего предосудительного. На курортах даже малознакомые люди ходят вместе на прогулки. А мы ведь родственники.

Анелька ничего не ответила, по тетя и панн Целина объявили, что я совершенно прав.

Завтра мы с Анелькой идем вместе на Шрекбрюке.

8 августа

Договор между нами заключен, и отныне для нас обоих начнется новая жизнь. Она будет иной, чем я рисовал себе, придется вместить ее в эти новые рамки. Все будет теперь ясно и определено. Ничего не произойдет, ни на что больше надеяться я не могу, но я хотя бы не буду чувствовать себя бездомным странником на земле.

9 августа

Вчера мы в конце дня побывали на Шрекбрюке.

Тетя и пани Целина отправились с нами, но сразу за водопадом уселись на первой попавшейся скамье, а мы с Анелькой пошли дальше. Не только я, но, кажется, и она понимала, что настало время поговорить о самом главном. Я сперва намеревался показать Анельке здешние места и сообщить их названия, но назвал только Шарек, а там умолк: говорить о посторонних вещах, скрывая то, что у нас на душе, казалось мне слишком нелепым и не соответствующим нашему настроению. Можно было говорить только о нас самих или молчать. И мы в молчании шли довольно долго, так что я успел до некоторой степени овладеть собой, преодолеть то нервное беспокойство, какое охватывает нас перед важными минутами в жизни. Я старался настолько сохранить хладнокровие, чтобы заговорить о моей любви обдуманно, спокойно и непринужденно, как о чем-то уже известном и признанном. Я знал по опыту, что во время встреч с женщинами можно создать такое настроение, какое хочешь. Ничто так не действует на них, как тон беседы, и если мужчина, объясняясь в любви, делает это в волнении и страхе, словно за его признанием должно последовать светопреставление, и убежден, что делает нечто неслыханное, то этот страх и ощущение необычности передаются женщине. Когда же мужчина держит себя по-другому, то и все происходит совершенно иначе: признание теряет свою

значительность и торжественность, но зато проходит гладко и встречает меньше сопротивления.

Мое объяснение в любви произошло уже раньше, и сейчас мне важно было только добиться того, чтобы Анелька не запротестовала при первом же моем слове. В конце концов, если так будет всегда, то никакой разговор между нами не состоится, а надо же нам как-то наладить наши будущие отношения. Помня это, я начал как можно спокойнее:

– Ты, может быть, даже не отдаешь себе отчета, Анелька, как больно ты мне сделала своим решением уехать. Я отлично понимаю, что все твои доводы – только ширма, а на самом деле ты хотела уехать из-за меня. И не подумала только об одном: что будет со мной без тебя? Это в счет не шло. А знаешь ли, что твой отъезд задел бы меня не так больно, как сознание, что ты ничуть не думаешь обо мне. Ты, пожалуй, скажешь, что хотела это сделать для моего же блага, чтобы исцелить меня... Ах, не трудись, не лечи ты меня, пожалуйста, такими средствами, потому что это лекарство может принести мне больше вреда, чем ты думаешь.

Щеки у Анельки вспыхнули. Видимо, мои слова сильно ее взволновали. Неизвестно, что она ответила бы на них, если бы в эту минуту один случай не прервал ход ее мыслей. Из высокой травы у обочины дороги поднялся вдруг один из тех кретинов, которыми кишат окрестности Гаштейна, человек с огромной головой, с зобом и бессмысленным выражением глаз, и стал знаками просить милостыню. Он появился так неожиданно, что Анелька вскрикнула от испуга. Пока она опомнилась и достала деньги (у меня не было при себе мелочи), прошло несколько минут, за это время впечатление от моих слов отчасти рассеялось, и когда мы наконец пошли дальше, она, помолчав немного, ответила мне грустно, но ласково:

– Ты часто бываешь ко мне несправедлив, а сейчас в особенности. Ты думаешь, что мне легко, что я какая-то бесчувственная. Но мне ничуть не легче, чем тебе...

Голос ее оборвался. У меня кровь молотом застучала в висках. Казалось, еще одно усилие – и я вырву у нее признание!

– Ради всего святого, объясни, что ты хотела сказать! – воскликнул я.

– Я хочу сказать вот что: пусть я буду несчастна, но дай мне хотя бы остаться честной женщиной. Родной мой, умоляю тебя, сжался надо мной! Ты не знаешь, как я несчастна! Я всем готова для тебя пожертвовать, только не честью. Не требуй же этого от меня. Этого я не могу, этого нельзя! Не отнимай у утопающего единственную доску, за которую он держится, мой дорогой, мой любимый!

Сложив руки, она смотрела на меня вся дрожа, умоляющими, полными слез глазами. Не знаю – быть может, если бы в эту минуту я обнял ее, она была бы не в силах мне противиться, хотя потом умерла бы со стыда и горя...

Но я повел себя, как человек, которому любимая дороже всего на свете, – я забыл о себе и видел только ее. В эту минуту я бросил ей под ноги свою страсть, все эгоистические желания и чувства. Какая это была малость по сравнению с болью за нее! Слезы любимой, если они не лицемерны, а льются от настоящей душевной боли, – лучшая ей защита. Когда женщина так плачет, она непобедима.

Я взял обе руки Анельки в свои и, целуя их с восторгом и благоговением, сказал:

– Все будет так, как ты хочешь. Клянусь тебе в этом моей любовью.

Некоторое время мы оба не могли выговорить ни слова. Признаюсь, я казался себе в эти минуты лучше и благороднее, чем до сих пор. Я походил на человека, который был тяжело болен, перенес кризис и теперь еще очень слаб, но радуется возвращению к жизни. Через минуту-другую я заговорил с Анелькой спокойно и мягко, – не только как влюбленный, но и как лучший ее друг, который прежде всего думает о счастье дорогого ему человека.

– Боишься трудных дорог? – сказал я. – Тогда я больше не буду пытаться свести тебя с той, которую ты выбрала. Ты сделала меня другим человеком, да и все те страдания, через которые я прошел, тоже переродили меня. Благодаря тебе я понял, что страсть – одно, любовь – другое. Не обещаю разлюбить тебя, это не в моих силах, и, обещая это, я солгал бы и тебе и себе. Ты – моя жизнь. Говорю это не в увлечении, а как человек, умеющий разбираться в себе и отличать правду от самообмана. Но отныне я буду любить тебя так, как любят умерших, – душу твою буду любить. Согласна ты на это, моя дорогая? Это любовь скорбная, но безгрешная, как любовь ангелов. Ее ты можешь принять и отвечать мне такой же. Я клянусь любить тебя только так, и клятва эта столь же священна, как та, что даешь перед алтарем. Я никогда не женюсь на другой женщине, буду жить только для тебя, и душа моя будет принадлежать тебе. И ты тоже люби меня, как умершего. Ни о чем больше я не молю, а в этом ты не откажи мне, никакого греха тут нет. Если сомневаешься, спроси на исповеди у своего духовника. Ведь ты читала Данте? Вспомни, он был женат, но любил Беатриче именно той любовью, о какой я молю тебя. Он открыто признавался в этой любви, – однако церковь его стихи считает чуть ли не священными. Если есть в душе твоей такое чувство, протяни мне руку, и пусть отныне между нами будет вечный мир и согласие.

Анелька после минутного молчания протянула мне руку.

– Такую дружбу я всегда питала к тебе, – промолвила она. – И от всего сердца обещаю ее тебе.

Честно говоря, меня кольнуло слово «дружба». Мне хотелось большего, мне казалось, что этого слишком мало в такую минуту. Но я ничего не сказал. Слово «любовь» ее еще пугает, – подумал я. – Ей нужно к нему привыкнуть. Если оба мы имеем в виду одно и то же чувство, то стоит ли из-за названия нарушать согласие между нами и омрачать то счастье, которое мы наконец извлекли из-под целых залежей горечи, недоразумений, огорчений и терзаний? Мы оба уже так измучены и так нуждаемся в отдыхе, что для него можно кое-чем и поступиться.

В конце концов все пережитое рассеялось как тень в свете сознания, что любимая – все-таки моя, верная моя духовная жена. Чего я бы не дал, чтобы на прямой вопрос: «Ты моя?» – услышать от нее: «Твоя!» Я спрашивал бы это сто раз в день и не мог бы вдоволь насладиться ее ответом, – но в эту минуту боялся спугнуть счастье. Как же мне, человеку способному все понять, было не понять и того, что есть слова, которые женщине, а особенно такой, как Анелька, трудно вымолвить, хотя они и выражают то, что она чувствует и что уже известно другому. Разве все, что говорила Анелька, не было признанием в любви, разве она не согласилась на союз наших душ? Чего же еще я мог желать?

Дойдя до Шрекбрюке, мы повернули обратно. По дороге домой оба мы словно осваивались с новым положением, подобно тому как люди осматриваются в новом доме и пробуют к нему привыкнуть. Это требовало некоторых усилий и мешало чувствовать

себя непринужденно. Но меня радовало даже это: так, наверное, бывает с новобрачными в первые часы после свадьбы, когда они уже связаны навеки, но еще не привыкли друг к другу. Я много говорил Анельке о нас обоих. Объяснял ей, как чист и свят такой союз, как наш. Старался внушить ей уверенность и спокойствие. Она слушала меня, то и дело обращая ко мне свои красивые глаза, и лицо у нее было ясное, умиротворенное. А вокруг царила такая же блаженная тишина, как в наших сердцах. Солнце уже зашло, Альпы, как всегда в предвечерний час, сияли пурпурным светом, и отблески его играли на лице Анельки.

Я взял ее под руку, и мы пошли рядом.

Вдруг я заметил, что она замедлила шаг, словно чего-то боясь, и притом сильно побледнела. Это длилось только минуту, но было очень заметно. Я и сам испугался и стал допытываться, что с ней.

Сначала она ничего не хотела говорить, но, когда я стал настаивать, призналась, что ей вспомнился тот несчастный кретин, которого мы встретили сегодня, и она почему-то была уверена, что он опять неожиданно вынырнет откуда-нибудь.

– Сама не знаю, почему он так испугал меня. Мне просто стыдно за мою глупую нервность. Не могу его забыть и страшно боюсь опять его увидеть.

Я успокаивал ее, говоря, что, когда я с ней, ей ничего не грозит. Она некоторое время еще тревожно поглядывала вокруг, но скоро наш дальнейший разговор рассеял ее невольную тревогу. Уже смеркалось, когда мы дошли до водопада, но вечер был удивительно теплый. На площади перед отелем Штраубингера множество людей слушало игру бродячих арфисток. Почему-то в этот вечер здешнее горное ущелье напомнило мне Италию. Я вспомнил, как в Риме, бродя по вечерам на Пинчио, думал о том, какое бы это было счастье, если бы со мной была Анелька. Сейчас я ощущал ее руку в своей, а еще сильнее – ее душу, слитую с моей.

И так, в полном согласии, утешенные и счастливые, мы пошли домой.

10 августа

Сегодня я весь день думал о том, что сказала мне Анелька на Шрекбрюке. Особенно потрясло меня вырвавшееся у нее восклицание: «Ты не знаешь, как я несчастна!» Сколько тяжкого горя было в этой жалобе! Было и невольное признание, что она не любит мужа, не может любить его, и сердце ее, вопреки всем усилиям воли, принадлежит мне. Значит, и она страдала так же, как я! Я говорю «страдала», потому что сейчас это уже не так. Сегодня она может сказать себе: «Я буду верна мужу, останусь честной, а остальное – в божьей воле».

11 августа

Мне приходит в голову, что я не имел права требовать и ожидать от нее, чтобы она всем для меня пожертвовала. Неверно это, что любви приносят все в жертву. Вот, например, если бы у меня вышла ссора с Кромицким и Анелька, во имя нашей любви, приказала бы мне на коленях просить у него прощения, я не сделал бы этого. Предположение нелепое и фантастическое, однако при одной мысли об этом кровь бросается мне в голову. Да, Анелька, ты права: есть вещи, которых нельзя и не должно делать даже ради любви.

12 августа

Сегодня утром мы побывали на вершине Виндишгрец. Ходьбы туда три четверти часа, поэтому я достал для Анельки верховую лошадь. Всю дорогу я вел лошадь под уздцы

и, опираясь одной рукой на ее шею, касался при этом платья Анельки, а садясь в седло, она на миг оперлась на мое плечо – и во мне тотчас ожил прежний человек. Чтобы его в себе убить, мне надо было бы уничтожить свою телесную оболочку и стать духом. Я обязался держать в узде свои страсти – и держу. Но я не обещал, что их у меня не будет, как не мог бы обещать, что перестану дышать. Если бы прикосновение ее руки волновало меня не более, чем прикосновение куска дерева, это означало бы, что я ее разлюбил, и тогда все обязательства были бы излишни. Я не лгал, говоря Анельке, что под ее влиянием переродился, – я просто не сумел объяснить того, что со мной произошло. В действительности я только преодолел себя. Отрекся от полного счастья, чтобы обладать хотя бы половинчатым: лучше было хоть так сохранить Анельку, чем совсем потерять ее. Думаю, что каждый, кто любил, легко поймет меня. Поэты иногда сравнивают страсти со свирепыми псами. Так вот я этих псов в себе посадил на цепь и буду их морить голодом, но я не властен помешать им рваться с привязи и выть.

Я вполне отдаю себе отчет, что я обещал, – и сдержу обещание, так как другого выхода нет. Непреклонность Анельки исключает какое-либо проявление с моей стороны доброй или злой воли. Достаточной уздой будет для меня также страх утратить и то, что мне обещано. И я теперь даже преувеличенно осторожен в своем стремлении не спугнуть той птицы, которую я называю «духовной любовью», а Анелька – «дружбой». Я запомнил это ее слово, ибо оно подействовало на меня как легкий укус, который сначала нечувствителен, а потом вызывает зуд и боль. В первый миг слово «дружба» показалось мне попросту слишком невыразительным, а теперь я уже вижу в нем чрезмерную осторожность и суровое предостережение. Странная это черта у женщин – боязнь называть вещи своими именами! Я ведь ясно сказал Анельке, чего я прошу у нее, и она также ясно меня поняла, а все-таки назвала наш союз «дружбой», словно желая заслониться этим словом от меня, от себя самой и от бога.

Правда, такие оторванные от земли чувства можно называть как угодно... В этом сознании много горечи и печали, Такая осторожность, свойственная очень чистым женщинам, несомненно объясняется их крайней стыдливостью, – но она же мешает им быть великодушными. Я мог бы сказать Анельке: «Я ради тебя уже отрекся от половины своего „Я“, а ты торгуешься даже из-за слова. Куда это годится?» В душе я говорю ей это с горькой обидой. Так трудно представить себе любовь без великодушия, без самоотверженности.

Сегодня на Виндишгреце мы с Анелькой беседовали, как близкие и любящие друг друга люди, но ведь так же могли беседовать между собой и любящие родственники или друзья. Будь это до нашего уговора на Шрекбрюке, я пытался бы целовать ее руки, ноги, обнять ее хоть на мгновение, – сегодня же я шел рядом с ней спокойно, глядя ей в глаза, как человек, которого пугают даже ее нахмуренные брови. Более того – я почти не заговаривал об этой нашей «духовной любви». Впрочем, молчал я отчасти умышленно – чтобы заслужить доверие и милость Анельки. Своим молчанием я как бы говорил ей: «Видишь, я тебя не обману, я скорее готов умалить свои права друга, чем нарушить наш уговор».

Однако немного обидно, когда твою жертву принимают с такой же готовностью, с какой ты ее приносишь. Тут уж невольно в душе заклинаешь любимую: «Хоть бы ты на этот раз не осталась у меня в долгу».

Молил об этом и я – но тщетно. Что из этого следует? Некоторое разочарование для меня. Я думал, что, заключив договор с Анелькой, я в его пределах буду свободен как птица, с утра до вечера смогу повторять слово «люблю» и буду с утра до

вечера его слышать. Я надеялся, что мне возместятся долгие мучительные страдания, что я буду королем в новом моем королевстве. А между тем до сих пор все складывается как-то так, что перспективы сужаются, а в душе возникают сомнения, рождается вопрос: чего же ты добился?

Я стараюсь гнать от себя такие мысли. Нет, кое-чего я все-таки добился. Я вижу ее счастливое, сияющее лицо, встречаю ее улыбку. Ее ясные глаза теперь смело смотрят в мои. И если мне пока тесно и неудобно в новом доме, то это потому, что я еще не освоился в нем как следует.

В конце концов я и прежде был бездомным, и если я еще не вижу ясно, что выиграл, зато хорошо знаю, что терять мне было нечего. И это я буду помнить всегда.

14 августа

Тетушка уже поговаривает о возвращении в Плошов. Она все больше скучает по дому. Я спросил как-то у Анельки, хочется ли и ей в Плошов. Она ответила утвердительно – так что теперь и мне загорелось ехать туда. В былые времена у меня всегда с переменной места связывались какие-то смутные надежды. Теперь я уже ни на что не надеюсь. Но с Плошовом связано столько блаженных воспоминаний, что я рад буду снова его увидеть.

16 августа

Дни проходят все однообразнее – я размышляю и отдыхаю. Думы мои часто бывают невеселы, иногда не без горечи, но я так устал душевно, что наслаждаюсь отдыхом. Он помог мне осознать, насколько мне сейчас лучше, чем было. Я много времени провожу с Анелькой, читаем, беседуем о прочитанном. Что бы я ни говорил, все это тем или иным образом связано с нашей любовью, раскрывает ее, наполняет ее содержанием. Но странно – я ловлю себя на том, что почти никогда не говорю о ней прямо, как будто мне передалась чисто женская боязнь называть вещи по имени. Я и сам не понимаю, почему это, но так оно есть. Это меня удручает, порой даже сильно удручает, но и радует, потому что я вижу, что Анелька этим довольна и даже стала ко мне нежнее. Желая создать между нами как можно большую духовную близость, я стал говорить ей о себе. Мне думалось, что после нашего договора я ничего не должен от нее таить. Умалчивал я только о таких вещах, которые могли оскорбить чистоту ее мыслей и нравственную щепетильность. Я старался раскрыть ей свою душевную драму, порожденную скепсисом и отсутствием всякой опоры в жизни. Я сказал ей напрямик, что, кроме ее души, у меня нет ничего на свете, описал, что со мной творилось, когда она вышла замуж, какие потрясения и перемены произошли в моем мозгу и сердце после возвращения моего в Плошов. Говорил я обо всем этом тем охотнее, что, поверяя ей свои переживания, в сущности, беспрестанно признавался ей в любви, и все, что я говорил, означало: «Я тебя любил, люблю и всегда буду любить больше всего на свете». Анелька, обманутая формой моих признаний, слушала так, словно это не о ней шла речь, – с волнением и сочувствием, а быть может, и с бессознательным удовольствием. Я видел, как глаза ее не раз наполнялись слезами, как бурно вздымалась грудь, чувствовал, что вся душа ее стремится ко мне, и словно слышал немой призыв: «Приди, потому что и ты заслужил немного счастья». А я, понимая это, отвечал ей глазами: «Я никогда больше ничего не буду домогаться и полагаюсь на твое великодушие».

Я поверял ей все еще и для того, чтобы такая откровенность вошла и у нее в привычку; я хотел внушить Анельке, что при наших отношениях так и должно быть, и заставить ее платить мне тем же, рассказывать все, что она думает и чувствует. Но это мне не удавалось. Я пробовал расспрашивать, но отвечала она так неохотно, видно было, что ей это очень трудно... И я скоро перестал задавать вопросы. Если

бы Анелька захотела быть со мной вполне откровенной, ей пришлось бы говорить о том, что она чувствует ко мне и как относится к мужу. Именно этого мне и хотелось, но этого не позволяла ей стыдливость и честность по отношению к Кромицкому.

Я все это прекрасно понимаю, но не могу отделаться от весьма неприятного чувства; мой пессимизм нашептывает мне, что я один, так сказать, несу издержки, отдаю Анельке все, а взамен почти ничего не получаю, верю, что ее душа принадлежит мне, а между тем душа эта для меня закрыта, – так что же я, собственно, обрел?

Я понимаю, что все это верно, – и рассчитываю уже только на будущее.

17 августа

Мне часто вспоминаются теперь слова Мицкевича: «Увы, я был спасен только наполовину». И если бы даже в моем «полуспасении» не было столько отрицательных сторон, оно все равно не принесло бы мне полного душевного покоя. Он был бы возможен только в том случае, если бы я ничего больше не желал, то есть если бы разлюбил. Все чаще и чаще бывают у меня приступы уныния, когда я говорю себе, что я только из одного заколдованного круга попал в другой. Правда, мне полегчало, я не испытываю больше прежних невыносимых мучений. Но облегчить боль еще не значит исцелиться от нее. Когда умирающий от жажды араб в пустыне берет в рот вместо воды камушки, он этим жажды не утоляет, только пытается обмануть ее. Спрашивается, не обманываю ли и я вот так себя самого? Опять во мне проснулось два человека: зритель и актер. Первый начинает критиковать второго, а частенько и насмеяться над ним. Плошовский-скептик, далеко не твердо верующий в существование души, любит душу женщины, только ее душу! Этот Плошовский мне уже смешон. Что такое наш союз с Анелькой? Порой я вижу в нем только искусственный плод моей болезненной экзальтации. Вот теперь я уж несомненно похож на птицу, которая волочит по земле подбитое крыло. Я обрек на паралич половину своего «я», живу вполнину и приказываю себе любить только половинчатой любовью. Тщетные усилия! Отделить любовь от жажды обладания так же невозможно, как отделить сознание от бытия. Я способен мыслить и любить только так, как свойственно человеку. Даже свои религиозные чувства, самые идеальные из всех, человек выражает словами, коленопреклонением, целует священные предметы. А я хотел, чтобы моя любовь к женщине была бесплотна, утратила всякую связь с землей и существовала в жизни как явление иного мира.

Что значит любовь? Желать и стремиться. А что я хотел отнять у своей любви? Желания и стремления. Это все равно, что прийти к Анельке и сказать ей: «Так как я люблю тебя больше всего на свете, я даю обет не любить тебя».

В этом кроется какая-то чудовищная ошибка. Я был похож на человека, заблудившегося в пустыне, и не удивительно, что видел мираж.

18 августа

Вчера мне не давали уснуть всякие гнетущие мысли. И, чтобы не беречь себя, я перестал углубляться в мрак пессимизма и стал думать об Анельке, вызывать в памяти ее образ. Это всегда приносит мне облегчение. Взволнованное воображение рисовало мне ее так живо, что хотелось заговорить с ней. Я вспомнил тот бал, на котором впервые увидел ее взрослой девушкой. Вспомнил все так ясно, словно это было вчера: белое платье, украшенное фиалками, обнаженные руки, несколько миниатюрное, свежее, как утро, личико, которому придавали столько своеобразия смелый рисунок бровей, удивительно длинные ресницы и густой пушок на щеках... Я

так и слышу ее голос: «Не узнаешь меня, Леон?» В те дни я записал в своем дневнике, что лицо ее – музыка, запечатленная в человеческих чертах. В ней было одновременно очарование юной девушки и соблазнительной женщины. Никогда ни к какой женщине не влекло меня так сильно, как к Анельке, и только разлука и семейная катастрофа, а потом – такая Цирцея, как Лаура, виноваты в том, что я позволил отнять у себя мою избранницу, почти невесту.

Я, как никто другой, знаю, что слова: «Я во власти твоих чар», – могут быть не поэтической метафорой, а жестокой действительностью. Да, Анелька меня околдовала. Я не только влюблен, не только хочу обладать ею, – она мне бесконечно дорога. Она совершенно в моем вкусе, она удовлетворяет всем моим представлениям о женской красоте и прелести, она притягивает меня с необъяснимой силой, как магнит железо. Иначе и быть не может: ведь это та же прежняя Анелька, она ничуть не переменялась. То же сочетание чистой девушки и пленительной женщины, то же выражение глаз, те же ресницы, брови, губы, руки, стройная фигура. Теперь я нахожу в ней еще новое очарование: очарование потерянного рая.

Но какая глубокая пропасть между нашими прежними отношениями и теперешними!

Когда я вспоминаю ту прежнюю Анельку, как спасения ожидавшую от меня слов «будь моей», мне просто не верится, что и вправду было такое время. Я думаю о нем с таким чувством, с каким, вероятно, вспоминает прошлое разорившийся вельможа, который в годы блеска сорил деньгами, удивляя всех, а теперь живет милостыней и подачками.

Сегодня ночью, когда я думал об Анельке и мысленным взором вглядывался в нее, мне вдруг пришло в голову, что с нее никогда не писали портрета, и вдруг ужасно захотелось иметь ее портрет. Я жадно ухватился за эту мысль и так ей обрадовался, что мне окончательно расхотелось спать. «Вот тогда ты будешь со мной всегда, – говорил я Анельке, – я смогу целовать твои руки, глаза, губы, и ты не оттолкнешь меня». Я тут же стал соображать, как это устроить. Не мог ведь я пойти к Анельке и сказать ей: «Закажи свой портрет, а я уплачу художнику». Но от тетушки я всегда добивался, чего хотел, и она по моему наущению, конечно, выразит желание иметь портрет Анельки. В Плошове есть целая галерея фамильных портретов, гордость тетушки. Меня они приводят в отчаяние, ибо некоторые из них ужасны, но тетушка настойчиво желает, чтобы в галерее были все наши более или менее близкие родственники. К Анеле она очень привязана, и я был уверен, что даже ее обраду, подсказав ей идею заказать портрет Анели. Пятиминутного разговора будет достаточно, чтобы уладить дело. Но кому же заказать портрет? Размышляя об этом, я со вздохом сказал себе, что никак не удастся уговорить моих дам ехать для этого в Париж, где я мог бы выбирать между точностью и объективностью Бонна, смелостью и размахом Шарля Дюрана и мягкой лиричностью Шаплена. Закрыв глаза, я представлял себе, как справился бы со своей задачей каждый из этих художников, и любовался воображаемыми портретами Анельки. Но это была несбыточная затея. Я заранее знал: тетя пожелает, чтобы Анельку писал польский художник. Помня, что на выставках в Варшаве и Кракове я видел портреты ничуть не хуже полотен знаменитых заграничных мастеров, я не стал бы возражать против такого желания тетушки, но меня пугала проволочка. Есть в моей натуре и эта женская черта: если надумал что-нибудь сегодня, хочу, чтобы желание мое исполнилось уже завтра. И так как мы находились в Германии, близ Мюнхена и Вены, я стал вспоминать известных мне немецких художников. Выбрал наконец два имени: Ленбаха и Ангели. Мне доводилось видеть превосходные портреты кисти Ленбаха, но всё мужские. Кроме того, меня раздражала самоуверенность и поверхностность этого мастера – их я прощаю только французам, так как страстно влюблен во французскую

живопись. Не особенно нравились мне и женские портреты Ангели, но надо отдать ему справедливость: в его манере есть тонкое изящество, а этого как раз и требовало лицо Анельки. Притом ехать к Ленбаху было бы дальше, к Ангели же нам по пути – довод, который стыдно приводить, если не хочешь прослыть филистером. Но на этот раз все дело было во времени. «Мертвые мчатся быстро», – сказал поэт. А влюбленные – еще быстрее. Да и все равно я выбрал бы Ангели. Итак, я решил, что именно он будет писать портрет Анельки. Вообще я не люблю портретов дам в бальных нарядах, но хотел непременно, чтобы Анелька позировала в белом платье с фиалками. Тогда я, глядя на ее портрет, смогу воображать, что она – прежняя моя Анелька. Ничто на этом портрете не должно мне напоминать, что она теперь жена Кромницкого. К тому же это белое платье мне дорого как воспоминание.

Я не мог дождаться утра – так мне не терпелось поговорить с тетей. План свой я несколько изменил, рассудив, что если предоставлю ей заказать портрет, то она непременно захочет обратиться к польскому художнику. Поэтому я решил, что сам закажу портрет Анельки – в подарок тете к ее именинам, которые будут в конце октября. Таким образом Анелька не сможет отказаться позировать. И, разумеется, я закажу себе копию с этого портрета.

Я почти не спал, но то была добрая ночь, ибо все часы ее были заполнены такими размышлениями. Задремал я только около пяти, а в восемь был уже на ногах. Сразу пошел к Штраубингеру и отправил в бюро «Дома художников» телеграмму с запросом, в Вене ли сейчас Ангели. Вернувшись оттуда домой к чаю, застал всех уже за столом и прямо приступил к делу.

– Анелька, – начал я, – должен тебе покаяться, сегодня ночью я вместо того, чтобы спокойно спать, решал твою судьбу. И вот теперь прошу на это твоего согласия.

Анелька испуганно уставилась на меня. Быть может, она подумала, что я сошел с ума или решился на отчаянную откровенность в присутствии тети и пани Целины. Но спокойное и даже равнодушное выражение моего лица рассеяло ее подозрения, и она спросила:

– А что же ты решил?

Вместо ответа я обратился к тетушке:

– Я сначала хотел устроить вам сюрприз, но вижу, что это никак не выйдет. Так что придется рассказать, какой подарок я придумал поднести вам на именины.

И рассказал. Лучшего подарка для тети нельзя было и придумать (мой портрет, и очень хороший, она получила еще года три назад), и она стала горячо меня благодарить. Я заметил, что и Анелька довольна, и мне уже одного этого было достаточно. Тотчас дамы начали с живостью обсуждать, когда и кто будет писать портрет, как Анельке одеться, и так далее. Эти вещи ведь чрезвычайно занимают женщин. А у меня были уже готовы ответы на все их вопросы. Притом я сообразил, что могу воспользоваться случаем получить еще кое-что, кроме портрета.

– Много времени на это не потребуется, – сказал я. – Я уже запросил телеграммой, где сейчас Ангели, и думаю, что портрет не очень задержит наш отъезд в Плошов. Анельке придется позировать раза четыре или пять, не больше, а нам ведь все равно надо будет пробыть в Вене несколько дней из-за Нотнагеля, так что это нас не задержит. Ангели может платье написать позже, без Анели, а лицо за пять

сеансов он закончит. Надо только заранее послать ему фотографию Анельки, – ну, хотя бы ту, что тетя Целина привезла с собой, – и прядку ее волос. Волосы я попрошу тебя, Анелька, срезать и отдать мне сейчас же. Таким образом, Ангели до нашего приезда сделает общий набросок, и потом ему останется только закончить портрет.

Может, то, что я говорил, было до некоторой степени и верно, но, требуя от Анельки прядь ее волос, я рассчитывал на то, что ни одна из моих дам незнакома с процессом писания портретов. Прядка нужна была не Ангели, а мне. Ему она пригодилась бы только в том случае, если бы он писал портрет с фотографии, а на это такой художник, как Ангели, ни за что не согласится. Я же, требуя этот локон, делал вид, будто от него зависит участь портрета. Через два часа после завтрака пришел ответ на мою телеграмму: Ангели в Вене и кончает портрет княгини М. Я немедленно написал ему и вложил в конверт фотографию, взятую у пани Целины. Когда письмо было написано, я, увидев в окно гулявшую по саду Анельку, сошел к ней.

– А где же твои волосы? Письмо надо отправить до двух.

Она побежала к себе в комнату и через несколько минут вернулась с прядкой волос. Когда я брал у нее эту прядь, рука у меня немного дрожала, но я смотрел Анельке прямо в глаза, спрашивая взглядом:

«Ты догадалась, что волосы твои я попросил для себя и они будут самым драгоценным из всего, что у меня есть?»

Анелька ничего не сказала, только опустила глаза и покраснела, как девушка, услышавшая первое признание в любви. Значит, догадалась! А я в этот миг чувствовал, что за одно прикосновение ее губ не жаль отдать жизнь. Любовь моя к ней по временам бывает так сильна, что переходит в боль.

Ну вот, теперь я владею физической частицей моей Анельки. Добыл я ее хитростью. Да, да, я, премудрый скептик, постоянно анализирующий и наблюдающий себя со стороны, пускаюсь на хитрости, и чувства и поступки мои достойны гётевского Зибеля.

Но я говорю себе: ну что ж, допустим, я сентиментален и смешон, но не более. А кто знает, не глупее ли, смешнее и ничтожнее во сто крат тот двойник мой, человек не сентиментальный, который все исследует и осмысливает? Так анализировать – это все равно что ощипывать цветок. Только губишь этим красоту жизни, а значит и счастье, то есть единственное, ради чего стоит жить.

22 августа

После того как пани Целина закончила курс лечения, мы еще несколько недель оставались здесь, ожидая, пока спадет жара на равнинах. И дождались отвратительной ненастной погоды! Теперь опять ждем первого ясного дня, чтобы двинуться отсюда в Вену. Но вот уже третий день здесь царит тьма египетская. Всю неделю на вершинах гор скоплялись тучи, теперь они сползли с этих высоких гнезд, где высихивали дождь и снег, и, надвинувшись на Гаштейн, закрыли своим тяжелым лоном все небо над долиной. Мы живем в такой мгле, что даже в полдень трудно отыскать дорогу от Штраубингера до нашей виллы. Дома и деревья, горы и водопады – все скрыто в беловатом сыром тумане, который стирает все очертания, оседает на предметах да, кажется, и на душах. С двух часов дня приходится зажигать лампы. Дамы кончают укладываться. Мы бы уже давно уехали, несмотря на туман, если бы не

то, что дорога в одном месте за Гофгаштейном размыта горными потоками. У пани Целины опять начались мигрени; тетя получила от старого Хвастовского письмо с вестями о сборе урожая и чуть не весь день ходила большими шагами по столовой, вслух препираясь с Хвастовским и ругая его. Анелька сегодня утром очень плохо выглядела. Она призналась нам, что с вечера ей приснился тот кретин, который встретился нам на дороге к Шрекбрюке. Проснувшись, она уже не спала до утра, и всю ночь ее мучил какой-то нервный страх. Странно, что этот несчастный нищий произвел на нее такое сильное впечатление! Я пытался развлечь ее веселой болтовней, и мне это до некоторой степени удалось – вообще со времени нашего договора на Шрекбрюке Анелька стала гораздо спокойнее, веселее и счастливее.

Видя это, я не смею больше роптать на судьбу, хотя мне часто думается, что отношения между нами держатся на отсутствии всякой близости. Заклячая уговор, я хорошо знал, чего хочу и какие формы примет наша любовь. А сейчас эти формы как-то расплываются, становятся все более неопределенными и неуловимыми, как будто и они растворились в тумане, окутавшем Гаштейн. Я все время чувствую, что Анелька не признает обещанных мне прав, а настаивать на них не решаюсь. Не решаюсь потому, что всякая борьба утомляет, тем более – борьба с любимым человеком. А я борюсь вот уже полгода и, ровно ничего не добившись, измотался до такой степени, что сейчас предпочитаю какой ни на есть покой прежним бесплодным усилиям.

Однако есть, пожалуй, и другая причина. Если настоящее положение вещей и не таково, как я надеялся, зато оно явно расположило ко мне Анельку. Ей кажется, что я люблю ее теперь любовью более возвышенной, и она за это меня больше ценит (не смею сказать «любит»). Хотя внешне это ни в чем не проявляется, я чувствую, что не ошибся, и это придает мне сил. Я твержу себе: если таким путем можно укрепить ее любовь, терпи, не сходи с этого пути, и авось дождешься, что любовь пересилит в ней волю к сопротивлению.

Все люди, а в особенности женщины, считают, что так называемая платоническая любовь – это какой-то особый вид любви, весьма редкий и необыкновенно возвышенный. Но это попросту путаница понятий. Могут существовать платонические отношения, а платоническая любовь – такая же бессмыслица, как, например, несветящее солнце. Даже любовь к умершему – это тоска не только по душе, но и по земной оболочке любимого. А между живыми такая любовь – это отречение. Когда я говорил Анельке: «Буду любить тебя такой любовью, как любят умерших», – это не было сознательной ложью. Но отречение не исключает надежды. Несмотря на все пережитые, разочарования, на глубокую уверенность, что мечты не сбудутся, где-то на дне души моей таилась и все еще таится надежда, что нынешние отношения с Анелькой – только этап на пути нашей любви. Я могу сто раз твердить себе: «Это самообман», – но пока не умерли желания, до тех пор не умрет и надежда – они нераздельны. Я вынужден был согласиться на «платонический» союз потому, что лучше такая близость, чем полное отсутствие всякой близости. Но, хотя согласие мое было искренне, я почти помимо воли смотрю на него как на игру, как на дипломатию, которая должна привести к полному, а не половинчатому счастью.

Но вот что меня поражает и угнетает, чего я никак понять не могу: я и тут терплю поражение. Победы мои маячат где-то в тумане будущего, как призраки, как мираж, а в настоящем я, при всем своем знании жизни и человеческой души, при всех своих дипломатических хитростях, пасую перед женщиной, которая несравненно простодушнее меня, менее опытна в житейской тактике, далеко не так дальновидна, не способна рассчитывать каждый свой шаг. Да, слов нет, – я побежден. Каковы теперешние наши отношения? Это, в сущности, отношения любящих родственников, а

следовательно – именно то, чего хотела она, а я не хотел. Прежде я плыл по бурному морю, беспрестанно терпел аварии, но по крайней мере сам управлял своей ладьей. Теперь Анелька правит обеими, а я плыву ровнее, медленнее, но чувствую, что плыву туда, куда мне вовсе не хочется. Я понимаю, почему Анелька, как только я заговорил о любви Данте к Беатриче, протянула мне обе руки: она решила вести меня! А может быть, она лучше меня умеет все предвидеть и рассчитывать? Нет, это невероятно, я не знаю человека, менее способного на какие-либо расчеты. Однако не могу отделаться от почти мистического чувства, что Анелька поступает так, словно кто-то рассчитывает за нее.

Да и обстановка вокруг нас создалась какая-то необычная. Странно и то, что я позволяю себя ограничивать, что я сам придумал эту форму близости, так противоречащую моей натуре, моим воззрениям и самым горячим желаниям. Если бы до моей встречи с Анелькой кто-нибудь мне предсказал, что со временем я буду носиться с такими идеями, я счел бы его сумасшедшим и добрый месяц у меня была бы тема для вышучивания такого пророка, да и себя самого. Я – и платоническая любовь! Да меня и теперь еще иногда смех разбирает при этой мысли.

Но я не скрываю от себя, что меня привела к этому горькая необходимость.

23 августа

Завтра едем. Небо проясняется, ветер западный, а это предвещает хорошую погоду. Туман медленно уползает к горам длинными белесыми валами, похожими на громадных Левиафанов. Мы с Анелькой побывали на Кайзерверге. У меня с утра не выходил из головы вопрос: что было бы, если бы отношения, установившиеся между нами, перестали удовлетворять и Анельку? Я не считаю себя вправе переступить границу и боюсь это сделать. А что, если и она чувствует то же самое? Природная робость и стыдливость и так уже для нее непреодолимая преграда, а если она еще притом считает наш договор обязательным для себя точно так же, как для меня, – то у нас никогда не дойдет до объяснения и мы будем напрасно страдать.

Однако, подумав хорошенько, я понял, как вздорны мои опасения. Анельке даже эти платонические отношения кажутся чересчур «вольными», и она, сознательно или бессознательно, их ограничивает, она даже в этих тесных рамках не позволяет мне того, на что я имею право, – так неужели же она первая, по собственному почину, предоставит мне более широкие права?

Но так уже создан человек, что даже в аду еще на что-то надеется. Несмотря на явную неосновательность моих предположений, я решил на всякий случай сказать Анельке, что наш договор обязателен только для меня, – остальное зависит от ее желания.

Хотелось сказать ей еще многое другое: что судьба ко мне жестока, что сердце мое жаждет слышать от нее слово «люблю», – и не раз, а часто, каждый день, что этим только я могу жить и оставаться на высоте. Но в это утро Анелька была так непринужденно весела, так ласкова ко мне, что у меня не хватило духу смутить ее ясное спокойствие. Вчера я не понимал, как эта женщина, такая простодушная, берет надо мной верх, побеждает даже там, где, по всем человеческим понятиям, победителем должен быть я. Сегодня это мне уже понятнее, и у меня возникла очень печальная гипотеза: все дело в том, что я ее люблю сильнее, чем она меня.

Один мой знакомый часто употреблял выражение «я не в счет». И было бы не удивительно, если бы я теперь стал повторять это выражение. Порой так хочется высказать то, что, как раскаленный уголь, жжет мне язык, да боюсь спугнуть ее

веселость, улыбку, испортить ей хорошее настроение, – и молчу. Сколько раз так бывало!

То, что я ее больше люблю, чем она меня, сто раз приходило мне в голову, но о наших отношениях я сегодня думаю одно, завтра – другое, теряюсь, сам себе противоречу, все представляется мне каждый день в ином свете. То кажется, что Анелька и меня не так уж любит, да и вообще не способна любить сильно. То я не только думаю, но и чувствую, что у нее самое большое и любящее сердце, какое я встречал в своей жизни. И всегда нахожу доказательства и тому и другому. Я спрашиваю себя: если бы, например, любовь ее ко мне возросла в три, четыре, в десять раз, наступил бы в конце концов день, когда любовь эта победила бы ее сопротивление? Да! Значит, все дело в том, что сейчас ее чувство ко мне недостаточно сильно? Нет! Если бы это чувство было вправду слабым или его вовсе не было бы, Анелька не страдала бы так, – а ведь я видел, что она почти так же несчастлива, как я сам. На все доводы против нее у меня один ответ: я в и д е л!

Сегодня у нее вырвались слова, которые я запомню, ибо в них тоже нашел ответ на мои сомнения. Она не сказала бы этих слов, если бы речь шла о нас и нашей любви. Но я говорил общими фразами, как всегда говорю теперь на эти темы. Я доказывал, что любовь по природе своей – сила действенная, что она направляет волю человека и заставляет его действовать. Выслушав меня, Анелька промолвила:

– Или страдать.

Да, конечно, – страдать. Этими двумя словами она заставила меня замолчать и наполнила сердце глубоким уважением к ней. В такие минуты я и счастлив и вместе несчастен, ибо снова верится, что она любит меня, как я – ее, по хочет оставаться чистой перед богом, людьми и собой. А я этого храма не разрушу.

Сколько я ни разбираюсь в ее душе и чувствах, ничего не могу утверждать наверное. По-прежнему стою на распутье. Ко всем моим «не знаю» в вопросах религиозных, философских и общественных прибавилось еще одно, личное, самое для меня главное, ибо я отлично понимаю, что на этом «не знаю» могу сломать себе шею.

Я сам ковал ту цепь, что связала меня с Анелей, и связала навсегда, – нечего и думать, что она когда-нибудь разорвется, – я люблю Анельку безумно, но еще вопрос, здоровая ли это любовь. Будь я моложе, здоровее духом и телом, будь я более нормальным, не таким вывихнутым человеком, я, может, и разорвал бы эти оковы и, во всяком случае, пытался бы от них освободиться, убедившись, что, грубо говоря, ничего не добьюсь от Анельки и никогда она не раскроет мне объятий. А сейчас я и не пытаюсь бороться, я люблю ее, как только может любить человек с больными нервами, и любовь эта похожа на манию. Так любят старики, которые изо всех сил цепляются за свою последнюю любовь, ибо она становится для них вопросом жизни. Так держится за ветку человек, висящий над пропастью.

Любовь к Анельке – то единственное, что расцвело в моей жизни, и потому так неестественно буйно это цветение. Такое явление вполне нормально и будет повторяться тем чаще, чем больше на свете будет людей подобных мне, то есть заеденных самоанализом скептиков и притом истериков, с пустотой в душе и сильнейшим неврозом в крови. Этакий современный продукт уходящей в прошлое эпохи может и вовсе не знать любви или отождествлять любовь с развратом. Но если все его жизненные силы вдруг сосредоточатся на каком-нибудь чувстве и тут примешается еще его невроз, это чувство овладеет им целиком и станет таким

упорным, как бывают только болезни. Этого, может быть, еще не поняли психологи и, безусловно, не понимают до сих пор романисты, изучающие душу современного человека.

Вена, 25 августа

Сегодня мы приехали в Вену. В дороге мне довелось слышать разговор между пани Целиной и Анелькой, и так как разговор этот как-то странно взволновал Анельку, я хочу его записать. В вагоне, кроме нас четверых, никого не было, и мы толковали о портрете Анельки, в частности о том, что от белого платья придется отказаться, так как для того, чтобы его сшить, потребовалось бы слишком много времени. Неожиданно пани Целина (она прекрасно помнит всякие даты и вечно напоминает о них другим) сказала, обращаясь к Анельке:

– А ведь сегодня ровно два месяца, как твой муж приехал в Плошов?

– Да, кажется, – отозвалась Анелька и вдруг густо покраснела.

Чтобы скрыть это, она встала и принялась снимать с вагонной сетки дорожную сумку. Когда она снова обернулась к нам, румянец еще не совсем сошел с ее щек и лицо имело страдальческое, угрюмое выражение. Тетя и пани Целина ничего не заметили, так как они в эту минуту заспорили о том, в какой именно день приехал Кромицкий. Но я все увидел и понял. Ведь в тот самый день ей пришлось терпеть ласки и поцелуи мужа... При этой мысли мною овладело бешенство, и вместе с тем стыдно стало за этот ее румянец. Да, в любви моей много острых терний, не меньше и больно ранящих омерзительных мелочей. До замечания пани Целины я был почти счастлив, тешась иллюзией, будто мы с Анелькой едем вместе как новобрачные, совершающие свое свадебное путешествие. И вот – в одно мгновение блаженство кончилось. Я злился на Анельку, и это сразу сказалось на моем обращении с ней. Она это почувствовала. И в Вене, когда мы на минуту остались вдвоем в зале ожидания, спросила меня:

– Ты за что-то на меня сердишься?

– Нет, я тебя люблю, – ответил я резким тоном.

Ее лицо снова омрачилось. Быть может, она подумала, что мне надоели наши мирные отношения и я опять стал прежним Леоном. А я был зол вдвойне от сознания, что ни мое раздвоение, ни разум не помогают мне обороняться от всякого неприятного впечатления. Единственным лекарством бывают новые впечатления, которые вытесняют прежние, а философия моя в этих случаях бессильна.

Сразу по приезде я отправился к Ангели, но попал к нему только в шесть часов, и студия была уже заперта. Анелька до завтра будет отдыхать с дороги, а завтра мы пойдем к нему уже вместе. Я передумал, не хочу, чтобы Ангели писал ее в белом платье. Пусть на портрете я не увижу ее обнаженных плеч, зато она будет на нем такая, какой я вижу ее каждый день и какой больше всего люблю.

Вечером нас навестил доктор Хвастовский. Он, как всегда, здоров и полон энергии.

26 августа

Этой ночью я видел скверный сон. Начну с него описание событий сегодняшнего дня: самый сон – чепуха, но я убежден, что здоровый мозг не может порождать такие видения. Я давно страдаю бессонницей, а вчера почему-то, едва закрыл глаза, как впал в забытие. Не знаю, в котором часу ночи мне приснилась эта чепуха, но,

кажется, на заре: когда я проснулся, было уже светло, а спал я, должно быть, недолго. Мне снилось, что из всех щелей между матрасом и кроватью лезут целые полчища больших жуков, каждый не меньше спичечной коробки. Они поползли вверх по стене. И странно, до чего же реальны бывают такие сны: я совершенно отчетливо слышал, как шуршали обои под лапками жуков. Подняв глаза, я увидел в углу под потолком целые гроздья уже других насекомых, – эти были белые с черными пятнами и еще крупнее. Кое-где я различал брюшко и два ряда ножек, похожих на ребра. Во сне все это казалось естественным. Мне было противно, но я не испытывал ни страха, ни удивления. И только когда я проснулся и мысль моя уже работала ясно, отвращение стало нестерпимым и перешло в непонятный страх – страх смерти. Первый раз в жизни я испытывал подобное чувство. Этот страх смерти можно было бы словами выразить так: «Кто знает, какими мерзкими существами кишит мрак загробного мира?» Позднее я припомнил, что таких громадных жуков, белых с черными пятнами, я видел где-то в музее. Но в первые минуты они мне казались фантастическим видением страшного потустороннего мира. Я вскочил с постели, поднял шторы, и дневной свет совершенно успокоил меня. На улице уже началось движение; собаки тащили тележки с зеленью, служанки шли на рынок, рабочие – на фабрики. Картина обыденной человеческой жизни – самое лучшее лекарство от подобных фантазмагорий. Я сейчас ощущаю страстную жажду света и жизни. Все это вместе взятое показывает, что я не совсем здоров. Моя душевная драма гложет меня изнутри, как червь. То, что в волосах моих уже появилась седина, в порядке вещей. Но лицо мое, особенно по утрам, имеет восковой оттенок, а руки стали прозрачными. Я не хуюеу, скорее даже полнею, но при всем том вижу, что у меня развивается анемия, чувствую, что мои жизненные силы на исходе, и добром это не кончится.

С ума я не сойду. Никак не могу себе представить, что может наступить такой час, когда я утрачу власть над собой. И, наконец, один видный врач, а главное – разумный человек, говорил мне, что на известной ступени развития сознания помешательство становится невозможным. Да я, кажется, уже об этом писал. Однако и не сходя с ума можно заболеть тяжелой нервной болезнью, – а я немного уже знаю, что это такое, и скажу честно: предпочел бы любую другую болезнь.

Вообще говоря, я докторам не доверяю, особенно таким, которые верят в медицину. Но все-таки надо будет, пожалуй, с кем-либо из них посоветоваться, тем более что и тетя этого хочет. Собственно, я и так знаю вернейшее лекарство от своей болезни: если бы Кромицкий умер, а я женился бы на Анельке, – я выздоровел бы сразу. Если бы она пришла ко мне и сказала: «Я вся безраздельно твоя», – это бы меня сразу исцелило. Болезни, порожденные нервами, нервами же надо лечить.

Но Анелька не захочет меня излечить таким образом, хотя бы дело шло о моей жизни.

Ходил с нею и тетей к Ангели. Сегодня Анелька в первый раз ему позировала. Как же я был прав, утверждая, что она – одна из самых красивых женщин, каких я встречал в жизни, ибо в ее красоте нет ничего шаблонного! Ангели всматривался в нее с таким восхищением, как будто созерцал великое и благородное произведение искусства. Он пришел в прекрасное настроение, писал с увлечением и откровенно объяснял нам, чем он так доволен.

– В нашей практике это редкость, – говорил он. – Совсем иначе работается, когда перед глазами т а к а я модель... Что за лицо! Какое выражение!

А между тем лицо это было не так пленительно, как всегда, потому что застенчивая

Анелка чувствовала себя неловко и с трудом сохраняла естественную позу и выражение. Впрочем, Ангели и это понял.

– На следующих сеансах дело скорее пойдет на лад, – сказал он. – С каждым положением человеку нужно освоиться.

И, работая, поминутно восклицал:

– Вот это будет портрет!

Он и на тетушку поглядывал с удовольствием, – вероятно, потому, что в ее аристократическом лице виден характер, энергия и удивительная широта натуры. Обращение ее с Ангели в своем роде несравненно: это – наивная бесцеремонность знатной дамы, которая никогда не нарушает требований хорошего вкуса, но не признает ничьего авторитета. Ангели, человек, привыкший к поклонению, но очень умный, это уловил, – и я видел, что его это забавляет.

Решено было, что Анелка будет позировать в черном шелковом платье, очень изящном. Как хорошо оно обрисовывает ее фигуру, стройную и не лишенную полноты! Не могу ни думать, ни писать об этом спокойно... Ангели, обращаясь к Анелке, назвал ее «мадемуазель». Женщины, даже женщины-ангелы, – удивительный народ: я видел, что моей любимой это приятно. Еще большее удовлетворение выразило ее милое личико, когда художник после того, как я его поправил, сказал:

– Но я все время буду ошибаться! Глядя на madame, трудно не ошибиться...

И в самом деле, Анелка, вспыхнувшая от смущения, была в эти минуты так обворожительна, что мне снова вспомнились – на этот раз уже точнее – стихи, что я сочинил когда-то. Каждая строфа кончалась так:

Дивлюсь только я, что цветы
Не растут у тебя под ногами.

Ведь ты – воплощенье весны,

О птица моя золотая,

Ты май, к нам слетевший из рая.

Когда при выходе из студии тетушка немного от нас отстала, я шепнул Анелке на ухо:

– Ты сама не знаешь, понятия не имеешь, как ты хороша!

Она ничего не ответила, только, как всегда в таких случаях, опустила глаза. Но я весь день подмечал в ее обхождении со мной легкий оттенок бессознательного кокетства: так подействовали на нее слова Ангели и мои. Она чувствовала, что я от всей души восхищаюсь ею, и была мне благодарна.

А я не только любовался ею. Я говорил – нет, вопил! – в душе:

– К черту все договоры! Хочу любить ее без всяких запретов и ограничений.

Вечером мы были в опере на вагнеровском «Летучем Голландце». Я вряд ли слышал что-нибудь, вернее говоря, – я воспринимал музыку только чувственно, только через мою любовь.

Я мысленно спрашивал Вагнера: «Какое впечатление производит твоя музыка на нее?»

Проникает ли в ее душу, располагает ли к любви, переносит ли в какие-то миры, где любовь – высший закон?» Только это меня интересовало.

Женщины, мне кажется, не способны любить так беззаветно. Они всегда сохраняют какую-то часть души для себя, для мира и разных его впечатлений.

27 августа

Тетушка объявила, что уезжает. Она стремится в Плошов и говорит, что в Вене ей сидеть незачем и будет даже лучше, если она уедет, – тогда нас никто торопить не будет, мы сможем оставаться здесь до тех пор, пока художник не кончит работу. Все мы пробовали ее отговорить от поездки, доказывая, что в ее возрасте нельзя путешествовать одной. Я счел своим долгом (хотя мне это было нелегко) сказать тете, что, если она непременно хочет ехать, я буду ее сопровождать. Признаться, я с некоторым внутренним трепетом ждал ее ответа. К счастью, моя славная старушка с живостью возразила:

– И не думай! А если Целина будет нездорова или утомлена, кто проводит Анельку к художнику? Не может же она одна к нему ходить!

Тут она погрозила Анельке пальцем и прибавила, грозно хмуря брови, но с невольной улыбкой:

– Тем более что твой художник поглядывает на нее чаще, чем требует его работа, а она и рада. Ого! Знаю я ее!

– Да ведь он уже немолод, тетя! – со смехом сказала Анелька, целуя руки у старушки.

А тетушка заворчала:

– Ох ты, тихоня! Немолод! А комплиментами так и сыплет. Ты за ними обоими смотри в оба, Леон!

Я с тайным восторгом отказался от поездки в Плошов, приняв во внимание соображения тети. Пани Целина стала ее уговаривать взять с собой хотя бы горничную, которая была с нами в Гаштейне. Тетушка сначала упрямылась, но уступила, когда Анелька сказала ей, что, живя в отеле, они с матерью отлично обойдутся без горничной.

Она немедленно распорядилась, чтобы уложили ее чемоданы. Тетушка моя не любит ничего откладывать и решила ехать завтра утром. За обедом я поддразнивал ее, говоря, что ее скаковые лошади ей милее нас и это к ним, конечно, она так спешит. А она твердила: «Ах, какой ты дурак! Будет тебе!» – но через минуту, задумавшись, начала вслух разговаривать сама с собой о своих жеребцах.

Сегодня Анелька позировала лучше и очень долго. Лицо уже подмалевано.

28 августа

Тетя утренним поездом уехала из Вены. К Ангели мы ходили втроем с пани Целиной, и она, увидев на портрете первый набросок лица, с трудом удержалась от гневного восклицания. Она не имеет ни малейшего представления о работе художника и тех фазах, которые должен пройти портрет раньше, чем он готов. Вот она и вообразила, что лицо Анельки таким и останется – ничуть не похожим и некрасивым. Пришлось мне ее успокаивать, да и Ангели, догадавшись, в чем дело, со смехом заверил ее,

что она видит только личинку, которая скоро превратится в бабочку.

А на прощанье он сказал нам еще кое-что утешительное:

– Думаю, что это будет одна из лучших моих работ. Давно я не писал ничего так *con amore*[51].

Дай бог, чтобы его предсказание оправдалось.

После сеанса у Ангели я пошел покупать билеты в оперу. Вернувшись, застал Анельку одну – и внезапно страсть налетела на меня, как ураган. Я представил себе, какое бы это было счастье, если бы Анелька сейчас очутилась в моих объятиях, и почувствовал, что бледнею, пульс мой бился усиленно, я дрожал всем телом и задыхался. Шторы были до половины опущены, и в комнате царил полумрак. Я делал сверхчеловеческие усилия обуздать непреодолимое влечение к Анельке. Мне казалось, что от нее веет жаром, что те же чувства бурлят и в ее душе. Конечно, я мог бы схватить ее, прижать к груди, целовать ее губы и глаза. И какой-то внутренний голос шептал мне: «Целуй – а там хоть смерть!» Анелька заметила, что я сам не свой, и в глазах ее мелькнул испуг, но она тотчас овладела собой и торопливо сказала:

– Придется тебе опекать меня до возвращения мамы. Прежде я тебя боялась, а теперь так тебе верю и мне так хорошо с тобой!..

Я бросился целовать ей руки и сдавленным голосом повторял:

– Если бы ты только знала... если бы знала, что со мной творится!

А она отвечала печально, с нежным сочувствием:

– Знаю... И от этого ты мне кажешься еще лучше, еще благороднее...

Несколько минут я боролся с собой, но в конце концов она меня обезоружила, и я не посмел дать волю страсти. Зато Анелька потом весь день старалась меня вознаградить. Никогда еще она не была ко мне так нежна, никогда еще не смотрела на меня с такой любовью. Быть может, это – самый верный путь, какой я мог бы избрать? Что, если таким именно образом любовь пустит крепкие корни в сердце Анельки и скорее победит его? Не знаю. Теряю голову.

Ведь, с другой стороны, избрав такой путь, я на каждом шагу во имя любви жертвую любовью.

29 августа

Сегодня в студии произошло что-то непонятное и тревожное. Анелька, спокойно позировавшая Ангели, вдруг сильно вздрогнула, лицо ее залилось жарким румянцем, потом побелело как полотно. Мы с Ангели страшно испугались. Он сразу перестал работать и предложил Анельке отдохнуть, а я принес ей воды. Через минуту она оправилась и захотела позировать, но я видел, что она себя пересиливает и чем-то встревожена. Или это просто усталость? День был очень душный, от стен веяло жаром. Я увел ее домой раньше, чем вчера. Она и дорогой не стала веселее, а за обедом лицо у нее опять вдруг побагровело. Я и пани Целина стали допытываться, что с ней. Она уверяла, что ничего. На мой вопрос, не позвать ли доктора, она с несвойственной ей горячностью, даже с раздражением возразила, что в этом нет никакой надобности, что она совершенно здорова. Однако весь тот день она была

бледна, то и дело хмурила свои черные брови, и на лице ее появлялось суровое выражение. Со мной она была как-то холоднее, чем вчера, и порой мне казалось, что она избегает моих взглядов. Не понимаю, что с ней. И страшно беспокоюсь. Опять впереди бессонная ночь. А если и усну, то, наверное, увижу сон вроде того, который я описал недавно.

30 августа

Вокруг меня происходит что-то непонятное. В полдень я постучался в номер моих дам, намереваясь сопроводить Анельку к художнику. Но их не оказалось дома. Горничная отеля объяснила, что они часа два назад послали за извозчиком и уехали в город. Я был несколько удивлен и решил их подождать. Через полчаса они вернулись, но Анелька прошла мимо меня, не остановившись, только молча поздоровалась за руку – и скрылась в своей комнате. Я успел, однако, заметить, что она чем-то взволнована. Полагая, что она ушла только переодеться, я все еще ждал, пока пани Целина не сказала мне:

– Леон, голубчик, будь так добр, сходи к художнику, извинись за Анелю. Скажи, что она сегодня не придет. Она так разнервничалась, что никак не может позировать.

– А что с ней? – спросил я, охваченный сильнейшим беспокойством.

Пани Целина помолчала в какой-то нерешимости, потом ответила:

– Не знаю. Я возила ее к доктору, но мы не застали его дома. Я оставила ему записку с просьбой приехать к нам в отель... Впрочем... не знаю...

Больше я от нее ничего не добился и поехал к Ангели. Когда я сказал, что Анелька сегодня не может приехать, мне показалось, что он посмотрел на меня как-то подозрительно. Впрочем, это понятно – должно быть, ему бросилось в глаза мое беспокойство. Но в ту минуту я подумал: уж не боится ли он, что мы решили не заказывать портрет и хотим отвертеться? Ведь он нас не знает и может предположить, что причина моей растерянности – просто денежные затруднения. Чтобы рассеять такое подозрение, я хотел уплатить за портрет вперед. Ангели горячо запротестовал, говоря, что деньги он берет только по окончании работы. Но я возразил, что деньги оставила мне тетушка для передачи ему, а так как мне, наверное, придется уехать из Вены, то я хочу разделаться с этим поручением. После долгого, изрядно мне наскучившего спора я поставил-таки на своем. Мы уговорились, что Анелька будет позировать ему завтра в обычное время, а если нездоровье помешает ей прийти, то я предупрежу его об этом до десяти часов.

Вернувшись в гостиницу, я сразу пошел к пани Целине. Анелька была у себя в комнате, а от пани Целины я узнал, что врач только что ушел, не сказав ничего определенного и предписав больной полный покой. Мне опять показалось, что пани Целина словно чего-то недоговаривает. «Но, может быть, она просто растеряна, тревожится за Анельку? – подумал я. – Это легко понять, ведь и я чувствую то же самое».

Я шел к себе с тяжелым чувством вины, думая о том, что наши отношения с Анелькой, та душевная борьба, которую она, несомненно, переживает, угадывая, как я ее люблю и как страдаю, – все это не могло не отразиться на ее здоровье. Чувства мои можно было бы выразить словами: «Лучше бы мне умереть, чем ей хворать из-за меня».

Мысль, что Анелька, вероятно, не придет вниз к обеду, так меня ужасала, как будто от этого бос весть что зависело. К счастью, она пришла, но за обедом была какая-то странная. Увидев меня, смутилась, потом старалась держать себя, как обычно, но ничего у нее не выходило. Казалось, ее что-то тайно мучает. И, должно быть, она была бледнее, чем всегда: ведь волосы у нее не очень темные, но в этот день она казалась брюнеткой.

Теперь я теряюсь в догадках: уж не пришли ли дурные вести от Кромицкого? А если да, то какие? Может, мои деньги в опасности? Ну и черт с ними! Все мое состояние не стоит того, чтобы Анелька из-за него хоть пять минут волновалась.

Завтра непременно все выясню. Я почти уверен, что дело тут в Кромицком и что причины ее огорчения – не материального, а морального характера. Что он мог опять выкинуть? Ведь не продал же второго Глухова – по той простой причине, что такового не имеется.

Берлин, 5 сентября

Я в Берлине, а очутился здесь потому, что бежал из Вены и надо было куда-нибудь деваться. В Плошов ехать не могу – туда поедет она.

Я был твердо уверен, что никакая человеческая сила не оторвет меня от нее, даже самая мысль порвать с ней качалась мне дикой. Но, оказывается, ничего нельзя предугадать: вот я уехал, и между нами все кончено. Я в Берлине. В голове у меня словно маховик работает, вертится так быстро, что даже больно, – но все же я не сошел с ума, все помню, во всем отдаю себе отчет. Мой знакомый лекарь был прав: свихнуться может только человек со слабой головой. Мне это не грозит еще и потому, что в иных случаях сойти с ума – великое счастье.

6 сентября

Все же по временам мне кажется, что мозг мой весь выкипит. То, что нормальная женщина, прожив с мужем несколько месяцев, может оказаться беременной, – явление совершенно естественное, а мне это естественное явление кажется таким чудовищным, что просто в голове не укладывается. Нельзя одновременно и понимать, что это – закон природы, и ужасаться этому, как чему-то чудовищному. Никакая голова этого не выдержит. Да что же это такое? Напрягая все свои мыслительные способности, я твержу себе, что людей сокрушает сила необычайных обстоятельств, а со мной случилось обратное: меня раздавил нормальный порядок вещей.

И чем естественнее то, что случилось, тем оно ужаснее.

Сплошные противоречия. Она не виновата – это я понимаю, ведь я не сумасшедший. Она осталась честной, но мне легче было бы простить ей какое угодно преступление. И не могу я, клянусь богом, не могу простить тебе именно потому, что я так тебя любил! Поверишь ли, нет в мире женщины, которую я презирал бы так, как презираю тебя сейчас. Ведь ты же, в сущности, делила себя между двоими: я был для платонической любви, Кромицкий – для супружеской. И мне сейчас хочется биться головой о стену, но в то же время, ей-богу, хочется смеяться...

Не знал я, что есть средство оторвать меня от тебя. Но оно нашлось – и подействовало.

8 сентября

Когда подумаю, что все кончено, порвано, ничего не осталось, что я уехал уже навсегда, – не верится. Нет у меня больше Анельки! А что же есть? Ничего.

Так для чего мне жить? Не знаю. Не для того же, чтобы узнать, кого бог пошлет Кромицкому, сына или дочь!

Я постоянно думаю: «Как это все естественно!» – и голова у меня готова треснуть.

Странная вещь: мне следовало бы быть к этому готовым, а мне ни разу ничего подобного и на ум не приходило. Это было как гром с ясного неба.

Но ведь Кромицкий из Варшавы сразу поехал в Плошов, прожил там некоторое время, потом был с Анелькой вместе в дороге, в Вене, в Гаштейне...

А я создавал для пани Кромицкой любовную атмосферу! Это щекотало ей нервы, волновало сердце – и вот... Право, эта история имеет убийственно смешные стороны.

Я непозволительно глуп. Если я мирился с совместной жизнью четы Кромицких, то должен мужественно нести и ее последствия. Но, видит бог, против этого восстает не мое сознание, а нервы. Есть люди, у которых эти две силы мирно уживаются, во мне же они грызутся, как собаки. Это тоже – настоящее бедствие.

Но почему я не предвидел ничего подобного? Мне следовало бы знать, что если возможно в жизни какое-нибудь страшное стечение обстоятельств, какой-нибудь удар, тягчайший из всех, – то он меня не минует.

Иногда я готов думать, что меня попросту преследует провидение. Ему мало того, что установленная им логика фактов мстит сама за себя, – нет, оно этим не ограничивается, оно еще специально вникает в мои поступки и карает меня за них. Но почему судьба так жестока ко мне? Мало ли людей влюбляются в чужих жен? Или они страдают меньше, чем я, потому что любят легкомысленнее, не так верно, сильно и свято? Но тогда где же справедливость?

Нет, нет! В этих вещах высшей воли, закономерности искать нечего. Все происходит случайно, как придется.

10 сентября

Не покидает меня мысль, что до сих пор причиной человеческих трагедий бывали всякие исключительные случаи и несчастья, а моя трагедия порождена естественным ходом вещей. Право, не знаю, что хуже. Мириться с этой «естественностью» положительно выше моих сил.

11 сентября

Я слышал, что человек, пораженный молнией, столбенеет и падает не сразу. Я тоже держался до сих пор силой поразившего меня удара, но думаю, что теперь свалюсь. Плохо мое дело. Как только начинает смеркаться, со мной делается что-то странное: мне душно, я задыхаюсь, у меня такое ощущение, словно воздух не хочет входить в глубь моих легких, и я дышу только частью их. Днем и ночью меня по временам охватывает какой-то смутный страх неизвестно перед чем. Мне все кажется, что впереди что-то ужасное, несравненно худшее, чем смерть.

Вчера я задал себе вопрос: что было бы, если бы я вдруг в этом незнакомом городе забыл свое имя, адрес и побрел бы в темноте куда глаза глядят, без цели, как безумный?

Это нездоровые фантазии. И, наконец, тогда с моим телом случилось бы лишь то, что

уже произошло с душой, – ведь и душа моя не ведает, где ее приют, бредет во мраке, без цели, как одержимая.

Меня страшит все – кроме смерти. Вернее, у меня странное ощущение, будто не я боюсь, а живет во мне страх, как отдельное существо, – и существо это трепещет.

Я теперь не выношу темноты. По вечерам до полного изнеможения хожу по ярко освещенным улицам. Если бы встретил кого-нибудь из знакомых, бежал бы от него на край света, но толпа вокруг мне необходима. Когда улицы пустеют, мне становится жутко. Я всегда с ужасом жду ночи. А ночи так невыносимо долги!

Почти всегда у меня металлический вкус во рту. Впервые я ощутил это в Варшаве, когда, проводив Клару и вернувшись с вокзала, застал у себя Кромницкого. Во второй раз – сейчас, в Вене, когда пани Целина сообщила мне «великую новость».

Что это был за день! После вторичного визита врача я пришел узнать о здоровье Анельки. Я был далек от того, чтобы подозревать истину. Не понял ничего даже тогда, когда пани Целина сказала:

– Доктор уверяет, что все это – чисто нервное и почти не связано с ее положением.

Видя, что я все еще ни о чем не догадываюсь, она продолжала уже в замешательстве:

– Да, должна тебе сказать – у нас великая новость...

И сообщила мне эту «великую новость». Услышав ее, я почувствовал во рту вкус цинка и у меня словно похолодел мозг – совсем как тогда, когда я неожиданно увидел Кромницкого.

Я вернулся к себе в гостиницу. Ясно помню, что, несмотря на терзавшие меня чувства, мне хотелось смеяться: так вот оно, идеальное существо, женщина, которой даже платоническая любовь казалась чем-то недозволенным и которая вместо «любовь» говорила «дружба»!

Да, меня разбирал смех – и хотелось биться головой о стену.

Но я сохранял какую-то механическую способность мыслить. Сознывая, что все кончено раз навсегда и мне надо уехать, нельзя здесь оставаться, я, как автомат, делал приготовления к отъезду.

Я до такой степени сохранил присутствие духа, что даже не забыл соблюсти все приличия. К чему? Не знаю. То были, вероятно, какие-то механические рефлексы мозга, привыкшего в течение месяцев и лет таить правду и подменять ее видимостью для сохранения приличий. Я сказал пани Целине, что был у врача, что он нашел у меня болезнь сердца и велел, не теряя ни минуты, ехать в Берлин. И она поверила.

Но Анелька – нет. Я видел ее глаза, расширенные от страха, видел их взгляд, выражение опозоренной мученицы, и во мне боролись два человека. Один говорил: чем она виновата? Другому хотелось плюнуть ей в лицо.

Ах, зачем я так полюбил эту женщину!

12 сентября

Скоро две недели как я уехал из Вены. Они, наверное, уже вернулись в Плошов. Сегодня я написал тете, потому что боялся, как бы она, беспокоясь за меня, не вздумала сюда приехать. Иногда мне странно, что есть на свете человек, которому я по-настоящему дорог.

13 сентября

Есть люди, которые соблазняют чужих жен, обманывают их, а потом, растоптав их любовь, бросают их и спокойно уходят. Я ничего подобного не сделал; если бы Анелька отдалась мне, я бы каждую пылинку с ее дороги сдувал, лежал бы у ее ног и никакими человеческими силами нельзя было бы оторвать меня от нее. Значит, есть любовь более преступная, чем моя, а между тем на меня обрушилось такое бремя страданий, что я невольно принимаю его за страшную кару и, измеряя тяжестью этой кары свою вину, не могу отделаться от ощущения, что любовь моя была страшным преступлением.

Это ощущение – что-то вроде инстинктивной тревоги, от которой не избавляет никакой скептицизм.

А ведь самые строгие моралисты не могут не согласиться, что гораздо большее преступление – увлечь женщину, не любя ее, делать хладнокровно, с расчетом то, что я делал из потребности сердца. Неужели за любовь сильную, всепоглощающую ответственность тяжелее, чем за чувства мелкие и ничтожные?

Нет, этого не может быть! Любовь моя прежде всего – страшное несчастье.

Человек без предрассудков может все же себе представить, что он чувствовал бы в том или другом случае, если бы был суеверен. Так же точно скептик может вообразить, как он молился бы, если бы был верующим. Я не только это ясно чувствую, но душа моя скорбит так, что я почти искренне обращаюсь к господу богу с молитвой: «Если я и виновен, то ведь я искупил свою вину такими мучениями, что было бы не удивительно, если бы ты смиловался надо мной».

Однако не представляю себе, в чем могло бы проявиться такое милосердие. Нет, на это нечего надеяться.

14 сентября

Они уже, должно быть, в Плошове. Думаю об Анельке еще часто. Ведь порвать с прошлым может только тот, у кого есть что-то впереди, а у меня – ничего, ровно ничего. Был бы я верующим, пошел бы в монахи. Был бы атеистом, решительно отвергающим существование бога, – может, уверовал бы в него. Но та часть души, которой верует человек, во мне высохла, как пересыхает иногда река. Знаю одно: религия не может дать мне утешения в горе.

Когда Анелька вышла за Кромицкого, я думал, что между нами все кончено. Но тогда я ошибался. Только теперь я глубоко уверен, что это конец, ибо нас разлучили не добровольное решение и не мой отъезд, а нечто вне нас, не зависящая от нас сила вещей.

И вот – пути наши окончательно разошлись, их ничто скрестить не может, даже наша добрая воля. На пути Анельки будут страдания, но будут и новые чувства, новый мир, новая жизнь, а у меня впереди – безнадежно пусто. И она, конечно, понимает это так же хорошо, как и я.

А интересно, говорит ли она себе когда-нибудь: «Я погубила человека. Быть может, это не моя вина, но я его погубила»?

Но если и говорит, что мне в том? И все-таки хотелось бы, чтобы она меня хотя бы жалела.

Что ж, может, она и будет меня жалеть – до тех пор, пока не появится на свет ее ребенок. А после этого все ее чувства устремятся по другому руслу, и я перестану для нее существовать. Это тоже – сила вещей, закон природы. Превосходный закон!

16 сентября

Сегодня мне бросилась в глаза афиша с напечатанным огромными буквами именем Клары Хильст. А я и забыл, что еще в Гаштейне получил от нее письмо, в котором она писала, что будет выступать в Берлине. Объявлено уже несколько ее концертов. Сначала я отнесся к этому безразлично, но потом в душе началась борьба противоречивых чувств, и, как всегда при этом, меня охватило нервное беспокойство. Сознание, что в этом городе есть знакомый и дружески расположенный ко мне человек, как-то ободряет меня, – но мне достаточно этого сознания, а видеть Клару не хочется. Я доказываю себе, что все-таки надо ее навестить, но эта встреча мне ничуть не улыбается. Клара из дружеской заботливости и интереса к людям стремится все о них знать. Кроме того, она склонна ко всяким романтическим предположениям и верит, что дружба залечивает все раны. А быть с нею откровенным – выше моих сил. Я часто даже думать не в состоянии о том, что произошло.

17 сентября

Зачем я встаю каждое утро? Зачем живу? На что мне знакомые, все люди вообще? Я так и не пошел к Кларе, потому что все, что она может мне сказать, мне совсем неинтересно и уже заранее нагоняет скуку. Весь мир мне глубоко безразличен, не нужен, так же как я – ему.

18 сентября

Как хорошо, что я написал тете! Если бы не написал, она бы примчалась в Берлин. Вот что она мне пишет:

«Письмо твое я получила в тот самый день, когда приехали Целина с Анелькой. Как ты сейчас чувствуешь себя, родной мой? Ты пишешь, что хорошо, но совсем ли оправился? Что сказали тебе берлинские доктора и долго ли ты там пробудешь? Телеграфируй, застаю ли я тебя еще в Берлине, тогда я выеду немедленно. Целина говорила мне, что твой внезапный отъезд сильно встревожил ее и Анельку. Если бы ты не написал, что тебе, по всей вероятности, пропишут путешествие по морю, я бы по получении твоего письма сразу же выехала в Берлин. Ведь езды туда только пятнадцать часов, а я чувствую себя прекрасно, приливы больше ни разу не повторялись. Тревожит меня твое морское путешествие. Правда, для тебя это дело привычное, но я дрожу при одной мысли о кораблях и штормах.

Целина чувствует себя хорошо, Анелька тоже не плохо. Знаю, что тебе уже известна новость. Перед отъездом из Вены они еще раз пригласили специалиста, и он сказал, что беременность Анельки вне всякого сомнения. Целина счастлива, я тоже рада. Авось это заставит Кромницкого бросить дела на краю света и поселиться на родине. Да и Анелька, разумеется, будет счастливее теперь, когда у нее есть цель в жизни. Приехала она какая-то усталая, пришибленная, – может быть, дорога ее утомила. У Снятынских ребенок был очень болен крупом, но уже поправился».

Читая письмо тетушки, я почувствовал, что мне нет места там, у них, в особенности около Анельки. Ей скоро даже вспоминать обо мне будет неприятно.

19 сентября

Не могу себе представить, что пройдет год, два, три, а я буду жить. Что я буду делать? Когда нет никакой цели, то нет и жизни. В сущности, мне нет места на земле.

20 сентября

К Кларе я не пошел, но встретил ее на Фридрихштрассе. Увидев меня, она даже побледнела от волнения и радости и с такой искренней сердечностью поздоровалась со мной, что меня это тронуло, но не могу сказать, чтобы было приятно, потому что я сознавал, что моя сердечность только внешняя и я даже не рад встрече с Кларой. А Клара, когда ее волнение улеглось, заметила перемену во мне и встревожилась. Действительно, вид у меня не блестящий, и в волосах появилась седина. Клара начала расспрашивать о здоровье, а я, при всей моей дружбе и благодарности к ней, чувствовал, что слишком частые встречи будут для меня испытанием не по силам. Чтобы их избежать, я сказал, что я болен и вынужден на днях уехать в теплые края. Она все-таки затащила меня к себе. Разговор зашел о тете, Анельке и пани Целине. Я отделялся общими фразами. А мысленно говорил себе, что Клара, пожалуй, – единственный человек, способный меня понять, но ни за что на свете я не открою ей своей тайны.

Однако человеческая доброта меня трогает. Когда добрые голубые глаза Клары всматривались в меня с нежностью и так пытливо, словно она хотела заглянуть в самую глубину моей души, ее доброта смиряла меня до такой степени, что хотелось плакать. В конце концов, несмотря на все мои усилия, Клара почувствовала, что перед нею не прежний Леон Плошовский, а совсем другой человек. Женским инстинктом она угадала, что я живу, говорю, думаю почти механически, а душа во мне уже полумертва. Поняв это, она больше ни о чем не спрашивала, не допытывалась и только стала ко мне еще нежнее.

Я видел, что она уже боится показаться навязчивой и только старается дать мне понять, что сердечностью своей она не подкупить меня хочет, а только добиться, чтобы мне было с нею хорошо.

И мне было хорошо, но все-таки я не мог побороть и чувства досады. Не в состоянии я сейчас ни на чем сосредоточиться, мой ум не способен ни к каким усилиям, даже таким небольшим, какие требуются для обычного разговора с друзьями. А кроме того, теперь, когда великая цель моей жизни исчезла, все кажется мне таким ненужным и ничтожным, что я постоянно спрашиваю себя: «К чему это? Что это мне даст?»

21 сентября

Никогда еще не переживал я такой ужасной ночи. Терзаемый беспокойством, я словно спускался по бесконечной лестнице все глубже во мрак, где творилось что-то неведомое и страшное. Наутро я решил уехать из Берлина, под здешним свинцовым небом можно задохнуться. Вернусь в Рим, в свой дом на Бабуино, и там поселюсь навсегда. Думаю, что не только с Анелей, но и со всем миром счеты у меня покончены, и мне остается спокойно прозябать в Риме, пока не придет смертный час. Хоть бы душа обрела покой! Вчерашняя встреча с Кларой показала мне, что я при всем желании не смогу уже жить с людьми и мне нечем даже заплатить им за их доброту ко мне. Я выключен из окружающей жизни, стою вне ее и, как ни страшна пустота впереди, у меня нет охоты вернуться назад.

Мысль о возвращении в Рим, в мою одинокую обитель на Бабуино, мне улыбается. Правда, улыбается слабо и невесело, но лучше это, чем что-либо другое. Оттуда я вылетел на свет божий, как птенец из гнезда, и туда придется мне теперь дотащиться на сломанных крыльях и ждать там конца.

Пишу теперь только по утрам, так как каждую ночь углубляюсь в те тайники души моей, где обитает страх. Сегодня пойду на концерт Клары, прощусь с нею и завтра уеду. По дороге остановлюсь в Вене. Может быть, зайду там к Ангели. Но я в этом не уверен. Я теперь никогда не знаю сегодня, чего захочу и что буду делать завтра.

Получил от Клары письмо, просит прийти к ней после концерта. На концерт я пойду, – там будет много здоровых людей, среди них я чувствую себя как бы под защитой, а волновать меня они не могут, так как я никого из них не знаю, они для меня – только толпа. А к Кларе не пойду. Она слишком добра. Говорят, будто люди, умирающие голодной смертью, за некоторое время перед концом уже не могут принимать пищу. Так и моя душа уже не в состоянии выносить нежности и утешений.

Нестерпимы и воспоминания. Быть может, это и пустяк, но теперь я понял, почему мне так тяжело было с Klarой. Дело тут не только в моем нервном состоянии: она душится теми же духами, какие я привез Анельке из Вены в Гаштейн. А я и раньше примечал, что ничто так живо не напоминает о женщине, как запах ее любимых духов.

22 сентября

Я болен не на шутку. Простудился вчера вечером, возвращаясь домой, так как в концертном зале было ужасно жарко, а я, чтобы освежиться, вышел на улицу, не надев пальто, и пришел в отель продрогший до костей. Каждый вздох причиняет мне такую боль, как если бы легкие, расширяясь, натыкались под лопатками на острые булавки. Мне то жарко, то знобит, и мучает неутолимая жажда. По временам я так слабею, что не мог бы сойти с лестницы. Об отъезде не может быть и речи, – без посторонней помощи мне даже не войти в вагон. Вот пишу сейчас и слышу свое дыхание, оно гораздо чаще и шумнее, чем обычно. Я уверен, что, если бы нервы мои были в порядке, вчерашний холод не принес бы мне вреда, я не простудился бы. Но в нынешнем моем состоянии организм утратил способность сопротивления. У меня, несомненно, воспаление легких.

Но буду держаться на ногах, пока смогу. Утром, как только я почувствовал, что болен, я поспешил написать тете, что я совершенно здоров и на днях отсюда уезжаю. А через несколько дней, если только буду в сознании и достанет сил, опять напишу ей то же самое. Я просил, чтобы все письма и телеграммы, которые придут в Плошов на мое имя, она переслала банкиру Б. в Берлин. Надо, чтобы в Плошове никто не узнал о моей болезни. Как хорошо, что я еще вчера простился с Klarой!

23 сентября

Мне хуже, но я еще на ногах. У меня жар, и по временам в мозгу встают какие-то горячечные видения. В особенности когда закрываю глаза, почти стирается граница между действительностью и бредом. Все-таки большую часть дня я был в памяти, но боюсь, что горячка меня одолеет и я потеряю сознание.

Я все думаю: вот я, человек, которому судьба дала больше, чем другим, который мог бы создать себе домашний очаг, семью, окружить себя любящими людьми, сию

теперь одинокий, больной в чужом городе и некому мне стакан воды подать. А ведь Анелька могла быть со мной. Не могу больше писать...

14 октября

Берусь за перо после трехнедельного перерыва. Клары больше нет со мной. Убедившись, что за здоровье мое уже нечего опасаться, она уехала в Ганновер, но через десять дней вернется. Она ухаживала за мной все время болезни, приглашала врачей, и, если бы не ее заботы, я бы, наверное, не выжил. На третий или на четвертый день моей болезни она пришла ко мне. Я был в сознании, но так болен, что к ее появлению отнесся совершенно безразлично – как будто она пришла не ко мне или в ее приходе не было ничего необычного. Она привела доктора, и я почему-то обратил внимание только на его густые и очень белокурые курчавые волосы. Я был в каком-то странном состоянии. Осмотрев меня, врач стал задавать разные вопросы, сперва по-немецки, потом по-французски, но я, отлично понимая эти вопросы, не отвечал на них ни слова, – не мог заставить себя говорить, как будто воля моя так же ослабела, как тело.

В тот день мне ставили банки, потом я, измученный, лежал спокойно, ничего не чувствуя. По временам думал, что, наверное, умру, но это меня не трогало, так же как не трогало все, что происходило вокруг. Быть может, во время тяжелой болезни, если даже человек в памяти, он не способен отличать важное от неважного, и внимание его почему-то привлекают разные мелочи. Меня в тот день, кроме шевелюры доктора, занимало главным образом щелканье верхней и нижней задвижек у двери в соседний номер, куда перебралась Клара. Помню, я глаз не спускал с этой двери, как будто ожидал, что, когда она откроется, произойдет что-то очень для меня интересное.

Скоро пришел фельдшер, который должен был за мной ухаживать под надзором Клары. Он заговорил со мной, но Клара приказала ему молчать...

Бросаю писать – меня это еще очень утомляет.

16 октября

Болезнь ослабила нервное напряжение, в котором я жил. Меня уже не томит прежнее беспокойство, и только хочется, чтобы Клара вернулась поскорее. Я не тоскую по ней, это только эгоизм больного, который понимает, что ничто не заменит ему ее нежной заботливости. Я знаю, что Клара больше не будет жить здесь в отеле, рядом со мной, но все равно – ее присутствие меня поддержало бы. Слабость и беспомощность заставляют меня тянуться к моей покровительнице, как ребенок тянется к матери. Я убежден, что никакая другая женщина не сделала бы для меня того, что Клара, ни одна не пожертвовала бы приличиями, чтобы спасти человека. Думаю об этом с горечью, и в мыслях у меня одно имя... Но эти мысли лучше гнать от себя, нет сил с ними справиться... Клара спала, не раздеваясь, на диване в соседней комнате. Дверь она оставляла открытой, и стоило мне шевельнуться, как она оказывалась у моей постели. По ночам, открывая глаза, я видел, как она сидит, склонившись надо мной, растрепанная, утомленная, моргая красными от бессонницы веками. Она сама давала мне лекарства, сама приподнимала меня, поправляла подушки. Когда я, приходя в себя, пытался ее благодарить, она прикладывала палец к губам, напоминая этим, что доктор запретил мне разговаривать. Не знаю уж, сколько ночей она не спала. Она была так переутомлена, что днем, сидя в кресле у моей кровати, иногда засыпала, не докончив фразы. Проснется, улыбнется мне – и опять дремлет. По ночам она, чтобы не заснуть, иногда долго ходила у себя в комнате из угла в угол, но так бесшумно, что я и не знал бы этого, если бы в открытую дверь не видел, как ее

тень мелькает на стене. Раз, когда она сидела подле меня, я, не зная, как выразить свою благодарность, поднес к губам ее руку, а она стремительно нагнулась и поцеловала мою, раньше чем я успел ее отдернуть. Признаюсь, я не всегда помнил, чем я ей обязан. Большого всякая мелочь раздражает – и меня раздражал высокий рост Клары. Я даже вроде как досадовал на нее за то, что она не такая, как Анелька. Объяснялось это, вероятно, тем, что я давно уже привык ценить только красоту и изящество такого типа, как у Анельки. Иногда я, с тайным раздражением глядя на Клару, ловил себя на престранной мысли, что красота Клары – не дар природы или расы, а счастливая случайность. Впрочем, не раз красивые женские лица производили на меня именно такое впечатление. В красоте есть оттенки, которые улавливаются только очень утонченными и впечатлительными нервами.

Однако бывали минуты, – особенно по ночам, – когда, всматриваясь в похудевшее, истомленное бессонницей лицо Клары, я воображал, что вижу т у... Это чудилось мне чаще всего тогда, когда Клара сидела поодаль от меня, в темноте. Иллюзию поддерживали лихорадка и больной мозг, для которого ничего невозможного нет. И по временам я по-настоящему бредил и – черт бы меня побрал! – звал Клару именем той, говорил с нею, как с той. Помню это смутно, как сквозь сон.

17 октября

Банкир Б. переслал мне несколько писем тети. Она спрашивает, как я живу, какие у меня планы. Сообщает даже про обмолот, но о тех, кто живет с нею в Плошове, – ни слова. Не знаю даже, живы они или нет. Что за нелепая, несносная манера писать письма! Очень меня интересует обмолот и все плошовское хозяйство! Я ответил ей сразу же и в письме не сумел скрыть своего недовольства.

18 октября

Сегодня мне переслали телеграмму Кромицкого, адресованную им в Варшаву. Тетушка, вместо того чтобы телеграфировать ее содержание, просто вложила ее в конверт и послала по почте. Кромицкий умоляет послать ему еще двадцать пять тысяч рублей, так как от этого зависит его участь и участь тех денег, что я дал ему раньше. Я прочел – и только плечами пожал. Какое мне теперь дело до Кромицкого, что мне эти деньги – пусть пропадают! Если бы Кромицкий знал, что меня побудило в свое время дать ему эти деньги, он бы ничего больше у меня не просил. Пусть же перенесет свои потери так же стойко, как я переносу свою. И, наконец, его ждет «великая новость», пусть утешится ею. Радуйтесь же, сколько хотите, рожайте детей, сколько вздумается, но требовать от меня, чтобы я заботился об их судьбе, – это уж слишком.

Если бы она по крайней мере не пожертвовала мною с таким беспощадным эгоизмом ради так называемых нравственных правил... Но довольно об этом, у меня мозг в голове переворачивается. Пусть мне дадут хотя бы спокойно болеть...

20 октября

Нет, нашли-таки меня и здесь! Опять я два дня не знаю покоя, опять сжимаю руками голову, потому что череп у меня готов треснуть и внутри него как будто бешено вращается маховое колесо. Опять неотвязные думы о Плошове, о ней – и о пустоте, которая меня ждет впереди. Какой это ужас, когда внезапно лишаешься того единственного, чем жил! Не знаю, может быть, разум у меня ослабел от болезни, – но я просто не понимаю многого, что творится у меня в душе. Вот, например, мне кажется, что в ней ревность пережила любовь.

И ревность эта – двойная, она распространяется не только на факты, но и на

чувства: душа у меня разрывается при мысли, что ребенок, который должен появиться на свет, завладеет сердцем Анельки, а главное (это для меня всего ужаснее) сблизит ее с Кромицким.

Я теперь не желал бы обладать этой женщиной, если бы она и была свободна, но не могу вынести мысли, что она будет любить мужа. Я бы отдал весь остаток жизни за то, чтобы она никого больше никогда не любила и ее никто не любил. Только при таком условии я еще мог бы существовать.

21 октября

Если не спасет меня то, что я задумал, то я опять чем-нибудь захвораю или сойду с ума. Вот подвожу итоги. Что мне еще осталось в жизни? Ничего. Что меня ждет? Ничего. А если так, то почему бы мне не подарить себя кому-то, кого этот дар может осчастливить? Моя жизнь, душа, способности, весь я в собственных глазах не стою теперь ломаного гроша. Вдобавок я не люблю Клару. Но если она любит меня, если в жизни со мной видит высшее счастье, было бы жестоко отказать ей в том, чем я сам так мало дорожу. Я только сочту своим долгом объяснить ей, что я собой представляю, чтобы она знала, что берет. Если это ее не испугает, – что ж, тем хуже для нее. Это уж ее дело.

Меня такое решение прельщает только тем, что оно еще углубит пропасть между мной и Анелей. Я докажу ей, что если она рыла эту пропасть со своей стороны, то и я сумею сделать то же самое со своей. Тогда уже со всем этим будет покончено навсегда. А пока я еще о ней думаю и с яростью сознаюсь себе в этом.

Быть может, это уже не любовь, а ненависть, но, во всяком случае, еще не равнодушие.

Пани Кромицкая, вероятно, воображает, что я ушел от нее, потому что должен был уйти, а я ей докажу, что хочу этого. Чем плотнее будет стена, которую я воздвигну между нами, тем надежнее она скроет от меня эту женщину и тем скорее и основательнее я ее забуду.

А Клара... Повторяю: я не люблю ее, но знаю, что она любит меня. Кроме того, я ей многим обязан. Во время моей болезни бывали минуты, когда ее самоотверженные заботы обо мне я в душе называл «немецкой сентиментальностью», но надо же признать, что та не решилась бы проявить такую «сентиментальность». Она скорее дала бы человеку умереть без помощи, чем согласилась бы увидеть его без галстука. При ее высокой добродетели она такую привилегию предоставляет только законному супругу. Клара ни на что не посмотрела: ради меня бросила музыку, не побоялась тяжелого труда и бессонных ночей, да и неизбежных сплетен, – все вынесла, чтобы поставить меня на ноги. Я у нее в долгу – и уплачу этот долг. Плата, правда, ничтожная и притом фальшивой монетой. Я ей отдаю себя потому, что ничуть собой не дорожу, мне теперь все безразлично, и я уже не человек, а обломок человека. Но если Кларе этот обломок дороже жизни, пусть берет его.

Только тетю этот брак огорчит, заденет ее патриотизм и фамильную гордость. Но если бы она могла прочесть в моем сердце то, что творилось в нем последнее время, она наверняка решила бы, что лучше брак с Кларой, чем грешная любовь к жене Кромицкого. В этом я ничуть не сомневаюсь.

Эка важность, что предки Клары были, вероятно, ткачами! Я не раб принципов, слушаюсь только своих нервов, а случайно создавшиеся у меня убеждения преимущественно либеральны. Я давно пришел к выводу, что либералы часто бывают

людьми с более ограниченным кругозором, чем консерваторы, но либеральные воззрения сами по себе шире консервативных и более согласны с учением Христа.

Впрочем, мне все равно. Об этих убеждениях даже говорить не стоит. Только в несчастье постигаешь все их бессилие.

Помимо воли думаю все время о том, как примет Анелька весть о моем браке. Я до такой степени привык во всем «примеряться» к ней, что не могу до сих пор отделаться от этой мучительной привычки.

22 октября

Сегодня утром отправил письмо Кларе. Ответа жду завтра, – а может быть, Клара сама приедет еще сегодня вечером.

После полудня получил пересланную мне тетей вторую телеграмму Кромицкого. В ней столько отчаяния, сколько можно вместить в несколько фраз. Видно, дела его приняли очень скверный оборот. Я не ожидал, что крах наступит так скоро. Должно быть, произошло какое-то неожиданное стечение обстоятельств, которого Кромицкий не предвидел.

Я-то не очень пострадаю от потери одолженных ему денег и останусь более чем состоятельным человеком, – но Кромицкий!..

К чему себя обманывать? Где-то в тайниках души я рад его разорению. Подумать только, что эти люди в будущем смогут существовать только на средства моей тетушки, которая сама себя называет «хранительницей наследия Плошовских».

Пока я отвечать Кромицкому не собираюсь. А если бы и вздумал написать, то вместо ответа только поздравил бы его с рождением наследника. Позднее – дело другое, позднее я дам им обоим хлеб насущный и даже многое к этому хлебу.

23 октября

Клара вчера не приехала, и сегодня я до сих пор (а уже вечер) напрасно ждал ее ответа. Это тем удивительнее, что она со времени отъезда писала мне ежедневно, справляясь о моем здоровье. Ее молчание кажется странным, потому что я не сомневался, что ей не потребуется и десяти минут на размышление.

Буду терпеливо ждать, – но лучше бы она не медлила с ответом. Знаю: если бы мое письмо к ней не было отослано, я, быть может, написал бы ей второе такого же содержания. Но если бы я сейчас мог то письмо вернуть обратно, я бы, вероятно, это сделал.

24 октября

Вот что пишет мне Клара:

«Дорогой мой мсье Леон! Прочитав ваше письмо, я потеряла голову от счастья и хотела сразу ехать в Берлин. Но именно потому, что я вас горячо люблю, я послушалась внутреннего голоса, который говорит мне, что настоящая любовь не должна быть эгоистичной. И я не могу допустить, чтобы вы пожертвовали собой ради меня.

Вы не любите меня. Я отдала бы жизнь за то, чтобы было иначе, но знаю: вы меня не любите. Ваше письмо написано в порыве благодарности и какого-то отчаяния. С первой минуты нашей встречи в Берлине я заметила, что вы больны и несчастливы, и

тревога за вас была так сильна, что, хотя вы собирались уезжать и попрощались со мной, я все-таки послала в отель узнать, действительно ли вы уехали, и справлялась о вас потом каждый день, пока мне не ответили, что вы больны. Ухаживая за вами во время болезни, я убедилась, что и второе мое опасение верно – у вас какое-то большое тайное горе или вы пережили одно из тех мучительных разочарований, после которых трудно бывает мириться с жизнью.

Теперь я поняла – и один бог знает, как мне это тяжело, – что связать свою судьбу с моей вы хотите для того, чтобы заглушить свою боль, забыть прошлое и отрезать себе путь к чему-то. Угадав это, как я могу принять ваше предложение? Отказавшись стать вашей женой, я, может быть, буду всю жизнь несчастна, но зато никогда не придется мне сказать себе: «Я ему в тягость, я – кандалы на его ногах». Я полюбила вас с первой встречи, люблю давно и больше всего на свете – и уже свыклась за это время с болью разлуки, с горьким сознанием, что вы меня не любите, с жизнью без надежд. Печальна такая жизнь, но это горе я еще могу изливать в слезах, как всякая женщина, или в музыке, как артистка. И у меня остается утешение, что вы, вспоминая меня иногда, подумаете обо мне: «Добрая моя сестра». Этим я живу. А если бы я, став вашей женой, увидела, что вы сожалеете о своем порыве, что вы не только не стали счастливее, но возненавидели меня, – я бы, наверное, не пережила этого.

Притом я спрашиваю себя: что я такого сделала, чем заслужила такое безмерное счастье? Ведь о таком счастье мне даже подумать страшно. Понимаете ли вы, что можно любить всем сердцем, ничего не требуя взамен? Я знаю, что можно, – потому что вот так, смиренно, люблю вас.

Я уже и то считаю дерзостью, что все-таки не хватает у меня мужества навек отречься от всякой надежды на счастье. И вы меня за это не осуждайте: господь бог так милосерден, а человек так жаждет счастья, что нет сил раз навсегда запереть перед ним дверь. Если через полгода, или через год, или вообще когда-нибудь в жизни вы мне повторите, что все еще хотите, чтобы я стала вашей женой, – тогда я буду вознаграждена за все, что я уже выстрадала, и за те слезы, которых не могу удержать сейчас.

К л а р а».

Во мне еще жив человек, способный прочувствовать и оценить каждое слово этого письма. Ничто в нем не пропало для меня даром, и я твержу себе: у нее еще более благородное, честное и любящее сердце, чем я думал, и тем более стоит повторить свое предложение.

Но я – человек измученный, у меня больше нет сил жить, и мое сочувствие Кларе не любовь, ибо я всего себя вложил в любовь к той, другой. И я ясно чувствую, что если теперь уйду от Клары, то уже вряд ли вернусь к ней когда-нибудь.

28 октября

Я глубоко уверен, что Клара в Берлин не вернется, более того – что она, уезжая в Ганновер, твердо решила не возвращаться сюда. Она хотела избежать моих выражений благодарности. Я думаю о ней с сожалением и признательностью. Как жаль, что она полюбила меня, а не человека совсем иного склада. Во всем этом есть какая-то ирония судьбы: если бы я чувствовал к Кларе хоть сотую долю того, что чувствовал к Анельке, эта любовь могла бы дать нам счастье на всю жизнь. Но что толку себя обманывать? Я все еще во власти воспоминаний. Вспоминается Анелька такой, какой была она в Плошове, в Варшаве, в Гаштейне, – и мысли не хотят отрываться от

этого прошлого. Да и не удивительно – ведь столько вложено в него сил и жизни. Труднее всего забыть.

Я каждую минуту ловлю себя на мыслях об Анельке и, пытаюсь от них отделаться, напоминаю себе, что она уже не та, что чувства ее направлены теперь, вероятно, на другое и я для нее больше не существую.

Прежде я старался об этом не думать, потому что у меня голова шла кругом. Теперь я порой нарочно думаю об этом, чтобы заглушить голос, который все чаще звучит во мне и спрашивает: «Разве она виновата, что ей навязали этого ребенка? Откуда ты знаешь, что творится в ее душе? Конечно, она женщина и не может не любить ребенка, когда он рождается, но кто тебе сказал, что она сейчас не чувствует себя такой же несчастной, как ты?»

Тогда я начинаю думать, что она, быть может, еще несчастнее меня, и в такие минуты мне хочется опять заболеть воспалением легких. Жить с этим хаосом в душе невозможно.

30 октября

Выздоровливая, я все чаще возвращаюсь в тот же прежний заколдованный круг. Доктор уверяет, что через несколько дней мне уже можно будет ехать. Что ж, и поеду. Здесь слишком близко к Варшаве и Плошову. Быть может, это просто фантазия, но мне кажется, что в Риме, на Бабуино, я обрету душевный покой. Не ручаюсь, что и там не буду думать о прошлом, – вернее всего, буду думать о нем с утра до вечера, но так, как думает о нем монах за монастырской решеткой. Впрочем, не стоит гадать, что будет, – знаю только, что здесь мне не усидеть. По дороге заеду к Ангели: непременно хочу, чтобы в Риме у меня был ее портрет.

2 ноября

Покидаю Берлин. Я раздумал ехать в Рим и возвращаюсь в Плошов. Как-то я писал в своем дневнике: «Она для меня – не только страстно любимая женщина, но и самое дорогое на свете». Так оно и есть! Как бы это ни называлось – невроз или старческое безумие, – мне все равно. Это чувство вошло мне в кровь и в душу. Поеду в Плошов, буду ей служить, заботиться о ней, и в награду хочу только одного – видеть ее каждый день. Не понимаю, как я мог воображать, что буду в состоянии жить, не видя ее. Письмо тети словно осветило мне то, что я таил от самого себя. Вот что пишет она мне в этом письме:

«Я не писала тебе подробно о нас, потому что не могла сообщить ничего радостного, а врать не умею, так что лучше было молчать, чем тревожить тебя, когда ты нездоров. Меня сильно расстраивают дела Кромицкого, и я хочу с тобой посоветоваться. Старый Хвастовский показал мне письмо от сына, тот пишет, что дела Кромицкого в ужасном состоянии и ему грозит судебный процесс. Все его там обманули. Потребовали от него срочной поставки огромной партии товара, и так как времени на это дали очень мало, он не успел проверить качество материала. А материал весь оказался очень плохого качества и забракован, – теперь Кромицкого еще вдобавок обвиняют в мошенничестве и хотят отдать под суд. Дай-то бог, чтобы хоть этого не случилось, тем более что он тут ни в чем не виноват. Разорение все-таки не так страшно, как позор. Я совсем потеряла голову: не знаю, что делать, как его спасти? Боюсь рисковать теми деньгами, которые предназначала для Анельки, а между тем необходимо хотя бы избавить его от суда. Жду твоего совета, Леон, при твоем уме ты сможешь что-нибудь придумать. Ни Целине, ни Анельке я не сказала ни слова, ведь обе они нездоровы. Особенно Анелька меня ужасно тревожит. Ты представить себе не можешь, что с ней делается. Целина – хорошая женщина, но

она всегда была чересчур prude[52] и в этом же духе воспитала дочь. Не сомневаюсь, что Анелька будет отличной матерью, но сейчас меня иной раз даже зло берет, как на нее погляжу. Когда выходишь замуж, надо быть готовой к последствиям, Анелька же в таком отчаянии, как будто беременность – это позор. Каждый день замечаю на ее лице следы слез. Жалко смотреть на ее похudevшее лицо, синие круги под глазами. А в глазах у нее – какая-то боль и стыд, и всегда кажется, что она сейчас расплачется. В жизни своей не видела, чтобы женщина так тяжело переживала свое положение. Пробовала ее уговаривать, бранить – ничего не помогает. То ли я ее слишком люблю, то ли под старость уже не хватает у меня энергии. Притом это такая добрая девочка! Если бы ты знал, как она каждый день спрашивает о тебе: не было ли письма, здоров ли, куда думаешь ехать, долго ли еще пробудешь в Берлине? Она знает, что я люблю поговорить о тебе, и целыми часами готова вести со мной такие разговоры. Молю бога, чтобы он сжалился над ней и дал ей силы перенести ту беду, которая ее ожидает. Я так боюсь за ее здоровье, что не решаюсь ни единым словом намекнуть на неудачи ее мужа. Но ведь рано или поздно она все узнает. Целине я тоже ничего не говорю, ее и без того убивает состояние Анельки, и она не может понять, почему Анелька так трагически относится к своей беременности».

Почему? Один я это понимаю, я один мог бы ответить на этот вопрос. И потому я возвращаюсь в Плошов.

Нет, не беременность свою она переживает трагически, а мое бегство, мое отчаяние, о котором догадывается, разрыв наших отношений, которые стали ей дороги с тех пор, как после стольких усилий и страданий она наконец сумела их сделать чистыми. Я сейчас как бы вхожу в ее сердце и думаю за нее. Ее трагедия стоит моей. Со времени моего возвращения на родину любовь в этой необычайно честной душе боролась с чувством долга. Она хотела остаться чистой и верной тому, кому дала клятву верности, так как ей противны ложь и грязь. Но вместе с тем она не могла противиться своему чувству к человеку, которого полюбила первой любовью, который к тому же был подле нее, любил ее и был несчастлив.

Месяцы проходили в страшном внутреннем разладе. Когда же, наконец, настало успокоение и ей уже казалось, что любовь преобразилась в мистический союз душ, не нарушающий ни чистоты мыслей, ни ее верности мужу, все вдруг рухнуло и она осталась одна, с такой же пустотой впереди, как и у меня. Вот она, причина ее отчаяния!

Я теперь читаю в ее душе, как в открытой книге, – и потому еду в Плошов.

Понимаю я теперь и то, что, вероятно, не покинул бы ее, если бы был твердо уверен, что ее любовь ко мне выдержит всякие испытания. Даже животная ревность, наполняющая сердце яростью, а воображение – отвратительными картинами близости любимой с другим, не смогли бы оторвать меня от этой женщины, в которой заключается для меня весь мир. Но я думал, что этот ребенок еще до того, как появится на свет, завладеет ею целиком, сблизит ее с мужем, а меня навсегда вычеркнет даже из ее памяти.

Я не обманываюсь: знаю, что не буду больше для нее тем, чем был, а главное – тем, чем мог бы стать, если бы не роковое стечение обстоятельств. Я мог стать для нее единственным дорогим человеком, связывающим ее с жизнью и давшим ей счастье, а теперь этого не будет. Но пока в ней теплится хоть искра чувства ко мне, я не уйду от нее, потому что уйти нет сил, да и некуда.

Итак, я вернусь, начну раздувать эту искру и согреваться ею. Иначе я замерзну окончательно.

Перечитываю письмо тети: «Если бы ты знал, как она каждый день расспрашивает, не было ли письма от тебя, здоров ли ты, долго ли пробудешь в Берлине...» – и насытиться не могу этими словами, как умирающий с голоду, которому кто-то неожиданно принес кусок хлеба: ест, и плакать ему хочется от благодарности. Может, бог наконец сжалился надо мной?

Чувствую, что за последние дни я уже переменялся и прежний Леон замер во мне. Не буду больше восставать против ее воли, все вынесу, успокою ее, утешу и даже выручу ее мужа...

4 ноября

Я решил остаться в Берлине еще на два дня. Это – жертва, так как мне не терпится ехать в Плошов, но нужно было сперва известить письмом о своем приезде. Телеграмма могла бы напугать Анельку, и мое неожиданное появление – тоже. Я написал тете веселое письмо и в конце его послал сердечный привет Анельке, как будто между нами ничего не произошло. Я хочу дать ей понять, что примирился со своей участью и возвращаюсь к ней таким, каким был.

А тетя, наверное, втайне надеялась, что я приеду.

Варшава, 6 ноября

Я приехал сегодня утром. Предупрежденная моим письмом тетушка ожидала меня в Варшаве.

В Плошове все довольно благополучно, Анелька стала спокойнее. От Кромицкого за последнее время не было никаких вестей.

Бедная тетя, увидев меня, вскрикнула: «Боже, Леон, что с тобой случилось?» Она не знала, что я болел воспалением легких, а я от долгой болезни, видно, очень исхудал. Кроме того, волосы на висках совсем поседели, так что я даже подумываю, не подкрасить ли их. Не хочу теперь ни стареть, ни выглядеть постаревшим.

Да и тетя за последнее время сильно изменилась. Ведь не так давно мы с ней расстались, а я нашел в ней за это время большую перемену. Лицо ее утратило прежнее решительное выражение, а вместе с тем и свою подвижность. Мне сразу бросилось в глаза, что голова у нее стала немного трястись, это особенно заметно, когда она внимательно слушает. Я с беспокойством стал допытываться, здорова ли она, а она ответила со свойственной ей прямоотой:

– После Гаштейна я чувствовала себя прекрасно, но теперь все идет под гору... Чувствую, что близок мой час.

И, помолчав, прибавила:

– Все Плошовские кончают параличом, – и у меня теперь левая рука по утрам немеет... Ну, да все в божьей воле, что об этом толковать!

Больше она не хотела говорить на эту тему, и мы стали совещаться, как помочь Кромицкому. Решили не допустить, чтобы его отдали под суд, чего бы это нам ни стоило. Спасти его от банкротства мы могли бы только ценой собственного разорения, а на это пойти нельзя было, чтобы не губить Анельку. И я придумал

план избавить Кромического от суда, заставить вернуться на родину и заняться хозяйством в деревне. Я внутренне содрогался при мысли, что он теперь всегда будет жить под одной крышей с Анелькой, но, чтобы мое самоотречение было полным, решил испить и эту чашу до дна.

Тетя намерена отдать ему один из своих фольварков близ Плошова, а я дам нужный для хозяйства капитал, и все это вместе будет приданым Анельке. Но Кромический должен будет дать обещание навсегда прекратить свои коммерческие спекуляции. А пока мы пошлем к нему на выручку одного из здешних адвокатов, снабдив его средствами, нужными для прекращения судебного процесса.

Покончив с этим вопросом, я стал расспрашивать тетю об Анельке. Тетя рассказывала о ней подробно и охотно, сообщила между прочим, что она уже очень переменялась и подурнела. Это только усилило мою нежность и жалость к Анельке. Ничто теперь уже не может оттолкнуть меня от той, что мне дороже всех на свете.

Я хотел сегодня же, сразу после нашего семейного совета, ехать в Плошов, но тетя объявила, что очень устала и хочет ночевать в Варшаве. Так как я ей признался, что болел воспалением легких, то подозреваю, что она осталась здесь нарочно, чтобы я не ехал в такую погоду. Ведь сегодня с утра льет дождь.

Итак, сегодня ехать не удалось, да и завтра выберемся, вероятно, только к вечеру. Дело Кромического не терпит отлагательства. Надо завтра же переговорить с каким-нибудь адвокатом и как можно скорее отправить его на Восток.

7 ноября

Мы приехали в Плошов в семь часов вечера. Сейчас уже полночь, и все в доме спят. Слава богу, встреча не слишком взволновала Анельку. Она вышла ко мне смущенная, неуверенная, видно было, что ей неловко, и в глазах ее я прочел стыд и что-то похожее на страх. Но я заранее дал себе слово, что буду держаться так непринужденно и естественно, словно мы расстались только вчера. И благодаря моим усилиям в нашей встрече не было и тени торжественности, ничего похожего на примирение, прощение и так далее. Увидев Анельку, я быстро подошел, протянул ей руку и воскликнул почти весело:

– Здравствуй, милая, как поживаешь? Я так соскучился по вам всем, что отложил свое морское путешествие.

Анелька сразу поняла, что ради ее спокойствия я самоотверженно решил примириться со всем и вернуться к ней. На мгновение ее лицо выразило такое глубокое волнение, что я испугался: казалось, она не сможет с ним совладать. Она хотела что-то сказать – и не могла, только крепко пожала мне руку. Я думал, что она сейчас расплчется, и, чтобы дать ей успокоиться, поспешно продолжал тем же веселым тоном:

– Ну, как портрет? Ведь, когда ты уезжала, голова была уже написана, правда? Но Ангели его пришлет не скоро – он мне сам говорил, что это будет его шедевром. Он, вероятно, выставит его в Вене, в Мюнхене и в Париже. Хорошо, что я заказал второй экземпляр, иначе нам пришлось бы ждать еще с год. Ну, и, кроме того, мне тоже хочется иметь твой портрет.

Что бы ни происходило в душе Анельки, ей пришлось отвечать мне в тон, а тут еще в разговор вмешались тетя и пани Целина. Так прошли первые минуты. Все, что я говорил, имело целью замаскировать то, что оба мы переживали.

И весь вечер я не выходил из взятой на себя роли, хоть и чувствовал, что меня пот прошибает от этих усилий над собой. Я был еще очень слаб после недавней болезни, и, кроме того, так трудно было держать себя в руках! За ужином я видел, с какой тревогой и волнением Анелька поглядывает на мое бледное лицо и поседевшие виски; она, должно быть, поняла, что я пережил. Но я и о моих берлинских злоключениях рассказывал почти шутливо. При этом я старался не смотреть на ее изменившуюся фигуру, чтобы не дать ей почувствовать, что перемена эта меня поразила. К концу вечера я уже несколько раз был близок к обмороку, но превозмог себя, и Анелька могла читать в моих глазах только спокойствие, глубокую нежность и полнейшее примирение со своей участью. Она очень чутка, все понимает и угадывает, но на этот раз я превзошел себя, держался так естественно и непринужденно, чтобы она могла в конце концов поверить, что я решил примириться с неизбежным. Если даже в душе ее и оставались сомнения на этот счет, зато в одном я убедил ее окончательно: что я люблю ее, как любил, и что она всегда останется для меня прежней обожаемой Анелькой.

Я видел, что у нее потеплело на душе. И поистине мог гордиться собой, так как сразу внес луч радости в этот дом, где царил такое унылое настроение. И тетя и пани Целина это оценили. Когда я желал им доброй ночи, пани Целина сказала:

– Слава богу, что ты приехал. Теперь нам будет веселее.

Анелька же, нежно пожимая мне руку, спросила:

– Ты поживешь с нами подольше, не скоро уедешь?..

– Нет, Анелька, никуда больше не уеду, – ответил я ей. И ушел – вернее, убежал к себе наверх, чувствуя, что больше не выдержу. В этот вечер я так остро ощутил свое несчастье, что еще и сейчас меня душат слезы. Есть малые отречения, которые обходятся нам дороже самых больших.

8 ноября

Почему я так часто твержу себе, что эта женщина мне дороже всего на свете? Да потому, что действительно надо любить ее больше жизни, и не только как женщину, но и как дорогого, близкого человека, чтобы не бежать от нее при таких обстоятельствах. Я уверен, что от всякой другой меня оттолкнуло бы уже одно физическое отвращение, а вот эту я не оставил и не оставлю. И снова мне приходит на мысль, что любовь моя – своего рода болезнь, какая-то нервная аномалия, и будь я нормальным и здоровым человеком, я не мог бы любить так. Современный человек, все объясняющий неврозом и все анализирующий, лишен даже того утешения, какое может дать сознание своей верности. Ибо, когда говоришь себе: «Верность твоя и постоянство – болезнь, а не заслуга», – в душе остается только горечь. Если, осознавая такие вещи, люди все больше отравляют себе жизнь, – зачем мы так стремимся к самоанализу?

Только сегодня, при дневном свете, я разглядел, как сильно изменилось даже лицо Анельки, – и сердце у меня рвется на части. Губы у нее распухли, лоб, прежде такой безупречно красивый, утратил чистоту линий. Тетя была права – от красоты Анельки почти не осталось следа, только глаза прежние. Но мне и этого довольно. Ее изменившееся лицо только усиливает во мне нежность и жалость и словно стало мне еще милее. Хотя бы она еще в десять раз больше подурнела, я любить ее не перестану. Если это болезнь, – пусть будет так. Я не желаю от нее выздоравливать, лучше умереть от такой болезни, чем от всякой другой.

9 ноября

Придет время, беременность кончится, и красота ее вернется. Сегодня, думая об этом, я задавал себе вопрос: как же сложатся наши отношения в будущем, изменятся ли они? Я уверен, что нет. Я уже знаю, что значит жить без нее, и не сделаю ничего такого, что заставило бы ее меня оттолкнуть, – а она останется такой, как была. Теперь я уже ничуть не сомневаюсь, что я ей нужен, но никогда она даже в душе не назовет своего чувства ко мне иначе, чем большой сестринской привязанностью. Чем бы это чувство ни было в основе своей, – для нее оно будет оставаться всегда идеальной близостью душ, а значит – чем-то дозволенным, возможным и между родственниками. Если бы не это, она снова начала бы борьбу со своим чувством ко мне.

Да, на этот счет я не создаю себе никаких иллюзий. Как я уже говорил, наши отношения стали ей дороги с того времени, как они изменились и она поверила в их чистоту. Пусть же они такими и останутся, только бы она не перестала дорожить ими!

10 ноября

Как неверно мнение, будто в наше время люди стали менее чувствительны. Я вот думаю иногда как раз обратное. Ведь, когда у человека вместо двух осталось только одно легкое, он поневоле дышит им усиленно. А у нас, современных людей, отнято то, чем прежде жил человек, остались только нервы, более издерганные и впечатлительные, чем у прежних людей. Если нехватка красных шариков в крови делает и чувства наши болезненными, ненормальными, – то ведь тем трагичнее наши переживания. Трагедия наших душ страшнее потому, что прежде человек, которому не повезло в любви, мог находить утешение в религии или в сознании своего общественного долга. Нам же эти утешения уже недоступны. Прежде тормозом для бурных страстей была воля, характер. Теперь сильные характеры встречаются все реже и должны исчезнуть под влиянием разлагающего нас скептицизма. Он, как бацилла, источил человеческую душу, ослабил и уничтожил ее сопротивляемость физиологическим прихотям нервов, которые в довершение всего у нас больные. Современный человек все осознает и анализирует, но бессилён что-либо изменить.

11 ноября

От Кромицкого довольно давно нет никаких вестей, даже Анельке он не пишет. Я известил его телеграммой о выезде адвоката, затем написал письмо, но все адресовал наугад: как знать, где он сейчас находится? Конечно, и письмо и телеграмма в конце концов дойдут до него, но когда – неизвестно. Старик Хвастовский написал сыну. Может быть, он раньше нас получит ответ.

Я теперь целые часы провожу с Анелькой, – и никто нам не мешает, даже пани Целина: мы с тетей объяснили ей истинное положение вещей, и она просила меня как-нибудь подготовить Анельку к тем вестям, которые не сегодня-завтра могут прийти от Кромицкого. Я уже говорил Анельке, что затеи ее мужа могут кончиться плохо, но подчеркнул, что это только мое личное предположение. Я сказал, что, если даже Кромицкий все потеряет, не надо принимать этого близко к сердцу, что это в некотором смысле будет самый лучший исход, так как она заживет наконец без тревог. Я совершенно успокоил ее относительно моих денег, одолженных Кромицкому, заверив, что они никак пропасть не могут. А в заключение упомянул и о планах тетушки. Анелька выслушала меня довольно спокойно. Ее поддерживает главным образом сознание, что она среди людей, любящих ее, а таких людей подле нее достаточно. Никакими словами не выразить, как я теперь люблю ее, – и она это видит, читает по моему лицу. Когда мне удастся ее развеселить, вызвать у нее

улыбку, я испытываю такую радость, что сердце не вмещает ее. В моей любви к Анельке есть сейчас что-то от слепой преданности слуги к обожаемой госпоже. Я испытываю по временам непреодолимую потребность смиренно покоряться ей, чувствую, что мое место – у ее ног. Пусть она подурнеет, изменится, постареет – для меня она всегда останется прежней, от нее я все приму, на все соглашусь, и ничто не изменит моего обожания.

12 ноября

Кромицкого нет больше в живых! Катастрофа поразила нас всех как громом. Дай бог, чтобы с Анелькой, когда она узнает, не случилось чего плохого в ее положении! Сегодня пришла телеграмма, что Кромицкому, обвиненному в мошенничестве, грозила тюрьма и он покончил с собой. Чего угодно, а этого я от него не ожидал...

Итак, Кромицкий умер, Анелька свободна! Но как она перенесет это? Телеграмма получена несколько часов назад, а я все еще то и дело ее перечитываю, и мне кажется, что это сон, я не смею верить своим глазам, хотя подпись Хвостовского на телеграмме – ручательство, что все это правда. Я знал, что добром эта история не кончится, но никак не думал, что конец будет такой внезапный и трагический. Нет, ничего подобного мне и на ум не приходило, – и меня точно обухом по голове хватили. Если и сейчас у меня не помутится рассудок, значит, все могу выдержать. Совесть моя чиста – я и в первый раз помог Кромицкому и недавно послал ему на выручку адвоката. Правда, было время, когда я от всей души желал ему смерти, но, несмотря на это, я пытался спасти его – и в этом моя заслуга. И вдруг смерть унесла его не вследствие моих усилий, а вопреки им, – и Анелька свободна! Странно – я это знаю, но еще не вполне в это верю. Хожу как во сне. Кромицкий был мне чужой, и притом самой главной помехой в моей жизни. Помехи этой больше нет, так что мне бы радоваться без меры, а я не могу, не смею радоваться, – быть может, потому, что страшно боюсь за Анельку. Первой моей мыслью по прочтении телеграммы было: как Анелька перенесет эту весть, что будет с ней? Храни ее бог! Она этого человека не любила, но в ее положении потрясение может убить. Я уже подумываю о том, как бы ее увезти отсюда.

.

Какое счастье, что телеграмму мне передали у меня в комнате, а не в столовой или гостиной! Не знаю, удалось ли бы мне скрыть свое волнение. Некоторое время я не мог прийти в себя. Наконец сошел вниз, к тетушке, но и ей не сразу показал телеграмму, сказал только:

- Я получил очень дурные вести о Кромицком.
- Какие? Что случилось?
- Вы не пугайтесь, тетя...
- Он уже попал под суд? Да?..
- Нет... Хуже... Он уже перед судом, но не человеческим...

Тетя заморгала глазами.

– Что такое ты говоришь, Леон?

Тут я протянул ей телеграмму. Прочитав ее, она не сказала ни слова, отошла к

налою и, опустившись на колени, закрыв лицо руками, начала молиться. А помолвившись, встала и сказала:

– Анельке это может стоить жизни. Что нам делать?

– Надо, чтобы она ничего не узнала, пока не родит.

– Но как от нее скрыть? Об этом все будут говорить, да и в газетах... Как тут ее уберечь?

– Тетя, дорогая, я вижу только один выход. Надо вызвать врача – и пусть он предпишет Анельке уехать, сказав, что этого требует состояние ее здоровья. Тогда я увезу ее и пани Целину в Рим, – у меня там свой дом, и я сделаю так, чтобы никакие вести до нее не дошли. А здесь это будет трудно, особенно когда наши люди узнают...

– Но сможет ли она ехать в таком состоянии?

– Не знаю. Это решит доктор. Я еще сегодня его привезу.

Тетя одобрила мой план. Да ничего лучше и в самом деле нельзя было придумать. Мы решили посвятить пани Целину в тайну для того, чтобы она поддержала нас. Прислуге было строжайше приказано не передавать Анельке никаких вестей, а газеты, телеграммы и все письма относить прямо ко мне в комнату.

Тетя долго ходила как оглушенная. По ее понятиям, самоубийство – тягчайший из грехов, какие человек может совершить. Поэтому к чувству сожаления о покойнике у нее примешивается ужас и негодование. Она каждую минуту твердит: «Он не должен был так поступить, ведь знал же, что скоро станет отцом!» А я допускаю, что он так и не узнал этого. В последнее время он, вероятно, метался как в лихорадке, переезжая с места на место, как этого требовали его запутанные дела. Я не решаюсь его осуждать и, откровенно говоря, не могу отказать ему в некотором уважении. Иные люди после того, как они справедливо осуждены за всякие мошенничества или злоупотребления, распивают шампанское даже в тюрьме, ведут веселую жизнь. А Кромицкий до такого падения не дошел – он решил смертью смыть с себя незаслуженный позор. Может, он помнил, кто он. Я меньше жалел бы его, если бы он покончил с собой только из-за разорения. Но думается, что и это одно могло довести его до самоубийства. Помню, какие мысли он высказывал в Гаштейне. Если моя любовь – невроз, то уж несомненно его лихорадка наживы была тем же. И когда он потерпел поражение, потерял почву под ногами, он увидел перед собой такую же бездну и пустоту, как я, когда бежал от Анельки в Берлин. После этого что могло его остановить? Мысль об Анельке? Но он был уверен, что мы ее не оставим, и к тому же – кто знает? – быть может, чувствовал, что не очень любим ею. Как бы то ни было, а я ошибался в нем, считал его ничтожнее, чем он был в действительности. Да, не ожидал я от него такого мужества – и, признаюсь, был несправедлив к нему.

.....

Я было уже отложил перо, но снова берусь за него: все равно, о сне нечего и мечтать, а когда пишешь, немного успокаиваешься, так авось уляжется бешеный вихрь мыслей в моей голове. Анелька свободна, свободна! Я повторяю эти слова без конца, но еще не постиг всего их значения. Мне кажется, что я с ума сойду от радости, – но тут же меня охватывает какой-то непонятный страх. Неужели и

вправду начинается для меня новая жизнь? Что это – ловушка, расставленная мне судьбой, или бог смиловался надо мной за то, что я так тяжело страдал и так любил? Или, может, есть такой закон бытия, мистическая сила, отдающая Женщину тому мужчине, кто сильнее всех ее любит, чтобы исполнился извечный закон создания жизни? Не знаю. Я только испытываю такое ощущение, словно меня и всех вокруг несет мощная волна, в которой тонет всякая человеческая воля и все человеческие усилия...

Меня оторвали от дневника – вернулся экипаж, посланный за доктором. Доктор не приехал: у него сегодня операционный день. Обещал приехать завтра утром. Я добьюсь, чтобы он оставался в Плошове до нашего отъезда и сопровождал нас в Рим. А в Риме найдутся другие.

Поздняя ночь. Анелька спит, не подозревая, что над ней нависло, какая огромная перемена произошла в ее судьбе. Хоть бы эта перемена принесла ей счастье и покой! Она заслужила их. Может, это над ней, а не надо мной сжалился господь?

Нервы мои так напряжены, что пугает каждый звук, – как услышу собачий лай из деревни или трещотку ночного сторожа, мне уже кажется, что это пришла какая-то новая весть и может дойти до Анельки.

Пытаюсь успокоиться, я эту странную тревогу, которая меня одолела, объясняю страхом за Анельку. Твержу себе, что, если бы не ее беременность, мне нечего было бы бояться, что страхи мои пройдут, как проходит все, и начнется новая жизнь.

Мне еще нужно привыкнуть к мысли, что Кромицкий умер. Эта катастрофа принесет мне счастье, о котором я и мечтать не смел. Но есть в нас какое-то нравственное чувство, запрещающее радоваться смерти ближнего, даже смерти врага. Притом самый факт смерти внушает ужас. У гроба люди всегда говорят шепотом. Вот почему я не смею радоваться.

13 ноября

Все мои планы рушатся. Утром приехал врач и, осмотрев Анельку, сказал нам, что о путешествии не может быть и речи, это было бы опасно для ее жизни. Он нашел у нее какие-то осложнения. Что за мученье слушать эти медицинские термины, каждый из них словно грозит смертью моей любимой. Я рассказал доктору, в каком мы положении. На это он ответил, что из двух зол выбирают меньшее.

Больше всего меня возмутил и ужаснул его совет подготовить Анельку и сообщить ей о смерти мужа. К сожалению, должен признать, что рассуждает он довольно разумно. Вот что он нам сказал: «Если вы совершенно уверены, что сумеете устроить так, чтобы эта весть не дошла до пани Кромицкой в течение нескольких месяцев, тогда, конечно, лучше ей ничего не говорить. Но если не уверены, – лучше будет осторожно подготовить ее и затем сообщить, потому что внезапное потрясение может вызвать вторую катастрофу».

Как быть? Допустим, что я устрою вокруг Плошова настоящий кордон, не буду подпускать близко ни человека, ни письма, ни газет, объясню всей прислуге, что говорить, даже как смотреть... Какое впечатление производят такого рода вести даже на человека, к ним подготовленного, я сегодня имел случай убедиться, когда нам пришлось наконец сказать правду пани Целине. Она дважды падала в обморок, и у нее начались спазмы. Я чуть с ума не сошел от страха, что весь дом услышит ее стоны. А ведь она не так уж любила зятя. Ее тоже больше всего ужасает мысль, что

будет с Анелькой.

Я всячески противлюсь предложению врача и, думается, никогда на него не соглашусь. Я не могу им сказать того, что знаю я один: Анелька не любила мужа, и тем сильнее потрясет ее известие о его смерти. Скорбь об умершем дорогом человеке не так тяжела, как угрызения совести. Анельку же будет мучить мысль, что если бы она любила мужа, то он больше дорожил бы жизнью. Несправедливые, напрасные, неосновательные упреки! Ведь то, что зависело от ее воли, она заставила себя сделать – отвергла мою любовь и осталась чиста и верна мужу. Но, зная эту душу, столь требовательную к себе, я понимаю, как она будет терзаться и тотчас станет спрашивать себя, нет ли какой-то связи между скрытой в ее душе жаждой свободы и смертью ее мужа, не соответствует ли эта смерть ее тайным желаниям, в которых она не смела себе признаться. У меня волосы встают дыбом, когда я об этом думаю. Ведь смерть Кромицкого действительно открывает перед Анелькой новую жизнь, – так что ее ждет двойное потрясение, два удара грома разразятся над бедной дорогой головкой... И этого не знают ни доктор, ни тетя, ни пани Целина.

Нет, Анелька не должна ничего узнать до самого конца. Какое несчастье, что ей нельзя никуда уехать! Здесь будет трудно, вряд ли даже возможно уберечь ее: она по лицам окружающих угадает, что случилось. Любое слово или взгляд могут привлечь ее внимание и вызвать подозрения. Вот, например, сегодня ее удивил неожиданный приезд доктора, и (как сказала мне ее мать) она стала допытываться, зачем его пригласили и не грозит ли ей какая-нибудь опасность. К счастью, тетя нашлась и ответила, что женщине в таком положении всегда нужно время от времени советоваться с врачами. Анелька так неопытна, что сразу ей поверила.

Но как, например, воздействовать на наших людей, чтобы они не делали таинственных мин? А они уже и сейчас догадываются кое о чем именно из-за моих наказов и предостережений, и, конечно, скоро узнают о случившемся. Но не могу же я разогнать всех слуг?

Кроме того, Анельку может навести на подозрения и то, что так часто приходят телеграммы. Сегодня я получил вторую телеграмму из Баку, от Хвастовского, – спрашивает, как поступить с телом покойного. Я ответил, чтобы он пока похоронил его там на месте. А старого Хвастовского попросил съездить в Варшаву и оттуда отправить мою телеграмму, а также перевести сыну деньги на расходы. Но я даже не знаю, можно ли из Варшавы в Баку переводить деньги по телеграфу.

13 ноября

Просматривал вчерашние газеты. В двух из них напечатано сообщение по телеграфу о смерти Кромицкого. Неужели это сделал молодой Хвастовский? С ума он сошел, что ли? Слуги наши знают уже все. Лица у них такие, что удивительно, как Анелька еще ничего не заметила. За обедом она была весела и необычно оживленна. Меня немного успокаивает только присутствие в доке врача. Смерть Кромицкого его ничуть не трогает, и он беседует с Анелькой, шутит с нею, учит ее играть в шахматы. А вот пани Целина – та приводит меня в отчаяние! Сегодня, например, чем веселее становилась Анелька, тем физиономия ее матери принимала все более похоронное выражение. За это я даже отчитал пани Целину – и, пожалуй, слишком сурово.

14 ноября

Мы все в Варшаве. Приехали сюда по совету доктора. Анельке сказано, что в Плошове у нас будут ставить калориферы и потому надо на несколько недель освободить дом. Дорога ее очень утомила, погода скверная, но я доволен тем, что

мы в Варшаве, – здешние мои слуги надежнее. В доме некоторый беспорядок, повсюду лежат распакованные, но не повешенные еще картины. Анелька, несмотря на усталость, захотела их посмотреть, и я взял на себя роль экскурсовода. При этом я сказал ей, что моя заветная мечта – когда-нибудь быть ей гидом в Риме, а она ответила с легкой грустью:

– Я тоже мечтаю увидеть Рим, но иногда мне кажется, что я так никогда и не побываю там.

У меня сердце сжалось – все теперь меня пугает, родит предчувствия, в каждом слове я готов увидеть пророчество. Но я ответил Анельке веселым тоном:

– А я тебе клятвенно обещаю, что ты туда поедешь, и притом надолго.

Удивительно быстро человек осваивается с каждым положением и со своими новыми правами: я уже невольно считаю Анельку своей и берегу ее, как свою собственность.

А ведь доктор был прав, и хорошо, что мы перебрались в Варшаву. Во-первых, здесь легче получить всякого рода помощь; во-вторых, здесь можно не принимать визитеров, в Плошове же было бы невозможно давать приезжим гостям «поворот от ворот». А всякие знакомые, несомненно, стали бы приезжать, чтобы выразить нам соболезнование. И, наконец, в Плошове уже создалась такая унылая и полная таинственности атмосфера, что все мои усилия придавать разговорам веселый тон казались поразительно неуместными. Возможно, этого не избежать и в Варшаве. Но здесь по крайней мере Анельку будет отвлекать и занимать тысяча различных впечатлений, которыми полна городская жизнь, тогда как в Плошове от ее внимания не укрылась бы малейшая перемена в настроении окружающих.

Она здесь не будет выходить из дому одна и вообще будет выходить редко. Правда, врач велит ей побольше гулять, но я и тут нашел средство: за конюшнями у меня довольно большой сад, и к нему примыкает галерея. Я велю эту галерею застеклить, и она будет служить Анельке местом прогулок зимой и особенно в ненастные дни.

Ужасно мучителен этот нависший над нами постоянный страх.

15 ноября

Как это случилось? Почему ей пришло в голову подозрение? Не могу понять. Но оно пришло. Сегодня за завтраком она вдруг подняла глаза и, обводя нас всех испытующим взглядом, сказала:

– Не знаю, почему мне кажется, что вы от меня что-то скрываете.

Я почувствовал, что бледнею. Пани Целина вела себя самым недопустимым образом. И только милая, славная моя тетушка не растерялась и сказала ворчливо:

– Как же, как же! Мы скрывали от тебя до сих пор, что считаем тебя дурочкой, но больше этого скрывать не станем. Вот, например, вчера Леон говорил, что ты никогда не научишься играть в шахматы, потому что тебе не хватает сообразительности.

Я, разумеется, немедленно ухватился за эту тему и стал шутить, смеяться. Анелька ушла к себе как будто успокоенная, но я был уверен, что нам не вполне удалось рассеять ее подозрения, а моя веселость могла показаться ей притворной. И тетя и

пани Целина были ужасно испуганы, а я – попросту в отчаянии: мне сразу стало ясно, как безнадежны наши старания надолго сохранить все в тайне. Сейчас Анелька, быть может, подозревает нас только в том, что мы скрыли от нее какие-то денежные затруднения Кромицкого, но что будет, когда пройдет неделя, две, месяц, а она не получит ни одного письма от мужа? Что мы тогда ей скажем? Чем объясним его молчание?

Около полудня пришел доктор. Мы тотчас рассказали ему, что произошло, и он повторил прежний свой совет – сообщить Анельке всю правду.

– Ведь пани Кромицкая, не получая от мужа писем, начнет скоро тревожиться и будет строить самые худшие предположения, – говорил он.

Но я хотел еще на некоторое время оттянуть эту развязку и возразил, что именно беспокойство и подготовит Анельку к печальной вести.

– Да, – сказал доктор, – но длительные волнения – плохая подготовка организма к тому испытанию, которое ему предстоит. Тем более что роды, вероятно, и при благоприятных условиях будут не очень-то легкие.

Быть может, он и прав, но сердце у меня так и замирает от страха. Все имеет границы, и мужество человеческое – тоже. Что-то во мне отчаянно противится такому решению, и внутренний голос твердит «нет!». Но тетя и пани Целина уже почти решились завтра все сказать Анельке. Не буду больше вмешиваться... Я понятия не имел, что возможно так чего-либо страшиться. Но ведь это естественно – дело идет об Анельке.

16 ноября

До вечера все было благополучно, а вечером внезапно началось кровотечение. Ведь я говорил!..

Три часа ночи. Она только что уснула. Доктор дежурит около нее. Надо взять себя в руки и сохранять спокойствие. Надо! Это ради нее – должен же хоть один человек в доме не терять головы.

17 ноября

Доктор говорит, что «первый период болезни протекает правильно». Как это понимать? Неужели это значит, что она умрет?

Температура у нее невысокая. Говорят, так всегда бывает первые два дня. Анелька в полном сознании. Слаба, но не очень страдает. Доктор предупредил нас, что температура может дойти до сорока градусов и начнутся сильные боли, бессмятство, отек ног. Да, вот что он сулит! Эх, пропади все пропадом! Боже, если это – кара за мои грехи, то, клянусь, я уеду, я никогда в жизни не буду пытаться увидеть ее – только спаси ее!

18 ноября

Я до сих пор еще не навестил ее. Дежурю снаружи у ее дверей, но не вхожу – боюсь, как бы ей не стало хуже и не повысилась температура.

Минутами приходит страшная мысль, что я могу сойти с ума и какой-нибудь безумной выходкой убить Анельку. Поэтому я заставляю себя писать и буду писать все дни – мне кажется, это помогает мне держать себя в узде.

19 ноября

Слышал из-за двери ее голос и стоны. При этой болезни боли бывают ужасные. По словам доктора, это – «нормальное явление», а по-моему – слепая жестокость! Тетя говорила мне, что Анелька то и дело протягивает руки, обнимает за шею то ее, то мать и молит спасти ее. А помочь ничем нельзя, хоть бейся головой о стену!

Боли усиливаются. Ноги сильно отеки. Ее мучает тошнота и слабость.

Доктор ничего не обещает, говорит, что все может кончиться плохо, а может и благополучно. Это я и без него знаю. Температура – сорок. Она все время в сознании.

20 ноября

Я уже знаю. Никто мне этого не говорил, но я знаю наверное, что она умрет. Я владею собой и даже спокоен... Анелька умрет! Сегодня ночью, сидя у ее двери, я увидел это так ясно, как сейчас вижу солнце. Бывает такое состояние, когда человек видит вещи, которые и не снятся людям, неспособным сосредоточить все мысли и чувства на чем-нибудь одном. Перед рассветом мне вдруг стала так ясна неизбежность конца, словно кто снял завесу с глаз моих и мозга. Ничто на свете не спасет Анельку. Я знаю это лучше всех врачей. И я перестал метаться. Это не поможет ни ей, ни мне. Приговор нам обоим произнесен. Я ведь не слепой, я вижу, что какая-то сила, всемогущая, как сама жизнь, отрывает нас друг от друга. Что это за сила, как ее назвать – не знаю. Знаю только, что, если упаду на колени, буду биться головой о пол и молиться, я, может быть, мольбами своими сдвину горы, – но этой силы не умолю.

Теперь вырвать у меня Анельку могла одна только смерть – и вот Анельке суждено умереть. Если во всем этом и есть своя неумолимая логика – все равно я с разлукой не примирюсь.

21 ноября

Сегодня Анелька пожелала меня видеть. Тетя выслала всех из комнаты – она была уверена, что больная хочет просить меня, чтобы я позаботился об ее матери. Так оно и было. Я увидел мою ненаглядную, любовь мою. Она в полном сознании, глаза блестят, и чувствуется в ней подъем душевных сил. Боли почти утихли. Все признаки беременности исчезли, и лицо ее ангельски прекрасно. Она улыбнулась мне, я тоже улыбнулся в ответ. Со вчерашнего дня я знаю, что нас ожидает, и мне кажется, что я уже мертв, так что внешне я вполне спокоен. Взяв меня за руки, Анелька заговорила о матери. Потом она долго смотрела на меня – словно наглядеться хотела, раньше чем глаза ее угаснут, и сказала:

– Ты не бойся, Леон, мне гораздо лучше, но я на всякий случай хочу, чтобы у тебя осталось что-то на память обо мне... Может, нехорошо делать такое признание сразу после смерти мужа, но ведь я могу умереть. Поэтому я хочу тебе сказать, что я тебя очень, очень любила.

– Знаю, моя родная!

Я держал ее руки в своих, и мы смотрели в глаза друг другу. Впервые в жизни она улыбалась мне, как невеста своему избраннику. И я в эти минуты обручился с нею навечно. Нам было хорошо, хотя над нами витала печаль, сильная, как смерть. Я ушел только тогда, когда нам сказали, что приехал ксендз причастить Анельку. Анелька еще раньше предупредила меня об этом и просила не пугаться, говоря, что, когда человек болен, нужно успокоить душу, и потому она позвала ксендза, а вовсе

не потому, что думает о смерти.

Когда ксендз ушел, я вернулся в комнату. Она скоро уснула, утомленная столькими бессонными ночами. Она и сейчас еще спит. А когда проснется, я уже не отойду от ее постели, пока она не уснет опять.

22 ноября

Наступило значительное улучшение. Пани Целина не помнит себя от радости. Из всей нашей семьи один я знаю, что означает это улучшение. Доктор мог бы и не говорить мне, что это наступает паралич кишечника.

23 ноября

Анелька умерла сегодня утром...

Рим, 5 декабря

Я мог стать твоим счастьем, а стал несчастьем. Это я – виновник твоей смерти. Будь я другим человеком, не лишенным всего того, что составляет устои жизни, не выпали бы тебе на долю те потрясения, которые убили тебя.

Я это понял уже в последние твои часы на земле и в душе поклялся уйти за тобой. Этот обет я дал у твоего смертного одра, и теперь первый мой долг – быть с тобой.

Твоей матери я оставляю все свое состояние, тетю поручаю милости божией. Пусть она найдет в ней утешение в последние годы своей жизни, а я иду за тобой, ибо так нужно!

Думаешь, я не боюсь смерти? Боюсь, так как не знаю, что там, за гробом. Вижу там только мрак без границ и содрогаюсь. Не знаю, что там ждет нас – небытие или какое-то иное существование вне пространства и времени. Или, может быть, межпланетный вихрь переносит монаду души человеческой со звезды на звезду и вселяет ее во всё новые и новые жизни. Не знаю, царит ли там вечное движение или великий покой, такой безмерный и блаженный, какой только могли создать всемогущество и всеблагость.

Но если тебя убило мое «не знаю», как мне оставаться в этом мире, как жить?

И чем сильнее я боюсь, чем больше не ведаю, что ждет нас там, за гробом, – тем мне яснее, что не могу я отпустить тебя туда одну. Не могу, моя Анелька, – и пойду за тобой.

Пусть мы там вместе канем в небытие или совершим вместе предназначенный нам путь. А здесь, где мы так страдали, оставим по себе только молчание.[53]

Примечания

Сенкевич задумал свой роман в начале 1889 года и обещал его варшавской газете «Слово». «Название – это моя слабая сторона, – пишет он 12 февраля 1889 года писателю и критику А. Креховецкому, в то время редактору „Газеты львовской“. – „Слово“ объявило название „В путях“, и Вы можете так обещать. Но не изменю ли я этого названия, не ручаюсь». Писатель начал роман в форме повествования от третьего лица. В процессе работы он изменил заглавие романа и назвал его «Без догмата». Одновременно изменилась форма повествования, роман стал дневником Плошовского. В июне 1890 года роман был окончен.

Роман «Без догмата» печатался в варшавском «Слове» в 1889–1890 годах и тогда же перепечатывался краковским «Часом» и «Дзенником познаньским». Отдельное издание вышло в 1891 году.

После трилогии читатели ждали от Сенкевича романа о современности (об этом писал, например, друживший с писателем К. М. Гурский). Исследователи предполагают, что сыграл свою роль также большой успех романа Б. Пруса «Кукла», печатавшегося в 1887–1889 годах и вышедшего отдельным изданием в 1890 году. «При внимательном чтении „Без догмата“, – писал известный критик Анджей Ставар, автор обстоятельной монографии о Сенкевиче, – можно найти в нем не одну реплику в адрес „Куклы“».

При сопоставлении романа с близкими по теме произведениями других литератур обычно называют роман П. Бурже «Ученик» (1889) (с которым, правда, Сенкевич познакомился уже в ходе работы над своим произведением, но, возможно, именно под его влиянием проблемы «догмата» взяли в романе верх над историей любви), «Интимный дневник» швейцарца А. Ф. Амьеля[54], изданный после смерти автора в 1883–1884 годах и вызвавший сенсацию в Европе, а также «Евгения Онегина» Пушкина и «Героя нашего времени» Лермонтова.

Надо, однако, иметь в виду, что Плошовский в некотором смысле имел предшественников в творчестве самого Сенкевича: это студент из его повести «Напрасно», Юзефович из драмы «На одну карту», юноша Генрик из повести «Ганя».

Многие исследователи считают, что история генезиса «Без догмата» – это одновременно и история духовной жизни самого писателя.

А. Ставар, говоря о близости автора и героя романа, замечает: «Сенкевич мог бы сказать: „Плошовский – это я“, с большим основанием, чем Флобер о своей героине». «Без догмата» представляется исследователю наиболее личной книгой Сенкевича.

Работая над новым произведением, писатель отдавал себе отчет, какая пропасть отделяет его героя от персонажей трилогии. «Те, которые надеются, что найдут здесь каких-нибудь современных Иеремий, Чарнецких и т. д., – писал он Янчевской, – должны будут разочароваться хотя бы потому, что таких людей теперь нет, но те, которые любят размышлять над разными вещами, найдут поле для наблюдений над человеческой душой».

Главную роль в возникновении романа сыграла распространенность в обществе того времени самого типа «бездогматовца», отражающего упадочные тенденции «конца века». Б. Прус в одной из статей 1886 года приводит характерное признание современника: «Я окончил два университета и ничего не делаю в обществе; у меня амбиции Цезаря, но у меня нет даже капельки воли, чтобы одеться без посторонней помощи; у меня большое состояние, а вместе с тем я чувствую себя несчастнейшим из людей, не имея никакой цели в жизни, никакой работы, которая не показалась бы мне слишком трудной, никакого развлечения, которое бы вскоре мне не наскучило... Я совсем не чудовище, а только обычный тип человека моей сферы и нашей эпохи».

По мысли Сенкевича, роман должен был стать «предостережением против всего того, к чему ведут жизнь „без догмата“, скептический, утонченный ум, лишенный простоты и точки опоры. Это, правда, не спасет Плошовских, по обратит внимание на причины, которые порождают Плошовских».

Читательское восприятие не вполне соответствовало замыслу Сенкевича. Плошовский породил легион подражателей. Один из современников писателя критик Вл. Рабский писал: «Герой Сенкевича стал модой. Люди начали осознавать изображенную писателем психологию и „носить“ ее на груди как орденскую ленту, как гербовый знак духовной аристократии».

Подобный тип, как порождение «болезни века», появляется и в многочисленных литературных произведениях. Александр Маньковский написал роман «Граф Август», а после «Без догмата» были написаны романы «В нервный век» Лео Бельмонта, «В силках» Теодора Еске-Хоинского, «Мгла» Мариана Гавалевича, «Самые молодые» Адама Креховецкого и др. К этому же типу произведений относятся рассказы Элизы Ожешко из сборника «Меланхолики» и роман «Два полюса».

«В этом романе нет никакой условности, – пишет Сенкевич в ходе работы над „Без догмата“. – Дневник местами производит впечатление не литературного произведения, а чего-то совершенно реального, что действительно имело место. Конечно, будут мнения за и против, хотя бы потому, что вещь эта новая, хотя бы потому, что она так нетрадиционна».

Сенкевич не ошибся. Действительно, роман вызвал споры, в которых, пожалуй, было больше голосов против, чем за. Консерваторы были недовольны тем, что роман недостаточно дидактичен, «Он всюду и везде художник, даже тал, где хотел бы быть моралистом», – писал о Сенкевиче ксендз Гнатовский. Ортодоксальным католикам не по душе была симпатия, с которой изображался главный герой, самоубийца.

Критики либерально-прогрессивной ориентации были недовольны антипозитивистской направленностью произведения, критикой материализма. Некоторые из них ставили под сомнение «догматы», силу которых утверждал Сенкевич. Многие считали, что симпатия автора к Плошовскому фактически перечеркнула его критику и привела к неверному прочтению романа. Не снискала одобрения критиков-прогрессистов и героиня романа.

В целом роман «Без догмата» не был оценен по достоинству польскими критиками того времени. «Они не могли подняться до справедливой оценки, – пишет современный исследователь, – не понимали, что имеют дело с талантливым психологическим романом... Ни один из героев польской литературы не вызвал столько ложных, необоснованных и противоречащих друг другу суждений, как Плошовский. „Нигилист“, „декадент“, „обольститель“ и тому подобные эпитеты... Роман „Без догмата“ не дождался в Польше заслуженного признания».

Сенкевич имел возможность сопоставить замечания польских критиков с зарубежными отзывами. «Роман в переводах имеет огромный успех», – писал он Э. Любовскому. В другом письме – из Австрии: «Роман имеет здесь во сто раз больший успех, чем у нас. То же самое и в Германии».

Высокую оценку получил роман «Без догмата» в русской критике того времени. Он заслужил одобрительные отзывы многих русских писателей. Р. Левенфельд в своей книге «Беседы с Львом Толстым» рассказывает, как он в доме Толстого наблюдал чтение номера журнала «Русская мысль», где печаталось продолжение «Без догмата»: «Сейчас же дочери Толстого набросились на этот номер, поскольку все, не исключая Толстого, этот роман читали... Толстой сказал: роман... нравится мне чрезвычайно. Судя по нему – Сенкевич превосходный писатель». 18 марта 1890 г. Толстой записывает в дневнике: «Вечером читал Сенкевича. Очень блестящ».

Русскому писателю особенно понравилось в этом романе описание любви. В записной книжке Толстого за 1890 год читаем: «По случаю „Без догмата“, славянского толкования любви к женщине думал: хорошо бы написать историю чистой любви, не могущей перейти в чувственную». И еще одна запись. В дневнике от 23 июня 1890 года Толстой пишет: «Вчера читал „Без догмата“. Очень тонко описана любовь к женщине – нежно, гораздо тоньше, чем у французов, где чувственно, у англичан, где фарисейно, и у немцев – напыщенно, и думал: написать роман любви целомудренной... Хорошо написать это».

А. П. Чехов, который впоследствии критически отнесся к «Семье Поланецких», высказал некоторые замечания и по поводу «Без догмата», однако высоко оценил пластичность описаний Сенкевича. Он писал В. М. Лаврову: «Прочел „Без догмата“ с большим удовольствием. Вещь умная и интересная, но в ней такое множество рассуждений, афоризмов, ссылок на Гамлета и Эмпедокла, повторений и подчеркиваний, что мостами утомляешься, точно читаешь поэму в стихах. Много кокетства и мало простоты. Но все-таки красиво, тепло и ярко, и когда читаешь, хочется жениться на Анельке и позавтракать в Плошове».

Роман «Без догмата» произвел большое впечатление на А. И. Эртеля. Он находил это произведение глубоко выдающимся. По его мнению, Сенкевич ничего лучшего не написал, да и в других литературах такие романы редкость.

А. И. Куприн высоко оценил мастерство психологического анализа в «Без догмата». «Едва уловимые, крайне сложные и капризные оттенки душевных движений, – писал он, – переданы тут с тонкостью и отчетливостью поистине изумительными. Вообще по мастерству выполнения и по отступлениям, часто глубоким и оригинальным, этот психологический роман ставит автора наряду с наиболее выдающимися писателями нашего времени».

«Образ Леона Плошовского оказался родственным целой галерее так называемых „лишних людей“ в русской литературе, – писал о романе Сенкевича критик М. Протопопов, – из наших стариков разверните Тургенева, а из нашей молодежи Чехова, и вы сразу почувствуете, что между ними и Сенкевичем очень много общего». Русская критика увидела в Плошовском черты, родственные Онегину, Печорину, Рудину. При этом некоторые критики упрекали писателя в том, что он лишил своего героя общественных интересов и стремлений, считая это отличием Плошовского от «лишних людей» в русской литературе. «Рудины будили мысль общества и тем делали свое дело, – писала Мария Цебрикова. – Тургеневский герой оказался несостоятельным как практик, несостоятельным перед любовью девушки, но Рудины умели умирать не как маньяки эротизма. Плошовский же даже не искатель исполинского дела...»

Вместе с тем русские критики не учитывали в то время, что в своем романе Сенкевич отразил другой, более поздний этап общественного развития, когда «лишний человек» претерпел значительную эволюцию и начал вырождаться. На эту эволюцию позднее обратил внимание А. М. Горький в работе «Разрушение личности» (1909). Он отметил постепенное вырождение героя-индивидуалиста, увидев в Плошовском промежуточную стадию между героем «Исповеди сына века» Альфреда де Мюссе, с одной стороны, и Саниным Арцыбашева, а также Фальком Пшибышевского – с другой.

Русские критики конца XIX века назвали «Без догмата» лучшим произведением польского писателя. «Истинной твердыней славы Сенкевича среди интеллигентных читателей и основой его значения в современной всемирной литературе является,

несомненно, его знаменитый психологический роман „Без догмата“, – писал И. А. Гофштеттер, – он дал самую тонкую, самую изящную разработку психологии современного скептицизма, современного безверия».

1

...как имена Цешковского, Либельта и других. – Цешковский Август (1814–1894) – польский философ и экономист, создатель системы так называемой «национальной философии», пытался критически осмыслить ряд положений гегельянства, разделял идеи польского мессианизма. Либельт Кароль (1807–1875) – польский философ и эстетик, литературный критик и публицист, сторонник «национальной философии» и мессианизма, участник патриотического движения в Великопольше.

2

Непобедимый Леон (фр.)

3

...удивительная мешанина идей Гегеля с идеями Гене-Вронского. – Гене-Вронский Юзеф Мария (1776–1853) – польский философ, математик, астроном (с 1800 г. жил во Франции), один из основных представителей польского мессианизма.

4

знатная дама (фр.)

5

«жестоккой благодетельницей» (фр.)

6

славянское бесплодие, пассивность (фр.)

7

Книжечка, в которой дама на балу записывает, с кем обещала танцевать и какой танец (фр.)

8

Хрупкий, ломкий (фр.)

9

неотесанные глыбы (лат.)

10

...«заблудшая птица», как выражается Словацкий... – Словацкий Юлиуш (1809–1849) – великий польский поэт, революционный романтик. ...в питомцев Эвмея... – то есть в свиней. Эвмей – свинопас, раб Одиссея.

11

почем я знаю? (фр.)

12

Мир (лат.)

13

Соната – фантазия (ит.)

14

Соната скорби (ит.)

15

суета сует (лат.)

16

все в одном (греч.)

17

светильники (греч.)

18

В конце концов, женщина – это самое прекрасное, что есть в мире (фр.)

19

«Римские беседы» (фр.)

20

произведение искусства (фр.)

21

«Дух его» и «Вечный покой» (лат.)

22

Очень интересно (англ.)

23

черт побери! (ит.)

24

Утро вечера мудренее! (фр.)

25

извещение о свадьбе, смерти и проч. (фр.)

26

как равного (ит.)

27

Она красива, но вдвое превышает нормальные человеческие размеры (фр.)

28

это убьет то (фр.)

29

Предопределение.

30

«быть или не быть?» (англ.)

31

«ради чистоты своих перышек» (фр.)

32

«Да, да, перышек!» (фр.)

33

Я за самого себя (англ.)

34

открытый воздух (фр.)

35

прикреплены к земле (лат.)

36

«помни о смерти» (лат.)

37

Вы поняли меня? (нем.)

38

Да. И я чувствовал себя очень несчастным (нем.)

39

...тетя, схватив лоретанский звонок... – освященный звонок, звон которого якобы предотвращает грозу (слово это произошло от названия итальянского города Лорето).

40

Иллюстрированный альбом (англ.)

41

...стал декламировать... отрывок из «Венецианского купца»... – Цитата из пьесы У. Шекспира дана в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник.

42

капризный, своенравный (англ.)

43

Быть может, она вспомнит строки из «Кордиана». – «Кордиан» – драма Ю. Словацкого.

44

положение обязывает (фр.)

45

Все в порядке (англ.)

46

чистая доска (лат.)

47

Еще! Еще! (фр.)

48

надежный человек (англ.)

49

вечное молчание (ит.)

50

Ах, вот когда два сердца вместе плачут... – Строки из поэмы Ю. Словацкого «В

Швейцарии». (Перевод Л. Мартынова.)

51

с любовью (ит.)

52

чрезмерно стыдлива (фр.)

53 ...оставим по себе только молчание. – Парафраза из «Гамлета» У. Шекспира (The rest is silence).

54 «Я уже кончаю первый том, – пишет Сенкевич Ядвиге Янчевской, сестре своей первой жены, в январе 1890 г., – пришли мне Амьеля... Ты знаешь, что я его еще не читал, и это меня успокаивает, но в любом случае я хочу его прочитать, чтобы хоть на будущее избежать сходства, если оно есть».